

4'92

ДРУЖБА НАРОДОВ

ПЕТР АЛЕШКОВСКИЙ. Чайки. Повесть.

МИХАИЛ ДЖАВАХИШВИЛИ. Похождения авантюриста
Квачи Квачантирадзе. Роман.

МИХАИЛ С. БЕРНШТАМ. Проклятый вопрос о цене идей.

АНАТОЛИЙ СТРЕЛЯНЫЙ. Кино про Украину.

Дружба народов 4'92

**НЕЗАВИСИМЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНИК**

**Труды
4-го Народов**

**Основан в марте
1939 года**

Учредитель — трудовой коллектив редакции «ДН»

Редакционная коллегия

Главный редактор Александр РУДЕНКО-ДЕСНЯК,
первый заместитель главного редактора Юрий КАЛЕЩУК,
Юрий АПЕНЧЕНКО, Александр АРХАНГЕЛЬСКИЙ,
Леонид БАХНОВ, Евгений БУДИНАС,
Денис ДРАГУНСКИЙ, Владислав ЗАЛЕЩУК,
ответственный секретарь Игорь ЗАХОРОШКО,
Наталья ИГРУНОВА, Елена МОВЧАН, Елена СЕСЛАВИНА,
заместитель главного редактора Бронислав ХОЛОПОВ.

Редакционный совет

Лев АННИНСКИЙ, Василь БЫКОВ, Альгимантас БУЧИС, Юрий В. ДАВЫДОВ,
Тиркиш ДЖУМАГЕЛЬДЫЕВ, Нафи ДЖУСОЙТЫ, Иван ДЗЮБА, Фазиль ИСКАНДЕР,
Грант МАТЕВОСЯН, Геннадий ЛИСИЧКИН, Евгений ПОПОВ, Кнут СКУЕНИЕКС,
Константин ЩЕРБАКОВ, Атнер ХУЗАНГАЙ, Лев ХУНДАНОВ.

Коммерческий директор Олег КРАСИВСКИЙ

Главный художник Николай ПШЕНЕЦКИЙ

Технический редактор Анна СЕЛИВЕРСТОВА

Адрес редакции: 121827 ГСП Москва, Г-69, ул. Воровского 52

Телефоны: главный редактор и первый заместитель главного редактора — 291-62-27,
заместитель главного редактора и зав. редакцией — 291-62-49, коммерческий директор,
ответственный секретарь — 202-52-03, отдел прозы — 291-63-63, отдел поэзии — 291-85-10,
отдел публицистики — 291-63-54, отдел критики и библиографии — 291-05-09,
редактор приложений — 291-64-50

ЧИТАЙТЕ В БЛИЖАЙШИХ НОМЕРАХ:

Н. ВЕРБЕРОВА. Чайковский

Более полувека прошло с тех пор, как опубликована на Западе биография П. И. Чайковского, воссозданная Ниной Берберовой. Она была переведена на шведский, чешский, немецкий, финский языки. На французский ее перевела сама Н. Берберова. Читатель «ДН» сможет впервые познакомиться с этим своеобразным романом-биографией, написанным с присущей Н. Берберовой блеском мысли и слова, узнать о трудной, подчас трагической судьбе великого композитора, об истории рождения его знаменитых произведений, о мучительно осложнившем его жизнь браке, о напряженных отношениях с известной меценаткой Надеждой фон Мекк, о многолетних дружеских связях с Антоном и Николаем Рубинштейнами, Танеевым, Балакиревым, Глазуновым, Римским-Корсаковым, Стасовым и многими другими выдающимися людьми того времени.

Леонид Губанов

Труби,

мой непослушный рог...

Поэзия

Леонид Георгиевич Губанов родился 20 июня 1946 года в Москве. С ранних лет самыми притягательными для него были живопись и поэзия. Обостренность чувств, яркая поэтическая одаренность, характер — стихийно-эмоциональный, вылетающий за всякие ограничения и рамки — еще в школьные годы привели его к резкому неприятию общепринятых тогда канонов и догм предельно идеологизированного общества, его искусства и литературы.

Писать приходилось поневоле «в стол». Выражать себя устно в аудиториях и студенческих общежитиях, на квартирах друзей и едва знакомых людей, а позже, когда сверхбдительный КГБ устраивал ему допросы и запирали в «психушки», — выпирало, не мог молчать, порой читал и в коридоре больницы попавшему под руку медработнику.

Первая (и единственная при жизни!) публикация в журнале «Юность» № 6 за 1964 год, отрывка из поэмы «Полина» вызвала поток отрицательных отзывов в печати. Но все это только способствовало особому ореолу его имени в глазах незащищенных догмами, молодых, талантливых людей, ищущих новые пути в литературе и искусстве. «Ленечка» (как звали его друзья) стал лидером группы молодых поэтов, прозаиков, художников. В январе 1965 года он создает своеобразное творческое объединение — «СМОГ» («Самое Молодое Общество Гениев» или «Смелость, Мысль, Образ, Глубина»). В группу входили: Алена Басилова (поэт, жена и соратник), В. Алейников, Ю. Кублановский, Т. Реброва, Саша Соколов, В. Батшев, Ник. Нетбайло и другие.

В апреле был зачитан манифест СМОГа, в июне — погромная статья о «смогизме» в «Комсомольской правде». КГБ пускает в ход допросы и «психушки»; а в перерывах скитания по работам — то сторожем, то грузчиком, то пожарником; скитания по квартирам и, несмотря ни на что, бесконечный творческий поиск — стихи, стихи, стихи... До неожиданного сердечного приступа 8 сентября 1983 года, оказавшегося смертельным. Есть в его стихах воистину мистические озарения — одно из них: предсказание своей смерти в тридцать семь лет (печальная традиция — от Пушкина до Маяковского), и даже месяц угадан...

Его новаторские искания, смелая правда слова, неожиданная и дерзкая образность заставляли сравнивать его с Рембо, Маяковским (Семен Кирсанов: «Такое впечатление производил только Маяковский»), а он был сам по себе, московский парень с явными зачатками гения — Леонид Губанов.

Вл. ЗАЛЕЩУК

* * *

Не мир — Драконова шкатулка.
Не мил последний бинт дороги,
иду один по переулку,
где молодые пляшут Боги.
У Вас погашены лампы
и темный ангел к Вам спешит,
не от ликующего сада,
от окровавленных вершин!

Он вам предложит спелых вишен,
он счастлив — потому что грешен,
а я один в дорогу вышел
на фонарях надежды вешать!

8.09.1969

* * *

Этой осенью голою
где хотите, в лесу ли, в подвале,
разменяйте мне голову,
чтобы дорого так не давали.

А в спине мне пробейте
как в копилке глухое отверстие,
чтоб туда зазвенели
ваши взгляды и взгляды
ответственные.

За глаза покупаю
книжки самые длинные —
баба будет любая,
пару черных подкину ей,

За такси очень ласковое
шефу, с рожею каменной,

1965

я с презрением выбрасываю
голубые да карие.

Ах, копилушка спинушка,
самобранная скатерть,
мне с серебряной выдержкой
лет на пять еще хватит...

За глаза ли зеленые
бью зеленые рюмки?
Наши сны не целованы,
словно странности в юбке.

Чтоб не сдохнуть мне с голоду,
еще раз повторяю —
разменяйте мне голову,
или сам потеряю!

Черная речка

Кто-то черный грудь мне в узел связал,
задышался и смеялся, подлец!
Вам не спится? Вы закройте глаза,
это загород, коричневый лес.

Как не стыдно вам, притихший Дантес,
на откосе у печальной реки?
Я отбросил пистолет, как протез,
от которого растут синяки.

Речка Черная, как чуден твой свет,
ты — Наташа, но когда не блудит...
Не прострелен, дорогая, о нет!
Просто маки проросли на груди.

Прожит век мой, не белеют снега,
им не видеть мой малиновый жест,
Ох как больно я с мундира стекал,
камер-юнкер, рога носец и лжец!

Словно патока я всем потакал,
бился ландышем у губ на краю —
но известно лишь одним мудакам
как тепло и незащитно в Раю.

Зашнурован я обидой до плеч,
за конец мой всем вам кол, розги-батюшки.
Можно голоса совсем не беречь,
баю-баюшки!..

1965

* * *

О, Родина! Любимых не казни!
Уже давно зловещий список жирен.
Святой водою ты на них плесни,
ведь только для тебя они и жили!
А я, за всех угнетенничков наших,
за всех любимых, на снегу распятых,
отверженные песни вам выкашливаю,
и с Музой музицирую, раздетой.
И, тяпнув два стакана жуткой водочки,
все вижу я, что продано и куплено —
ах, не шарфы на этой жирной сволочи,
а знак, что чья-то голова отрублена!

1975

* * *

Разворован куст смородины
и забыта киноварь.
Я — пастух. Бреду по родине
с дудочкой на карнавал.
Города звенят, как градинки
и в беседках принцы врут,
голубые спины гладят,
золотые губы пьют.
Ходят голуби в серебряном,
ходят яблони в атласном
в погорелое селение
глаз моих, отныне ясных.
Ветер жалует два паруса
и одну лихую голову.
Наша буря — счастья пауза,
а гребцы — как дети, голые.
Не оскалится ли замок мой?
Не надуется ли площадь?

1969

Пусть выскакивает замуж боль
за кого-нибудь попроще!
Голубые очи сеяли,
а пожали лишь пожары...
Где-то церковь есть на севере —
пусть она меня пошарит.
Колоколом дымно-пьяным,
ржаво-радужным крестом,
барабанным боем яблок,
незапятнанным перстом.
Освещаю, да не падаю,
укрощаю, да не думаю,
всеми правдами — неправдами,
я — звезда с вишневою дудкою!
Моя церковь, моя беленькая!
Золотая моя, маленькая!
Подари ты мне не веники,
а живой цветочек аленький!

* * *

Спасибо, плетка, что была
всегда румяна и бела,
что от угла и до угла
меня гоняла, как пчела.
За то спасибо, что жиреть
мне не позволила, и впредь
следила, как бы не привык
я медом мазать свой язык.

13.11.1974

Хвала тебе за этот гнет,
кто не исхлестан был — тот врет.
А я, от боли хоть и пил,
но все же душу сохранил,
и золотую россыпь слов
сумел не утопить в вине,
и Сатаны умолкнул зов,
и крылья крепили на спине!

* * *

М. Ю. Лермонтову

Я зачитал тебя до дыр,
На подлокотниках... До сажи,
Когда, с тоскою сняв мундир,
Стрелялся ты с собою дважды.
Дым пистолетный глаз не ест,

И не пугает гром влюбленных,
Ты в девочке увидел — крест
И ускакал как зачумленный.
Но не в Керчи, а лишь в Тамани
С едва начатого листа,

Ты вдруг увидел грудь Тамары
И соблазнителя Христа!
И, как любовники, в гареме
Твоих полуодетых дум,
Глаза безумные горели
И углем прожигали ум.

Шумел источник, хрипли двери,
Каменьем осыпался грот,
А девочку не звали Мэри,
А лошади не лезли вброд.
Не мучились, не целовались,
И не кружилась голова,
Лишь перечеркивались, каясь,
Твои бессмертные Слова.

Шумел источник, шла борьба,
Обвал устраивали горцы

И, тычась в черные гроба,
Багрово вязла голова
Отрезанного наспех солнца!

Святой воды из этих мест
На коромыслах не носили,
Дым пистолетный, глаз не ест,
Не в девочке увидел крест,
Ты крест увидел на России!

Она была твоей Ланской,
Красивой, с сердцем поседевшим.
Она была больна тоской
Души твоей, такой нездешней.

Ну что ж, кого полюбят Боги,
Тот умирает — молодым!
Белеет парус одинокий —
И тает пистолетный дым!!!

25 — 26 февраля 1982

* * *

Чувства мои, мои братья и сестры,
перебесились, как будто цыгане —
ах, износились их лживые звезды
и потускнело в глазах у них пламя!
Рванный шатер, да рука на стакане,
и разворованы серые кони...
Чувства мои! Мы умрем в балагане,
или в крови нас найдут на балконе!
День наступает, и, шурясь на солнце,
благословляю коварное сердце.
Первая радость любви не вернется,
ну, а последняя — долго ль ей петься?!

1978

Объяснение в обиде

Алене Басиловой

Растаяли...

А может быть расстались?
Лицо — темница всех моих вопросов.
Сокровище!

Все острова состарились
и нерушимых клятв сожгли обозы!
Растаяли...

А может быть простились,
остыли на земле простоволосой?
Каким же мы отчаяньем мостились?
Душа — темница всех моих вопросов.
Когда я нажимаю на перо,
как будто на курок я нажимаю —
снегурочкино счастье намело,
расстрелянные годы оживают.
Как много крови, а потом воды...
Все утекло — но не подайте вида!
Я весь перебинтован...

Ну а ты?

Моя беда.

победа

и обида?!

Я знаю, что в кольчуге старых слов
бессмысленен наш робкий поединок.
Шрам глубже стал, он превратился в ров,
и сплетнями покрыт, как паутиной.
На дне его я видел ваш портрет,
два-три письма, забытое колечко,
и разговор, которому сто лет —
...простимся?

Нет...

Расстанемся?

Конечно...

Я к вам уже навеки не приду.
А если и увижу, вздрогну тихо,
как будто на могильную плиту,
где фото есть, знакомое до крика.
Злорадно, как подвыпивший палач,
шепну на ушко проходящей жертве —
«Не верьте мне! Моя душа из жести
и казнь была одной из неудач!»
Я уши от допросов залепил
лиловым воском, головою бился..
Ведь я свою же бабу зарубил,
попутал в темноте, видать, ошибся!
Мне кажется, мне кажется с тех пор —
проходит где-то рядом, в шарфик кутаясь,
забыв тот окровавленный топор,
моя свобода... А быть может Мудрость.
Растаяли...

Но мы с тобой не снег!

Скорее мы стремительно упали
как две звезды,

целуя все и всех

своими раскаленными губами.

А кто-нибудь на нас смотрел в тиши,
загадывая хрупкое желанье,
чтоб только для его слепой души
осталась ты хоть капельку — живая!

1971

Акварель обиды

Труби, мой непослушный рог,
и непослушный вейся локон!
Пусть на уста нисходит Бог
и на руку садится сокол...
Пусть мы с тобой еще в опале,
кафтан в чернилах и грозе,
зато на розовой росе
мы серые глаза купали.
Жгут и подвалы и дворцы,
меняют парики народы,
и нищие идут в купцы,
как бы в фальшивые колоды
карт, меченых от слова Меч,
на королях лихие клейма —

нас, как по маслу, гонит время
и шулера слепая речь.
Я посох взял от слова «После
меня — поток хоть!» — но гляди!
Как выбитые стекла, козыри
звонят на проклятой груди.
Кудрявая печаль, как мальчик,
с улыбкой спустится ко мне —
жить до сих пор еще заманчиво
среди надгробий и камней.
Но в шляпе сплетничают перья
и легкомысленная грязь,
в дубовых креслах развалясь,
диктует радость нам и пенье.
Я презираю ноль петли
и голубую двойку рельс,
и тут, хитри иль не хитри
одно спасенье — рыжий лес...
И соколиная охота,
и соловьиная печаль,
и от удачного похода
хрусталик, пляшущий в очах!
Я плачу? Нет, не плачу, рок!
Твоя фатальная фата
подскажет, что царапнул Бог
для нас на Царские Врата!!!

22.08.69

Публикация АЛЛЫ РУСТАЙКИС

Петр Алешковский

Ч а й к и

П О В Е С Т Ь

«Не бойтесь же: вы лучше многих малых птиц».

Мф, 10, 26

«Но не знает тревоги
Беспечная чаек душа».

Ду Фу

«Одной из самых глубоких особенностей человека является неискоренимое стремление быть правым».

Карл Барт

1.

Ночь. Незаметно, незримо в пустой этот промежуток сматывают ниточку времени первопрестольные апостолы, поворачивают строгое, северное лето на убыль — сегодня их день, им праздник. Беззвучные, шныряют над землей нетопыри с колокольни, кормятся в душном воздухе болотной мошкаррой.

Нехорошее это время, воровское, запретное...

Гонит где-то в Озере рыбацкие соймы к монастырскому холму уловистый Юг: упрямой дугой раздут носовой парус-работяга — тянет так, что и нужды нет выбирать брундук, ровнять кормы — кили вынуты, рули сняты, — сеть держит лодки на плаву, а лодки — сеть, и шмякается о волну смоленый борт, и натянет-отпустит, отпустит-натянет мокрую веревку-уриху, да обдаст перед собой дорогу тяжелый сосновый нос. Вода — свинец, небо — свинец, только лодки — черные, как два злых жука, и берегов не видно. Ловит сеть к рыбацкому празднику, а все, кому поутру дармовую уху есть, спят себе по домам.

Белой зовется июльская ночь, но белого в ней лишь спеленутая полиэтиленовой пленкой огуречная гряда да детские трусики на заборной штaketине. И чудится, и слышится в такой миг всякое старинное, и неведомая сила северной ночи обступает — необъятная и неодолимая.

Но вот откуда-то из-за бывшего скита, из-за теперешней турбазы, принесет ветер перестук дизелька землечерпалки, пробежит цепочкой во тьме огонек мигунов, и выплывает вдруг на реку сахарноголового, туполобый толкач с баржой, и ударит в его недрах чугун, и по всей округе разлетится живой звук, и тишина уже обычна — ведь она теперь в Поозерье неотделима от этих звуков, как без суматошно стрекочущего девятирублевого будильника немислим тяжелый сон в поозерских домах.

Ползет время, от трех ползет к четырем, ползет медленно. Городские рыболовы на реке клюют носом, жмутся к костеркам — не до

налимов сейчас, что стоят в омуте под дебаркадером, не до судаков, что подходят в теплой воде к берегу погреться-покормиться — перекармливать бы этот часок, переждать, пересидеть бы...

И, словно напуганный нехорошей ночной порой, мчит по вымершему Старгороду случайный малиновый «икарус», возвращается в гараж из утомительного загородного туристского рейса. Четыре глаза-фонаря разметають мрак, и вот позади уже город, и его грузная, обезглавленная сторожевая башня, и цыганская слобода, и старое Петровское кладбище — «икарус» поворачивает на узкую монастырскую дамбу.

Днем машины идут тут осторожно, оберегая бока, но сейчас, обрамленная столетними липами, она пуста, и водитель гонит, не замечая плакучих деревьев, безмолвной глади колхозных карповников по бокам насыпи и притихшего Заповедника — музея деревянного зодчества.

Тихо кругом, и в Заповеднике тихо, около белого помещичьего особняка — обкомовской спецгостиницы — не дежурят черные «Волги», а, значит, коли отсутствуют высокие гости, то и сторожа спокойно спят в избушке у центрального входа и даже не потрудились спустить с цепи раскормленных экскурсантами собак.

Быть может, сворачивая к гаражу, водитель успел отметить эту тишину, быть может, успел по привычке взглянуть и на Николу, точнее на Никольскую шатровую церковь — символ деревянного Поозерья, всегда отстоявшего от каменного города, особой волости, растилающейся за большим Монастырем по берегу Озера, края сурового, мянщего себя всегда свободным, как высоченная луковка главного своего храма, теперь спасенного и поставленного за ограду почти на порубежье. Скорее всего, что и взглянул, не придавая особого значения: музей, со всеми его деревяшками, понапиханными одна к одной на маленьком пяточке, не поозеров призван восхищать, а заезжих туристов.

А от поворота до гаража рукой подать — ткнул автобус на привычное место, махнул полусонному сторожу на проходной и пошел досыпать, исчез в проломе бетонного забора, покапал в Слободку, домой.

Что же, выходит, никто и не заметил позднего его возвращения, никого не побеспокоил резкий свет его фар? Да и кому интересно, кроме как случайным влюбленным, смотреть на несущийся по дамбе автобус? Конечно, некому.

И все же нашлись две пары глаз, что, издавелека узрев рассеянный свет фар, поспешили спрятаться в глубь неприметного автомобильного кузова, привалившегося к дамбе, где-то посерединке между Монастырем и музеем деревянного зодчества. Лишь переждав досадную помеху, двое вышли в ночь и молча направились к Заповеднику, но шли не по дорожке, а крадучись пробирались вдоль косога забора, выискивая в нем дырку, проломленную ребятней.

2.

Вовчик был не просто на взводе, все нутро его было напряжено, и если б не стакан, проглоченный наспех в фургончике, он, наверное, не сумел бы взять себя в руки. Но водка притушила нервное напряжение, и внешне, только по судорожным скачкам, которые он совершал, пробираясь вдоль изгороди, можно было понять, что Вовчик на пределе. Он давно уже завязал и ни за что б по новой на «работу» не подпился, да обстоятельства заставили.

...Отец, когда вернулся Вовчик из колонии, сперва все пытался пристроить его к своему неводу, но больно уж нажимал — не любил Вовчик работать из-под палки, вот у них и не заладилось. А как за-

стукал сына на первой новой краже — избил до полусмерти и выгнал из дома.

Семь лет он близко к Байкалу не подходил — послонялся сперва немного по России и осел в Старгороде около рыбаков — единственное, что любил и умел с детства, была рыбацкая работа. И все, казалось, образумится — приняли его в артель, трудовую оформили, и уже жениться собрался, купил своей кольцо-бочоночек обручальное, да сорвался, душа не выдержала — вымел из дома все, что под руку попало, и загулял, а как вернулся прощения просить, баба обманула — заперла пьяного в избе и вызвала милицию.

После второй ходки, после пяти лет чердынского лесоповала только Колька да Витек Железновы его и приветили — Поозерье силовое отвернулось от чужака. Братья же в душу не лезли, вопросов не задавали — Колька выделил место в сараюшке, и за то ему Вовчик признателен был — за обоих братьев в огонь и в воду готов был идти.

Так и спал на сетях, на старом одеяле, и иногда, когда Витька уезжал в дальние рейсы, а Колька в Озеро, когда немоготу становилось одному слоняться по деревне, шел Вовчик к Павлу Ивановичу, к Фрицу, как за глаза его звали в Поозерье.

К Фрицу из слободских никто не заглядывал, но и он к ним никогда не навещался, в баню в город ездил мыться, не хотел ни у кого одалживаться. Поозеры его не любили, но и он им той же монетой платил, даже с дядькой своим Арсентием здоровался сквозь зубы.

Отучился Фриц на художника в Ленинграде, вернулся домой, купил за бесценок каменный поповский домик около монастыря у самой дороги у поворота на Поозерье, подлатал его, поправил крышу и зажил бобылем.

Только одиночество его было показное, вечно у него свет до утра не потухал — ночами Павел Иванович работал или принимал заходящих гостей. Считался он реставратором, но нигде не числился, с музейными, что поставляли ему работу, разговаривал всегда сдержанно, почти презрительно, и если б не золотые руки, давно б от него отступились. Но барышни музейные смиренно и подолгу его упрасивали-уговаривали, и, в конце концов, он иногда и соглашался, брал заказ, и делал, надо отдать должное, так, как мало б кому и удалось. Вот и недавно предложили ему устроить в Николе выставку иконы, и Павел Иванович вдруг сразу согласился — чуть не ночевал там, до седьмого пота вкалывал, но работал всегда один, чужих глаз не признавал.

В основном же он больше бездельничал, и с безделья, верно, стал мастерить гусли, да жалейки, да сопели, на которых и играть-то давно забыли, отпустил себе волосы, и жил, словно монах, в церковь только никогда не ходил.

Как вечер — любил Фриц выйти на крыльцо туристов потешить. А то и того постыдней — завидит иностранный автобус, затаится у подоконника и как стайка с фотоаппаратом потечет в Монастырь мимо его дома, высунется, и в рожок — гу-у-у! — проревет, переманит ошалевших иноземцев и играет им, зубы скалит, смеется, а те довольны — диво-дивное сподобились лицезреть!

Не зря, наверное, поозеры его лодырем почитали — играешь хорошо, так иди концерты давай, а то — чистое увеселение для экскурсантов, бесплатное приложение к Заповеднику. Зато молодежь с турбазы, девки с музучилища души в нем не чаяли — приходили, сидели, слушали, чаи попивали — водку Фриц не признавал.

А все ж было, было что-то в этом человеке, что-то особенное, отличное от всех, и Вовчик, раз к нему заглянув, стал нахаживать. На людях Фриц был сдержанный, почти суровый, словно обижен на кого-то. Гусли с полки брал, когда его как следует попросят, но уж на колени поставив, не отпускал долго, играл взхлеб, без остановки — Вовчик в таких случаях всегда устраивался понеизаметней — слушал.

Павел Иванович никогда его не гнал, если Вовчик трезвый, а пьяного на порог не пускал.

И было дело однажды — поддал Вовчик, и один оказавшись, побрел к Фрицу, и прямо с порога, скорей, чтоб настрой не потерять, начал просить прощения, что пьян, и накатило на него, такая вдруг к себе жалость проснулась... Но Фриц слушать не стал, посмотрел исподлобья и сказал, как отрезал: «Иди, парень, прочь, проспись, как следует, мне твои жалобы времени нет слушать!»

И если б кто другой такое себе позволил, наверное, завелся б Вовчик не на шутку, а вот на Фрица поганого не поднялась рука. И стало ему тогда невыносимо на душе, и муторно, и стыдно, и противно, и пошел и правда прочь, пошел в город, набрел на Маруську Будулаеву, на цыганочку, что самая оторва на всю Слободку считалась, даже городскую известность имела. И что-то она такое сказала, и налила, и пожалела, и... семь раз воевал с Маруськой в ту ночь незабвенную Вовчик, и пела победно пружинная кровать, и почувствовал он себя рядом с Маруськой первый раз в жизни настоящим мужиком, и... не забывается такое, и чем за такое платить, как не лаской?

С той поры и пошло у них. Не как с первой дело пошло — то ли Вовчик поумнел, а скорей Маруська умела им руководить, не руководивши никак — и выпить ему давала, и отпускала на все четыре стороны — знала, что прибежит, а он и бежал, всегда к ней бежал.

Тут и письмо от матери пришло, известило, что умер отец, и что ждет она не дождется своего Вовочку домой. Маруська после письма сама первая стала подбивать — давно из Старгорода мечтала уехать — отчим с матерью ее только костерили всю жизнь, да работать с малолетства заставляли — отчим же как мать взял, вмиг целую ораву голозадых наклепал.

— Они, Вовчик, только и знают, что деньги копить, — жаловалась Маруська, — раньше все ездил старье да железяки скупал, теперь водкой по ночам приторговывает, а куда все девается, как в яму бездонную — на кой они тогда и деньги, если не погулять?

Здесь Вовчик ее хорошо понимал, деньги — пустое, сегодня они есть, завтра их нет, не в деньгах ведь счастье, да только оказалось, что и без них никуда. И хотя Маруська подговаривала бежать срочно, все бросив, как оно есть — ей теперь с мужиком и не страшно было, но Вовчик не мог. Права не имел он, как простой фрайер, как последний бич, свалиться на голову матери и братьям, без денег, без приличной одежки, без подарков. Нет, тут существовал обычай: он хотел явиться во всей красе, чистеньким, а значит при деньгах — такого бы все вновь полюбили, простили бы молодые грехи, как всегда прощали — мало ли кто из баргузинских посидел в тюрьмах?

И сейчас, идя на дело, он презирал себя лишь за то, что связался с Окурком, с наипостыднейшим бичом, без роду без племени, возникающим к лету в Старгороде и исчезающим с холодами, промышляющим бутылками на берегу, человеком, на которого Вовчик бы и глядеть не стал, кабы не его малый, почти детский рост и худоба, годящиеся для дела. Да, если по совести, то и на дело не пошел бы Вовчик никогда, ведь и в артели за лето мог бы он прилично накопить для Баргузина, но унижаться, просить директора колхоза, бригадира, чтоб снова взяли в соймы — такого себе он позволить не мог — хватит, наунижался за свои двадцать шесть лет, погнул на других спину. И зло на людей не последнюю сыграло роль — толкнуло на дело: зло да деньги, посуленные неожиданно тем, на кого б сперва ни за что не подумал...

— Давай, давай, доходяга, — бросил он через плечо еле поспевающему за ним Окурку. — Работать, пахло, даже здесь надо.

Сам он никогда не бичевал, только вот сейчас, в последний год, вернувшись из зоны, но поскольку все же кое-где урывал куски, то

не мог себя посчитать, даже в мыслях сравнить себя не мог с этой шакалей породой.

— Давай, давай, мать твою в дышло, — погнал он Окурка уже впереди себя, и тот засеменял, засеменял безмолвно, боязливо опустив плечи.

— Скорей, скорей, — шептал срывающимся голосом Вовчик. Дело уже сидело в нем, он жил сейчас только им, и этот послушный, но немощный напарник его раздражал, и, казалось, из-за него-то все и сорвется в самый ответственный момент. Но из воровского суеверия он отказывал себе в думах о провале, весь напряженный, как хороший жеребец перед стартом — были бы удила, он, наверное, вмиг бы их перетер.

И наконец-то — тихо, не скрипнув, проползли они по ступенькам, поднялись на галерею. Так же тихо, без единого шороха, без скрипа, без треска подалась ставня с оконца, соскочила прямо в руки, и вот Окурочек исчез в церкви, включил фонарик, и, спустя пять минут, уже подавал Вовчику завернутые в тряпки, упрятанные в мешок две большие иконы.

— Те взял, не напутал? — шепотом спросил Вовчик.

— Те, те самые, они у стены стояли снятые, я... — зачастил было Окурочек, протискиваясь на волю, но Вовчик резко оборвал его.

— Гляди, спутал если — крышка тебе.

Он не то чтоб пугал, он был уверен, что бич не ошибся, но надо было, необходимо было обозначить сейчас свое главенство. Бросив ставню ненавешенной, так же бесшумно, как взошли, они проскользнули по ступенькам вниз, и, озираясь по сторонам, побежали к недалекой ограде.

— Спят, парень, спят, — сам себя успокаивая, давясь сквозь всхлипы прокуренных легких, выдавал бич, когда они на секунду остановились у большой, еще помещицкой липы.

— Ладно, пронесло вроде, — мрачно подытожил Вовчик. — Давай по воде, да перцем присыпь — собакам, падлам, чтоб нюх отбило.

Он без оглядки припустил по кромке болотины, стараясь поменьше чавкать сапогами, а Окурочек засуетился за спиной, рассыпая перец, и вскоре догнал его. Испугавшись чего-то, он бежал быстро и шумно, за что незамедлительно сподобился тычка в зубы, но проглотил его и пошел за своим командиром, попритихший, тщательно ставя ноги в намочших офицерских ботинках след в след. Окурочек привык к побоям, мокроте, службе настолько, что почти не обращал на них внимания, лишь больше сутулился да ниже пригибался к грязной земле.

Они вышли на лужок, и, зачистив по высокой траве, вскоре очутились у стен Монастыря. Вовчик на секунду замер, вглядываясь во Фрицевы окна, но там свет не горел, да и вокруг не было ни души, и, что удачно, дверь в кочегарку, летом бездействующую, была приоткрыта. Вовчик заглянул внутрь, и не найдя там ничего опасного, зашел, приказав Окурочку стоять на стреме. Старичок покорно пожевал губами и сел возле двери, полагая, что так меньше привлечет чье-либо внимание.

Спустя недолгое время появился освободившийся от мешка Вовчик. Он был подозрительно весел и вертел в руках увесистый целлофановый пакет.

— Пошли, доходяга, — шепнул он на ходу, и скоро они уже сидели в старом фургончике за наспех сколоченным столом, словно час назад и не выходили отсюда.

— А, знаешь, я было испугался, — признался он Окурочку. — Захожу в кочегарку — тихо, и вдруг, как застнет кто-то из-за печки. Подошел — Бутыла. Тоже бич, навроче тебя, как напьется, так домой не идет, у своих печей долбанных отсыпается. Лежит, ну мертвяк краше, челюсть откатил — сопит. Потрогал я его, потолкал — мертвяк и есть,

они вчера на станции «БФ» покупали в хозмаге, вот его и склеило.

— А деньги-то, ты говорил, оставил? — нетерпеливо перебил Окурок.

— Деньги, не бойсь, деньги, как в банке, шеф порядок любит. — Вовчик достал из кармана мятую пачку, и при свете фонарика быстро разметал ее на две кучки — по пять сотен, как сговаривались.

Окурок тут же пересчитал долю и запрятал, куда-то на теле, в ему одному ведомый закуток.

— Как уйду, деньги перепрячь, — наказал Вовчик, небрежно сгребая бумажки. — А сейчас — давай за удачу.

Он свинтил голову бутылке, оказавшейся в целлофановом пакете, большим рыбацким ножом накромсал луковицу и хлеб и разлил водку по кружкам.

— Ну, давай. — Вовчик опрокинул кружку, крякнул и захрустел луковицей. Зажевав, он вынул из мешка непечатую бутылку и поставил ее на стол.

— Держи, халява, это тебе с барского стола, и чтоб как уговаривались — две недели никуда. Бичуй, как бичевал, бутылки собирай, а ноги не дай Бог сделаешь — из-под земли выну.

Он взял ржавый ножик и картинно воткнул его в стол.

— Смотри же, — напомнил еще раз от двери.

— О говореном говорить не будем, — вяло откликнулся Окурок. Он уже захмелел, и, казалось, погрузился в свои бродяжьи думы.

— Гляди, я днем зайду, проверю — чтоб здесь был, а потянут — сам знаешь, что сказать. Они на туристов подумают — не дорос ты вроде до Николиных досок.

Вовчик вышел из фургона и зашагал к реке, к Колькиной лодке. Петр и Павел — рыбацкий день, и времени до праздника оставалось достаточно, а уж там он своего не упустит, к восьми самое позднее и подкатит. Но сейчас он спешил к Маруське, та, верно, заждалась — обещался ведь ей прийти. Вот и придет, и выложит ей полторы тысячи кровные, и схоронит их баба, и поедут они потом в Баргузин, подальше от проклятого сиволапого Поозерья.

Он оттолкался шестом от берега, погреб немного веслом, чтоб не наводить шороху в деревне, и уже на фарватере запустил мотор. От толчка Вовчика кинуло в корму, лодка заплесала, но он уверенно навел ее на цель — на цыганскую слободу, где ждала его Маруська, и всего небось уже в сердцах изматерил.

— Ниче, то-то обрадуется, — сказал себе под нос Вовчик, и хмыкнул довольно в отпущенные для форсу щетинистые сивые усы.

Окурок тем временем очнулся от раздумий, куда-то сбежал ненадолго, видно прятал в заранее подготовленное местечко большие свои деньги и, вернувшись, откупорил бутылку, и разом отмахнул половину, а другую, запечатав, припрятал на утро в сене и, ни на что уже не глядя, повалился на лежак и уснул.

Ночь меж тем только готовилась отступать. Тучи по-прежнему висели над землей. Где-то в Слободке прокричал первый, шальной петух. Ветерок нагнал туману, и, окутанный им, утонул фургончик, слился с дамбой, словно и не было его.

3.

Сергея проснулся среди ночи от кошмара — снились иконы, две проклятые иконы, за которыми он и ехал в Старгород. В общем вагоне было душно, пьяный сосед, свесив ногу с полки храпел так, что было не до сна. Он вышел в тамбур, закурил. Поглядел в темень за окном, послушал тарахтенье колес — послушал и помотался вместе с ними:

вправо-влево-вправо-влево-вправо-влево. Кривая нога словно была создана для качки — держала тело, лишь особо сильные рывки заставляли вскидывать руки и отжиматься на стенках, и только колеса противно тянули, как Сенька — «Ма-ма-ма-маа-маа», трясло нутро, и Сенька вставал перед глазами.

...Сенька — двоюродный брат, сын тети Сони, был двумя годами старше Сереги. Он носил настоящий парабеллум, правда без обоймы, но найти такой никому еще не удавалось. Простого оружия в лесу была прорва — заржавленное, с заклинившими затворами, оно, как и прочие военные железки, служило надежной подкормкой — раз, два раза в неделю приезжал на телеге Цыган, забирал железо и давал взамен сладкие, посыпанные настоящим сахаром подушечки с кислым вареньем внутри — большую по тем временам роскошь.

На них играли в сёку самодельными картами, и Сенька, самый удачливый, всегда выигрывал. Но долго жмотничать он не умел, раздавал награбленное назад, и они опять играли или догрызали конфетки и отправлялись на новые поиски — Цыган наезжал бесперебойно.

В лес, правда, отваживались ходить только старшие близнецы Железновы — Коляка с Витькой да бесстрашный Сенька — в лесу легко было напороться на мину. Серега собирал железо по обочинам, а потому приносил меньше всех, боялся. Боялся и не скрывал этого.

Труслив он был с рождения — к отцу в сойму его, было, силком не затащишь, и хотя он умел плавать, но купался редко и всегда отдельно от других мальчишек. Он по-своему любил Озеро — днями пролеживал в траве за деревней, следил за полетом шмелей или, подкравшись в камышах к уткам, мог бессчетное время простоять в воде, наблюдая за их кормежкой, и тихо, не вспугнув птиц, уходил, весь синий, промокший и довольный. Птицы были его тайной страстью — одному Вовке он открылся, признался, что понимает их нехитрый язык, понимает с самого, наверное, рождения, когда лежа в старой карнауховской колыбели и разглядывая вырезанную на спинке тетерку-берегиню даже с ней умудрялся разговаривать на непонятном взрослым языке.

— И что он лопочет? — изумлялся отец. — Зинка, может, он у нас немтырь? Парню два года с половиной, а он «папа-мама» не скажет — стрекочет себе по-птичье.

— Ты бы пил больше, — огрызалась мать. — Говорят, с этой водки более всего дети страдают.

Она брала Серегу на руки и убаюкивала. Он засыпал, и во сне видел свою тетерочку, и с ней разговаривал, разговаривал...

Первое его слово было: «Чайки!» Мать вывела его на берег, и он, увидав кружившихся у подходящих к берегу сойм озерных побирушек, потянулся ручонкой и сказал громко и внятно: «Чайки!» Мать чуть на землю не села от испуга. С того дня он начал говорить сразу фразами, легко, ведь слова давно в нем сидели, он только ленился их произносить. Куда как приятней было кричать по-птичье, передразнивать сороку, пугать до смерти кур, или подзывать озерных чаек. С ними он легко сдружился и, когда никто не видел, подзывал их, и птицы слетались, садились на песок, глядели сперва недоверчиво, но бочком, бочком подбирались к мальчишке, давали себя гладить, брали рыбу, что он таскал для них из рыбацких ящиков.

Раз, правда, ему досталось — дед Алексей Платонович, всегда к нему добрый, застал Серегу с чайками и почему-то отчитал. Дед тогда заругался, сказал, что чайки — дуры, попрошайки и кормить их — пустое дело, что воду в песок лить, взял его за руку, отвел к себе в избушку, посадил слушать Библию.

Только Сенька один его понимал и даже завидовал его умению. С Сенькой они ходили глядеть птиц, и тогда Серега преображался, начинал командовать, даже ругался, если брат полз слишком громко,

слишком хрустко ступал, и они замирали на опушке или на бережку, и Сенька шепотом спрашивал: «А что он сказал? А что она ответила?» И Серега переводил. Это и была их совместная тайна.

И вот однажды они забрались в Никольский карьер к ласточкам. Птицы облюбовали глинистый обрыв, нарыли в нем нор и сновали взад-вперед, прилетая с кормом и улетаая за ним в поднебесье. Сперва они смотрели на них, а после Сенька загорелся достать ласточонка и, как ни отговаривал, как ни молил его Серега, полез по обрыву, запустил руку в дырочку лаза и чуть было не достал, но сорвался, поехал по глине, и — невредимый и веселый — уже кричал снизу, звал к себе — на что-то он там наткнулся интересное.

Сенька стоял на коленях и рыл, только глина летела из-под ног, и Серега не стерпел, съехал вниз, и... Сенька уже держал в руках тяжеленный артиллерийский снаряд. В песке, на самом дне ямы, блестя еще хищные, остроносые головки и рядом валялась доска с колючими немецкими буквами от снарядного ящика.

Сенька сразу принялся подсчитывать, сколько запросит с Цыгана за такое богатство. Он не обращал внимания на Серегины причитания и, вконец разозлившись, даже замахнулся на него рукой: «Не хочешь — вали, я сам перетаскаю, маменькин сынок...» — он оттолкнул Серегу, поднял снаряд и попер его к дороге.

Снаряд был, наверное, пудовый — не десятилетними руками такой таскать, но Серега, словно окаменел от страха, бежал впереди, шагах в десяти, боясь даже предложить свою помощь — да гордый Сенька бы и не дал.

А после — ударило от земли, и его подняло и швырнуло в обочину, мордой прямо в крапиву, и он заорал, и вскочил, и тут же упал — ноги не слушались, голова шла кругом, и гул стоял в ушах, и где-то рядом кричал Сенька, кричал надсадно, на одной ужасной ноте, беспрестанно, не прерываясь ни на секундочку: «Ма-маа-маа-ма-маааа...» И он наконец очнулся и увидел: Сенька извивался в пыли, в яме, что разворотил снаряд. От него осталась ровно половина, и эта кроваво-сизая половина еще мычала, еще звала, а Серега, все поняв, пополз вперед, вперед по дороге, цепляясь руками за землю, и плача захлебываясь от пыли и слез, и совсем не чуя боли, но не чуя и ног. Он только раз взглянул на них и, увидев, затрясся от страха, от жалости к ним, к себе, но продолжал ползти, нутром чуя, что иначе нельзя, иначе — смерть. Он полз, оставляя за собой кровавую полосу, пока не увидал телегу и на ней Цыгана. Цыган заметил его, скатился с телеги, поднял, и ласкал, и причитал от испуга по-цыгански, разодранной рубахой наспех бинтуя тело и ноги, и завернул потом в брезент — Серегу начал бить озноб — и погнал в город, в больницу. Серега мотался в телеге, а Цыган яростно избивал коня, и тарахтя, и пыля по большаку, они летели, но Серега не слышал ничего, кроме Сенькиного крика: «Ма-маа-ма-маааа...»

Потом он увидал маленького пушистого ласточенка и стал просить у него прощения, и говорил ему: «Пи-пии-пи-пиии...», и ласточенок улыбался, гладил волосы, и поил его чем-то кислым и сладким, и вкусным, кажется клюквенным морсом, и — после только выяснилось, что то была мама, выходившая его травами, клюквой и медвежьим салом — ведь он почти два месяца не приходил в себя, дважды полежал на операционном столе, и лишился, на счастье, всего-то двух ребер, и двух третьей левой икры.

После этого случая он и вовсе замкнулся, и деревенские решили, что карнауховский Серега двинулся, его стали беречь от тяжелых работ, отец больше и не заикался о сойме, и только братья — Колька и Витька Железновы, понимая, что он не виноват в гибели Сеньки, сперва попытались было звать его с собой, но вскоре отвязались — не в обычае поозерском было лезть в чужую душу.

Отец и мать много работали — мать ходила с отцом в одной сойме, и он оставался на ночь с дедом, уходил к нему в дом на печку, слушал разные истории из Библии. Не любил он только, когда дед начинал поучать — тогда Серега притворялся спящим и подглядывал, как старик читает свои толстенные книги, ломает глаза под керосиновым фонарем...

В тамбур зашли двое, встали у противоположного окошка и пьяно принялись что-то обсуждать. Серега отвернулся, но двое разорались, и он ушел в вагон. Пробрался до своей полки, но уснуть совсем уже не смог. Лежал, ворочался, думал. Не по своей воле впервые за все эти годы ехал он домой, и в полудреме все мешалось в голове: мать, иконы, чайки, Железновы, Надежда, Павел Иванович, Озеро...

4.

Старик хорошо видел вдаль — с деревенского высокого бугра так все вырисовывалось: облака наконец пришли в движение, и, набирая скорость, побежали, понеслись, зашпешили за Озеро, за Черный берег, на Юго-Запад, к смешанным, буреломным лесам, изрезанным зигзагами оковов и воронок, по краям которых произрастают из земли одни лишь пустоцветы сыроежки, да неподдающиеся рже, словно на исполнинских верблюдов кованные, толстые, не охватные пятерней подковы — следы побродивших здесь некогда мохнатых баварских тяжело-возов. Где-то там, за черной полоской горизонта, тучи и пропадали. Здесь же, поблизости, это он уже скорее слышал и ощущал — залепетали кусты, и с вечно наклонной к воде толстокорой липы на него просыпалась древесная чешуя, и где-то рядом захлопала крыльями ворона. По берегу же, над самой кромкой, потянулись из Озера на городские помойки первые чайки. Свободное небо набрало глубину, и в Малых Никольских озерках затеплился праздничный свет, клая начало Петрову дню.

Старик всегда приходил к своей липе поутру. Такая же точно была в его старой деревне, и на эту он перенес свою детскую привязанность — всегда в ясную погоду встречал с ней, рассвет и изо дня в день привычно крестился на солнце, встававшее из-за Николы Дальнего — маленькой моровой церкви, затерянной на островке среди проток и болотин, обрамляющих Озеро с той, противоположной стороны. Поклонившись на восход, старик поворачивался вполборота на левую, плохо гнущейся ноге и клал крест Поозерскому Николе, точнее, его маковке, прораставшей из-за каменных стен Большого Егорьевского Монастыря.

В детстве, а в свои восемьдесят три Алексей Платонович Железнов особо отчетливо помнил детство, его заставляли так поступать старики. Тогда, в ушедшие времена, всему Поозерью вставало солнышко из-за своего Николы, из-за высокого бугра на краю деревни; но деревни теперь не существовало: после войны она не отстроилась, а оставшиеся, перемешавшись с пришлыми, перетянулись поближе к Монастырю, поближе к выдающему иногда хлеб городу, и старик, сохранив в памяти обычай, и в последние двадцать пять лет неукоснительно его исполняющий, радовался втайне, что нашлась в переместившейся округе иная Никольская церковь, с которой можно было сейчас отсчитывать дневное время.

Перед глазом вдруг замоталась, задержалась неясная точка, и он откинул голову, и тогда только разглядел досадную помеху — толстогорбая паучиха тоже встречала день, торопилась, выглатывая задними ножками основу ловитвы. Он подивился, что ум подобрал столь древнее, книжное, неживое слово, чуть сдвинулся на шагок назад и стал наблюдать за ткачихой.

Красота ее была отпугивающе страшна, и все же, все же, в этом копошащемся многоногом тельце, помеченном божественной метой, было что-то притягивающее — было в ее труде нечто неописуемо живое, природное, и хоть сеть — а паучиха, уже закрепив основу, пошла выписывать кружева — предназначалась во зло, на погибель, но вместе с тем была и основой ее будущей плодovitости — ее пашней, ее закромом, ее спасением, и красота, красота раз данного лада, равнокружье и лучистость дневного света были искони присущи маленькой, на миг лишь засорившей глаз хищнице. И вот, готовая уже, заплясала сеть меж ветвей на ветру, а ненасытный бугорок засеменял, засеменял по ветке и спрятался на ней, слился с деревом, превратился в тишайший нарост, и лишь серебряная дорожка, незримая, свободная от цепкого клея, протянулась к выпуклоглазой стерегущей точке.

А он все смотрел на ее ловитву, древнюю, как мир, и столь же прекрасную, и столь же непостижимую: всяк сильный поджидает слабого, и красота, и труд служат природному закону — дают дальнейшую жизнь, и славят, и греет ее ежедневно восходящее солнце, поет ей гимн протекающая вода, и беспечен этот круг, и человек, когда он один, обречен в нем на одиночество, и от него самого зависит, как его принять — с радостью покориться или, печалась, протестовать, стараться побороть необоримое.

Алексей Платонович чуть улыбнулся краешками рта, повел рукой над сребротканым узором и, не повредив его, припечатал ладонью лучащиеся морщинки древесной кожи. Липа гулко отозвалась, и звук растворился, ушел в подножие, к корням, и исчез, и словно от его ласки задрожала крона — то ветер протряс узколистую, склонившуюся к озерной воде шевелюру.

Почему-то вспомнились Миныны слова, что бросил ему раз председатель по-родственному, когда они остались один на один без свидетелей: «Людей ты предал, Лешка, не меня, людей наших советских...», — и долгое время они, слова эти, в мозгу стучали, и был он одинок, ничтожен перед ними, и жгло сердце страшное слово: «Предатель!»

Тогда он маялся, очень маялся, зато потом, на барачных нарах, отлядевшись, вспоминал и горько только хмыкал — не прав был Мина Крутов, ох, как не прав. Теперь, когда столько воды утекло, старое всплывало, но как давно прошедшее, и не страшило, а пробуждало жалость и прощение, но он эти чувства гнал от себя — смотрел на Озеро и так успокаивался — Мину Крутова он давно простил.

Вот и сегодня, восхитившись паучьей сетью, он был спокоен в одиноком своем раздумье — лишний раз убедившись в неизменности сущего, только улыбнулся, только порадовался за неустанную ткачиху, а к будущей ее жертве не было жалости — муха...

Он стоял, с виду бездумно вдыхая воздух, а глаз переключился на ближнее, привычно начал отмечать неполадки: Колькиной лодки не было, значит, опять укатил на ней шаматон Вовчик к цыганам; из Витькиного катера, из носового отсека высывалась нога в узком коричневом ботинке, следовательно, парень поздно вернулся из рейса и поддал тут, на берегу, и здесь же завалился спать. С Вовчиком всего верней и пили, а может, со сторожем с яхт-клуба, а не ровен час, поил внушек дядьку — Сашку, его старшего — вечный позор его, Алексея Платоновича, жизни. Но глаз глядел уже дальше, старик не хотел сейчас думать о старшем — не было у него старшего сына, с тех пор, как вернулся из Воркуты, так и не стало.

Старик глядел на строящееся новое здание яхт-клуба, что лепили для города заезжие шабашники. И так лепили, что и работой стыдно было назвать их труды — один перевод кирпича. И он вспомнил Микеланджело и снова, как тогда, стало стыдно. А так было.

Летом — не на морозе, раствор не застывает, можно бы и класть неспешно, да приказ вышел: «Мигом!» Сложить следовало немудре-

ный склад-временку, и не для себя, а для начальства, а, значит, и думать, казалось, нечего — лепи коекак. Алексей Платонович в те годы уже бригадирствовал. Для немудреного того строительства выделил он двух латышей из новеньких — Микелиса и Якоба, объяснил, что к чему, да пригрозил, чтоб побыстрее — спрашивать же с него станут. К концу смены заглянул, и так и обмер — два рядка всего и уложили над фундаментом «контрики». А работали — что себе дом ладили — кирпичины клали в штабеля, чтоб поудобней доставать, песок ихитрились на лопате сеять, а швы наводили, что на Кремлевской стене.

Налетел, и в сердцах по матушке: и в рот, и в дышло, и по хребту, и в уши, и, как соловьиная трель — в двадцать пять колен, по-бригадирски. Но спокойно так, без малейшего страха, поглядели на него латыши — глаза голубые, тихие-тихие, и так же спокойно, словно сговорились давно, мастерки намочили, травой обтерли, отложили в сторонку, затем рукавицы стянули, а потом уж старший — Микелис, подошел к нему поближе, и прямо в лицо и выложил, так же как и строил — уверенно, но твердо: «Мы плохо работать не научены. Плохо посылай русских работать, а мы не будем». Повернулся, отошел к приятелю, сел на бревнышко. Руки на коленях скрестил и ждет.

Словно молотком по голове ударило — Алексей Платонович налился кровью, кулаки сжал, и — смолчал. Буркнул что-то, переборол себя, и ушел, и больше к ним не заглядывал — дал дело доделать, и пайку не урезал, отмазал перед начальством. И — сошло, как многое, очень многое ему сходило — бригадир же был лучший на зоне. Но и латыши образумились, поняли, что его правда в том деле была, и с той поры крепко его полюбили. Пайку научились они вырабатывать быстро, но при том никогда осечки не допускали — из гордости лучшую кладку вели, хотя про тот разговор никому и никогда бригадир и словом не обмолвился. А вспоминал часто...

И сейчас, четверть века ведь прошло с небольшим, а как перед собой увидал Микелисовы спокойные глаза, увидал и плакнул только под ноги, растер сапогом, и пошел, на палку наваливаясь, к автобусу — пора было к заутрене. Пока ноги носили, своих обычаев он отменять не собирался: другим никогда жить не мешал, но себя соблюдал в законе, потому как по-иному жизни и не мыслил.

5.

Он шел берегом мимо Монастыря, нарочито обходя другой конец Слободки, чтобы, не дай Бог, не напороться на Сашку — того похмелье поднимало ни свет ни заря, но, зная, когда отец приходит к автобусу, он тоже старался в этот час бродить другими тропами. Солнышко все ползло вверх, день занимался хороший, и старик шел, припечатывая мокрый песок сапогом, оставляя после себя два следа и дырки от палки — по песку хоть и тяжелее было пробираться да несказанно приятней — все ближе к Озеру, к воде, к ее успокаивающей плескотне. Как он умудрился без Озера прожить, он и сам часто удивлялся, хотя ничего в том удивительного не было, и сейчас, наконец вольный в своих поступках, он все к нему поближе пристраивался: когда дома не сиделось, выходил на берег, стоял под липой или глядел на воду — наглядеться не мог.

Когда Мина его раскулачил, он в артель не пошел, тогда его по глупости, по молодости тянуло по земле походить. Взял пилу, колун, позвал в напарники Петра Карнаухова — соседа раскулаченного, прихватил Сашку — пацана-семилетку, и пошли они по Поозерью, по деревням — пыльщиками. С той работы навечно скрючило Алексею Платоновичу правый большой палец — как привык он держать пилу, так и не разгибался, и теперь, когда на палку стал опираться, то выточил

ее под руку, с желобком посередине, чтоб палец цеплялся удобнее. Тогда Сашка мало чего соображал, отца в кулаках не числил, орал заодно по деревням: «Кому дрова пилить, рубить, в поленницы ложить!» — и первым на дело бросался, только по малолетству своему скоро уставал и отваливался, лежал в сторонке, пил молоко, что люди подносили. Зато после, когда перед войной забрали Алексея Платоновича и пришло Сашке время идти в военкомат, тогда-то и дал старший слабину, отказался от отца и войну кончил старшим лейтенантом — дослужился до офицерских погон. Дома, уже отвоевав, очухался, увидел, что и офицерское звание и ордена не спасают от косых взглядов. А мать, как вернулся, и на порог не пустила. Обиделся Сашка, вырыл себе землянку, после войны все поначалу в земле сиделись, и зажил обиняком. А когда вернулся отец, на поклон не пошел — сам с усами, железновская порода, уверен был, что Алексей Платонович ни в жизнь не простит. Так помаленьку и скатился, и спился в дым, и стал не Александром Алексеевичем, а Бутылой — работал то кочегаром в Монастыре, то рабочим в Лидкином магазине. А на войне, говорят, разведбатом командовал, и ни пуля его, ни штык, ни снаряд ни разу не цапанули. Не то что среднего Николая, что до пятидесят седьмого всего и дотянул, оставив жене Софье да деду с бабкой четыре малых рта.

Все-таки, значит, вернулся он в мыслях к старшему, вернулся, и знал ведь, что вернется — давно думал о Сашке, хотел, уговаривал себя к нему пойти, Бога молил подсобить, да совесть не позволяла. И хотя был Алексей Платонович, что липа на бутре — Воркута его вопреки всему только закалила — жить, казалось, ему сто лет: длинный, сухой, до сих пор в руках силу не потерявший, но все же понимал умом, что скоро уже, скоро, и хотя жизнь прожил вольно, в законе прожил, а сейчас, перед смертью, хотелось с единственным в живых оставшимся сыном по-новой породниться, хотя б и не породниться, так хоть простить.

Он уже подходил к Монастырю, когда у воды, около дебаркадера, заметил раздетого, в одних трусах Павла Ивановича, увидел и повернул вверх, не хотел с ним встречаться — юродивых всегда стороной обходил. Родился, говорили, парень от немца, когда в Германию всех сволокли, но ведь не его же позор, да и по чести говоря, Клавдия — Мининоя жёне он всегда не доверял, врунья да злыдня была от роду первостатейная. Потому и дразнили мальчишки парня Фрицем, потому и отгородился он от родни, хотя Арсентий, Клавдин сын, за Павла Ивановича всегда горой стоял, не раз заступался. А что толку? Волосатый этот богомаз и Арсентия не признает — дичится. Одно хорошо, что от бабки, от Катерины Лукиничны Успенской кровь, видно, передалась — не зря же в художники пошел, не зря и Николу реставрировать взялся. Не зря, конечно, а чтоб всем поозерским нос утереть.

Три их сестры было — Катька, Клавдия, да его Дарья — дочки никольского батюшки Луки Лукича, что, кроме службы, еще и иконы писал — у них в роду это дело не умирало. Да только потом отправили батюшку на Соловки, а девки что — не наследницы умению. Катерина за Пашку Ершова вышла, его в войну убило, Мина Крутов с Клавдией двоих народил, и сколько ни верховодил колхозом, сколько ни лез на рожон, а тоже с войны не вернулся. Из никольских стариков он один в Слободке остался, он да Клавдия, только она-то ему не чета, с кровати два года не встает, никак ее земля не приемлет.

А кровь Успенская все же сказала, и надо ж так — оба отрезанные ломти — что Фриц, что Серега Карнаухов, Зинаиды, младшенькой его, покойницы, сын. В Москве сейчас доучивается, а как мать похоронил, сюда ни ногой. Но ведь не только к матери на могилу, есть к кому приехать, да не едет, сукин сын. Правда он совсем чудной — убогий с малолетства.

Старику было обидно, что поначалу тянувшийся к нему внук, как подросток, переметнулся к Фрицу. С того, наверное, и не мог простить чудачества егорьевскому богомазу. Поглядел, как тот, худющий, что скелетина, в воду залез — каждое ведь утро окунается аж до конца сентября — поглядел, да поспешил к автобусу, и там, на остановке, как назло — на Сашку напоролся — нос к носу столкнулись. Но мимо прошел, прямо перед собой смотря, заставил сына отвернуться, и от того дурно стало на душе, и уж праздник не в праздник стал.

С бабками на остановке поздоровался, но разговаривать не пожелал, уселся на одиночное сиденье, чтоб не подсел никто, палку между ног ввинтил, к окошку отвернулся, даже на Николу не оборотился — так был сердит. И, как назло, первое, что в церкви в глаза бросилось — привычная вроде картинка с Блудным сыном и, поглядев на нее, только больше замкнулся. Стоял в трапезной, как истукан, и хор, словно не ему и пел: «Перьво-прес-толь-ные апо-столи, Петре и Павле, молитесь Бо-га о нас...» Не до Бога было Алексею Платоновичу, не до Праздника, и даже когда к кресту прикладывался, горечь из сердца не ушла. Сердце разболелось и лишь в автобусе, когда назад ехал, отпустило, и снова глаз стал глядеть живо, и когда шел назад по Озеру в Слободку, то даже чайкам радовался — все ж праздник рыбацкий — что второй престол. И он заспешил, заспешил, наперед зная, что уха еще и не готова, но потянуло с мужиками посидеть, почесать языком, а ради праздника и стопку опрокинуть, а может быть и на вторую расхрабриться. И как подумал об ухе, то защепа-ло под языком и морщины на лбу разгладились, и глаза, наконец-то, просияли, как поутру, засветились, когда смотрел на Николу Дальнего.

6.

Бутыла очнулся рано. Слез с лежанки, добрел до крана и долго пил. Затем пробрался к единственному креслу, застыл в нем, борясь с дурнотой. В безмолвии летней кочегарки он слушал, как трудно настраивается на день тяжело ворочающееся сердце. Бутыла знал, что умрет несомненно утром, вот так, сидючи в жестком кочегарском кресле под несмолкаемый треск дешевого динамика над ухом, разговоры которого много лет как перестал замечать.

Смерти он не боялся, даже в первый военный год не боялся, но и не искал, как некоторые отчаявшиеся, или, хуже того, просто глупые и на передовой не осознавшие, что воюют вперед всего головой, а не силой или надеждой. Ему надо было выжить, вот он и уцелел, надо было отличиться, смыть отцовский позор — он и принес полную грудь медалей. Война не только уравнила его с людьми, но и доверила командовать ими, хотя и попридержала из-за отца, конечно, и так и не расщедрилась на капитанскую звездочку. Нельзя было только ехать домой — правильно советовал ему знакомый особист, но он заартачился, вернулся — мечтал наконец и в мирной жизни пожить человеком, а не изгоем, которому из жалости подносили еду, тогда как отец, исключительно из одной гордыни ишачил на подносявших, целый день ишачил, но не сдавался, не вступал в колхоз, и в упрямстве своем был тогда ему и жалок и противен.

Но судьба выпала Сашке иная, люди оказались злопамятны и жестокосердны, жили еще по древним поозерским законам — единожды прокляв, не прощали до смерти. Только раз улыбнулось ему счастье, вписало в устную поозерскую летопись теперь почти стершуюся страницу.

В сорок седьмом люди только начинали перекочевывать в дома. Сашка же жил еще в землянке. Вернувшись, он вскоре нашел в городе многодетную вдову, и, закрепив с ней брак рождением единственной дочери, перетащил весь этот голодный и многолюдный улей из

городского мокрого подвала в свою землянку, в Слободку. Так бы и перебивались они, уповая на молчавший военкомат — от войны Сашка отходил медленно, а сторожа много ли наработаешь? Да и попить он уже начал. Случилось же как в сказке.

Вылез он поутру на свет, на свой косогор, видит, прямо на него от Монастыря движется группа, а впереди всех — двое. Сашка было отвернулся, да начальство само заметило. Высокий с коротенькими усиками заорал еще с ходу: «Это что же, страна строится, а вы, как кроты, в землю попрятались? Обленились!»

И такое зло Сашку взяло, а страху нет. Набычился, глянул исподлобья, и сам в крик: «Ты мне, командир, пропись не читай, пуганый. Где я, покалеченный, себе один дом сворочу, а от Святого Духа помощь пока не поступала. Может, ты мне лес для избы привез или работников бесплатных выписал, что так глотку дерешь? Таких-то вояк мы нагладелись. На — суди зараз, хуже все одно не будет!»

Шагнул на него и ворот рванул, на миг как зрение отшибло, не видел словно, что вся свора сзади наперед подалась, готовая уже и руки крутить.

— Отставить! — это псов своих начальник остудил, а потом уже и к Сашке поспокойнее: — Кто таков?

— Гвардии старший лейтенант Железнов.

— И что, много таких храбрых офицеров в землянках зимуют?

— Шестнадцать семей, товарищ командир, — выпалил Сашка, шиленько-то без знаков различия была.

Тут уж матюги на второго посыпались, что рядом стоял, на секретаря обкома, как потом выяснилось. И тра-та-та, и тах-перетах, и лозунгами, а о деле под конец: «Чтобы немедленно поставил восемь сборных домиков. Люди жить должны, а не в окопах ютиться, мало они в войну навалялись?! Смотри, — уже отойдя, пригрозил, — беру на карандаш — не построишь, пеняй на себя!» Повернулся, и не попрощавшись, пошел к Монастырю, а за ним и свита затрусила, некоторые даже Сашке руку напоследок пожали — крепись, мол, будет тебе жилье!

И верно, в том же месяце завезли и отстроили, только не восемь, а четыре, и Сашке, как главному закоперщику, половину домика отрядили — две комнаты, а других уж как удалось распахали. Но благо то во вред пошло — люди снова озлобились: «Сашке одному поддома отвалили!» Но Сашка смолчал, а про себя загордился, что от власти заслуженно дом получил, и поселилась тогда в сердце надеждишка, думал, вспомнят в военкомате, вызовут, определят на место. Два года ждал, сам, конечно, напоминать не ходил, но после понял — против судьбы не попрешь. Так и зажил. Поначалу любил эту историю в картинках расписывать, но после перестал — люди стали лучше Сашкиного жить, нечем стало хвастаться. И по сей день остались два барака, и ни у кого, кроме Бутылы, язык не повернется их домами обозвать. Стоят на отшибе около шоссе, покосившиеся, некрашенные, словно вещественные доказательства той давней легенды. И некуда Сашке переезжать — дети поразбежались, все из Старгорода уехали, а Анна Сашкина все живет, все пилит его, вот он и перебрался в кочегарку, здесь за печкой и спит, здесь и загнетса поутру в кресле — это он давно решил.

Но сейчас, отходя от ночи, Бутыла ни о чем не думал, вслушивался только, как сердце, водичкой орошенное, оживало, унималось, в норму приходило. Но знал, что это временно, минутная передышка — не воде его ноги поднимать — знал, а потому слез с кресла, дошел до лежанки, и вытащил из тайничка заначку — аптечный флакончик с календулой — один-единственный махонький, и выпил разом, а флакончик забросил за угольную кучу. Теплом обдало голову, обогрело, оживило по-настоящему. Теперь можно было и умыться. Он недоуменно поглядел на руки, черные от угля, на брезентовые штаны — пе-

репачканные так, будто всю ночь по антрациту лазил, и что-то шевельнулось в мозгу похожее на воспоминание — мешок какой-то он вроде перепрятывал, но какой, куда, зачем, и было ли это в самом деле ночью, и ночью ли, он вспомнить не сумел. Ничего, день длинный, решил Бутыла, подошел к крану и долго мылил руки, мылся тщательно — Праздник!

Он заранее уже предвкушал, как станет варганить уху — у него и дрова были запасены, и котел большой намыт загодя — это была святая его обязанность из года в год неустанно исполняемая, и он дорожил ею — в Петров день забывались обиды, даже отец, бывало, бросал ему словечко-другое за столом, и рыбаки подкалывали счастливого повара добродушно, а не язвительно, как случалось в будние дни. Он отбился ветошью, глянул в осколок зеркала и вышел на улицу.

День только-только начинался, и Сашка, чтоб убить время, направился по обычному маршруту вдоль кустов, вдоль пляжа, с субботы там оставалось много пустых бутылок. Сашка спешил опередить несытного Окурка — главного своего конкурента, и заранее уже устался в землю, а потому чуть не налетел на отца. Нечаянная эта встреча, еще не праздничная формально, и отцовское всегдашнее молчание его расстроили, и он походил немного для приличия, и, набив пол-авоськи, уговорил себя идти на поклон к Фрицу — иначе не дотерпеть ему было до праздника, сердце опять забарахлило, затребовало добавки — одного пузырька было явно ему маловато.

Павел Иванович Бутылу всегда выручал, наливал на дне кружки денатурату, но делал это тайно, чтоб никто не видел, и Сашка обращался к нему лишь в крайнем случае — берег золотое свое дно, боялся однажды надоесть. У Павла Ивановича и сырец водился, но его Бутыла никогда не просил, знал только, что есть, но и мечтать о нем не думал.

Он вернулся в кочегарку, занес авоську, но бутылки мыть не стал, бросил в ящик под стол, поглядел на высоченную кучу угля, вспоминая, лазил или не лазил на нее ночью, и если лазил, то зачем, но так и не вспомнил, а проверять, искать тот приснившийся, видно, мешок — охота была пачкаться! Он затворил дверь, навесил щеколду и нагнулся к земле, ища палочку, чтоб заткнуть пробой, и увидел крест. Большой, драгоценный, весь в разноцветных эмалях лежал он на траве около самой стенки. Бутыла крикнул от изумления, но разглядывать внимательно не стал, сунул за пазуху и зашагал к Фрицевому дому. За такую находку можно смело требовать бутылку сырца, а может и две — Фриц ценил всякое старье и платил ребятам копейки, если они приносили что-нибудь ему понравившееся. Но такого большого и богатого креста у него, пожалуй, что и не было. Откуда он взялся, Бутыла не думал — потом, втихомолку опрокинув шкалик, он все и обмозгует — рыбаки в Озере только сети выбирать начали, так что времечко в запасе имелось. Он почти бежал к спасительному каменному дому у дороги.

7.

Фриц вышел сразу, Бутыле даже показалось, что он поджидал его, спрятавшись за дверью, проглядывая дорожку от калитки в глазок, — только стукнул, как дверь отворилась и Фриц появился на крыльце, и поздоровался, как всегда, когда были они наедине, назвав не именем-отчеством, а дядькой.

— Здравствуй, дядька Саша, что так рано, не утерпел до Праздника?

— Да нет, Пашка, я по другому... — Бутыла шагнул к двери, но Павел Иванович повел плечом, словно не хотел сегодня запускать

внутри, и на его движение не среагировал — остался стоять, глядя выжидающе, как-то по-особому.

— Мне бы, Пашка, в дому сподручней, — намекнул Бутыла. Фриц неохотно уступил, пропустил его в комнаты. Одна — рабочая, была плотно затворена, а другая, маленькая, с низкой голой кроватью в нише (постель была убрана в ящик) сияла чистотой, словно приглашала дорогого гостя. Туда Бутыла и направился, на ходу соображая, какую такую подружку прячет в мастерской хитрющий Фриц. То, что ночевали у него девки, знали все, но никому еще не удавалось схватить Павла Ивановича за руку. Если назойливый гость задерживался, оставаясь третьим, Фриц обычно становился мрачным, скучнел, замыкался, но никогда не гнал, и, изредка поддерживал чуть тлеющий разговор, выжидал, и, случалось, просиживал так до утра и перед рассветом стелил «гостям» в мастерской, а сам в одиночку уходил к себе в спальню и замыкался там порой до вечера — отсыпался. И сейчас, не иначе скрывалась в мастерской девка — разве стал бы Павел Иванович принимать Бутылу в спальне, да еще «светить» чистую постель?

— Ну, что стряслось?

— Вот, Паша, принес, в твоём доме целее будет, — подчеркнув слово «принес», Бутыла протянул находку.

— Откуда взял? — тусклым, безразличным голосом спросил Фриц.

— Человек один подарил, понимаешь, — соврал для солидности Бутыла.

— Ну и ладно, — столь же буднично отозвался Фриц. — Крест, в общем, хороший. — Он приладил его на полку, словно крест тут век стоял среди подобных бронзовых иконок-складешков, распятий, самоваров, сухой травы и прочей умершей рухляди.

— Вот-вот, и я думаю, что хороший, — зашепел Сашка, боясь, что прижимистый Фриц станет сбавлять цену, — богатый крест, не в каждом доме такой раньше висел.

— Не в каждом, это точно, — согласился Павел Иванович. — Что за него хочешь, налить, наверное?

— Не мешало б, — кивнул Бутыла. — По такому случаю не поспуись, Пашка, дай спиртишки.

— Можно и спирту, — кивнул Фриц. — Ты бутылку захватил, нет? — О, как пожалел тут Бутыла, что о главном впопыхах не подумался. И когда Фриц ушел в мастерскую, Бутыла сидел, как на угольях, выжидая, уже прикинув в уме, что на две тот вряд ли расщедрится — по неписаному закону коли не запросил, да сам не дал тару — расплачивались одной. Но Павел Иванович вернулся с большой бомбой из-под портвейна и Бутыла облегченно вздохнул, ведь в пересчете на водку получалось три бутылки, и Сашка сразу же решил, что часть он отопьет сейчас, часть оставит в заначке, а частью, пожалуй, поделится с рыбаками, внесет свой пай к столу более весомый, нежели котел и дрова.

— На вот, — Павел Иванович протянул бомбу, но не сел, как бы подгоняя Бутылу уходить. Но того упрашивать не надо было — принял бережно, сунул в глубоченный карман штанов.

— Значит понравился тебе крест? Ну ладно, я и рад. Они теперь, говорят, в моде за границей, что за них, что за иконы, длинные тысячи платят.

Но Фриц и ухом не повел, спросил только:

— Ты, дядька Саша, если того мужичка увидишь, приглашай ко мне, у него еще-то что есть из подобного?

— Не знаю, Пашка, я ведь не спрашивал, но если есть — донесу, за мной не пропадет, ты меня знаешь. Ну ладно, с Праздником тебя, спасибо, что выручил, побегу я — мужички скоро домой подаваться станут — надо костер разводить.

Откланявшись, он ушел, а Павел Иванович проводил до двери и, переждав, пока Бутыла скрылся в Монастыре, вдруг поспешно запер дом и, озираясь, побежал к шоссе, а там свернул к Поозерью.

Тот, кого он выглядывал, сам выкатил из Слободки на казенном мотоцикле: в белой каске, при всем параде, и если бы Павел Иванович не поднял руку, вряд ли бы затормозил поздороваться — Венька Крутов — сержант милиции — спешил к утренней поверке в ГАИ.

— Голосуешь, Павел Иванович, так у меня сзади места нет, — пошутил сперва парень, но по взволнованному лицу понял, что дело нечисто.

— Венька, похоже, Николу сегодня ночью ограбили, Бутыла мне сейчас крест принес — точь-в-точь Николин. Если я не прав, слава Богу, но знаешь... Поезжай, в общем, в Заповедник, а я наискосок, через дырку прибегу. Если да, жди. Ключ у меня одного, у сторожей нет.

— Да как же, дядя Паша...

— А так вот, Венечка, лупи скорее и дождись меня, в любом случае дождись.

Мотоцикл взревел, вспугнув с карповника у дороги стайку громкокрылых крикух, и они побежали — мощная машина, и, сразу отставший, уклонившийся вправо, худой, длинноволосый реставратор, презрительно именуемый в Поозерье Фрицем.

8.

Венька ехал нарочито медленно — обмозговывал происшествие. Судьба дарила шанс, и упустить его — значило навеки застрять в ненавистном ГАИ. Интересно все же, зачем конкретно вызывал его капитан Ярышев из розыска? Капитан к нему благоволил, знал, что Венька мечтал о розыске еще со школьной скамьи, но и о строгае, правда, тоже знал, может, хотел помочь? Ясно одно — никто лучше Крутова Монастырский угол не присмотрит — участковый тут был из городских, появлялся в Слободке раз в неделю по обещанию. А Венька, например, уже выведал, что пришла вчера в яхт-клуб ленинградская шхуна, очень, если приглядеться, странная шхуна — частная, и народ на ней весьма подозрительный понаехал — то ли фарцовщики, то ли художники, кто их разберет, но что важно, сразу же по прибытии закатали они пьянку и одним коньяком поили; и сторожа, и тренеров, и Бутылу, между прочим, — он на дармовщинку всегда тут как тут оказывался. Бутыла, конечно, не крал, но навести по пьянке мог. Такую версию следовало проработать. Впрочем, сейчас, пока время не упущено, надо было со всех концов начинать — первым делом выходы из города закрыть, установить наблюдение за гостиницами, за автобусами — в Николе явно не местная рука поорудовала, но... Откуда же крест у дядьки Саши оказался?... Вызов, ясное дело, с Бутылой был связан — и важно было оправдать доверие, тогда и строгач снимут.

Получил его Венька по глупости. Надежка Железнова ему анкету подпортила. В школе еще у них начиналось, но, собственно, до выпускного ничего и не было, а там всего раз и распустил руки, и шиш, главное, получил, не простила, да еще в отместку Серге Карнаухова увела — нашла тоже как наказать — инвалидом чокнутым прикрывалась. Он его отметелил на следующий день сгоряча, так Надежка и вовсе здороваться перестала. Но на проводы в армию пришла, Серега, как он понял тогда, для отвода глаз был. И даже поцеловались. Венька ей из армии написал — прощения попросил, но разве Надежку сломишь: «Приезжай, ждем тебя все». Все — это не она одна. Решил до дембеля отложить, не писал, выдерживал характер, думал поймет, забудет, но не в обиде было дело. «Не люблю тебя, Венька», — и все. И точка.

И этого уже не мог стерпеть, и словно бес вселился — загулял с Маруськой Будулаевой, лучшей ее подруженькой, но не долго и погулял — дружинники повязали в ресторане — подрался с химиками, и... плакал розыск — строгаж с занесением. Пришлось в ГАИ еще на год задержаться. Так что выходило, сегодняшняя история решающая, поймает преступников — простят.

Но больше он даже не о прощении думал — зло у него вскипало, как тогда в ресторане, — до чего ж он эту мерзость ненавидел — все сюсюкаются с ними, цацкаются, на лечение бесполезное направляют, или на химию, болтают о гуманности, и кто болтает всех больше — тот кто эзка настоящего в глаза не видел. Они же не люди, они зверей хуже — в карты человека проиграть, иконы стащить, девчонку изнасиловать — для них ничего святого нет. Потому и просился в розыск, там делом люди занимаются, а не сшибают по трешке на выезде, а потом пьянствуют взаперти. «Не пойман — не вор» — вот главный гаишный принцип, и ничего, сходит с рук — это не то, что его раскрутили, и за кого, за химика, за бича проклятущего...

И все — Надежка. Никак ее, стерву рыжую, забыть не мог, даже сейчас, поманила бы — пошел, жи на что бы не посмотрел. Маруська, правда, говорила, что Надежка Серегу любит, но какой там Серега — знал он, знал за ней делишки, Маруська рассказывала, как она на поездах ездила... А, впрочем, что Маруська — цыганка шалавая, шмара...

И так, в душе обругав, отошел немного, и опять принялся о деле думать, и незаметно подъехал к Угловому Дому, мотоцикл заглушил и пошел на второй этаж к капитану.

9.

Уже совсем рассвело, люди просыпались и начали ходить по вагону — только пьяный на соседней полке храпел так же беззаботно, как и ночью. Поезд встал на последней перед Старгородом остановке — здесь задерживались надолго — пропускали ранний ленинградский. Серега вышел на перрон, покурил с такими же, как и он, мужиками, поднятыми ни свет ни заря духотой общего вагона, но стоял в сторонке, глядел, как мужики забавляются с пристанционным щенком, глядел и вспомнил вдруг Карайку.

...Маленький, пушистый клубочек на кривых ногах, с большой квадратной головой, мешавшей на бегу — щенок был трогательно беззащитен. Ребятяна беспрестанно его теребила, и щенок отбивался, как мог, старался ухватить своих мучителей тоненькими молочными клыками. Такое его поведение вселяло в Кольку, раздобывшего пса где-то в городе, уверенность, что собака вырастет злой и сильной, и Колька, особенно когда был в подпитии, любил науськать Карая на щебечущую от восторга уличную малышню.

В тот год рыбаки стали брать Кольку на дядюшкино место — Сергин отец утонул по весне, с перепою шагнув с соймы прямо в воду у пристани. Витька, в отличие от брата-близнеца, устроился слесарем в автобусный парк, и уже тогда, до армии, начал зашибать деньгу, ремонтируя налево частные машины. Одна была беда — мужики, как-то сразу оценив его умение, а значит, выделив из общей массы допризывников, частенько стали ему наливать, и если Колька получал свою дозу на берегу после прихода соймы и продажи улова, то Витька подавал в своем сарайчике, или на работе. И мать Софья Минаевна и дед Алексей Платонович ничего с ними поделать не могли, одна у них была надежда на армию, точнее на флот — рыбаков, по обычаю, всегда приписывали к Балтийской флотилии.

Так бы и продолжалась эта пьянка, кабы не помешал Карайка.

Витька, в отличие от брата, песика невзлюбил, всегда норовил походя задеть, откинуть ногой, наподдать под зад. Кольку это злило, и

брат, замечая его злобу, только больше усердствовал: «А пускай не лезет. Завел сторожа, так сажай на цепь». Была, конечно, тут доля истины — нечего баловать, по рукам пускать — сторож, он сторож и есть. И раз выплеснулось, и Серега почему-то оказался еще и виноватым.

Они сидели с Надежкой — младшей железновской сестренкой около их дома на лавочке. Разговор не клеился, и они повозились с Карайкой, и вскоре забыли про него, не заметили, как он убежал и, забравшись в Витькин сарай, натворил там дел — утащил и изгрыз журнал с радиосхемой. Они слышали визг — Карай, как ошпаренный, летел из дверей. За ним с плотницким топориком в руках несли Витька. Правое ухо у песика было в крови.

Карайка бежал изо всех сил, и слабым своим умишком соображая, где бы укрыться от мучителя, лучшего не выбрал, как забиться под ноги Сереге. Серега поднял его, прижал к груди, готовый защищать, но где было ему устоять против рассвирепевшего и пьяного Витьки. Тот налегел коршуном, без разговоров рванул собаку на себя, для пущей убедительности съездив Сереге по физиономии. Хорошо хоть зубы не вышиб — примочил только нос, и пока Серега утирался да отталкивал перепуганную, повисшую на нем Надежку, Витька-губитель уже ушел далеко вперед.

Все же Серега догнал их, и попытался было заступиться за щенка снова, но Витька замахнулся топориком: «Цыть, пашенок, скройся с глаз. Отрублю вот ему голову, чтоб не совал нос, куда не следует... Коль не садят на цепь, так нечего ему тут...» — он не договорил.

С берега, из-за бугра, поднимался Колька. Поднимался тяжело, успел уже выспаться с утреннего, еще добавить, и опять выспаться, и сейчас спешил домой — похлебать супа и переодеться к ночному лову.

— Куда? — Колька загородил дорогу брату. Заспанные, тяжелые его глаза наливались знаменитым железновским упрямством.

— Пусти, Колька, я ж не шучу, — брат брата знал хорошо.

— Куда? — на той же ноте переспросил Колька.

— Пусти, на хрен, дай пройти, — не отпуская притихшего с испуга щенка, настаивал Витька.

— Куда? — уже грозно рявкнул Колька, ни на шаг не уступая.

— Уйди, брат, — лоб насуплен, брови сдвинуты.

И не утерпел Серега, встрял между ними:

— Кольк, а Кольк, он Карая рубить на берег несет... — Витька снова его отпихнул, и Серега покатылся с бугра, но затормозил, зацепился руками и пополз наверх.

— По какому такому праву? Отпусти пса! — до Кольки начало доходить, и он потянулся рукой к щенку.

Но Витька руку отвел, отпрыгнул назад, угрожающе поднял топорик.

— Не подходи — зарублю, — он уже вопил.

Но и Кольку сейчас было не остановить. Он метнулся к поленице и, ухватив чурбак, поднял его над головой и попер на брата.

— Руби, руби, падла, — приговаривал он, и тут собравшийся с силами Серега опять выпрыгнул, опять встал между ними.

— Перестаньте, вы что, осатанели! — он рванул Карая из Витькиных рук, и наверняка заработал бы топором по лбу, кабы не Колька. Тот свирепел, когда ему вставляли поперек дороги, и сейчас, сам того не желая, спас Серегу, вломив ему по уху кулачищем.

— Прочь, прочь с дороги, я ему покажу! — Серега отлетел как мячик, в другую сторону отлетел истошно скуливший Карайка и, плюхнувшись в дорожную пыль, вскочил и драпанул за поленицу.

Витька же, подловив момент, когда брат на секунду замешкался с Серегой, рубанул со всего маха, и Колька только и успел, что вскинуть правую руку, отводя удар. Топор прищелся по чурбаку, откусил

от него стружку и проехался дальше — по руке, рассек тыльную сторону ладони и завяз, где-то чуть не доезжая локтя.

Дальше был нечеловеческий рев — Витька орал с испуга, Колька от ярости. Витька несся по улице, а за ним, заливаясь кровью и подхватив выпавший топорик левой, бежал Колька, но, слава богу, не догнал.

Две ночи потом Витька не ночевал дома, а после инцидент был исчерпан — виновный выставил водку и все слободские допризывники здорово тогда напились. Сухожилия Кольке сжили, но гипс пришлось поносить ему с пол оставшегося года, а после пришло время идти во флот.

Когда же они вернулись: в клешах, в тельниках, с обветренными лицами, крепкие, как вновь отстроенные и просмоленные соймы, то случай и вовсе забылся, превратился в очередную слободскую легенду. Братья немного пошумели, как и положено дембелям, но вскоре женились, впряглись в работу, и Витька тут же отделился — жена у него была строгая и при ней он пить особо побаивался. Сперва жил на частной квартире у соседской старушки, вкалывал в своей мастерской день и ночь и, накопив денег, начал строиться и отгрохал наконец свои каменные хоромы. Только поставив дом, позволил себе перейти из слесарей на автобус — почище, и не так хлопотно, но приработок не оставлял, все свободное время горбатился — гнал монету.

К Сереге же после того случая, братья почему-то стали относиться с нескрываемым презрением, словно сговорились перевалить на него свою вину. После флота, правда, все стало сглаживаться, но с той истории осталась Надежка. Началось все со щенка, с того побоища.

10.

Надежка перепугалась до смерти. Она подняла Серегу с земли, утянула за поленницу, и они сперва посидели там какое-то время, и она жалась к нему, вся дрожала, как только что жался к ногам Карайка. Нос и ухо пухли — Серега чувствовал, как они горят; до уха больно было дотронуться, из носа текла кровь, и он запрокидывал голову, слатывал ее, но никак не мог унять. В результате перепачкал рубаху, Надежкино платье, и руки и лицо стали противно липкими.

— Пойдем, надо умыться, — она повела на берег, кустами, дальше от деревни, за турбазу, к Озеру — ей страшно было оставаться там, рядом с братьями. Серега приобнял Надежку, и шел, шел с ней петляющей тропинкой, что проложили мужики, резавшие здесь лозу на корзинки. Наконец показался просвет и на травяном пятчке, около старого кострища они сели на берег. Надежка все никак не могла прийти в себя, все повторяла: «Ой, что же теперь будет, Сереженька, что же теперь будет...» Он и сам не знал, что же теперь будет, и кто там кого в конце концов порешил. Сидеть в бездействии было тяжело — он снял рубаху, намочил ее, приложил мокрый рукав к носу, и кровь перестала идти.

— Как же они тебя...

Теперь только она заплакала, беззвучно, как-то умильно шмыгая носом, и вытирала рукой слезы, а они все сыпались и сыпались из глаз.

— Звери они, истинные звери, как напьются, ни мать, ни деда не слушают — кандальники. Не могу я так больше, Сереженька, не могу я с ними. Маму в гроб вгонят и не оглянутся — вот увидишь, дойдет до того дело. Нет, уеду я отсюда. Кончу десятилетку и уеду. Буду свободная, сама по себе. Знаешь, — она немного успокоилась, — мы с Маруськой решили — отучимся и поедем в Москву, в киноинститут поступать. А? Как ты думаешь?

Сергеа стушевался: слишком близко он к ней сидел, слишком горячо — глаза в глаза — глядела на него Надежка. Он смолчал.

— Нет, сюда меня больше калачом не заманишь. Хватит. Мы с Маруськой так давно решили — ее ведь тоже отчим со свету сживает.

— Ну тебя-то, тебя-то кто сживает? — изумился Серега. — Тетка Соня в тебе души не чаёт, и дед...

— Дед? Дед тебя, дурака, любит, все за тобой подглядывает в свое окошко, обижается, что ты к нему перестал заходить, ревнует к Фрицу. А меня только блюдет, наставляет, как жить. Надоело. Сама себе хочу хозяйкой быть. Нет, Сереженька, уеду, вот так-то!

Она совсем успокоилась, даже язык ему показала. Скинула босоножки, схватила его рубашу, и бегом пустилась к Озеру, застирывать. Он сидел, глядел на нее, на расходящиеся от стирки круги, и ему вдруг страшно захотелось подойти так вот сзади и поцеловать в шею, прямо под рыжий, веселый ее хвостик, и... он проглотил слюну, и не сдвинулся с места.

Надежка повесила рубашу на кусты, села рядом, уткнув в мокрые колени подбородок и протянула: «Ой, что же теперь будет...» — но уже без испуга, а кокетливо, и снова, дразнясь, показала ему язык.

Солнце садилось. Он покрылся гусиной кожей, Надежка подвинулась поближе, чтоб только согреть, обняла, и — первый раз они поцеловались, и...

И долго еще сидели потом, и она призналась — оказывается Сенька давно ей все рассказал по секрету про птиц. И когда появились чайки, Серега подозвал их, и говорил с ними для нее. Чайки боязливо пятились по песчаной отмели, увидев незнакомку, не подходили ближе, чем на два шага, но не улетали, тянули к ним шеи, отряхивались, вмиг раздувая пух, тянули свое горловое «Кра-ра-ара», словно поперхнувшись косточкой, мотали головами и глядели на них с легким прищуром, косо и хитро, и улыбались, дразнились, и, печатая лапами песок, вразвалочку удалялись и снова приходили поближе и, делая вид, что не замечают их поцелуев, подглядывали и из-под крыла подмигивали Сереге нахальными глазами. Он не стерпел и прогнал их.

На другой день, и на следующий, и после, Надежка вела себя так, словно ничего не произошло. Его поначалу это пугало — какие только мысли не рождались в голове; и страшась, он начал ее избегать, прятаться, подглядывать за ней, стараясь уловить в походке, в голосе, в облике что-то страшное, что снилось ему ночью, но ничего — все оставалось как и было до того вечера. Он переживал его многократно, ему казалось, что обида ее должна быть ужасна, или... Он не находил разумных объяснений и мучился отчаянно. Уходил к Озеру, на то самое место, ждал и в нетерпении рушил башмаком размытую кромку берега, но слетались лишь свидетельницы-чайки и плакали визгливо, заражая его своим легковесным безумием. Надежка не приходила.

И кончилось лето, пошел десятый, последний класс, и в школе мука стала невыносимой, и он тайлся, и на уроках подглядывал втихаря за ней, завидуя Веньке Крутову, у которого с Надежкой, кажется, начинался большой роман. Венька был секретарем комитета комсомола — вокруг него всегда вился народ, и Надежке льстило, что Крутов за ней ухаживает открыто, не стыдясь своих чувств. Она ходила с ним в кино, на танцы — Сереге оставалась роль стороннего наблюдателя. Унизительная, постыдная роль.

Мальчишки поговаривали, с Венькиных слов, что у них там с Надежкой все в ажуре, что, мол, давно, с картошки, и эти разговоры терзали Серегу — он ведь знал, кто первый, он забыть не мог.

Приятелей у Сереги не было, он в них и не нуждался. После школы он шел к Павлу Ивановичу. Здесь было интересно. Здесь собирались разные, самые разные люди со всего города, а часто приезжали и друзья из других городов. Нет, пожалуй, не друзья — поклонники. Стоило раз зайти в домик у дороги, и человек попадался — заворо-

женные, зачарованные, сидели они поздней ночью, и музыка улаживала души, целила, вливала в них покой и красила разные, самые разные лица, и люди прощались излишне вежливо, с показным смирением, снизу вверх смотрели на худого, длинноволосого хозяина и приезжали снова, и привозили подарки, и он привык к ним, а точнее — покорился и за сухим «спасибо» прятал поначалу стыдливость, а потом и удовлетворение, и радость и гордость от этого навязчивого, но душевного неофициального признания.

Какое-то время, весьма недолго, сюда заглядывала и Маруся Будаулаева, и всех больше старалась, всех дольше засиживалась, глядела на Фрица обожающими, преданными глазами. Но вскоре она исчезла так же тихо, как и появилась — видно не для ее вольного нрава была здешняя компания. Исчезла, и место ее тут же заняла другая, а потом еще и еще: одинаково волоокие, восхищенные, глядели они на Павла Ивановича, выражая свою любовь, верность, преданность когда он усталым жестом снимал с полки гусли и играл.

Удивительные звоны рождались от длинных тонких, покрытых мелкими морщинками пальцев, что плясали, подпрыгивая всей пятерней по ладам: то щипали струны, то еле заметно их поглаживали, чуть задевая, то летали, шепоткой сложенные взад-вперед-взад-вперед и гусли выкликали веселье быстрым своим треньканием. Ничего похожего ни по радио, ни по телевизору Серега не слышал — гусли в руках Павла Ивановича умели все, и длинная, как вечер, тянулась мелодия, переливалась, а то гулко урчала: сытая довольная, ластящаяся, то вздрагивала худой скоморошиной, враз рассыпалась, нетерпеливая, напуганная и опять унималась, ползла в душу, слезоточивая, проникающая до глубины.

Старгород, Озеро, стены Монастыря, белый Егорий, старая русская музыка и нестигаемый гуслар-реставратор, непризнаваемый глупыми властями — так приятно было здесь плакаться, стенать об утраченной надежде — здесь она обреталась вновь, здесь все было мило глазу, сердцу, здесь ум отдыхал, здесь жили мгновением, звуком...

Лишь иногда, вдруг, закрадывались крамольные мысли, ведь Серега бывал в доме у дороги каждый день, каждый день в отличие от назежающего большинства наблюдал, слушал, участвовал в действе — и в такие моменты сомненья ему казалось, что скука, усталость, картинное изгойство Павла Ивановича показные, но... стоило тому заиграть, и все исчезало, и свободно лилась песня струн, и их свобода — его свобода, оборачивалась для слушающих долгожданной кабалой, счастливой, всем сердцем желанной зависимостью от его необыкновенного умения.

Когда гостей не было, Павел Иванович учил Серегу рисовать. О надежды, подметив в нем способности, уже не оставлял без надзора, поощрял, но не настойчиво, не понуждал — просто давал бумагу, карандаши, краски, и Серега фантазировал. Павел Иванович лишь изредка указывал на чуждый цвет, но не говорил, какой нужен, никогда не стеснял Серегиной свободы. Только в девятом классе начал ставить ему гипсы, брал их специально в художественной школе, но туда Серегу не пускал, уверяя, что в ней губят глаз и голову, и, заставляя его академически скрупулезно класть тени, всегда ругался: «Научись для экзамена и забудь. Настоящий художник должен быть свободен от мертвечины!»

Для него существовала одна школа, один пример для подражания — иконопись, и, листая альбомы, рассматривая реставрируемые Павлом Ивановичем иконы, Серега с его немой подсказки познавал, сживался с их цветом, сдержанностью жестов, скромностью аскетического колорита. Глаз будоражил мерный ритм скачущих горok и ниспадающих, острых складок одеяний, он подмечал, как светлый, почти чистый голубой переходит в серебристо-серый, как ударом, пятном, выделяется отдельный эпизод, лик, движение, как складывается раз-

беленный фон, подчеркивает чистоту и невинность центральной фигуры, как вспыхивают яркая киноварь или перламутрово-зеленый, как дарят теплоту, глубокою или мимолетнюю, оттенки охры — от глухого коричневого до светло-желтого. И все же, все же сам он порывался рисовать не скупое, но размашисто, не приглушенно, но ярко, не приземленно, но буйно — только фантазия доставляла истинное наслаждение.

Краски заслонили все, даже к птицам он стал наведываться реже, но рисовал их много — почти всегда у него были птицы на листе, и даже людям он исхитрился приделать крылья, и мир на его картинках зачастую представлял увиденным сверху, словно с егорьевской колокольни, и Павлу Ивановичу это почему-то очень нравилось.

Мать ученью у Фрица, как ни странно, не противилась, наоборот, даже хвалила — ей и необычно, и приятно было, что ее сын, ни на что, казалось бы, не годный, вдруг проявил такие способности.

— Глядишь, богомазом станешь, — шутила она, разглядывая его картинки, — все ж успенская кровь, видно, живучая.

Надежка, школа постепенно отодвинулись на второй план. Так пронесся девятый, лето, последний десятый. Так продолжалось до последнего звонка. И вот он прогремел, и после торжеств, цветов, родительского гомона, визга малышей, одноклассники затащили его в закуток под лестницу и налили стакан портвейна. Он захмелел, и плохо соображал, что делает: плясал-хромал на своей кособокой ноге вместе со всеми, а после, к вечеру, собрались ехать догуливать в Слободку, и он поехал с ними, и еще выпил на берегу у костра, и запьянел уже по-настоящему. Все вертелось перед глазами, как на картинке, обретало лишнюю длину и глубину, и простор души некуда было девать.

И тут он заметил, что Венька куда-то уводит Надежку, и он, как и ребята, сделал вид, что ничего не заметил, но зная точно — куда и зачем они пошли — вдруг обозлился на весь свет, отсел от компании на корягу и просидел так с час, пока они не вернулись. Венька шел рядом, слегка приобняв ее, и, не доходя до костра, оттолкнул к девчонкам, а сам свернул в сторону и подсел к гитаристу. Через минуту он уже, как ни в чем не бывало, чокался поднесенным стаканом. Своей небрежностью он, как бы скрывая содеянное, вместе с тем показывал: «Пустяки, мол, ребята, дело привычное».

Надежка же ничего не скрывала — она шла, высоко подняв голову, и складки длинной цветастой юбки колыхались, словно платье королевны. С некоторых пор она усвоила эту горделивую, неповторимую походку, спокойную, полную открытого самодубия и решительности, и только улыбка на лице оставалась прежней — открытой и веселой, и забранные в пучок рыжие волосы подпрыгивали при ходьбе, словно посмеивались над напускной серьезностью их хозяйки. Сереге показалось, что Надежка злится. Он знал, как это происходит — вроде бы ничего не меняется, а только ноздри выдадут — чуть раздуваются да глаза начинают светить яростно, как светили они когда-то в далекое утро, когда он сухо, пересилив страх, поздоровался с ней на остановке.

Против Венькиного желания, она намеренно обошла весь круг и присела с противоположной стороны. Она никого не боялась, никого не стеснялась, никому ни в чем не хотела и не считала нужным давать отчет. Все знали о ее дружбе с Маруськой Будулаевой, успевшей уже прогреметь в школе своими похождениями. Маруська после девятого класса в школу больше не пришла и силком ее туда было не заманить. Ее видали в обществе матросов с речных толкачей, что вечно заывают девчонок покататься и увозят самых смелых на всю ночь. О том, что там происходит, рассказывали не без восхищения. Намекали, что и Надежка однажды плавала через Озеро на самоходке, и Серега был уверен, что так и было.

Надежка словно открыто издевалась надо всеми. Если б не ее общительный, веселый характер, девчонки бы ее возненавидели из зависти, но так, наоборот, обожали и, признавая ее негласное первенство, пытались даже подражать, что давалось им плохо — у Надежки все получалось само собой, естественно, она, наверное, и не задумывалась, как ступить, как поглядеть — просто ступала и глядела и все тут.

У костра сидели парами, парни накидывали на девчонок пиджаки и усердно подливали им для храбрости. Многие, не скрываясь, целовались, для приличия только отворачиваясь в темноту.

Сергеа сидел в сторонке, и вдруг Надежка подошла к нему. В руках у нее была бутылка и стакан.

— Ты что, Сереженька, грустный такой?

Он ненавидел ее сейчас, он весь внутренне задрожал, когда она подседа близко-близко и налила, и он опять выпил, а она допила из бутылки и вдруг зашептала: «Пойдем, Сереженька?..» Он поглядел прямо в глаза, прямо ей в глаза, и вдруг поднялся, рванул ее за руку.

Они шли долго и молча. В белой ночи видны были только контуры деревьев, но он знал дорогу и спешил, и она едва поспевала, и только вначале смеялась, как-то нервно, но он тянул и тянул упрямо, упорно, не отпуская руки, и она замолчала, покорилась.

Он привел ее на то самое место, где когда-то в первый раз ее поцеловал, ему надо было именно сюда ее привести. Надежка упала на колени, она запыхалась, она, наконец, дала волю смеху, так из нее почему-то и сыпавшемуся, и, захлебываясь, прошептала: «Ой, Сереженька, я совсем пьяная».

И он озверел. Озверел от ее смеха, и... мстил!

Утром было опять стыдно вспоминать о ночи, и если б не Венька, подкарауливший на Монастырской остановке и здорово избивший, он бы, возможно, и не вышел к ней. Но он вышел, и она сама теперь повела его на их место, и теперь они разожгли костерок на старом кострище и разжигали его каждую следующую ночь.

Но то было ночью. Кроме жалости к ней, ничего в сердце не оставалось. Но и жалость скоро прошла. Он сбежал.

Тихо, никому ничего, кроме матери и Павла Ивановича, не сказав, сбежал в Москву. Купил загодя билет, рано утром ушел огородам и три часа просидел на станции в закутке за пивным ларьком в ожидании поезда.

Он был почти уверен, что провалится на экзаменах и — поступил. И все забылось. Он даже не знал, приезжала ли Надежка в Москву — боялся спрашивать у матери в письмах.

Он — учился! Он рисовал!

Когда же к концу первого курса пришлось ехать по телеграмме домой хоронить мать, Надежки в Слободке он не застал. Она пошла работать проводницей на железную дорогу и дома бывала редко, налетами — прискочит, разгрузит сумки с продуктами и снова пропадет, а когда заявится снова — никто не знал.

Сергеа уехал и с тех пор в деревне не бывал — тоскливо было возвращаться в пустой дом. Летом ездил на шабашки — гнал оформиловку в северных леспромхозах — зарабатывал на целый год. Но денег всегда не хватало, катастрофически не хватало, и эти деньги, будь они прокляты, в конце концов из-за них-то все и случилось... Из-за них он и ехал сейчас домой.

11.

Клинышек громкокрылых крикух, вспугнутых Венькиным мотоциклом, выстрелил в воздух. Селезни, сбившиеся в тихом закутке на июльскую линию, удирали без оглядки подальше от иглохвостых зарослей карповника, которые обычно, вот уже столько поколений,

смерть обходила, тыкаясь глазом в запретительные щиты Заповедника. Но сегодня звуки с дороги были так опасны, что старый вожак, властно крикнув, выпрыгнул из воды и потянул над придорожными кронами, уводя стаю за Озеро, в недоступные с суши болотистые закуты. Над широкой водой утки снизились, пошли почти над водой, спасаясь от резкого северного ветра. Вожак издала углядел черные соймы, преградившие перелетную тропу, но он их не опасался — во всех странах, что привелось ему повидать, люди, тянущие сеть, были не страшны — он лишь слегка уклонился с дороги, провел стаю почти рядом с бортом, отметив краем глаза радостное возбуждение двух рыбачков, и полное отсутствие всякого интереса к птицам у третьего, сгорбившегося у борта, монотонно дергающего испод, и, как четки в груду, складывающего в кучу каменные плуты-грузила. Утки исчезли, упали в низкий берег, а люди в сойме продолжали сажень за саженью тянуть свою часть сетей, не обращая внимания на запутавшуюся рыбу — работали всем телом, и лишь когда выбрали все до конца, на момент распрямились, вздохнули и бросились наставлять паруса.

Пожилой, сухолиций мужичок с кормы подгонял их — ветер сносил сойму к берегу, и надо было успеть уйти, вывернуть, оставить себе место для маневра. Сам он навесил тяжелый руль, наладил цаплю-правило и запустил мотор на слабую, разворачивая лодку к ветру. Паруса сразу зацепили ветер и потянули сойму вслед за бригадирской, что чуть ушла вперед, уже развернулась и, отключив мотор, бежала галсами — жечь по такому ветру горючее было пустым расточительством. Лодки пошли караваном: посередке на палубах разбирали сети, по ходу сортируя по ящикам рыбу, на кормах замерли рулевые: на первой — Валентин Егорович — бригадир, на второй — Арсентий Минаевич. Север дул хоть и сильный, но равномерный, не порывистый, им лишь изредка приходилось подтягивать за цаплю руль, когда ухо ловило звуки залопотавших краешками парусов.

Арсентий так и правил по уху, больше чем по глазу, курил беломорину, рулил, думал. Думать начал он еще с ночи — бессонница заставила. Потер койку, постонал, почистил у керосинки стекло, намыл с вечера оставленную посуду, подтянул брундук — выровнял ночной ход лодок, отхлебнул из потайной фляжки и уселся, привалившись к каютной двери на воздушке, вперился в низкое, качающееся небо и думал ли, дремал ли — молчал...

Ночью вспомнился ему большой холмогорский гусак с горбатым настырным клювом — Контрик, как прозвала его мать: серый, страшный гусак, что не давал в детстве проходу деревенской малышне, бесстрашный боец, через свою глупую храбрость и погибший: сорвавшийся с цепи Ругай, железновский кобель, враз его придушил.

Вечером мать, клеймя Алексея Платоновича вражиной и кулаком, наябедничала отцу, и тот успокоил ее по-своему — ударил наотмашь, вмиг оборвав бабы причитания и наговоры.

— Молчи, дура, — вдруг рассвирепев, заорал он, — при чем здесь Железнов? Ты бы гуся со двора не отпускала, раз он такой остолоп уродился. Попридержи язык, Клавдия, и впредь в мужские дела не суйся, а то отхожу по-иному — ты меня знаешь!

Отец скрылся на дворе, а мать долго еще скулила, ощипывая несчастного Контрика.

С Алексеем Платоновичем у отца имелись свои счеты — в век не забыть Арсентию подслушанного в тот день разговора.

Отец с Павлом Ивановичем Ершовым, главным его помощником в колхозных делах, уединились на лавочке за банькой. После распития бутылки самогону разговор у них шел откровенный — Павел Иванович что-то упорно доказывал, но отец слушал вполуха, и наконец властно перебил: «Ты, Паша, с другой стороны посмотри, жалеючи — вот увидишь, наш Железнов будет, вижу, что будет наш. Он тихий — думает, ходит по деревням, глядит, не агитирует, как Петька Карнау-

хов — выглядывает, а слабый сильному не помеха. Карнаухов тот конченный был — потому и направили, а ты мне предлагаешь Лешку. Не торопись, Паша, так и прокидаться легко. К ногтю прижать — дело минутное, а вот перекрестить — это важнее. На Лешку же люди поглядывают — один такой у нас остался гусь. Нельзя его трогать — запомни. Он мне теперь дороже родного брата — не дам его — пускай ходит, пускай думает — головастый...»

И сколько ни убеждал Павел Иванович отца, не сдался председатель — отстоял тогда Алексея Платоновича, и только перед войной списал в Воркуту. А мать, выходит, за дело ударил, выходит, отец по-другому думал, тянул до последнего.

Вообще же был отец крут, людей и, верно, не боялся, суд только своей совести признавал. Венька, внучок, Арсентиев сын, тут в деда пошел, недаром еще в школе стащил у бабки фотографию и у себя над кроватью повесил. С первого класса с отцом воюет — дед, мол, герой! Герой, не герой, а с войны не вернулся, что на него, что на Павла Ивановича похоронки пришли, не то, что Алексей Платонович, он же в Воркуте отсиделся. И жалко было, что не успел с отцом как-то поговорить, и, запомнив отца, гордясь им втайне и отбиваясь поначалу от насевшего сына, все ж одобрял Венькино милиционерство, хотя сам бы ни в жизнь к ним не записался — знал свою слабинку, понагляделся с малолетства на чужую силу.

И потянув за старую, незаживающую ниточку, пустился по ней путешествовать, и потекла перед глазами Германия, и уже не прежний детский страх, а горечь невыносимая от прошлой тайны заставила снова отхлебнуть из фляжки. Он глотнул, поморщился, плюнул за борт, и закурил, закачался вместе с соймой, вместе с Озером, с тяжелым предрассветным небом...

Немцев в Никольском не ждали, не верили, и уходить никуда не собирались — в деревне остались лишь старики да дети. Один Иван Ершов, сын Павла Ивановича, как колченогий с рождения, не призывной, оставался за мужика. Но они пришли, отобрали лодки, подогнали к берегу свои катера, и вмиг как-то, никто и ойкнуть не успел, закатали, скрутили, загнали в телячьи вагоны, направили сперва в Латвию, а после уже и в саму Германию, к бауэру. Всю их единую семью: Ивана, недавно поженившегося с Марьюшкой Надеждиной, Катерину Лукинишну, их мать и Клавдию Лукинишну с детьми — с Арсентием и Софьей, поселили в сараюшке на краю хутора, позволили сложить печку на зиму, выдали соломы для снажья и определили в дело. Хуже всех, конечно, пришлось Ивану — в Латвии он из дому прихваченные куклы — поозерские сети пускал в ход — ловил рыбу, и прикармливая хозяина, и своих не забывал, а на неметчине и речки толковой в округе не было — если б не картошка, что бауэр отсыпал, совсем бы они загнулись с голодухи. В конце, правда, совсем голодно стало, да несчастье помогло — Марьюшкин хлеб выручил.

Но жили, не один год жили, волокли лямки. Что война? где? — это как отрезало, и хотя бауэр — герр Карлов, или по-русски — Карла, был не из злых, требовал только, чтоб урок выполняли — все как-то опустелись, даже верховодившая тетка Клавдия — Арсентиева мать, и та стала веру терять, а на Ивана и вовсе смотреть было больно — хромал по двору, как пришибленный — глаза от земли редко поднимал, даже Марьюшка его не радовала.

Марьюшка, кстати, одна головы не опускала. Работала за пятерых, да споро, да легко все у нее получалось. Такой уж характер — чужое, как свое почитала.

— Чего, дура, суетишься, — бухнет ей мать, а с Марьюшки как с гуся вода. Отмолчится, повернется, и нет ее — убежала. С немцами одна Марьюшка и умела язык находить — Карла за то ее ценил, а Карлиха так и вовсе любила, раз даже отрез на платье на Пасху пожаловала.

Права была мать — не следовало с ними якшаться, хотя не было б тогда спасительной муки... Словом, случилось дело под самый конец.

Приехал к Карле с фронта сынок-лейтенант. Рану приехал залечивать. Сперва носил руку на перевязи, все больше на лавочке посиживал — ныла, похоже, рука, он ее бережно так поддерживал, но понемногу зажила. Стал без дела слоняться — отец его до работы не допускал, и, гуляючи, заприметил Марьюшку и глаз на нее положил. Девка беды не знала — над ухажером только посмеивалась, но близко — ни-ни, при встрече подмаргивает Карленку, да что-нибудь забористое и отвесит — он же ни бельмеса по-русски. Распалила его только. Вот и подкараулил, когда Марьюшка с Арсентием остались вдвоем в сарае сено метать, подкараулил и нагрязнул. И с ходу — ворота на засов и к ней.

Арсентий от испуга в дальний угол сенника забился, слышал только, как Марьюшка закричала и... замолкла, и после уже заскулила, когда дверь скрипнула. Так она и лежала внизу, а Арсентий наверху затаился, будто и нет его, пока мать в сарай не заглянула. А как увидела, да поняла, завопила — и на улицу, лейтенантику морду чистить — насилиу ее от него Карла отцепил.

А он все лежал мышкой, ждал, пока Марьюшка встанет, пока, шатаясь, побредет, но и потом не двинулся, все ждал — страшный ему достался час — тишина, темнота кругом, но лежал, и только к самой ночи домой пробрался. И всех застал — не спали.

Клавдия Ивановна шуровала в печке, скорее для виду, чем для дела, а Иван стоял перед нею — руки в кулаки сжаты — видно, был у них разговор до того. Мать Арсентия заметила, цыкнула на него, а потом к Ивану оборотилась и бросила зло: «Ну, чего стоишь, иди — с паршивой овцы хоть шерсти клок. Иди, иди», — она уже примирительно добавила.

Иван вышел и скоро вернулся — припер здоровенный мешок муки — Карл откупался за сынка.

Вскоре все улеглись, кроме Ивана, тот спать в свой угол с Марьюшкой не пошел, уселся около печки на чурбачке, так всю ночь и просидел. А утром Арсентий проснулся раньше всех и подглядел — Иван поднялся с чурбачка, постоял немного, затем на цыпочках подошел к Марьюшке, перекрестил ее и вышел за дверь.

Два дня Ивана не было — думали, на фронт удрал, случилось, что удирали из других хозяйств, не выдерживали, но нет — нашли его повесившимся на дубе в рощице. Там же неподалеку и схоронили.

С того дня не стало Марье житья от Клавдии — не от матери Ивановой, Кати, та, наоборот, жалела невестку, ласкала, как могла, а от тетки родной житья не стало.

— Лучше б ты, сука, повесилась, позорница, — кидалась на нее мать, пережить не могла, что не стала Марьюшка с врагом воевать, а «как препоследняя проблядь легла — ноги расставила!».

Арсентий Марьюшку жалел, хотел было ей рассказать, что видел, но матери боялся — та после Ивановой смерти словно умом тронулась — немцев поносила, а к Марьюшке строго-настрого запретила ему даже близко подходить. Так он и промолчал. Потом, когда уже мальчик родился, и назвала его Марьюшка Пашкой, в честь Иванова отца, тоже как-то недосуг было, да и неудобно, и только гадал про себя — знал Иван о ребенке, или, перекрестив, как бы прощал? Похоже, что и знал, вряд ли бы простил, не из таких был, значит, Пашка не от фрица, но... так всю жизнь и маялся.

Через несколько месяцев преставилась и тетя Катя. Ее похоронили рядом с сыном, поплакали, и скоро странные дни начались — немного они с Иваном не дожили.

Сперва поползли слухи, а после — сбежал герр Карлов, бросил их одних, сбежал куда-то, наказав им тут его дожидаться, полные телеги добра набил и драпанул. И поняли, что пришла час, и засобира-

лись сами, неделю еще раскачивались, решались, и отважились — побрели. И та Марьюшкина мука одна их в дороге и спасла — пекли из нее лепешки и болтушку-затируху варили.

Постепенно обросли людьми — с других хуторов беженцы тоже стали к фронту подаваться. Сбились все в большую грудку и шли ногами по мертвому краю, а утром в лесок забирались — отсиживались. Всех тяжелее в дороге было Марьюшке — она уже носила под сердцем, пузо ей здорово раздуло, но не так своя ноша тяготила, как Клавдины наговоры: «Вот, сучка, понесла от врага, змеина, что же люди-то скажут на Родине?» — всякий раз ее уколоть норовила. Марьюшка только из-за младенца будущего и не наложила на себя руки.

Брели они так, и утром, едва только солнце показалось, поднялись на пригорок, и — навстречу им два грузовика с солдатами. И некуда бежать — поля кругом. Свалились в обочины, замерли, простились с жизнями, и... свои то были!

Ох уж и вой поднялся!

Солдатики-мужики их обступили: спрашивают, жалеют — перемешалось все, где кто непонятно. Потом, помнится, залез пожилой майор на кузов, и оттуда, как с трибуны: «Замолчать! Разойтись! Успокойтесь! Привести себя в порядок!»

Подкатили кухню, накормили их кашей, дали даже хлеба в дорогу. Майор построил беженцев в ряд и приказал всем подчиняться Клавдии Ивановне — старшей ее назначил, как жену коммуниста, председателя колхоза. И покатили солдатики дальше, а они побрели в тылы. И вывела их мать, сдала на руки, а там уж радости мало было: проверяли, перепроверяли, фильтровали, кого-то уводили, кого-то приводили, словом, чудом домой попали. И самое Арсентию непонятное в той истории осталось, что смолчала мать про Марьюшкин живот, не донесла, как грозилась, оставила разбор до дома — поозерская кровь верх взяла: за свой грех своим семейством и судить! Зато как вернулись, отселила Марьюшку, да та и сама ни за что с Лукинишной жить бы не смогла. С той поры как не родные стали. Люди, а не Клавдия, помогли Марьюшке с голоду не загнуться, парня выпестовать.

Маленький Павел Иванович рос замкнутым, и Арсентий всегда за своего племянника ребятню гонял, а, случалось, и в кровь дрался, не допускал, чтоб при нем мальчика Фрицем дразнили, но, что толку, он и Арсентия не признавал, всегда сторонился. Арсентий же, всегда за грех почитая, что не остановил тогда Ивана, не разбудил Марьюшку, все ему прощал. Все сперва хотел перед Марьюшкой покаяться, да не успел — умерла, тошно ей, видно, жить было.

И ему с каждым годом все тяжелей в себе вину носить становилось, а высказаться некому было. Одно время он думал к батюшке сходить, но — никогда не ходивши — как и с чего начать, да и не крещеный был — тут он точно знал, мать с отцом не допустили. Да и к батюшкам веры не было — показное все это — он-то их знал, одно время поставляли они рыбу на архиерейский стол — сумел наглядеться. Другое дело Бог — есть ли он только там, на небесах? Мать всегда заявляла, что нет, а он иногда тетю Катю набожную вспоминал и сомневался, сам не знал почему, хотелось что ли чувствовать, что есть там кто-то? И теперь, когда мать собралась помирать, даже теперь всего меньше хотелось ей поплакаться — не то чтоб боялся, а не хотелось. О жене и вовсе нечего было говорить — девки-бабы — не народ. Отец, тот, может, и понял бы по-мужски, а впрочем, что отец...

Так и прокачался полночи Арсентий с соймой, а когда встало солнце из-за Николы Дальнего, когда начался день и залетали по небу чайки, немного его отпустило. Тут и работа приспела, некогда стало думать, и лишь за рулем сидючи, додумывал, но не с ночной болью, а так, по привычке, чтоб время убить — не думал, сидел у ру-

ля, обняв своими же руками отполированную цаплю, вел лодку да время от времени подавал голос — гнал мужиков менять паруса — перестраивал сойму на новый галс.

12.

Капитан Ярышев встретил Веньку приветливо, неофициально.

— Ну, что, Крутов, и до твоего угла добрались?

Венька про себя отметил, что капитан назвал Поозерье «его» углом, и радостно вытянулся демонстрируя внимание.

— Садись, садись, — Ярышев указал на стул. — Значит, иконы! Что думаешь?

Венька четко изложил свои соображения, все больше упирая на ленинградскую яхту. Ярышев не перебивал.

— Значит, думаешь, не свои? — он изучающе глядел на Веньку.

— Не похоже, товарищ капитан, на кой нашим иконы, их же еще сбыть надо.

— Ну, а положим, купец нашелся, пошел бы Железнов на такое?

— Бутыла? Не думаю, товарищ капитан, навести по пьянке мог, а чтоб грабить... Нет, не думаю.

— Ну а этот — реставратор?

— Так он же... — осекся Венька.

— Ну и что ж, что заявил, — капитан сразу посуровел, — народ у него подозрительный шьется.

— Знаю, товарищ капитан, я уж думал, но не сомневаюсь, он, вроде сам не свой, а, впрочем... никого нельзя со счетов сбрасывать. Главное сейчас дороги перекрыть и отрабатывать варианты, — вдруг выпалил Венька и покраснел от стыда.

— Насчет дорог не беспокойся, — Ярышев перешел на полуофициальный тон, поставил его на место, — а с Поозерьем, Крутов, давай помогай. Поедешь, значит, туда, привезешь мне вашего Бутылу, но не спеши, сперва осмотришь, может, чего сорока на хвосте принесет.

— Так точно, товарищ капитан, — отчеканил Венька, — насчет этого все будет в ажуре. Сегодня праздник рыбацкий — Петр и Павел — мужики уху варят, может, кто чего болтанет. А насчет яхты как?

— Учтем твою яхту, никуда она не денется, а Железнова, значит, мне привези. Бери дежурку и отправляйся, а там по обстоятельствам, считай я тебя на сегодня к угрозыску прикомандировал. Нет возражений?

— Никак нет, товарищ капитан, — Венька прямо сиял, — надеюсь оправдать ваше доверие.

Когда Крутов вышел, капитан снял трубку и набрал номер рыбоохраны. Костя Волков — инспектор, не раз им помогавший в водных рейсах, на удачу специально собирался за рыбой в Поозерье и, конечно же, пообещал провести обстановку. Поозерский вариант заработал. То, что Веньку дублировал рыбинспектор, было хорошо, так и полагалось: доверяя — проверять, и, по возможности, со всех сторон.

Отработав «поозерский», он принялся за «гостиничный», «интуристовский» и «вокзальный» — на этот счет существовала давняя методика: чем шире сеть — тем богаче улов.

13.

Около Троицкого мыса запустили движки — ветер стихал. На день он обычно всегда поуспокаивался, крепчая со второй половины, и начинал показывать силу уже к ночи, если было что ему показывать — иногда неделю молчал, и по зеркальной воде ходили «прогуляться» — какая уж там ловля; но ходили, честно отрабатывали, надеясь, вдруг сорвется, налетит из-за тучи, нагонит судака, вмиг

поправит исхудавшие финансы — не с зарплаты жили летом рыбаки, а с вольной продажи, потому особенно ждали ветра, и не какого-нибудь, а южного, уловистого, богатого добычей. Вот и сегодня ночной южак накидал немного — последний ряж у самой середики весь белел, а это обещало деньги, навар. Арсентий порадовался — будет чем усадить жену, жадную до его денег и равнодушную, как и все поозерки, к судакам. Для еды — лещ, а всего вкуснее сопа, присоленная, да полежавшая денек — с душком, или окушки, большие озерные сахарные окушки, покрытые плотной, мелкой, в зубах застревающей чешуей — беда только, что стало ловиться их мало, и сегодня те полтора десятка, что забежали в ячею, предназначались в котел — для цвета, для вкуса, для наvara. Арсентий подвязал цаплю, нацелив нос на бригадирскую корму, сам взялся отбирать рыбу на уху. Вынул вечный складешок, повел им для порядка по камню и принялся пластать — сперва большую: двух щучек, судачков, лещей и обязательно налима — он, змей, был склизкий, страшногубый — многие старики к нему не прикасаются, брезгуют, знают, кого караулит донная рыбина в беспросветных речных омутах — сосет, словно злая пиявка, утопив мертвяков, — но Арсентий вспорол налиме пузо, и, бросив за корму орудием чайкам кишки, обмыл в сливале печенку — главное лакомство, а щучью икру прополоскал, отложил в стопонку и лишь затем принялся потрошить окушков.

Колька Железнов и парень из колхоза, что ходил с ними третьим, подрабатывая ночами, перебирали сетки, укладывали на борт сушиться, и, подзадоривая своего звеньевого, изредка швыряли ему особо понравившихся рыбин: «На-ка, дядька, этот точно в котел просится!» — тоже думали уже об одной ухе. Арсентий только посмеивался: «Что я вас супом рыбацким не кормил что ли, оголодали? А ты-то, ты-то, Колька, с детства от котла не отлезаешь. Колхозник, ладно, картофельна душа, но ты-то...» Но сам понимал, что Праздник, и ворчал добродушно, самому себе настрой поднимал.

Против турбазы подошли к бригадирской сойме, счалились, перекинулись зубоскадинами: «Ты кого сегодня, Валентин Егорович, ночью в штанах ловил?» — «А — ты?» И лишь счались, приняли конец от пиратского рыбнадзорского «Прогресса», допустили на борт красномордого инспектора Костю Волкова, укорили его бездонный мешок судаками — его мешок забесплатно — за дело, за закрытые глаза, а другого, напарника, из города прихваченного, за бутылку — за первую сегодня, и ее забрал бригадир, унес в каюту, схоронил, а выдаст ли, нет ли на берег — его право — он рыбе начальник. Так, «Прогрессом» повязанные, и вошли в бухту — Волков не отцепился — ему обязательно посидеть, почесать языком надо, ухи поесть, стакашок пропустить — но сегодня такому гостю рады были, любого в долю брали, кто с вином приходил — взяли и Волка с приятелем.

А на берегу уже, что чаек за бортом, стоят, кто на машинах, кто пешком с первого автобуса городского, кто и свои — деревенские, ждут, выглядывают, языки постесали небось дожидаясь. Привезли? Нет? Будьте спокойны, и ветер учли, и когда вчера вышли и приметили, что бригадиров сынок в лодке с отцом третьим — значит, будет рыба — ведь на халяву, по пустой воде не ездит, ему отец жигуленок купил, квартиру справил, и все мало. Судачат. завидуют, а сами не просятся в ночь, не тягали ни разу из косой волны сеть, не мокли в октябре в ледяной каше, не ставили парус, когда все, как на чертовых качелях, а веревка, словно лом, по ногам полощет — одно слово — чайки. Но не будь их — не было б и лова, ведь на их денежки и мотор чинят, и соймы смоят — от директора колхоза помощи не жди, только план дай: «У вас, ребята, судачки колесо вертят, сами справляйтесь!» Так что, как ни крути, а всех дармоедов накорми, на черный день отложи, и после лишь — жене или на бутылку — это уж по своему разумению. Но не жалуются покупатели, рыба — золото, полтора

рубля килограмм — с руками рвут; где ж ее такую, еще дышащую, с глазами фиолетовыми в магазине купишь? Где? Нету! А потому — всем благо, когда сойма с уловом приходит. Всем.

Вот и сейчас — Бутыла на берегу давно суетится, готовит котел, треногу, дрова, ящик с рыбой ему отнесли и забыли про отдых — Валентин Егорович за безмен взялся — сперва за водку отпускал, чтоб Праздник упоить. Потом — за бензин, шоферам в долг, и после лишь наличными — денежками. По пятнадцать рублей вышло — не так и много, как казалось, совсем почитай — ничто, но не в деньгах счастье — сегодня Праздник — Петр и Павел рыбацкие!

Арсентий успел уже стакан тайком пропустить — поднес ему старый корешок с электролампового завода, пришел поздравить, потолкаться и скорей бутылку опростать, заобрить — знал, отольется ему его водка в три раза бóльшей дозой, только б ноги уволочь, потому и поил. Да еще рюкзак сопы набил бесплатно — бери, парень, калягу, валь, сегодня сдачи не будет — «Марат Казей», катерок с рыбзавода, для проформы приклепал — тоже охота подхарчиться.

Но вот и уха закипает — шабаш!

Закрыли брезентухой пустые ящики, замкнули каюты, сползли все на берег, последний раз покричали, позвали желающих, обматерили покупателей, что ноги медленно с берега уносят, и сели, и загремели ложками, захрустели луком, застучали стаканами — начался Праздник — полилось счастье мимолетное, полилась водочка, погнала прочь устаток, недосып, заботы, зло — заголосило застолье мужицкое — бабы все по домам сидят, дожидаются к обеду. А будет ли обед, нужен ли, коли тут уха?! Одних костей уже горы на доски навалили, а глаз, глаз рыбьих, сладких, обсосанных... Эх, понеслось, понеслось!

Праздник на берегу!

14.

Ну все, кажется, на берегу уселись — глоток двадцать гомонит, и общий разговор распадается — пока едят, до серьезного не доходит, травят байки кто во что горазд, слово за слово цепляют, словно сеть вяжут.

— Колька, — Валентин Егорович подначивает. — Где же твой уголовничек бродит, я смотрю, он твое судно прочно арендовал. Он как — цыганской водкой расплачивается или Будулаихой делится?

— Га-га-га...

— Ты, Колька, ему передай, Сапожков меня про него спрашивал — пойдет он к ним в неводные в Гослов? У Сапожкова Санька Лепехин ногу сломал, так ему человек нужен.

— Ага, Валентин Егорович, передам.

— Смотри, я серьезно, хватит парню по сараям ночевать — захочет работать — возьмут его Троицкие в артель, и я слово за него скажу. Последний раз заступлюсь, а то дойдет у него с цыганской любовью до тюрьмы.

— И что ты, Валентин Егорович, за всякую пьянь заступаешься, — встревает, не утерпев, мужик с электролампового. — Таких чело-вечков мы нагаделись: хлеб они называют птюхой. Они не едят, они клюют его, как птицы небесные. Солнце у них — Балдуха, старший — пахан, а сапоги — прахоря.

— Сказано, конечно, красиво, — Валентин Егорович откинувшись, прищуром так на мужика посмотрел, что тому не по себе стало.

— Пьет, говоришь, а оно ведь все пьют, и я, положим, выпиваю. Каждый день, заметь, выпиваю, а ты меня пьяным хоть раз видал? Нет! То-то и оно — потому я пятнадцать лет бригадир при любой погоде, а всего двадцать пять годков рыбку ловлю. А ты сколько лет к

нам ходишь? Десяток будет? Будет, наверное. И до сих пор иглу в руках держать не научился. Что мне с того, что ты парус умеешь наставить да на цапле сидеть — этому и обезьяну научить можно, а Вовчик ремесло знает. А ты говоришь — птюха... Рыбацкому делу не научишь, это тебе не техникум кончать, а что пьет, так я и говорю, что по последнему разу заступлюсь, а нет — его судьба.

— Вот и верно, что судьба, — Витька поддакнул, да и пожалел, что рот раскрыл.

— Ты-то, что встречаешь, Витька, небось последний с ним и пил вчера ночью? — вставляет Алексей Платонович. — Я утром видал, как ты в катере отлеживался.

— Нет, деда Леша, я его как в Таллинн уезжал — не видел, это Колька больше с ним фельдшерскую работу проводит.

— Га-га-га...

— Кольк, а Кольк, а этот вон дружок не твой по берегу ходит, бутылки ковыряет? Ты же у нас главный заступник за бичей будешь!

— Не-а, этот не мой, — Колька сегодня добродушный.

Но Витька вдруг вскипает — одно дело он, другое — чужой брата подначивает — набрасывается на мужика:

— Что-то ты, друг, заговариваться стал, или дома себя почувствовал? Так у тебя дом в городе, смотри, направляю в момент. Развелось вас тут как... — хватил пустую бутылку из-под стола и ею в Окурка запустил. — А ну, уезжай отсюда, пес шелудивый!

Помрачнел сразу Витек, посуровел, да еще и Алексей Платонович не отстаёт — порядок наводит: «Что, парень, раз дом каменный отгрохал, можно и в бездомных бутылками кидаться? Двадцать же копеек псу под хвост швырнул, не жалко?»

— Ох-ха-ха... — знают, что, не в пример Кольке, Витька прижизнист. Иначе не сладил бы себе домину — вечный мужицкий укор и гордость — два этажа отгрохал, подполище, что бомбоубежище, и мастерскую, и гараж, и теплицу. Есть у Витьки деньги, есть лучшие на все Поозерье руки у мужика по железкам — любой мотор хоть дизель, хоть, говорят, самолетную керосинку может из болтов собрать. Приработок у него верный — купит за бесценок старый катер, отдраит, марафет наведет, поставит движок стационарный, а потом городскому лосю и загонит за длинные тысячи. Заказов у него — прорыва, все хотят на Витькиных корытах плавать — фирма!

Ну да пошутили и забыли враз, Витьку обижать не с руки — нужда придет — попомнит. Налили по кругу и пошли стеклом стучать — это не со зла, а по привычке, младших Железновых на берегу ценят, вечно же вокруг их домов роятся: Коль, дай, Вить, почини, сам же Валентин Егорович, или, скажем, Арсентий, по окончании сезона подойдут — попросят движки перед зимой перебрать, и знают — не будет отказа, готовь только водку. Вместе ее потом и оприходуют — одна же дружина.

Так по второй опрокинули и отвалились на недолго, закурили, лица солнышку подставили — тепло на берегу.

Никто не заметил, как Окурочек убрался, поднял бутылку и подался к Монастырю, добирать Бутылкой недобранное.

Но на берег он заглянул не случайно — хотел убедиться, что Вовчик на месте. Очень ему сейчас был Вовчик нужен, прямо-таки необходим, но пришлось ни с чем в фургончик возвращаться. Там сел Окурочек и задумался уже серьезно — давать деру, не давать? На нож поглядел, в стол воткнутый, вспомнил наказ командирский, и только хмыкнул — не было на свете такого, чего б он убоился, давно весь страх растерял, но себя берег, а потому нож его успокоил, верно настроил. Нет, пока с Вовчиком не переговорит — не уйдет, большое он зло и обиду на него затаил, и очень разобраться хотелось, очень. Вряд ли, впрочем, дал Вовчик деру, небось угрелся с бабой — запил. И пускай себе пьет, он тут тихохонько отсидится, дождется своего —

придет к нему Вовчик, куда ж денется, должен прийти, и тогда прояснится один вопросик... Но не стал себя заводить раньше времени, при-
вык ждать, как паук мог замереть, затаиться, а потому достал из угла бутылку почтаку и допил, и опять спать повалился — сон время
всего лучше убивает.

15.

А Вовчик и вправду запил. Точнее, не запил, а напился. Еще точнее — упоила его цыганочка, не выпустила из дома на Праздник, как он ни рвался поначалу. Ведь, когда завалился поутру, весь с речного воздуха свежий, намерзшийся, слегка только и хмельной, весь на взводе, но гордый, как петух, и как выложил на подзеркальный столик, бросил — точнее — небрежно, но с форсом, со значением деньги, всплеснула только руками Маруська, и закусил губу — сразу все поняла. А он, кобелина, кинулся к ней, облапал, и как ни голубил, как ни торопил, времени у него, видишь, в обрез оставалось, не поддалась Маруська, хотя обычно с полоборота заводилась, таяла вся в его жадных и ласковых лапшах, не поддалась. Оттолкнула, охладила маленько. Встала с кровати, поправила блузку перед зеркалом, волосы забрала назад в пучок, глазом еще подмигнула: «Сейчас, мол, не торопись», — и строгим, деловым шагом прошла на материнскую половину, принесла оттуда сковородку с яичницей, две бутылки водки из отчимовой заначки позаимствовала и приказала строго: «Ешь, голодного никуда не пушу».

Вовчик сперва не понял, но как дошло до него, только причмокнул хищно, принялся уминать — приятно ему было, что о нем заботятся, и напоила его Маруська быстро, настойчиво, он и не сопротивлялся — раскраснелся с устатку и поплыл, поплыл, и съехал со стула — в обездвижку напился.

Она не раздумывала долго — раздела, сволокла в постель, а рубашу и брюки и свитер запрятала, чтоб не ровен час не сбежал — схоронила своего Вовочку. Затем припрятала деньги — завернула в платок, засунула под половицу, села напротив на стуле, попритихла, силы ее на миг оставили, не стала даже отчиму отвечать, первый, наверное, раз в жизни смолчала на его ворчанье за перегородкой: «Привадила уголовника, накликаешь на дом тюрьму», — смолчала, проглотила обиду. А Вовчик спал себе, что убитый, и улыбался во сне младенчески, добро — так, как никто, кроме нее, и не видал, верно, никогда, и Маруська на него смотрела. А после очнулась, приподнялась, поправила сползшее на пол одеяло, но он и не шевельнулся, вздохнул только, почмокал во сне губами и захрапел.

И решила тогда Мария, что ждать больше нечего. Засуетилась, начала собираться, да вскоре передумала, толкнула ногой чемодан, и он захлопнулся, прищемил ее розовый лифчик так хищно, за самый сосок, что и у нее грудь защемило: как будто это Вовчик ее прикусил.

И рухнула на стул — только ей и оставалось, что караулить — рухнула и замечталась, подперла рукой голову, уставилась в никуда куда-то. Всю жизнь прожила как птичка: веселилась, горевала, работать толком не работала — и не могла и не хотела, — кляла только старого Будулая, что осел в этом проклятом городе, превратился в настоящего мужика: наштамповал матери полон дом пацанвы голозадой и еще и недоволен — сам себя по рукам-ногам опутал, сам же судьбу винит. Но она-то жила от ссмы независимо, в свою комнату кого хотела — того и впускала: соорудил ей столяр с лесопилки отдельный вход, и, если б не кухня, вовсе б глаза их не видели. Но, что на роду, написано, от того не уйдешь — попался ей Вовчик, и кончилась вольная жизнь, и только в радость стало, что какой-никакой, а хозяин над ней появился, и хоть беспшашный, да ласковый, заботливый, добрый к ней, и с ним готова была Маруська всю свою свобо-

ду цыганскую позабыть, и страшно было — теперь-то, после, особенно страшно, а все же верила, надеялась, что будет у них по-людски. И полетела душа в далекий-далекий поход, отделилась от брэнного тела, воспарила в поднебесье восхитительное, и так, невеста где путешествуя, в который раз спасла хозяйку, вытянула из бездонного рокового омута, заволокла глаза розовым туманом, наворожила самолет и Байкал, что только в телевизоре и видела, и тайгу, и сибирское безлюдное раздолье, и успокоилось сердце. Заснула Маруська, прямо на столе заснула — среди недопитой водки и недоеденной, подсыхающей глазуньи.

Время было ещё утреннее, воскресное, только-только проснулись пацанята в избе, и, похватав булки, и всухомятку их сшамкав, понеслись на свободу, на берег, к мосткам, и там, углядев железнодорожную лодку, облепили ее, принялись раскачивать, и возможно бы и утопили, кабы не шуганул их старый Будулай зычно, но не зло, и, проводив прищуренным глазом мелькавшие пятки, вернулся на двор, заходил по нему, почесывая в затылке, прикидывая, чем сперва заняться — дел по хозяйству всегда было — не переработать за день.

Работа одна только и спасала. Пацаны еще малы, чтоб помогать по-серьезному, хотя он и приучал их, загружал незаметно, но и жалел тоже — когда еще бегать, как не в детстве. Свое-то детство он вспоминал редко — помнил только, что было тогда хорошо и привольно. Табор был большой, многоколесный, и за двадцать лет пути он многого понагляделся, хорошо сумел людей изучить. Но табор перестал существовать, в одночасье окончил свой путь в песчаном карьере между Троицким и Никольским — немецкая спецбригада покрошила из автоматов всех — один он уцелел чудом и бродил по лесу загибался от голода, пока не наткнулся на Клавдию Крутову. Она и спасла — отогрела, накормила, дала челн и две ночи он плыл по Озеру к Черному берегу, и там сколько-то еще дней шлялся по бурелому, искал партизан.

Никто, кроме старых поозеров, и не знает, наверное, в Старгороде, что есть у него партизанская медаль, как никто теперь, верно, и не помнит его настоящего имени Иван. Перекрестили по фильму Будулай, и он свыкся и откликается. Не в имени дело.

Нет, после войны все и кончилось — осталась лошадь; телега, и дом, что он себе построил. О таборе больше не мечтал, поставил избу на окраине города — не в деревне, поозеры вряд ли б его приняли, а подлаживаться да напрашиваться Иван-Будулай сызмальства не умел, — и скоро стали к нему лепиться такие же оседлые цыгане, и появилась, отстроилась Слобода и получила название Цыганской, хотя всякого тут теперь народу понатыкано. Но не в этом суть.

Осталась лошадь — и за нее, как за прошлое, крепко ухватился Будулай, не сдал — к нему и не приставали, понимали, что не отступится, что за цыган без лошади — и пошел он работать в реставрацию возчиком, и до сей поры убежден, да и начальство сумел убедить, что лошадь и дешевле, и удобнее грузовиков — и возит на ней, косит ей сено, заодно заготавливая норму, что спускает город по разнарядке на их организацию, и всех это устраивает. Только работа работой, а деньги на черный день всегда нужны, да и попробуй такую ораву на зарплату прокормить — вот и стал приторговывать в последние годы ночной водкой, а раньше все больше утиль да железяки возил. Никто ему не указ: завел семью — умеи накормить. А долго не заводил — чурался людей, даже в отряде чурался — всегда для всех был. Цыганом, и помня добро поозерское, всегда помня, не мог черту переступить, что они ли начертили, он ли додумал..

Лет двадцать назад только подобрал цыганочку молодую с младенцем, с Маруськой, и зажил наконец, как все живут. И живет...

Загудел вдали тепловоз, подвозящий к Старгороду московский поезд, напомнил о работе почище всяких будильников — часы Буду-

лай сроду не признавал — и он очнулся, зашагал к хлеву. Надо было повыкидывать навоз да свезти одному человеку на огород — все деньги, а без них как жить?

16.

Сергея опять вышел в тамбур и опять курил — надо было чем-то занять себя, пока поезд медленно подползал к городу. Скорей бы уж — другого выхода не было: долг висел над душой и отдать его следовало немедленно — это было дело принципа. Отдать и уехать куда-нибудь на Соловки, и хорошо бы навсегда. Но знал, что дотянет последний год, да и Москва, и... Колонок. Все сводилось к Ваське Линькову, к Колонку — бывшему кумиру, бывшему другу...

Васька был щедр. Колонок — его прозвище, пошло с того случая, когда он, раздобыв голландских кистей, одаривал ими всех без разбору, и грохнул, наверное, рублей с пятьсот. Но деньги, когда они у него были, ничего для Васьки не значили — он был еще и игрок, и жил с размахом, широко, или, прокидавшись, мог подписаться с ходу на любую халтуру, а мог и занять трешку и, забывая отдать, не по жлобству, а по рассеянности, всегда предупреждал: «Требуи сам, ты меня знаешь!»

Его все знали. Везде. Он словно родился в Москве, а не в заштатном саратовском городишке Петровске, о котором до него никто и слыхом не слыхивал.

Сергею он, правда, выделял с первого курса. «Наш Байрон, наш гений!» — говорил он, не желая обидеть, но и не без подколки, конечно. Он ревниво относился к чужому успеху, и скрывать ревность не умел.

— Цвет, цвет, что вы понимаете? Хотите обожраться цветом — глядите Карнаухова, — он указывал пальцем на Сергея, приобнимая его за плечо, гасил Серегино смущение.

— Свистун ты, Васька, — говорил в ответ Сергей, но обескуражить Колонку было невозможно.

— Еще какой, — он жизнерадостно улыбался, — еще какой, Сереженька, я же люблю посвистеть, грешен, батюшка, грешен.

Все ему прощалось. И девки от Васьки были, разумеется, без ума. Нет, не институтские, этих он, опекая, не подпускал и на выстрел по известному правилу, он находил каких-то «обожалок», как сам их называл, и долго с ними не церемонился — Васька был легок.

Васька был способен, чертовски способен, вся профессура, не сговариваясь, прочила ему большое будущее, но Васька был хамелеончик, маленький, юркий хамелеончик.

— В гробу я их видел с их Академией, — и, действительно, в классе он был одним, а в своей мастерской совершенно другим. И цвет, что срывался с Васькиных картин в его домашних студиях, в отвлеченных музыкальных извивах формы звучал, в первую очередь заползал в уши, а не в глаза.

То, что давалось Серее с трудом, Васька находил походя, за час — он умел глядеть, но умел и видеть — он был великий гурман. Движение, ритм краски ощущал пузом. «А? А! Во погнал!» — орал он, беззастенчиво срывая с мольберта недоделанную картину, волок ее к свету и всю облизывал, смаковал. Или громил — хлестко, точно, очень больно. Его боялись.

Просто он очень любил живопись. Узнав, как Дали грохнулся в обморок перед картиной Эль Греко, он помолчал и сказал серьезно: «Я бы тоже, наверное, грохнулся».

— Природа говорит на своем языке, не понятном человеку, — философствовал Васька. И Сергей его понимал, понимал, потому как сам придумал в детстве свой язык.

Подлаживаться, копировать, как заставляли в институте, Серега не мог. Природу можно чувствовать: обонять, слышать, смаковать, и после уж только видеть. Только фантазия, стремительное, музыкальному движению уподобленное созвучие красок могло что-то передать.

Он не умел, как Колонок, отрабатывать урок, нет, он не судил Ваську, наоборот, восхищался его неукротимой энергией, его умением быть всем — даже в своих «академических» картинах. Васька оставался Васькой, он не мог разгадать его до конца.

— Дурень, жми на пейзаж. Пускай они думают, что ты прирожденный пейзажист, ведь Клямов так и говорит про тебя: «Карнаухов у нас прирожденный пейзажист!» Не надо их разубеждать, они же не понимают, что в твоих медведях пейзаж равнозначен первому плану, они его попросту там не замечают. Про «птиц» я уж и не говорю. Зачем зря гусей дразнить.

У Сереги были две серии: «Птицы», «Люди и медведи». Клямов, всесильный Клямов, глядел на них, слегка морща нос. По-своему он любил Серегу, это он поддержал при поступлении, он оценил первым, но теперь, поучая, часто морщил нос: «Дешевые аллегории, рисуй лучше природу — ты ее знаешь, чувствуешь, а то... даже удивительно — рыбак с медведем в лодке. Нет, я понимаю, что ты хочешь подчеркнуть, но зачем?»

Серега перестал ему показывать медведей, но рисовал их. Колька Железнов и пьяный, уткнувшийся в нос полусоймы Арсентий. В Озере. Рядом с Колькой — огромный, нависающий над бортом мишка. Глаз. Клык. Рука на руле, другая обнимает по-братски бездумно глядящего вдаль Кольку. И огонек папиросы в надвигающихся сумерках, что второй медвежий глаз.

Аллегии, при чем тут аллегии?

Глаз притягивает теплая краска — манит, как огонь костра, киноварь, успокаивают синий и зеленый — гладкий, бархатистый ультрамарин, крапак, зеленая окись хрома. Но он выбирал жесткие тона — зеленый кобальт, что и свежесжатый из тюбика уже мертв как высохший червяк, и серый, грязно-серый, под цвет гуляющей волны. Только когда он вспоминал, тогда-то и рождались дорогие Клямову пейзажи — тихие, полные круглой опасной воды, углубленные синим, темно-синим и матово-зеленым.

Одного от другого Серега не отделял, не мог отделить, но на диплом все-таки хотел выставить медведей, как ни отговаривал его Васька. Оставался еще год, один год, и он не знал, как его переживет. Он даже хотел уйти. Клямов снился ему, грозил в сновидениях пальцем: «Дешевые аллегии...», — но он не уходил.

— Неужели будешь вечно гнать оформилку? — спросил раз на шабашке Васька, — неужели не понял, что без бумажки — ты бумашка, а с бумажкой — человек? Человек, Сереженька, человек, а значит, ничто человеческое тебе не чуждо. Свободу надо заслужить. Поменьше думай о глупостях, лови свой кайф — так еще древние говорили.

Спокойствие, главное — спокойствие, главное — щель. Нашел ее. затаись, жди. И без комплексов на этот счет, без комплексов — оценят твою душу, только со временем. А чем ждать да ныть, лучше ждать да поплевывать. И брат, брат, Сереженька — жрать-то хочется!

Они работали тогда круто, недосыпали — гнали без раздыху. Иногда только Васька объявлял передышку, и они шли на охоту. Брали у деда, у которого жили, ружья, шли к озерку. Серега не мог не пойти, стыдился своего страха, покорял себя самого. Брал ружье, патронташ, шел на уток, и — палил в белый свет, что в' копеечку. Отмечался. Признаться Колонку, что жалеет птицу, он не мог. Но только до поры. До поры.

...Рассвет выдался на редкость тихий. Ветра не было, чучálки, разбросанные по воде, замерли в резиновом бездействии, утка не летала, заби́лась в заросли на кормежку. Они сидели долго в шалашке, наверное, часа два, даже Васька притомился травить свои охотничьи байки. Где-то далеко в лесу загулюкали тетерева: «Лю-лю-люблю-лю-лю-люблю-лю-лю-глю...» — призыв их был бесконечен, и Серегу потянуло хоть краем глаза взглянуть на токующего косача. Он не выдержал.

— Пойду прошвырнись по лесу,— он бросил небрежно, но хитрый Колонок понял.

— Тетеревишку хочется замочить? Ну-ну, валяй если ног не жалко. Пустое дело — не подпустят. Но и здесь сидеть — пустое дело. Иди, ты же у нас торопыга, а я подожду, авось надует кого-нибудь.

Сергея пошел. Ошибиться было невозможно — пение почти не прерывалось — лишь на миг, чтоб набрать свежего воздуха, и с новой силой: «Люблялюблялюбля-лю-глю» — его тянуло туда, и он шел и не заметил, как оберега двухстволку, уже приладил ее к выстрелу, крепко захватил двумя руками.

Тетерева пели на окраине сжатого поля — четыре голоса зараз тянули в вершинах высоких берез. Он уже выбрал дорожку — дугой, через нераспаханный, одинокий курган, а там... там по обстоятельствам, главное было не спугнуть петуха, зайти с большим запасом, и, прижимаясь к кромке леса, подбираться, подбираться — где-то у большой березы он и сидел.

До кургана он шел не таясь, и — упал, и пополз тихо, не слышно — в стерне, в недосыгаемой для ружья дали, сидели три тетерки — большими темными пятнами выделялись на жестком желтом ковре. Они сидели молча, слушали люблюканье петуха. Но вот, видно, услышали и его, задрали головы, заозирались и шумно взлетели, скрылись в лесу.

Но тетерев не унимался. Серега слушал теперь только его одного, различал уже каждое коленце. Он уже не соображал, он действовал. Замирал перед последним клочкотанием, ступал лишь во время песни и чувствовал, словно видел воочию, как нервничает птица, ловит шум и отговаривает себя, успокаивает. Лю-лю... лю... люблю?..

Шаг-полшажка — остановка, шаг-шаг-шаг-шаг — лю-лю... лю-люлю? Они соревновались друг с дружкой в выдержке.

Сергея знал уже и дерево — большой вяз, а не береза. Оставалось только выйти, обогнуть кусты... Он держал ружье наготове, давно взвел курки, и... медлил.

Лю-лю?.. Тетерев затаился, но не взлетал. Они ждали долго — минуту или две, и птица не выдержала, запела.

Он увидел его — невероятно большого, только черный контур маячил перед глазами, хотя тетерев сидел близко. Он неожиданности он растерялся на долю секунды и выбирал, выбирал куда целить, и ружье само поднималось к голове, и мушка замерла на месте, и тут, очнувшись, оглянулся и птица: желтенькие «щечки», и глаз, напуганный, изучающий, и... не смог он выстрелить — так был красив глупый петух — даже перед смертью он красовался: успел повести головой, успел отряхнуться, и, потом только подпрыгнул и взлетел, судорожно залупил крыльями по воздуху, и Серега выстрелил вдогон, в хвост, не надеясь даже убить. Он разряжал себя, как ружье, его колотило от злости, обиды, и — радость поднималась знакомым теплом к голове, и перехватывало дыхание от восторга — не убил, пожалел...

Но не так-то легко оказалось сбросить с себя охотничий гон. Он шел назад, и вздрагивая на каждый шорох, вскидывал ружье. Нет, больше так продолжаться не могло! Он замер у дерева, у большой

корабельной сосны, прислонился к ней, закрыл глаза, слушая как колотится сердце. Он почти успокоился — пульс пришел в норму, дышалось уже легко, и он поднял глаза и увидел большую птицу в ветвях, прямо над головой, и не понимая, как, что с ним происходит, выстрелил.

Сойка, маленькая голубая сойка упала прямо к ногам в мелкую лесную лужицу, и замесила воду, подняв с устоявшегося дна мохнатую торфяную муть. Он поднял ее: шейка и голова были в крови, и он, чтобы долго не глядеть, положил тушку в карман ватника — она легко в нем уместилась — и долго еще с отмытых рук не сходил запах теплой крови.

— Ты, что, жениться надумал, — хохотнул Васька, разглядывая птичку. — Серега ему рассказывал, что поозеры бьют соек за пух — на подушки новобрачным. — А, впрочем, в суп пойдет, скажем деду, что кулик, он и не разгадает.

Сам он умудрился подстрелить двух чернух и всю дорогу, причмокивая языком, смаковал, как бабка стомит их в печке с брусничкой.

Уже на выходе из леса они остановились. Полуденное солнце стояло высоко — даль была чиста и краски печально ярки.

— За что осень и люблю: есть над чем подумать, — сказал Колонок и добавил презрительно, — только Клямов дальше своего носа не видит.

Он повернулся и зашагал к деревне. Серега шел за ним. Добавленное, явно предназначалось для Сереги, и была в нем обычная колонковская фальшь, но тогда, в тот именно момент, она вдруг резанула ухо, была оскорбительно неуместна. Только совместная работа успокоила, примирила его, но на время. В Москве он вдруг стал замечать то, чего никогда не видел, не хотел видеть раньше, он понял, что Колонок держал его при себе из ревности, не любя по-настоящему.

И тут, словно снег на голову, свалилась Надежка...

17.

Она появилась неожиданно. Днем Серега забежал в общежитие, и тетя Шура-вахтерша остановила его у лифта.

— Карнаухов, к тебе гости.

Красивая и как всегда величественная, поднималась со скамейки Надежка. С ней рядом, это он увидел уже потом, через Надежкино плечо, сидела Маруська Будулаева.

— Сереженька!

Как ничего не бывало! Они поцеловались, он заграбастал девчонку, повел в свою комнату.

— Что? Зачем? Надолго?

— А мы с проверочкой, — подмигнула Маруська, — как вам тут живется?

— Отлично, отлично, что приехали, сейчас что-нибудь соорудим. — Он и правда обрадовался им.

— Не суетись, Серега, мы же знаем, как студенты маются. — Маруська распаковывала сумку.

Рыба!

Прямо в раковину швырял судаков, лещей, потрошенных, переложенных крапивой, чуть только обветренных, вчерашних.

— Это тебе от Коляки привет. Как узнал, что мы в Москву на гулянку — навалил. Отвезите, говорит, Сереге; пусть уху сварит. Ты что же нас позабыл?

— Нет, Надежка, нет, но...

— Ладно, ладно, выгребай дальше, там и копченые есть — мама Соня расстаралась.

— Господи, вот не ожидал!

А Маруся уже доставала водку — девочки собирались гулять серьезно.

И тут появился всеведающий Колонок.

— Запорожцы привезли дары турецкому султану? Всем привет! Судачки? Ну, дело будет!

И дело было. Поехали к Ваське в мастерскую, наварили ведро ухи, и на нее, словно учуяв издали, сбежался народ. И докупили вина, водки — Колонок был при деньгах — гулял, никому не позволял тратиться.

Маруся быстро выискала себе ухажера — Саньку Ерыщева — никудышнего скульптора, но большого, красивого бабника, и они с полночи незаметно исчезли. Их пропажа не скоро и заметилась — такой стоял дым коромыслом — кутеж закатил Колонок на славу. Понятно, что старался он с целью — Надежка ему сразу приглянулась — не простая «обожалка», он оценил ее с лету, еще в общаге, и очень скоро отвел Серегу в уголок, поинтересовался:

— Имеешь виды?

— Нет, Васька, никаких — зеленый свет.

Он признавался честно, приятно было осознавать, что все позади, что к нему приехали, его помнят, и то, чего боялся, — не произошло. Надежка была и оставалась королевной — она и прощала по-королевски, ни словом не обмолвилась. И здесь сумела всех обаять — успевала и уху готовить, и гонять мальчиков в магазин, и танцевать. И пила залихватски, браво — по-поозерски, и не пьянела будто.

Серега смотрел на нее и только диву давался — она еще больше похорошела, повзрослела, хотя по-прежнему забирала рыжие волосы в хвостик и по-прежнему он бойко скакал у нее на затылке. Исчезло показное величие — появилась женская уверенность. Она порхала по мастерской — Серега наглядеться на нее не мог, и все же, слава Богу, забылось детское дурачество, забылось, и когда народ поразошелся, и оставалось всего человек пять-шесть, мирно допивающих дармовую водку, он не обиделся, ему даже было как-то все равно, когда Колонок уволок ее шутливо, громко, но насильно на руках в маленькую спальню. Уволок и закрылся. Щелкнул два раза замком.

Дело было привычное, никто внимания особо не обратил. Серега только налил и выпил — Надежка сама знала, что ей надобно.

Через полчаса появился Васька. Весь печальный, как-то чересчур, это сразу бросалось в глаза.

— Что, не дала? — съехидничал кто-то.

— А... — Колонок отмахнулся рукой. Налил стопарь, картинно выпил. — Почему не дала? Шлюха — она шлюха и есть. Все они...

Он не успел продолжить. Как пружину выкинуло Серегу из кресла. Он не видел ничего, кроме колонковского лица: почувствовал только, как налились скулы — железновская, доселе неведомая свирепость проснулась в нем — он ударил прямо по переносице, резко, а потом, когда Колонок упал, бросился на него и его впятером еле оторвали.

Серегу трясло, он вырывался, и, слыша, как заходится кашлем в углу перепуганный Колонок, только больше свирепел. И кабы не Надежка...

Она вошла — спокойная, как всегда, и, оценив погром: перевернутый стол, пролитые и разбившиеся стаканы, — только и сказала: «Ну-ну, погуляли на славу...» И все почему-то тут же притихли. Бросились убирать. Вымыли под ее руководством посуду и даже выпили мировую, и ушли, оставив Ваську одного.

И скоро они оказались с Надежкой вдвоем, в его комнате в общежитии. И... все началось сначала. И — три дня продолжалось сумасшествие, три полных дня. Маруська стигнула со своим скульптором, три дня их не беспокоила и появилась на четвертый, вся из себя довольная-предовольная, под ручку с сияющим индюком Ерышковым, и заявила с порога: «Ну, мать, собирайся, погуляй, пора и честь знать, тебе завтра на работу выходить».

Собирались быстро. Серега с Санькой поймали такси, и на вокзале Надежка его поцеловала на прощание: «Будь здоров, милый, все забудь — ерунда это».

Повернулась, села в вагон, и они укатили. И больше не появлялась, хоть и обещала — она знала общежитский телефон: «А вдруг захочу тебя снова увидеть? Я же через Москву часто проезжаю».

Она по-прежнему работала проводницей, и Серега, зная, что это за работа, все обдумывал: прав Васька? Не прав? Но скажи он такое снова, Серега бы снова набил ему рожу, не задумываясь. «Захочу — увижу». Было в этом что-то унижительное, легковесное, выходит все с самого начала так и планировала. Это и обижало и радовало — значит, в будущем все будет легко и просто.

Но прошлое, прошлое всплывало, и он думал со страхом, как теперь придется увидеть Надежку. По-прежнему боялся первого слова, первого мгновения. Нет, она была удивительная, ни на кого не похожая.

Он бы так и не поехал домой. Ему и хотелось — рыба, посланная в подарок, говорила, что его помнят, ждут, но как объяснить четыре года молчания?..

И Павел Иванович? Он написал ему одно письмо — сообщил, что поступил в институт и, не получив ответа, прекратил писать. Забыл?

Нет, часто о нем думал, вспоминал. Он многое понял теперь, понял, почему Фриц стал реставратором — не вытянул, не сумел стать художником — отсюда и обида, отсюда и музыка, и вечное нытье, что его не ценят, и гордыня. Было в нем что-то мелкое, отталкивающее, двуликое, как в поступках Васьки-Колонка.

Что же до рыбаков, Кольки, Витьки, тети Сони, деда... Что он им скажет, что? Он был другой, всегда был другой, а теперь... Только мать его и понимала, не считала никудышним инвалидом, гордилась его рисунками. Сердцем понимала.

Теперь предстояло ограбить мать...

Колонок после драки молчал, словно ничего не произошло. Если б Васька вспомнил, но он молчал. И Серега подошел сам, сам извинился.

— Ты что, охолпел? Ну, выпили, ну, поцапались — делов-то куча, Серега. Чего по-пьяни не сморозишь.

— Слушай, Васька, скажи мне и забудь... у тебя с ней было?

Васька вполприщура посмотрел на него: «А ты драться не станешь снова?»

— Все, все понял, молчи...

Значит...

Они напились в тот вечер и окончательно помирились.

— Суета сует и всяческая суета, — отчеканил на прощание Васька.

Они опять сошлись, но на другой уже основе, нежели прежде. Серега вдруг загулял — появились «обожалки», и карты, и совсем-совсем иной круг, тайный, в который Колонок его раньше не посвящал. Он же подкинул Сереге крупную халтуру — роспись рынка. Халтура была денежная и хлебная — Серегу еще кормили в буфете¹ бесплатно, а директорша — Татьяна Ивановна заказала свой портрет, и с того куща они хорошо гульнули. Деньги и правда были водой — текли сквозь пальцы, и неразрешимые проблемы решались те-

перь моментально. Серега снял мастерскую — однокомнатную квартиру недалеко от общаги, переехал в нее и зажил там. И работал.

Он все успевал — он кутил, но в меру, купечество было ему чуждо. Вернее чуждо его душе — другие — пожалуйста, он принял их жизнь, даже находил в ней некоторые преимущества.

Год пролетел быстро. Клямов перестал ему мешать, только поговаривал о дипломе. Но Серега не думал — год впереди...

И в мае, в веселом зеленом мае, как-то уж так само собой получилось, что он оказался должен Степе-торгащу, лучшему колонковскому корешу. Две тысячи! Как это произошло, он и сам бы теперь не смог объяснить. Две тысячи долгу. Две тысячи рублей. Взять их было неоткуда, а Степа вдруг заторопил, а на последнем сборище просто потребовал, и Серега пообещал отдать.

Колонок довез его до дому, Колонок утешал: «Чудак, нашел из-за чего убиваться. Две штуки мы найдем, это не проблема».

Для Васьки две тысячи были пустяком, а для Сереги... Где достать деньги? Больше ни о чем он не мог думать. Отдать, отдать по возможности немедленно! Занять у Клямова? Клямов бы дал — он был человек состоятельный, но идти на поклон... От унижения он готов был плакать.

— Старик, две штуки я достану, какие трудности, отдашь по осени.

Трудности были. Самое противное было переступить через собственную гордыню. Брат сейчас у Колонка — значило признать, что живет за его счет, а у него еще никогда не было долгов. Взять у Колонка — значило попасть к нему в зависимость, в кабалу.

— Старичок, ты что?

Для Колонка тут не было никакой проблемы...

И он взял. Взял добытые Колонком деньги, расплатился со Степой. И тогда вспомнил только про материнские иконы — это было, пожалуй, единственное богатство, не считая самого дома, оставленное матерью. Две семейные, еще от Успенских, иконы: Спас на престоле и Никола. Небольшие, но он знал со слов Павла Ивановича, что ценные. И он решился. Мать должна была заплатить за него этот долг. Последний. Больше их никогда не будет, он уверил себя, он себе поклялся. А потому — решился. Загнать их можно было той же Татьяне Ивановне с рынка. Серега предложил — директриса легко согласилась.

И он поехал. Домой. В Старгород.

18.

На перроне было много встречающих, но, слава богу, никого знакомых. Он прошел садиком к остановке автобуса; стояли только двое парней с удочками — явно направлялись в Монастырь — ловить с дебаркадера. Рядом уткнулся в поребрик милицейский «уазик». Шофер вышел купить сигарет, а другой, сидевший на переднем сиденье, приоткрыл окошко. Серега поспешил отвернуться — не любил их вечно подозревающих взглядов.

— Серега? Карнаухов!

Он вздрогнул — сержант из «уазика» уже открывал дверцу.

— Серега, ты?

— Венька?

Это был Венька. Улыбающийся, раздавшийся в плечах Венька Крутов.

— Здорово! Приехал наконец. Садись, подвезем, мы в Слободку. Он влез в машину.

— Что, ушицы захотелось, на Петра и Павла прикатил?

— Ой, я и забыл совсем.

— Так уж и забыл! Надолго?

— Не знаю еще, Вень, скорей всего нет. Я по делу.

— По делу? Какие у тебя дела — отдыхал бы летом, сессию же небось сдал.

— Ага.

— Ну так и поживи — тетка будет рада. Ты у Железновых оставишься?

— Не знаю, Венька, я четыре года не бывал — так как... Все на шабашки ездил.

— Химичишь, значит?

Венька был все тот же — прямолинейный, как телеграфный столб.

— Нет, зарабатываю, жить-то надо.

— Это верно, — Венька сразу смягчился. — Как вообще сам-то?

— Да что я, что у вас?

Тут появился шофер, сунул Сереге потную ручищу: «Семенов», — и неумно пошутил: «Первый задержанный по делу?»

Пришлось Веньке объяснять: ночью какие-то сволочи ограбили Николу, а утром Бутыла принес Фрицу крест из церкви.

— Говорит, что у мужика взял.

— Дядька Сашка? Неужели он?

— Не думаю, но выяснить надо. Группа в Заповедник выехала, а меня просили как своего — тихо, чтоб народ не баламутить. Так что ты, смотри, не выдай.

— Да, ладно, что там... а много украли?

— Пока не ясно. Павел Иванович с ходу двух икон не досчитался, но мы не особо разглядывали. Он как увидел, чуть не грохнулся, — сел и ни с места, испугался, наверное, ключи же у него одного от церкви — он там сейчас выставку готовит. Но лезли, падлы, через окошко — нагоняй не ему, директору причитается. Иконы ценные, тут, похоже, заезжие спецы поработали, как думаешь?

— Не знаю...

Серега соображал. Нехорошо с Николиными досками получилось, очень уж некстати. Раз такая заваруха, значит, надо быть осторожней, прицепятся ненароком. Надо же было так влипнуть.

— А выезды перекрыли? — спросил, и пожалел, что спросил. Венька наверняка уловил фальшь в голосе.

— Как же, это первым делом делается. Только, я думаю, скорей затаятся на время.

Он поглядел на Серегу через плечо, и словно невзначай, — кинул:

— Так ненадолго, говоришь?

— Ага... Посмотрим по обстоятельствам, — и опять себя внутренне обругал. Молчать надо, черт знает, что Венька подумает, очень уж подозрительно насаждает. Неужели прокачивает? Нет, не такой он дурак.

Серега отвернулся к окошку. Проехали вал, башню, и на повороте мелькнул краешек будулаевой изгороди. И сказал, чтоб переменить тему:

— Будулай все никак забор не наладит. Сколько себя помню — вечно с подпорками.

— Что, защемило? На родину вернулся? — оскалился Венька. — Гляди, гляди, оно полезно.

Уж и не рад был, что сел к ним в машину.

Почувствовав неловкость, замолчал и Венька. Обиделся. Встретились, можно сказать, через сто лет, и на тебе — сидит, бирюк, отмалчивается или за прошлое боится? Нет, вроде на вокзале обрадовался, а сейчас замолк. Будулая помянул. Случайно? Знает про Маруську или нет? Чудной он все же, и зачем тогда приехал, если ничего тут ему радость не доставляет? Странно, прямо на следующий день? И про выезды зачем-то интересуется... И не очень веря своим сомнениям, все ж снова спросил:

— Значит, думаешь, Бутыла ни при чем?

Сергеа не сразу откликнулся, подумал.

— Не знаю, Венька, не знаю. При мне дядя Саша все больше по бормотухе ударял. Нет, ни за что, пожалуй, не поверю.

— Так ведь деньги какие...— Венька вдруг осекся. При упоминании о деньгах Карнаухов странно повел плечом, еще больше зажался в своем углу. Странно, странно все это выглядело. Говорит, по делам приехал, а какие у него могут быть дела, неужели сболтнул лишка? С Надежкой они не виделись давно — он теперь к ней отношения иметь не может, это как дважды два ясно — имел бы, давно бы приехал...

— Так, что за дела-то у тебя, дом что ли продавать собрался?

— Скажешь тоже — дом.

И опять приметил, что дернулся Карнаухов, но отогнал подозрения. Нет, Сергеа ни при чем, а дела его нехитрые сегодня же вечером выяснятся — бабы на хвосте принесут, но Бутыла... Не давал ему покоя Бутыла. Как его брат — праздник только портить. Но приказ обсуждению не подлежал — приказ есть приказ и от его выполнения многое зависело.

Они въехали в Слободку.

— Ты давай вёрхом,— наказал Венька шоферу,— встань у моего дома под деревом, а мы с Сергеем к рыбачкам подойдем. Пойдешь, Сергеа?

— Конечно! — ему уже не терпелось. Праздник же на берегу! Всех разом и увидит — меньше объяснять.

Они спустились по косогору. Мужики их заметили, загомонили:

— Сергеа? Карнаухов? Приехал! Давай-давай, художничек, вали сюда! Венька, Венька, ты что, как почетный эскорт?

Господи, приехал! И рассеялись сомнения, поспешил, заковылял — скорее, скорее!

И Железновы, и дед, и рыбаки, и Бутыла у котла: ощерившийся, довольный, ничего не подозревающий...

Вот оно!

19.

И усадили, и налили, и за столом спрашивали уже чинно-вежливо: «Зачем? Надолго ли? Да что? Да как?» — и отвечал, не отнекивался, но односложно, но радостно, и стаканы — застольные колокола лезли чокнуться. Почувствовал — гордятся! Им гордятся! И опрокинули и уха, уха! И: «Да, Сергеа! А, Сергеа?» — со всех сторон, и «вали сюда» — Колька с Витькой подвинулись, и сел, и словно сорок раз не спрашивали только что, обстоятельное Колькино: «У нас поживешь? Ты мамку-то видел?»

— Нет, нет, мужики, я прямо к вам — Венька на вокзале выловил.

И вспомнил, и поглядел на Веньку, но тот подмигнул только: «Молчи, мол, пока», — сидит, наяривает ушицу. А Бутыла рад стараться — расселся около котла, подливает всем, и уже пьяненький, но не мутный, веселый — даже дед с ним вроде разговаривает — одна беседа на том конце стола.

И как не уезжал — костерят председателя, Валентин Егорович все стонет, что бензин дорогой да что сетей из Эстонии не привезли, и — краем глаза углядел: поднялся Венька, поблагодарил — «Работа!» и мимоходом шепнул что-то Бутыле, отозвал в сторонку. Но не он один увидал — все заметили.

— Чего там, Венька, не стесняйся, говори при всех!

Но Валентин Егорович заткнул балабола:

— Сиди, без тебя разберутся!

Но интересно людям.

И вдруг Бутыла от Веньки бегом к столу:

— Мужики! Вы ж меня знаете, не мог я такого!

А Венька сзади тянет за рукав:

— Пошли, пошли! — неудобно ему — сорвался план, не удалось затихарить.

— Постой, Вениамин, — Валентин Егорович, как бригадир, командует, — дай Сашку послушать.

А тот, как кипятком ошпарили, покраснел весь, захлебывается:

— Фриц, Фриц заложил! Спирту налил, гад, и не сказал, а я ни сном ни духом, мужики... — И на излете дыхания: — Николу ночью ограбили!

Валентин Егорович теперь привстал:

— А ты при чем?

— Так я же, гад, крест нашел у кочегарки. В траве он лежал. Я его Фрицу отнес, а он мне спирту налил и смолчал. Налил, гад, а у меня там стукнул.

— Ты, дядька Саша, погоди, не кипятись — сам же ему сказал, что у мужика взял, — встрял-таки Венька.

— Кто же такой крест за так отдаст — это я Фрицу, чтоб налил. Да вы же, мужики, этот его спирт и пьете!..

И вдруг Алексей Платонович встает из-за стола, на Сашку и не смотрит:

— Я, Веня, понял, что ночью сегодня Николу ограбили, так?

— Да, деда Леша.

— Ну-ну. Так ты думаешь, Сашка грабил?

— Нет, деда Леша, я ничего не думаю, мне приказ дан привезти его для снятия показаний.

— Ну и веди с Богом, начальник разберется. Веди, веня, только когда протокол будут писать — не забудь упомянуть, что Санька у меня ночью в домике ночевал. А пришел он... когда, значит, Санька, ты занялся?

Бутыла от ужаса руки опустил, вся краска с него слетела.

— Так... — Алексей Платонович словно припоминал, — значит, часу в двенадцатом это было — народ еще на улице был. Баб поспрашаешь, может, кто и видел. Пьяный он был — как пришел, завалился, а утром с солнцем ушел. Так, Веня, и запиши, понял меня? Ну, идите с Богом да разбирайтесь там скорее, раз дожили до такого дела — искать надо.

Венька только головой кивнул — спрашивать больше не отважился, подтолкнул Бутылу, и тот побрел покорный, что ягненок, даже с мужиками не простиался.

Алексей Платонович всех обвел взглядом, помолчал — дал им по кособогу подняться, потом только поклонился, поблагодарил, и вслед захромал — домой направился.

Мужики, как онемели, Арсентий только крикнул: «Да-а...», — налил стакан и выпил залпом.

Много не судачили, случилось — случилось. Валентин Егорович спросил, правда, у Сереги: «Иконы нынче в моде, говорят?» — «Ага». Опять о своем вспомнил, говорить не хотелось. Да и всем не хотелось. Нарушился Праздник, как обрубил. Но Веньку не винули, а о Фрице и словом не обмолвились.

Допивали уже без удовольствия. Колька прогнал детей домой. Наконец и Валентин Егорович с сыном засобирались к автобусу. И Волк отчалил — поехал в свою рыбохрану допивать.

Пожали руки, стали расходиться и остальные. Железновы с Сергеей принялись на берегу порядок наводить — выжидали, Арсентий им шепнул, что есть у него заначка, вот и шабашили спешно — последних гостей спроваживали. Хотелось им сесть спокойно, по-семейному, в сойме, поговорить — Алексей Платонович с Бутылой из головы не шли, но не успели — Фриц помешал.

20.

Павел Иванович шел низом от Монастыря, по берегу, по самой кромке Озера. Длинная, несуразная его фигура видна была издалека. Он что-то нес в руке, и это что-то словно пригибало его к земле — так ходят сильно пьяные или помешанные: ставят ноги не твердо и, хоть глядят перед собой, дороги не замечают.

— Гляди, кто к нам рулит, его здесь только не хватало,— Витька с досады даже плюнул за борт.

— Погоди, Витек, он просто так не пожалует, подождем, может чего скажет,— Арсентий, привалившись к корме, смотрел на летающих над заливом чаек; Колька выбросил за борт мелкую рыбешку, что впопыхах не смыли после лова, и чайки подняли свой обычный галдеж, и, вмиг все подчистив, носились теперь в воздухе, орали, требовали еще.

— Смотри, как разорались, не к добру, видать,— лениво отметил Арсентий.

— Ну их, шакалов,— отмахнулся Колька,— ладно б, рыбу ловили, так теперь ни одна городская помойка без них не обходится.

— Да-да...— Арсентий глядел теперь куда-то вдаль,— да-да... Чаечки-красавицы... Им тоже кушать хочется, вот и приспособились.

— Чтoб шакалить, ума много на надо,— буркнул Витька. Он поглядывал на Фрица. Тот был уже близко, подходил к яхт-клубу.— Вон, родственничек наш на подачки научился жить, как птичка небесная. Да, Серега, ты ж про него небось все знаешь?

Серега не откликнулся, думал о Фрице, как и все они думали — что вдруг его потянуло в деревню?

— Зря ты, Витька,— Арсентий словно не расслышал до конца,— чайки они чайками и остались. Рыбаку без них не можно — первая птица на Озере.

— Чайка на воды — жди беды,— поддакнул Колька.

— Ладно, завели, пить-то будем, или станем поджидать? — Витька потянулся к бутылке, разлил и чокнулся с Серегой: — Давай за встречу еще раз.

Выпили спешно, чтоб не при Фрице. Он уже забирался в сойму.

— Здравствуйте всем.

Какой-то он был не такой, словно побитый.

— Здравствуй, здравствуй, Пашенька — редкий гость, садись на ящик, похлебай ущицы, расскажи чего,— Арсентий взял на себя командирство.

Фриц поставил на корму целлофановый пакет:

— Вот, разбавьте, да давайте выпьем.

— Спирт?! — Колька оживился, схватил чайник, нашел пустую бутылку и принялся разводить — Павел Иванович не поскупился, принес литровую банку.

— Серега приехал,— Павел Иванович наконец его заметил,— вовремя, вовремя...

— Это не тот ли спирт, что Бутыле утром выдал? — поинтересовался Витька.

— Тот самый, пейте, мужики, и я выпью, потому как... Николу ночью ограбили.

— Слышали уже, Венька доложил, когда Бутылу арестовывал,— отозвался Колька. Он налил Павлу Ивановичу стакан и глядел на него испытующе, хмуро, по-железновски.

Фриц, не чокаясь, выпил, задышал тяжело, схватил перышко лука.— Давай еще,— пододвинул пустой стакан,— в жизни так не пил, но ничего, это полезно бывает.

Колька опять налил, подвинул Фрицу остатки ухи.

— Похлебай, а то быстро скопытишься.

— Так, значит, Бутылу уже... А я-то спешил, думал при всех тут застану... Поймите, мужики, знает он что-то, но не скажет ведь. Не в

обычае говорить. Но вы меня поймите — Николу ограбили. Николу!.. — он опустил голову. — Пейте, ради Христа, что вы в конце-то концов.

Все словно очнулись, чокнулись молча, выпили.

— Поймите меня, этим иконам цены нет. Это наши иконы, для прежнего еще храма писаны... — Павел Иванович захмелел, краска прилила к лицу, но глаза не ожили, как были мутными, дикими, так и остались. Он уставился перед собой, вертел в руках стакан.

— Да что я говорю, вы ж понимаете все, понимаете, да? — он обвел собравшихся взглядом. — Арсентий, ну ты-то хоть понимаешь? Господи, поймать бы их да на кол... — Лицо его скривилось, он замотал головой.

— Что ты, Паша, убиваешься, выпей лучше, — Арсентий подсел поближе, налил ему стакан, и Павел Иванович машинально выпил, и все за ним повторили. Колька был уже хорош — ему, кажется, и не надо было больше, но куда там — никто и не замечал фрицевского спирта, он как бы служил передышкой в разговоре, и разливали, и пили, и мрачнели только. Павел же Иванович, наоборот, пьянел на глазах, некрасиво раскинулся на ящике, почти сполз с него, привалился к борту, но пил и говорил, говорил, говорил, отрывисто, бесвязно.

— Поймите меня... — это было главное, главное, что ему хотелось донести. — Не хотел я, в мыслях не держал закладывать Бутылу, рассчитывал здесь, принародно вызнать, миром решить, что дальше делать. — Он заколотился о борт боком, боком как-то, как в припадке. — Опоздал, опоздал...

Серге было его жалко — Павел Иванович зачем-то каялся, излишне каялся, как уже и не нужно было.

— Поймите меня, мужики, вы как хотите, считайте, что я Фриц, сволочь, как хотите, но иконы надо вернуть, надо...

Его заклонило на одной мысли, и Арсентий даже приобнял его:

— Паша, Пашенька, утихомирься. Неужто думаешь Санька мог?

— Нет, нет, не Санька, но он знает, я уверен...

— Да он тут божился, что соврал тебе, чтоб спирт отхалявить. Ну сам посуди, кто ж такой крест Саньке отдаст, нашел он его, у кочегарки в траве нашел. Стал бы Алексей Платонович за него заступаться, если б не поверил ему?

— Алексей Платонович?..

Его уже успокаивали, недоверие, если и было поначалу, исчезло. Ему все рассказали.

— Брось, Пашка, жисть есть жисть, забудь, пошли лучше завтра с нами в Озеро. — В Колькиных устах не было большей клятвы в верности.

— Во-во, дело, — подхватил Арсентий. — Пойдем, сбегает в Озеро, проветришься, и ладно. Наливай, Витька, вон и Серега заснул почти. Допьем и побредем к дому.

Разговора задуманного не получалось, но не до разговора было. Тут что-то важное свершалось. Серега был пьян, страшно пьян, но голова при этом соображала. Фрица принимали в свои, наконец-то, но... не понимали его, вернее, понимали не так; для него иконы — жизнь, для них — жизнь была важнее... Он было отстранил стакан, но Колька рявкнул: «Пей! Поозер ты в самом деле или нет?» И пришлось втолкнуть в себя. И — отключился. Сквозь сон слышалось ему какое-то бормотание над ухом, и солнце пекло нещадно, и... сколько это продолжалось?

Когда очнулся, Колька с Витькой, растянувшись на сетях, храпели. Арсентий, примостившись рядом с Фрицем, приобнимал его за плечи, и уже вдрызг, вусмерть пьяный, что-то говорил, говорил, но Фриц не слышал, кажется, он спал.

— Я говорю, мать у тебя, мать, Паша, золото... А ты и не знаешь, какая она мать... А отец был, Пашка, и того лучше... Ты ж понимаешь

почему, да? Да-да, Пашенька,— он потряс его за плечи,— Паша, прими-ка за помин души, правильно ты сказал, оно полезно... Да-да, Сереженька,— оказывается, он заметил, что Серега очнулся,— погуля-ли, парень, на славу, надо и домой. Надо Пашку домой отвезть. Колька! Витька!.. Спят, чурбаки. Ну тогда мы сами...

Но встать он не мог, только разводил руками, как снулая рыба плавниками, и улыбался виновато, ласково.

Серега поднялся, черпанул за бортом сливалом, обдал голову, пришел немного в себя. Скинул рубашу, джинсы и прямо с борта нырнул в Озеро. Окунулся, вылез на берег и оттуда по доске вернулся в сойму.

— Ты что, ты что, как батя захотел? — Арсентий таращил на него глаза, но бормотал вяло, в полудреме.

Серега оделся и принялся тормошить Павла Ивановича — него же было ему тут спать.

— Сереженька (никогда так его раньше не называл), Сереженька... Я тут надрался, значит. Пойдем, пойдем, ты уж меня доведи.

Он молил, куда только подевалась его гордость?

Осторожно сошли по доске на берег, и там Серега заставил его умыться и повел. И всю дорогу Павел Иванович молчал — видно, пришел в себя и стыдился, но шел, навалившись на Серегу, от помощи не отказывался.

21.

И вот дом, знакомый дом у дороги. Они вошли, и Павел Иванович первым делом накрепко запер дверь, наложил засов, словно отрезал путь назад, словно собрался выдерживать неведомую осаду. Ничего не переменялось в мастерской, даже стружки на полу были как будто те же, сосновые, ярко-желтые и кудрявые — что-то Павел Иванович строгал рубанком.

— Не спать, не спать, сейчас заварим чая,— Павел Иванович опустился на скамью, указав Сереге напротив место на диванчике. Он не сдвинулся с места, и в этом уже было знакомое фрицевское: чайник должен был ставить Серега.

— Там на кухне, поищи...

Они пили чай, горький и прохладный от сухой мяты. Павел Иванович почти пришел в себя, уже поправил сбившийся поясok на волосах, привычно откинул прядку за плечо, назад, уже положил под язык обязательную карамельку, но делал все молча, сохраняя напряжение, видно, Серега ему сейчас мешал, но прогнать его он не решался — никогда сам никого не гнал.

А Сереге не хотелось уходить — надо было где-то отсидеться, поправиться, чтоб не идти в таком виде к тетке Соне. Так и молчали, ожидая, кто первый начнет, понимали, что какой-то разговор все-таки состоится. И Павел Иванович не выдержал.

— Что, не ожидал Фрица пьяным увидеть?

— Да, что ты, Павел Иванович, я...

— Ничего ты не понимаешь, и они не понимают.

Он подался вперед, отставил недопитый чай и почти лег на стол. Он на глазах менялся, как там в сойме, с каждым словом повышал голос:

— Они не понимают и не поймут. Для них я навсегда — Фриц. С самого детства. Как бы там Арсентий ни старался, даже он к нам домой ни разу не заглянул. Да... Зря я тут тебе, зря, наверное, но я должен сказать — ты у меня единственный... Ты вот уехал и забыл, но я не виню. Молчи, молчи, не встречай, мне оправдания не нужны, я сам все про тебя знаю. Ты, Серега, талантлив, думаю, сейчас еще более, еще...

И это хорошо. Хорошо. Один большего добьешься, а от них не жди помощи, не жди — они сами по себе живут. Они живут, пони-

маешь — живут — им сегодняшнее... Ну, случай, как если б козу самосвал переехал. Поговорят, поговорят, запьют водкой и забудут. Один, наверное, Алексей Платонович и понимает, что произошло. Только он это не сегодня уяснил, он на своем горбу все вынес. Вынес, а ко мне не пришел — нет. Хоть лоб расшиби, хоть повесься, как отец — закопают и дорогу забудут. Для кого это все — гусли, музыка — для них же, в первую голову для них, а она им нужна? Нет! Нет, Серега, не нужна. А я-то, как дурак... Нате, слушайте! Нет, идут с остановки, так нарочно головы отвернут — балалаечник, шут гороховый... — Он уронил голову, но тут же вскинул ее снова, словно хмель отгонял. — А знаешь, я ведь вру, не для них, для себя, ведь не Фриц же я в самом деле... Я только когда играю, или когда икону размываю — человек, а остальное...

Все-таки он был пьян, здорово пьян. Серега только бросил взгляд, как Павел Иванович тотчас поймал его, разгадал:

— Да, я пьян, и слава Богу, никогда б не решился, духу б не хватило. Слава... Богу? А есть ли он, Бог? Есть ли он, тот, которому Алексей Платонович поклоны в церкви отбивает? Нет, парень, не Богу он молится — он себя блюдет, совесть свою успокаивает. А коли на то пошло, так совесть и есть первый Бог — тот, что в каждом из нас сидит, здесь вот сидит — в груди, в брюхе! А на иконе, так... зацепочка. А мне зацепочка не нужна, я и так помню, я их любовь по гроб жизни буду помнить, их сострадание... Ох, как же я их ненавидел, Серега, как я их ненавидел. Есть, есть они, рядом, и ни один никогда не зайдет, не унижится. Как же, Марья, значит, сама должна на поклон... Не должна, никому ничего она не должна была! И я не должен. Спасибо, неродные выручили, помогли, а то б загнулись мы с ней сразу, спасибо, помогли дом поставить. Ну да ладно, помогли и спасибо им большое — соседям, я им тоже ввек не забуду. Но только это так, знаешь... для всех, всегда ведь — Фриц! От гада какого-то прижитой. Тут тетке Клавдии земной поклон, постаралась, с рождения на меня глядела, как на врага. Вся их порода такая, и Арсентий... ни за что не поверю. А я привык... я сам — по себе, они сами.

Он смотрел прямо на Серегу горящим, лихорадочным каким-то, взором, и тому стало страшно и неудобно — столь сильной злобы в нем он не ожидал.

— Что? Худо? Да мне б и ты не был нужен, кабы не они. Но я вижу... вижу... а два, знаешь, сапога — пара. Мне никто не нужен — бабы все на одно лицо, все, Серега, все до одной. Не родилось еще такой...

Он поднял палец в воздух, торжественно так поднял, а голова откинулась на плечи, чуть ударилась об стенку, но он и не заметил. Собрался с силами, чтоб сказать, что-то важное — это видно было — лицо наполнилось серьезностью, показной важностью, и он выпалил, рассыпью, скоро:

— Но я останусь, останусь! Вот — гусли останутся, записи останутся! Все музеи, ВСЕ! Еще передерутся за обладание ими! Я ведь знаю, ко мне профессора приезжали из консерватории, и кто только не наезжал — всякие болтуны разные. Повздыхают, поохают — О! А! Мы поможем! Надо записать пластинку! Гениально! И, что — где они? А не могли бы вы, Павел Иванович, сделать нам для музея экземпляр? А хрен вам! А хрен! А возьмите доску и сделайте! Сделайте! А языком чесать... — он вдруг оборвал себя. — Ты зачем приехал?

— Выдалось времечко, решил... — Серега побоялся сказать правду.

— Нет, ты не ври, я по глазам вижу, что неспроста приехал. Четыре года не был и вдруг появился. Говори, говори, мне можешь все рассказать. Что там у тебя стряслось? Выгнали?

И Серега рассказал. Сам не ожидал, что будет это так просто. Все рассказал: и про Колонка, и про шабашки, и про Клямова, и про диплом, и про иконы.

Павел Иванович слушал внимательно, только под конец приподнялся, стал ходить по мастерской, словно что-то обдумывал.

— Так. Попался, значит. Ну и что же ты с дипломом делать собираешься? Если выставишь свое — защитишься?

— Наверное, я что-то не слышал, чтоб прокатывали. Поставят тройку, а может Клямов... он ведь ко мне благоволит пока, только поругивает. .

— А ты?

— Что я?

— Ты как к нему?

— Скучно. Не могу я так, никогда не мог, ты же знаешь, сам учил.

— Знаю-то знаю, но погоди. Без денег, значит, ты свою свободу не мыслишь, так?

— Нет, я не так говорил, я и без денег проживу — руки прокормят.

— Прокормят? А много ли они кормят, руки-то, ты же халтурить не желаешь больше. Ты же как я хочешь, чтоб чистеньким, правильно?

— Не знаю, правда, не знаю, Павел Иванович, еще год впереди.

— Год... — он опять заходил по мастерской.

Заходил из угла в угол, вроде весь хмель у него улетучился. Видно было, что-то серьезное обдумывал.

— Ну, хорошо, подожди...

Он вышел в коридор, вернулся со свертком из мешковины.

— На, держи! — он сказал это с пафосом, с прежним фрицевским пафосом, снова величественно держал голову.

— Разворачивай! Все одно — задуманному не бывать... Так, говоришь, хотел продать материнские иконы?

Серега кивнул.

— Значит — решился. А почему? Свободы захотелось. А ведь деньги можно б было занять, но ты не такой, ты гордый! Что ж, и я гордый, только глупость совершить тебе не позволю. Чтоб потом всю жизнь маялся? Нет, раз смог такое замыслить, значит и мое предложение примешь. Разворачивай!

Серега уже учуял, по деревянному стуку об пол учуял, но не верил, пока не развернул. Руки дрожали, на Павла Ивановича он и глаз боялся поднять. Никола Можайский с мечом и Богородица! Он знал их с детства, знал по музею, где тогда они висели. Знал, и все же спросил:

— Что это, Павел Иванович?

— А ты не узнал? — Фриц был абсолютно спокоен, он даже улыбался слегка.

— Эти?..

— Вот именно, что эти. Смотри внимательней, видишь, даже номера музейные на досках, но их свести труда не составит, и ни один барыга не догадается — они же серые. Ну как, нравятся?

Серега глядел на него с ужасом, все у него похолодело внутри, но нет, Павел Иванович не сошел с ума, он был здоров, только нервничал, видно было, как нервничал, но это и убивало, значит... Это не укладывалось в голове, кажется, он был еще и доволен произведенным эффектом. Да еще и издевался.

— Нет, ты на доску смотри, а не в стену, старая доска, подлинная!

— Как же так... — дыхание перехватило, он тихонько положил их на пол, боясь повредить, и отодвинулся от них, и лицо покривилось, словно резкий, больной звук вдруг в ухо вонзился.

— Ну хватит! — лицо у Фрипа стало жестким, желваки так и заходили под кожей. — Ты, кажется, меня хуже себя посчитал. И я б никогда не простил, кабы не одно обстоятельство. Это, Сереженька, — копии. Да, да, копии! Точнее, не копии — дубликаты! Доски, доски-то, действительно, старые, из той же церкви, только лики не сохранились, а левкас весь почти старый. И, что ты попался — лучшая мне награда. Я, можно сказать, всю душу в них вложил. Если б я их своими руками не сделал, наверное бы, и я не отличил, где подлинные, а где — мои.

— А номера? — вопрос был глупый, он вырвался невольно. Серега еще не пришел в себя, еще сомневался.

— Я делал не копии, я подлинники делал. Не скрою, была у меня идея настоящие подменить, утереть нос знатокам, да еще и деньги за реставрацию получить. Очень мне хотелось. После смерти только все б и раскрылось. Очень я хотел: как на старые доски наткнулся, так и пришла мысль, и ею одной и жил, как по лезвию ходил! И — все прахом пошло. И хорошо. Пускай никаких не будет! Даже если оригиналы и найдут, теперь уже не смогу подменить, теперь рука не поднимется. Но вот копий моих они не увидят. Мне их никто не заказывал, я сам делал, на свой страх и риск.

Серега поднял икону. И не мог не поверить, и верил, знал Фрицевы руки — редчайшие были руки. Если б не затворничество, Павел Иванович наверняка стал известным реставратором, стал, если б ход в Москве дали, а пробиваться... потому, наверное, Павел Иванович и не старался.

— Не веришь? Ну, ладно. Я докажу. Забирай, и меньше пятнадцати тысяч не проси, а начинай с двадцати. Это же начало семнадцатого... Короче, продашь, я скажу кому в Ленинграде, и не сомневайся — купят, с руками оторвут, они с иностранцев вдвое выколотят, Продашь, а деньги пополам. Теперь поверил?

— Да, Павел Иванович, только я все равно не возьму. Выкручусь, как-нибудь, займу у Клямова, подработаю, но это... нет, спасибо.

Серега встал, начал пятиться к двери.

— Дверь закрыта, так что сядь и выслушай. Сядь! — он почти силой усадил его на диван.

— Если откажешься — будешь не просто дурак, но предатель. Ты себя предашь, свою идею предашь, и меня, меня, понял? Зачем же и тут перед тобой распиался, а? Думаешь, комедию ломал? Думаешь, нализался, как Бутыла, и слезы по щекам размазывать? Нет, Сереженька, я тебе своего опыта не пожелаю, я хочу, чтоб ты человеком стал, чтоб ты смолоду работал, но я ставлю одно условие — пиши, что хочешь, как хочешь, но пиши сам, не на заказ, пиши диплом, не диплом, но к концу следующего года, чтоб только свое выставил, только свое, а там — будь что будет. Что же, я не понимаю, как на стипендию жить? Я всю жизнь на стипендии, на крохах, а это мешает, очень мешает, но и сил придает, злости. Я, когда учился, палатки шил на заказ, чтоб с голода не загнуться. Хорошие палатки получались — люди хвалили, а у меня спина не разгибалась, а по вечерам еще и работал, писал... Так-то. Значит, бери, продашь за пятнадцать тысяч, две отдашь — останется тринадцать. Мне вернешь пять, больше не нужно. Я и без них бы прожил, но нельзя — коли продаваться, так за дорого. А тебе восемь останется. На мастерскую, на жизнь — года на три всего, если сумеешь не транжирить, а профукаешь — туда тебе и дорога. Это тебе испытание. Смотри, не возьмешь, струсил, ко мне не появляйся больше, знать тебя тогда не хочу.

Он ушел в свою комнату и скоро принес листочек.

— Тут телефоны двух жуликов, я когда-то с ними учился. Скажешь правду, что иконы от меня — они поверят, я на обратной сто-

роне записку написал. Скажешь, что ты мой племянник, что я тебе велел. Они поверят — не один, так другой.

Он сунул Сереге бумажку в руки почти насильно и стал заворачивать иконы в мешковину. Аккуратно. Проложил еще тряпочками, затем достал мешок, опустил в него сверток, а сверху и с боков затолкал большой холст. Мешок сразу раздался, потолстел, по очертаниям никак нельзя было сказать, что в нем. Но он еще достал рюкзак, уложил свое сокровище внутрь, и, оглядев, остался, кажется, доволен.

— Вот, теперь порядок. Бумажку не потеряй. Бери.

— Павел Иванович, — взмолился Серега, — может быть, не надо, ну зачем...

Но уговоры были напрасны.

Фриц рванулся к двери, распахнул ее настежь.

— Иди! — На него страшно было смотреть, но и не смотреть было нельзя. — Иди!

Серега плохо соображал — Фриц действовал на него гипнотически. Он боялся. Никогда в жизни еще никого так не боялся, как сейчас Павла Ивановича. Он взял рюкзак, продел в лямки руки.

— Ну, иди же, черт, иди, пока я добрый. Уноси ноги! Проваливай! — Фриц вдруг заорал, и это было совсем уж страшно. — Иди! Завтра приходи, послезавтра, а сегодня не хочу тебя больше видеть. Иди! Иди! Иди!

И это словечко било по голове, подталкивало, гнало к выходу. Завтра, завтра, завтра Фриц передумает, завтра... Сегодня надо было брать и уходить. Он переступил порог.

— И вот, что. Спрячь у себя дома. Железным не показывай и неделю поживи тут. А лучше две. Да, лучше две, пока кутерьма не спадет. Понял? Иди же, — он добавил уже мягче, но по-прежнему решительно.

И Серега пошел. Он не думал сейчас, он шел, нес свою ношу, свой неожиданный и страшный подарок.

Калитка была приоткрыта, словно кто-то уже заглядывал; здесь, нет ли? Хорошо хоть догадался переложить заведомо ключ из сумки в карман — идти сейчас на Озеро к соймам, где осталась сумка... Он открыл навесной замок. Вошел в сени. В свой дом.

22.

И, что удивительно: внутри было прибрано, чисто, как у мамы — форточки на улице открыты, аккуратно забраны свежей марлей от свирепого озерного комарья, и вода в ведре, и мамин бронзовый ковшик, ухватившись ручкой за дужку, покачивался на ней в такт заглохшим половицам. И постель — его постель у окна, разложена и застелена. Тетка Соня? Надежка? Только они могли опередить, намыть, прибраться, недаром осталась незатворенной калитка... И ненавязчивая забота была бы столь же трогательна и приятна, как громогласное мужицкое приветствие у Озера, если б не Фриц...

Надо было идти, показаться, поблагодарить, но... потом, потом. Серега прошагал к углу, снял с полотенца икону — ту, за которой ехал, провел рукой по лику. Доска была пыльная — сюда забыли заглянуть, не успели. Движимый, вдруг возникшим неясным чувством, желая навести окончательный порядок, он пошарил на приступочке, и, вытащив еще материнский коробок, запалил лампадку. Руки зажирились деревянным маслом, он вытер их о джинсы. Затем развязал рюкзак, прислонил Фрицевы иконы к кровати, сел к столу. В теплом воздухе комнаты, казалось, Угодник чуть покачивает мечом и собором, взвешивает их в руках, прикидывает, что дороже,

что в данный момент нужнее, и крестами обшитое белоснежное одеяние лишь больше выделяло пронзительные, гневные, упорно глядящие на Серегу глаза.

Скрипнула дверь, но он не поднялся, и только на шепот, на знакомый шепот вскинул голову.

— Сереженька...

И так крепко, до боли в груди крепко стиснул, и прижался к ней...

— Надежка...

И после только она заметила, и ужас в глазах, поняла, тоже по школьным экскурсиям их знала...

— Сереженька?..

Он схватил руку, и держа ее перед собой, словно клялся на ней, захлебываясь, быстро-быстро, сбивчиво, нет, не делился — плакался, помощи просил.

— Не верю, не верю, не верю, — твердила Надежка, — злой он, твой Павел Иванович, злой, не верю.

— Почему, что он тебе сделал?

— Не мне — Маруське. В школе еще, в девятом классе. Это все тайно было, никто не знал, кроме меня. Все плакался поначалу ей на одиночество, все скулил, она и попалась. А потом откупился — заплатил за аборт. Нет, я не винила бы, всякое бывает, тут и Маруська сама хороша, но он грязно так, трусливо отстранился, а значит — грош ему цена. Не верю, ни одному его словечку не верю.

Говорить было нечего, и жалко почему-то стало не Маруську, а Надежку, и он гладил ее, успокаивал, обещал завтра же пойти и отдать эти проклятые иконы. И как тогда, когда-то у Озера, они сидели, и перемешалось воспоминание с сегодняшним, и, как всегда с ней, нахлынуло бурно, и столько в ней было чего-то сейчас вот нужного, что взмолился: «Прости, прости...» Но она перебила: «За что? За что? При чем здесь ты? Это я все сама — дура, дура, за что меня и любить?»

И зашлась, в голос заревела. А после, как и полагается, вся светясь от радости, горделиво, ласково нашептывала: «Все будет по-новому, все будет, а деньги мы найдем, Колька катер продаст, или займем — подумаешь, две тысячи...» И шептала, баюкала.

И вот — отдыхают души, прижавшись друг к другу, как бедные ложки. Тихо в избе, не слышно, как разыгрался на улице южак. Зло разыгрался, задебоширил в кронах, погнался облака, и луна, что воровская Бадуха, блестящая, лысая, страшномордая, полетела над Озером. Волна пошла в реку, ополчилась на город, и, погоняя тупые толкачи с песком, словно закупорила выход в Озеро мелким случайным лодчонкам. Только в избе — тепло, тихо; струной натянутая марля глушит законное буйство.

23.

Вовчик проснулся посреди ночи. Рядом, свернувшись калачиком у стенки, спала Маруська. Где-то рядом, за перегородкой стучали часы, и он понял, что проспал целый день. Точнее, где-то посредине он очнулся, но Маруська покормила, подлила, и он опять отключился. Теперь, в тишине, он осознал, что пропустил Праздник, к которому так стремился — все пропустил, проспал, и, вспомнив о вчерашнем, зашарил по карманам брюк, по подзеркальному столику — сюда, вроде, клал вчера деньги. Но, видно, Маруська их припрятала, да и не в деньгах было дело — его колотил отходняк, руки не слушались, голова соображала туго. Слава Богу, в буфете оказалась бутылка — запечатанная, припасенная на утро, и он впился зубами в свинцовую головку, сорвал ее, и лишь отхлебнув, отмотав положен-

ное головой, отсидевшись в кресле, пришел в себя, и, свернув из газеты пробку, закупорил горлышко.

Надо было ехать к Окурку — не терпелось узнать, что к чему. Скоро рассветет, можно и Бутылу потормошить в кочегарке, налить ему стакан, вызнать исподволь все новости: хватились — не хватились, а заодно заглянуть — востребована ли посылка?

Маруся лежала, не шелохнувшись, дышала ровно, и Вовчик тихонько вытащил свою одежду, давно уже знал ее потайные местечки, рассовал по карманам бутылку, хлеб, и вышел на улицу.

После первого глотка его совсем разморило, и потому пронзительный ветер только взбудрил. Лодка стояла у причала, как он и оставил, только слани были в воде — ребятишки-таки чуть ее не утопили. Он долго, матерясь, искал под движком засаленный безрукий черпак, а после отливал, отливал — не положено было по такой волне ходить: челн был старый, дюралевые борта так и дышали при качке, но и не в такую непогоду плавать приходилось.

Хорошо, мотор у Кольки был отлажен — завелся от ключа. Он поглядел на домик — спит, дурочка, подумал ласково, — спит. И хорошо, может, успеет с первым автобусом вернуться назад — в Слободке сейчас толкаться ему незачем. И больше не думал — рулил. Вмиг слетел весь хмель, и он застыл на сиденье, вслушиваясь в работу мощного волговского двигателя: он — бедный — боролся с ветром, волной, течением, и, наперекор им, толкал, вел челн к Монастырю.

Сперва Вовчик решил идти в гавань, к яхт-клубу, чтоб уж поставить лодку на Колькину стоянку капитально, но после передумал: лучше ткнуться в кустах около Монастыря, навестить Окурка, а может быть, и Бутылу, и после только доплыть озерный отрезок — к утру ветер обычно стихал.

И верно — когда шел по мокрой осоке к фургончику, ветер поуспокоился. Исчезли тучи, и подтаявшая луна изготавилась завалиться за Озеро, где-то между Троицей и бывшим Никольским, но пока парила: низкая, прозрачная, все еще страшноглазая, полуживая.

24.

Тихо было на шоссе, тихо в камышах на болоте, на прудах, только слегка шелестели помещичьи липы и бесхозные, беспризорные кусты. Вовчик подошел к фургончику, рванул дверь — вошел внутрь, запалил спичку и, первым делом, поджег свечку на подоконнике, огляделся. Окурочек успел прибрать свое барахлишко на случай спешного побега: только свечка на окне да нож в столе — как был воткнут, так и торчал; да буханка зачерствелого хлеба и недоеденное месиво в консервной банке, да пустая бутылка из-под портвейна под столом. Значит, выбирался в город, отметил Вовчик, и затормошил спящего на сене бича.

— Хорош спать, вставай!

Окурочек, что-то проскулил во сне, и тут же перевернулся на спину — приоткрыл один глаз. Похож он был на маленькую шелудивую собачонку, над которой зависла овчарка — так поджаты ручки-лапки, спрятана в плечи птичья головка, и взгляд: еще не понимающий, но уже виноватый, скулящий.

— Вставай, вставай, бич, я, как ангел-хранитель, похмелиться тебе принес, — Вовчик сказал весело и громко, чтоб дошло до того наконец.

— А-а... — Окурочек простонал и поднялся. — Бутор пожаловал... А я было подумал, совсем слинял. Грозил ведь, а сам исчез.

— Ладно, не вякай, прими черепушечку вместо холодного душа. Некогда было; освободился — пришел. Давай стакан.

— Ох и быстрый же ты, бугор, все тебе невтерпех.

Окурок, ежась, выбрался на улицу, походил, прокашливаясь, плеснул себе на лицо водицы из лужи, и тогда только, очнувшись окончательно, вернулся, сел на лавочку у выхода.

— Ну, чего там? — поглядел в стакан, помучился для виду, и выпил: хлюпая, двигая кадыком, как механическим поршнем. Занюхал корочкой, потом только поблагодарил.

Но Вовчик не глядел, не слушал — сам торопился махнуть. И только, когда прижилась у обоих водочка, закурили, усталились в стол.

— Ну, что слышно? — не утерпел Вовчик.

— А что слышно — сматывать надо. Бутылу вчера замели. Прямо с берега, от ухи замели — сам видел.

— Нашли?

— А я почему знаю, что видел, то и говорю. Сматывать надо, бугор, самое сейчас время.

— Да погоди ты, заладил, — отмахнулся Вовчик. Он думал сейчас совсем о другом.

Окурок налил себе еще, выпил, и принялся крошить ножом зачерствелый хлеб, но заедать не стал.

— Истину говорю, бугор, сматывать надо. Пока там у них разбор-переборы, мы далеко уйдем.

— Не паникуй, падло. К тебе наведывались?

— Я дома не сидел, но следов не видеть — вроде не разнюхали пока, но разнюхают, а мне в КПЗ охота была ошиваться. Я б и вчера ушел, да ждал тебя — договорились же.

— Это хорошо, что ждал.

Вовчик в уме прикидывал: все одно уйдет, так лучше раньше — лишний след будет. Заметят, что исчез бич, заметят, хватятся, логово отыщут, прикинут, что от Заповедника близко...

— Ну что ж, я не неволю. Раз такой расклад — разбегаемся. Но закон знаешь — смотри.

Он долил в стакан поднял его.

— Вот и я про закон, бугор. Не хорошо, не по делу ты со мной поступаешь — я ж не спрашиваю, сколько ты сорвал, и тебе б на мое не зариться. Зачем крест у меня стащил, я ж его для себя брал, по праву брал, зачем?

— Какой крест? — Вовчик недоумевающе поглядел на бича. Что это падло себе позволяет? — Какой крест, сволочь?

Водка в руке мешала схватить Окурка за горло. Вовчик чуть только подопринулся к нему, но сперва решил выпить, а потом толковать. И опрокинул стакан, раскрылся, и... не водка обожгла грудь, ударило, что бревном по ребрам, и донесся, донесся визг истошный, истерический:

— Не прощаю, сука, не прощаю такое!

И выскользнул Окурок за дверь. И исчез.

25.

И сколько прошло времени — минуты, часы? Рубаха намокла, и рука, рука, оказывается, давно уже сжимала разрез? — дыру! и, Господи... под сердцем... и тело стало, что мертвая колода, что лодка затопленная, и не боль даже, не боль — бессилие.

Крест! Какой крест? Дурацкая, назойливая мысль не давала покоя. Он отдышался и навалился на стол, встал, и еле держась на ногах, вышел, выполз почти на свет.

Дойти, дойти до катера, мотор у Кольки отлажен — чих-пых — с одного ключа заводится — дойти... И пошел, и нес свою боль, и не видел дороги. Крест? Какой крест, падло... Какой крест? И не видел, что по воде, по болотине плетутся ноги, к Заповеднику, а не к ре-

ке, к старой помещицье липе ведут, и шел, волокся, и чудом только не падал.

И около липы упал. Боком, боком, в грязь, в корни, и не чувствовал удара, только на сердце сильнее навалило, и не выдохнуть, и все... все... и нет — отдышался, харкнул кровью, и руки только ободрали о толстую, шершавую кору. Отдохнуть. Отлежаться. Чуть-чуть. И к катеру, к Маруське...

И сколько лежал: минуты, часы? И не заметил, как закатилась, исчезла луна, как потеплело, занялось за дальним Николой, как стал свет.

И приоткрыл глаза, и понял. Высокая, чистая поднималась в небо всего в ста шагах Никольская церковь, и чайки летели из Озера в пруды, в город за добычей. И смешалось все в голове: Окурочек, Маруська, крест, Бутыла, Колькин катер, Озеро, не здешнее — родное, море, а не озеро... и за что? за что?

Чайки плыли над головой, и хотел им погрозить ли, помахать, и не мог — раскинул руки, затих.

— За вас, за вас, за вас за всех, гады...

Но и плакать не хотелось, унялось вроде бревно, отпустило, но так отпустило, что все и забрало — щека только чувствовала шершавый корень, еще ощущала его, и глаз отметил, как снизилась серая попрошайка, и прямо над ним пролетая, изумленно-испуганно скосила глупый глаз, позвала. И вдруг, сила, сила откуда-то изнутри, и... рванул, подняло аж, и бежит уже вверх, вверх, и уже по облакам, и вовсе они не пар, или что там в школе говорили — твердые, хорошо держат ноги, и бежит он по ним, гонится за чайкой, а она летит и крыльями даже махать перестала, и назад не оглядывается, и он за ней, и, вот ведь чудо — сам видит снизу, как по небу бежит, словно по лестнице карабкается, и все меньше, меньше, меньше черненький такой клубочек, и чайки уже не видно, и уже и клубочек — точка, и... не стало.

26.

Окурочек долго шел берегом. Здесь, хоронясь за кусты, можно было не опасаться — здесь была пустая шестикилометровая зона до самого города. Сюда если и забредали, то только рыболовы, а их можно было заметить издали, обойти. Он шел, сжимая в руке старый, на свалке подобранный портфель, и рот кривился, и губы подрагивали обиженно: «Меня обмануть, понимаешь, сука...» — он бормотал, не задумываясь глубоко, все силы отдавал ходьбе. Теперь надо опередить преследователей — часа три-четыре он в запасе имел.

Там, в фургончике, он успел наспех прибраться, покидал весь хлам в карповник, и видел — подошел к липе, убедился, и хмыкнул только — судьба!

Сейчас надо было спешить — теперь и денег жалеть не стоило. Обидно только — в карманах у Вовчика не оказалось ничего — ровным счетом ничего. Но не в деньгах дело — хватит, многое он прощал на своем веку... Сейчас другое занимало — успеет? То, что хватятся его, — не сомневался. И гордость придавала силы — отплатил, наконец-то отплатил!

И в городе уже, известными ему тропами, пробрался к бане, и на первом сеансе обмылся и прошмыгнул незамеченным, тихонько — никого вроде не задел, никто, вроде, внимания на него не обратил. Только на базаре боялся, больно уж грязно был одет, но и здесь старухи не отметили — продали костюмчик молча, и ладно. И ладненько. И переоделся у лодочной станции, на стройке за сваями, затолкал барахлишко в портфель, положил кирпичину для веса, и в

реку — на веки вечные. И на автовокзал, в самое логово ментовское, переодетым, почти цивильным, мятым только сильно, но и это ничего — мог же дедушка в дороге пообмяться. Купил билет, влез в районный автобус, и... кончился город. И спал с души камень, пусто там стало, привычно — началась дорога, новая, бесконечная, утомительная, тяжелая, но свободная, свободная, как сама жизнь.

27.

Стрелка только подползала к семи, но Надежка когда-то успела уйти — он и не заметил. Залеживаться не стал — рывком поднялся, натянул джинсы и рубаху, пошел к Монастырю. Идти надо было немедленно — Павел Иванович обычно по утрам купался около дебаркадера, а после ложился досыпать.

Только на полдороге вспомнил, что не взял иконы, вспомнил, но возвращаться не стал — дурная примета. Отдать не проблема, а вот выпросить по трезвянке, прижать к стенке... То, что вчера наговорила Надежка, очень смахивало на правду, да только правду-то женскую, а девки-бабы — не народ, как Арсентий говаривает. По-прежнему и верил и не верил Фрицу, и только на разговор надеялся — не доносить же собрался — разобраться. И шел, и думал, и чем больше думал, тем только больше путался — и одно вдалблил себе твердо — надо вернуть музею, пускай хоть копии останутся. Но как в этом Павла Ивановича убедить? И как вспоминал того, вчерашнего, так снова мороз по коже продирает.

На берег поспел вовремя — Павел Иванович как раз в воду заходил: худой, костлявый, в непомерно длинных черных трусах, что уж никто и не носит почти, и, глядя на него, поразился в который раз — до чего же убог и непригляден Фриц раздетый, и как он важен, спокоен, уверен в себе в шитой русской рубахе, с вечным пояском на голове. И не стал звать, знал, что Фриц всегда проплывает весь пляж и вылезает за дебаркадером около деревянных свай, одевается не спеша, как ритуал совершает, и, от нечего делать, зашел на дебаркадер посмотреть улов — четверо досиживали зорьку перед работой.

Мужики были незнакомые — городские, и все как на подбор: брюхастые, здоровые — рыбаки, словом — в плащах, свитерах, заколениках, у одного даже керосиновый фонарь стоял с ночи, только рыбы было маловато наловлено — одна мелочь белая да несколько окушков; Серега похвалил для приличия, а потом и посетовал — зацепился языком.

Павел Иванович плыл вдалеке от рыбацких донок, по-лягушачьи тяжело, неспешно раздвигал лбом воду, но уж как водится — всю безрыбицу на него свалили.

— Давай, мужики, сматывай удочки — волосатый проплыл — рыбы не будет, — сказал мужик с фонарем, и, действительно, принялся крутить спиннинг.

— Так уж и разгонит? — не удержался от ехидства Серега.

— А ты как думал? Вон гляди, отдыхать ему приспичило прямо над налимьей ямой.

Мужик пересадил червя, поплевал на него и перекинул далеко, в другую совсем сторону.

— Давай, давай, плыви скорее, — крикнул он Фрицу, но тот не расслышал. Лежал себе на спине, плескался в удовольствие, подгребая руками — дурачился, нарочно злил рыбаков, и вдруг нырнул, словно дно померять захотелось ему, а когда вынырнул, бросил взгляд на дебаркадер, и пискливо так, хитро-хитро крикнул: «Тону!» — и снова ушел под воду.

— Во, циркач, мать его за ногу, нашел место, — ругнулся мужик. Но Серега не поддержал его, не ответил ему подобной, ожидаемой шуткой — он смотрел, где вынырнет Фриц — до дебаркадера вроде

не дотянуть ему было, чтоб спрятаться да мужиков попутать. Даже при дешнем течении не дотянуть было. А он все не появлялся.

И отложили удочки, все уже высматривали.

— Дак ведь утоп! — сказал кто-то, тихо сказал, и все мигом засуетились, забегали сразу, замахали руками, и как из-под земли появилась и заголосила с берега Лидка-продавщица — дурно, истошно:

— Утонул, утонул, Господи, родненький, Пашенька, утону-у-ул! — и побежала в магазин — звонить спасателям.

И сколько минут потерял — три — пять — десять, пока Серега не разделся и с дебаркадера прямо — в воду — поплыл, поплыл, и орал мужикам: «Где? Где? Показывайте!» — и не слышал почти в горячке, и течение сносило, и понял, что не достать — самому только потонуть, и поплыл назад. Мужики подняли, и одевался, и все глядел на воду — но нет — безнадежно. И откуда только народу набилось — человек двадцать выбежали поглазеть, и окружили уже рыбаков, а те все одно и то же рассказывали, и не надоедало им, потому как плохо соображали, что говорят. А Лидка все голосила: «Сейчас, сейчас, родненькие, приедут, у них катер быстрый — говорят, если до часа — откачать можно». И все поверили, засекли по часам, и через пятнадцать минут, и правда, подлетели на подводных крыльях, и водолаз только спросил: «Где?» — и упал спиной в воду, и тут же, кажется, и всплыл. И белого, с откинутой, неживой уже головой, втащили на нос Павла Ивановича, и врач женщина только взяла за руку и отпустила, и веко оттянув, заглянула, и сказала — все слышали: «Мертв». И перенесли тело в катер, укрыли брезентом, и не заметил никто, как протиснулся сквозь толпу человек в сером рядовом костюме и командирски так рявкнул спасателям: «Подайте к берегу». А оперативники уже разгоняли толпу: «Разойдитесь, разойдитесь!» — и двое принялись пытаться рыбаков — составляли протокол.

Серега стоял на берегу, чуть в сторонке от народа, и не расслышал сперва, пока прямо в ухо ему Венька не гаркнул: «Серегал Карнаухов, Серега! Ты все видел? Ты с ним пришел, да? Пойдем!» — и потянул за рукав к «волге», к вылезавшему из нее капитану.

— Вот, товарищ капитан, — Сергей Карнаухов, он покойника хорошо знал — он с ним пришел, сейчас все расскажет. Тут, что важно — покойник ведь тот самый реставратор, что вчера кражу икон обнаружил. Ну я вам говорил, помните? Но только это не все — тут цепочка тянется — я ведь другого обнаружил — ножевое ранение — уголовник, ошивался здесь, в Слободке — Вовчик его звали. Около Заповедника лежит, я ж на мотоцикле — без радики, ну и поехал в Монастырь, а тут смотрю... — тараторил Венька, но до Сереги не доходило пока — он все на катер смотрел. Спасатели наконец отчалили, и, кажется, собирались уезжать.

— Куда, куда его увозят? Почему? У него же дом здесь...

— Так положено, будет вскрытие, — отчеканил капитан, и строго уже прикрикнул на Веньку: — Спокойнее, Крутов, спокойнее. Так я понял, еще один у Заповедника? Не суетись, во всем разберемся. Поехали. А ты давай сейчас с нами, — он открыл Сереге дверцу.

Ноги сами подломились, дошло вдруг, и сел к окошку, руками закрыл лицо, и один только страх, один страх в душе, и... Говорить? Не говорить? Иконы-то дома на самом видном месте остались.

28.

— Тебе покойный кем приходился? — капитан вполборота повернулся на сиденье.

— Мне?... Мне?... С Венькой мы двоюродные, а Венька с ним, значит...

Никак не мог вычислить степень родства, голова не соображала, но сказал и понял — как открытие совершил. Крутовы, Ершовы, Железновы, Карнауховы, Успенские — все кровные, но если Кольку и Витьку, даже Веньку, даже Веньку мог еще братьями назвать, то Павла Ивановича... Брат...

— Троюродный, значит, — констатировал за него капитан. — Так ты, следовательно, с ним на берег пришел?

— Нет, я... приехал вчера... я встал рано, решил зайти, знал, что он купается в эти часы, а он вчера пьяный был, я...

— Говоришь, выпил он вчера?

— Расстроился он очень из-за икон — вот и пришел к рыбакам в деревню. И напился там. Я боялся за него, пошел утром поглядеть.

— Сегодня, значит, похмельный был, может, сердчишко, а? Ну посмотрим, посмотрим — врачи определяют.

Машина, к счастью, подъехала к фургончику, встала у обочины.

— Вперед, братья-поозеры, — капитан подмигнул Сереге, — не побоишься второго за день?

— Я, может, пойду?

— Пойдешь, пойдешь, не сомневайся, протокол составим, и — свободен, долго не задержу. Но, готовься, на днях вызову, тогда и поговорим пообстоятельнее.

Капитан как-то чересчур был весел, омерзительно весел и самоуверен.

— Да я ненадолго и приехал...

— Ничего, надо будет — справку выпишем, задержим ради следствия. Ну, пошли.

Они спустились к фургончику, но Серегу внутрь не впустили, только краем глаза успел отметить кровь на земле, на столе, на скамейке...

И вот липа, и Вовчик лежит на боку: ноги неестественно подвернуты, а руки разметаны крестом, и все вокруг полито уже мертвой, застывшей кровью.

Про Серегу забыли, и он наблюдал издалека, все видел, все слышал. Все отмечал: доктора, фотографа, рулетку, пыльцу для отпечатков пальцев, и бойкий Венькин голос: бич, Окуроч, Фриц, иконы, и — ненавистно стало все, все, а особенно эти вот, в погонах, столпившиеся у трупов, опасные, как шакалы. И за что б их винить — делают свое дело, но страх изматывал душу, и стучало в мозг: ради следствия... ради следствия можем и задержать. Подписал в какой-то графе вместе со сторожем Заповедника протокол и провожал глазом носилки, и все ждал, ждал, когда...

— Спасибо, всего хорошего, до встречи.

Пожал руку; и то, что всего больше боялся — что вдруг прямо сейчас и обыск, не случилось.

Спрятать! Спрятать! Но как? Где? Не дома же...

Но дома не было ни рюкзака, ни икон — все обыскал — не было. Рванулся было к тетке, но Бутыла с Арсентием дорогу перегородили — пьяные ввалились за порог, выставили поллитровку.

— Давай, Серега, за помин души.

И не уйти от них, особо насторожило Бутылой брошенное: «Серега, тут дело такое важное...»

Подмигивают заговорщики, бесы, пьянящие уже — пьяней вина, и шевельнулось внутри, а вдруг они? Вдруг? Дом же не закрытым оставил. И подал стаканы, сел, как на уголья, на табурет, замер...

29.

Но через пять минут буквально понял — никакого Арсентий с Бутылой отношения к исчезнувшим иконам иметь не могли. Смерть Павла Ивановича их интересовала — долго ли весточке добежать от

Монастыря до Слободки — здесь уже знали. Чудом только казалось, как успели они так быстро добраться, где раздобыли водку, но и это прояснилось — два часа на будильнике было. Неужели так долго? И выпил с ними, и, выпив, утратил боязнь, страх прошел, и уже и второй, неизвестно откуда появившейся поллитровке скрутили голову и ее доканчивали, и все в избе заволоклось сизым дымом папиросным, и он качался над столом, над ними, и разговор стал бессвязный, и незаметно, незаметно с выпитым, нарастало, копилось напряжение, и завелись мужички, раскричались — сперва Бутыла докладывал, как его в участке до самой почти ночи потрошили, а Арсентий, откинувшись на стуле, дремал — слушал вполуха, а после, вдруг, и Арсентий очнулся. В незаметный какой-то момент очнулся, потянулся к столу, и, не обращая на них внимания, в пьяном своем экстазе, для себя одного только, принялся бить себя пятерней в грудь, и пьяным шепотом все приговаривал: «Я, я во всем виноват, из-за меня Пашенька утопился, из-за меня». Повторял и повторял одно и то же, пока Серега с Бутылой его не скрутили и не сволокли на постель. Но и там не сразу утомился — ворочался, шептал, и после только затих — заснул на боку, к стенке повернувшись.

Серега с Бутылой подсели к столу, помолчали. Выпили по стопке, и Бутыла, вдруг, или чтоб сгустившуюся тишину нарушить, начал как-то странно, смущенно даже, вроде как льстиво, все в глаза заглядывая. Но скоро говорил — слова не вставить.

— Сереженька, милый мой, я как на духу тебе — люблю же тебя, парень. ты никогда дядьку Сашку Бутылой не обзовешь, ты меня любишь, да? — Он пододвинулся поближе, скрипнул стулом, и, чтоб смущение перебороть, завертел в руках пустой стакан.

— Ведь я как понял — все через любовь? Ведь когда она-то уходит, ведь это пустое время, не жисть, и сколько ж выходит я не жил... Любовь, парень — сколько с детства помню, отец всегда про любовь говорил, а он где любит? Где она ему досталась — ведь никому, всем ее мало... Ты не подумай, я бату уважаю, я, Сереженька, ты и не знаешь, я всех люблю, только это — тсс! тайна, а если нараспашку — кому это сгодится? Ты люби и прощай — тебя в грязь, а ты — прощай, так я понимаю?

Он заглядывал прямо в глаза, и в его взоре никакого уже первоначального стеснения не было, но и не пьяная блажь из него говорила, это Серега чувствовал, а потому молчал, не задеть, не порушить чтоб. Бутыла выдержал паузу, причмокнул языком — видно переход к другой теме такой погонялки требовал, и вмиг переменился: и лицо скосилось, и руки вновь стакан завертели — дошла чередой обиды:

— Ты слушай, слушай, я свое никому, знаешь, никогда... Я думал помру — не заговорит, а он спас меня, Сереженька, заступился. Я ту ночь в кочегарке ночевал, а он, один, один понял, парень, при всех заступился! Простил, значит? Да я за такое, знаешь, что готов сделать? Э-э, ты меня не знаешь. Я к нему ночью ходил сегодня! Так — хрена! «Бог простит!» Бог! Понимаешь! Бог! Что мне его Бог? Его Бог мне давно простил, да? — он опять замолк секундно, явно требуя ответа. Серега кивнул, и этого было достаточно, чтоб дальше уже понесло Бутылу в крик, почти истерично. — Зачем же тогда спасал? Зачем при всех одно, а мне — другое? Где ж его-то любовь? Где она? Или, если, значит, Бог простил, то и он? Или учить меня удумал? Полвека как не учил — сейчас принялся? А я свое отжил, я, знаешь, что повидал? Не дай никому наглядеться. Сам этими руками своими все и заработал. Мало? А мне много не надо, мне чтоб только любили все друг друга...

Он выставил свои руки вперед — черные от несмываемой угольной пыли, трясущиеся, и ошеломленно их разглядывал, будто впервые ему новая мысль пришла.

— Я ведь знаю, что такое смерть. Этими вот руками... Я?.. Да ни за что! Чтобы как Фриц? Не-ет, это у них на роду написано, а я — нет! Не дожидетесь! И Иуду Бог простил, а я не Иуда — я боевой офицер, и мне мой Бог все списал, все! Понял? Все!.. — И осекся — Надежка с кастрюлей на пороге стояла. — Все, все, Наденька, ухожу, — Бутыла попытался встать, но она не позволила — поставила на стол кастрюлю, задержала.

— Поешьте, мужики, там картошка с сардельками, я на турбазе взяла, поешьте. Вам не принесешь, так будете одной мануфактурой питаться.

Не осуждала — не за что сегодня было ругать, но и не присела, поставила и пошла. Серега догнал ее в сених.

— Надежка...

— Не пей больше. Поешь и спать ложись, вечером приду — поговорим, но чтоб трезвый был. Иконы я спрятала у Карая в будке. Все, иди, — оттолкнула, сбегала с крыльца, и права была — о чем сейчас говорить?

И вернулся к столу — поел и полегчало, и даже Бутыле картофелину скормил, и совсем бы отошел, да Колька приперся, и тоже на взводе, и тоже с поллитрой. И отталкивал стакан, отталкивал, но насели вдвоем. и... Что говорил? О Вовчике рассказывал, и о капитане, и теперь его успокаивали — не бойся, ничего у них не выйдет, ты тут ни при чем, любой подтвердит. Не знали же, и — да-да, мужики, да-да...

Будили потом Арсентия — на лов собираться. За ним, собственно, Колька и зашел, и толкал сам дядюшку, водичкой отливал из мамино-го ковшика, и кое-как, под руки — вывалились на воздух, и к соймам.

— В Озере выпится — не впервой!

Но у самых уже лодок заартачился Арсентий Минаевич — ни в какую.

— Сегодня не иду! Не иду сегодня!

В песок сел, руками его гребет, сыплет на себя, вопит:

— Слышали все — не иду! По мне хоть Колька, хоть сам Валентин Егорович, хоть кто — не иду!

И отстали. Валентин Егорович только глянул, рукой махнул — какой работник, пускай спит. На скорую руку попытал Серегу, и в который раз он все сегодняшнее рассказывал, а рыбачки, одеваясь, слушали, натягивали резиновые желтухи.

И отчалили, оттолкались шестами, завелись, вырулили из бухты, пошли гуськом — работа есть работа, чужой за тебя ее не сделает, а Праздник кончился, и стояло только перед глазами лицо Валентина Егоровича: «Да-да, парень, вот так, значит, дожили. Да-да...» — ни сочувствия, ни жалости, ни горечи, ни безумия Арсентьева — спокойствие, уверенность, и все чувство только в двух словах и заключалось — да-да. Головой покачал слегка, и глаза усталые, белесые, выцветшие за годы в Озере, да-да, дожили...

И не поднять было Арсентия с песка — не давался, материл вяло, отбрыкивался, все за песок цеплялся, и оставили — до вечера отойдет — и влезли на косогор, пошли к Сереге в дом — Бутыла, как собачка, за ним увязался, но уже не бубнил, молчал, и завалились на кровать вдвоем, заснули.

30.

Арсентий лежал недолго — не спал, боролся со сном, знал, что дайся он мужикам — вмиг бы его разморило, а спать по чужим закоулкам, как Бутыла, он не привык. Есть дом, и пока носят ноги — он в нем хозяин, и как бы бабы ни чертыхались, он их кормит, он, а что пьет, так — его право. И обида застарелая вскипела в душе — ну, что еще надо? Что? Судачки кормят, и не хуже, а и получше, чем дру-

гих всяких, а что водка — так он и сам все знает. Все он знает про жизнь. Все, ясно?

И шел домой, выделявал кренделя, но шел, не согнувшись, прямо шагал, только тянуло присесть, а не садился — дома, дома, все дома. И бормотал под нос любимую присказку: «Девки-бабы — не народ», — бормотал, и утихомиривалось на миг, успокаивалось на душе, и главное было теперь проскользнуть в кровать незамеченным, не слышать ихнего лая. Он в таком состоянии сейчас был — что графин хрустальный: покричи — расколется, а потому — не надо учить, не надо — он здесь пока хозяин, он — кормилец, и все!

Шел, людей на улице не замечая, не здороваясь, себя б донести, да и что их — поздороваются, а за спиной сразу и судачат, косточки перемыкают... одно слово — девки-бабы — не народ. Без понятия, потому как мозги курьи: кво-кво-кво, а чтоб по делу... Господи, надоело...

И вспомнил, вспомнил уже у калитки, зачем шел — хотел матери про Павла Ивановича доложить, хотел посмотреть, как она эту новость воспримет, как! Как?

И запрыгала на петлях калитка, и Барс не твякнул, забился в конуру — знал хозяйский нор, знал, псина, когда ласкаться, а когда и помолчать, потому — мужик, какой-никакой, а мужик; и уже и дверь хлопнула, и, сапогов не снимая, выкатил на материнскую половину, где они с Венькой обретались, и, заметив, что сына нет, пошел, занавеску на кровати раздвинул.

— Лежишь?

Клавдия Лукинишна привыкла к его постоянным посещениям, привыкла, и было собралась с духом, собралась — дух только и оставался в теле, и... он перебил прубо, видел, как задвигались складки у рта, как губы зажевали — опередил, бросил ей в лицо, — Пашка утопился! Поняла ты, Павел Иванович, как дядька Иван... за ним... в реке утоп сегодня...

И выдохнув, опустился на табурет, смахнув с него какие-то пузырьки, баночки, и опять не дал ей сказать.

— Знаю, зна-аю, что скажешь, знаю наперед — Фриц он для тебя. А он и не Фриц — он от Ивана, я ж видел, как Иван уходил. Он тогда Марьюшку перекрестил, я сам видел, сам. Я, я во всем виноват, и от своей вины не отрециваюсь, вчера ему все и рассказал — и про сенник, и про Карлиного сыночка, и про Иванов уход, и кабы тебя не побоялся тогда, разбудил бы Марьюшку, она б его остановила да и уберегла. А ты, ты... — он задохнулся, закашлялся — самое главное уже сказано, да только вот кашель нашел, помешал ей все, все, что надумал...

А мать воспользовалась, чуть голову приподняла, и начала, да твердо:

— Я все и тогда знала, видела, что ты с ней сено убирать пошел. Так что? И как Иван уходил — видела. Марья во всем виновата, сука позорная. И есть у меня такое право ее судить. Запомни, Марья врагу дала, Ивана сгубила, сына прижила от фрица. Да! И не тебе, щенку, меня корить, потому как не мужик ты, твердости у тебя отродясь никакой не было — как и не отцов сын, всю жизнь, что говно в проруби, пробултыхался. Хватит, намучилась, скоро на погост свезете, но знай, я право имею, а ты — нет. Ты его заработал? Ты все пропиш, ты же пьяница голимый. Иди, пока Веньку не позвала, иди, проспиш. Он у меня одна надежда остался, за меня, за Мину, за отца твоего. Зря он что ли кровь свою пролил, зря что ли власть советскую устанавливал, под пулями ходил, чтоб такие бездельники, как ты, все его дело позорили? Иди с глаз моих...

И понеслось, понеслось — не остановить теперь. Арсентий встал, руками замахал на нее.

— Молчи, молчи, мать, Христом-Богом молю, молчи! — и скорей на свою половину. И неслось вдогон:

— Нет Бога, нет Бога, нет!

И зачем ходил, зачем? Не понять ей, не понять до гроба, и при чем здесь Бог, при чем здесь отец, при чем здесь фрицев сынок, при чем? И Венька, Венька...

— Где Венька? — заорал, топнул, в своей уже избе, кастрюлю какую-то с печи наверхнул на пол, и на грохот вбежала жена, пришла с работы домой, и... с двух сторон: из-за перегородки, и прямо в ухо, на все лады: А-та-та-та!

Завалился на постель, стащил сапоги только да фуфайку, накрылся ею с головой, не слышать чтоб ихнего воя, и закрутилось, заплясало перед глазами: значит, знала про Ивана, значит... И где Венька? где Венька? — последний мучительный вопрос, и уже перед тем, как нырнуть в яму, в который раз спасла присказочка, отцова еще любимая: девки-бабы — не народ. Да, да-да, так батя еще говорил, а они теперь им, как иконой. Отец! Что, отец?..

31.

Венька меж тем ехал домой, не спеша ехал, рассуждал. В странную цепочку все выстраивалось, очень странную. Капитан его наконец выслушал, согласился, что надо будет Карнаухова прощупать — очень уж неожиданно он появился в Старгород. По делу. Какое-такое тут у него дело может быть — с Надежкой ничего не связывает, это ясно. Значит, только Фриц остается. Только Фриц. А от Фрица к Вовчику ниточка. Нет, и Окурочек тут ни при чем, всего скорее, ни при чем, хотя найти его следует, конечно. Но Окурочек что — бичу два года жизни осталось — старый, сморщенный, помоешник — такие на дело не ходят. Нет. Такие тихарят, доживают свое. Вовчик, тот другое дело — тот крал. А Сереге сбывать — небось в Москве у него концов много. Но Павел Иванович — неужели мог решиться? Ножом... Нет, тут еще один кто-то, но кто? Ведь свой, явно свой — чужака б сразу заприметили, хотя... Да... цепочечка... Вовчик. Маруська. Говорили бабы, что Маруська подбивала его ноги сделать от Будулая, а он, видать, ее опередил — сам захотел, или... Черт знает, что такое...

Как отпустил капитан, он не домой сначала поехал — завернул в цыганскую слободу к Будулаю. Зашел к ней, и застал, что называется, с поличным: чемоданы укладывала с барахлом.

— Здорово, красавица, далеко ль собралась?

— Чего надо, говори да проваливай, — она явно не в настроении была ласы с ним точить.

— Маруся, я по делу. Ты Вовчика давно не видела?

— Давно. А зачем он тебе?

— Да надо б поговорить. Не видела, значит? — он слегка переиграл.

— Сказала ясно — вали откуда пришел.

— Да ты чего, Маруська, я ж по-доброму.

— По-доброму? Твою доброту изучила, вали, пока дрын не взяла.

— Так, значит, с Вовчиком линия намылилась?

— Кто тебе сказал? Какое твое дело, лягавый, что ты нос всюду суешь, уйди, не доводи до греха.

Уже против него стояла — глаза бешеные, руки в боки. И не утерпел, сказал, хотелось на реакцию посмотреть, закону вопреки, но ведь и момент упустить нельзя было, момент истины он называется.

— Убили Вовчика. Около Заповедника прирезали. Сегодня утром, поняла?

И не ожидал, совсем не ожидал — как кошка прыгнула, когтями в лицо, и заорала, заорала — но успел руку отвести, отбросил ее на кровать.

И голову только повернула — выдавила:

— Покажись, Веня, покажись...

— Ну, правда, Марусь, ну что ты, я же не знал, что у вас тут... А он давно от тебя ушел?

И опять вскочила, и уже не сдержат — выкатились вместе во двор, и только ноги спасли — с доской за ним бежала.

— Уйди, уйди, мент лягавый, пес! — и как только не обзывала. И у калитки встала, затряслась, затряслась, и — прислонилась к забору, и тихо-тихо так твердила: — Уйди-уйди-уйди...

И ушел, что еще оставалось. Понял только, что чемоданы ему собирала. Или вместе?

Но теперь куда бежать, завтра отгорюет — разговорится, он ее хорошо знал, не ожидал только, что так все будет. Значит... Нет, цепочка, что надо. И точно, точно, чуёт же — Карнаухов!

И гон обуял — сейчас его с пути не сбить было. Только теперь ученый — наводящими, наводящими, сторонкой, чтоб не спугнуть. За Маруську ему и так нагорит, но он отыграется, обязательно отыграется.

И как приехал, бросил мотоцикл у дома, пошел к Карнаухову в избу, но там мало что вызнал — спят Серега с Бутилой обнявшись на кровати. Свет горит, накурено, бутылки под столом, и спят. Но избу оглядел: на печке, в сенях, в дровнике — ничего. Ну да ладно — будет завтра день, будет и пища. И пошел домой, и уже в темноте, с улицы, ага! заметил Надежку — к Сереге бежала, к Сереге! И чутье подсказало — неспроста! Разглядел рюкзак у Надежки в руках — тяжелый рюкзак, не Серегин, тот, вроде, с сумкой приехал. И сел за дровами, затаился, стал ждать. Теперь-то не спугнет, теперь-то тихо... Еще и Бутилу! Бутилу? И осенило: он — третий! Даже мороз по коже — вот тебе, Алексей Платонович, и весь сказ. И замер — чурбачок подложил, устроился поудобней. Теперь только ждать.

32.

Серега очнулся быстро — Надежка теребила за плечо, шептала скоро-скоро:

— Вставай, вставай, Сереженька, ну да вставай же.

Он сел, потер глаза, пошел к рукомойнику.

— Надо, Сереженька, решать, что делать, — шептала, остановиться не могла — задыхалась, словно пять километров бегом отмахала. — Надо решать, а то схватятся, чую же, завтра придут с обыском, надо решать.

Стояла посреди избы: рюкзак у ног, глаза блестят.

— Погоди, сядь, — соображал он еще туго.

— Некогда, Сереженька, успокаиваться, пока ночь, надо идти.

— Куда? Сама посуди — куда? У Павла Ивановича они уже побывали. Дом опечатан наверняка, а если и нет, так не влезть, он же, что крепость, на сорока запорах.

Серега отвечал шепотом — боялся разбудить Бутылу, но не удалось — тот вдруг глаз приоткрыл, уставился, что сын, и ясно стало, все слышал, притворился только. Поглядел на рюкзак.

— Значит, Пашка все-таки? — он не вставал, лежал как лежал, не шелохнувшись, только глаз блеснул из подушек.

И Надежка взорвалась, не выдержала:

— Ты что, дядька Сашка, спятил? Ты на Сереженьку подумал? Ты подумал?

Серега положил ей руку на плечо:

— Утомись, утомись, тихо.

И рассказал вкратце — тайть теперь было нечего.

— Копии, говоришь... — Бутыла закрыла глаза — думал. Но думал недолго, встряхнулся, встал:

— Серега, там у нас чего осталось? — И взгляд Надежки поймал, рукой только пригрозил: — Спокойно, девка, раз заварили кашу — надо расхлебывать. Ну, осталось чего, нет?

Сам собрал бутылки, стаканы, слил подонки, выпил, и стол припечатал стаканом:

— Давай,— руку к рюкзаку протянул.— Я и сделаю. Раз все на Саньку подумали — я и сделаю. Мне что? Я снесу.

— Куда, дядька Саша?

— Куда же — к Николе. Копии — не копии — мне все едино. Откуда взял — туда и положи, там им место.

— Да как?

— А каком. Как брали, так и скласть надо. Через окошко.

— А если сигнализация?

— Когда брали — она сработала? Вона! Нету ее, так что давай. Сидите тут, как мышки — ждите. И не такие дела обдeldывали.

— Погоди, дядя Саша, а если провели, тут на арапа нельзя.

— Конечно... — Бутыла оскалился,— в один день взяли и провели. По воскресенью, значит, взяли и провели. Сколько лет стояла и тут провели. Нет, парень, худо мыслишь. Ни за что им не успеть. А вот если так сидеть да толковать, враз и дождешься, что налетят и за шкурку. Идти надо, хрена тут думать. — Он подобрал рюкзак, накинul лямки. — Тяжелые. Ну ничего, донесу, враз донесу, а вы тут, значит, дожидайтесь... Нет, не поверю...

— Погоди, дядя Саша, я с тобой,— Серега вскочил, встал с ним рядом.

— И я...

— Ну уж нет, девка, ты к люльке иди, еще чего надумала, не бабье это дело. Что спрятала — молодец, хвалю. Ты у меня всегда на особом месте в списках значилась.

И он подмигнул ей, весело подмигнул — никогда, пожалуй, не видели они его таким веселым.

— Ну, идем?

Как само собой разумеющееся — принял, и к делу.

— Я вас здесь ждать буду, домой не пойду, не усужу там.

Вы уж скорее, а если что — к сторожке подкиньте — охрана же спит там вечно.

— Ладно, ладно, девка, яйца курицу не учат.— Они вышли на крыльцо, и из темноты уже донеслось деловое Бутылино: — В кочегарку, значит, зайдем, там клещи, там топорик возьмешь, там фомку, и ладно будет.

И захрустели по песку шаги, и не слышно стало.

Она стояла на крыльце, и ветер холодный с Озера, казалось, и не остужал совсем головы. Запахнула только фуфайку, смотрела вслед, прислушивалась. И — услышала: шаркнуло что-то за поленницей, упала дровина, стукнула, как выстрелила, и трава зашелестела на огороде.

Кто? Кто? Не удержалась, слетела с крыльца, и крадучись, тихо-хонько, по земле, бесшумно, заспешила. И к кустам, к кустам поближе, и под ноги смотрела, куда ступить — в таночках войлочных домашних была на спасение, и догнала, и со спины узнала — Венька за ними следил. Венька! И только ладошку ко рту, чтоб не ойкнуть, знала же его. И не опередить, не предупредить никак — одна дорога — и так и пошла: Венька за ними, она за Венькой.

33.

Ольха ночью, как живая, клочьями клонится к дороге черная баранья шуба — каждый лист сам по себе шелестит, и сливается все в общий шорох не шорох — звук. Трясет лапками клен, дрожат березо-

вые стволы, тянут уши лопухи, а иван-чай с помойки целует в губы настырно и больно, и царапает коленки репейник, стрекочет крапивное полчище, и ветер как налетит, как потянет, и начинается и вовсе шабаш: свист от секущих воздух веток, и глумится, колышется, качается, трещит кругом, и луна ныряет в облаках, и небо в дырах, в норах, и несется, несется все, и все сильнее обступает, и догоняет, и подгоняет, и отдается в ушах, все сильнее отдается каждый неверный шаг, все перекрывает, и скачет сердце: тук-тук-ток-так-так, колышется, словно сарафан на веревке, и екает преступно в животе, и — глаз на фонарь, единственно уцелевший: чтоб только не заметил, Господи, Господи... Венькина потайная фигура то сливается с кустами, то выныривает из них близко-близко откуда-то, откуда совсем и не ожидала, и одна надежда, что он не видит, не слышит никого сейчас, аж изогнулся в ту сторону, замер, распластался по штукатурке настоящего монастырского корпуса: за кочегаркой из-за угла подглядывает, а что там, что? Ей не видно, и только догадки: инструмент ищут, инструмент?.. И вот слизало Веньку, и она уже у стены, и она уже глядит, и она уже перебегает черный двор, и шлак и уголь скрежещут неимоверно, и уже по траве, по мокрой траве, к Заповеднику, и где ей, где ей-то спрятаться — Венька выбрал себе местечко за большой липой — ему все как на ладони, а ей где — мокро, не падать же в болото, и, вдруг, оглянется, вдруг... И решилась, решилась, когда поняла: Венька пистолет из кобуры достает — пистолет! Он же может, он!.. И побежала, побежала, и на бегу углядела — лезет Бутыла в окошко, а Серега снизу, подталкивает. Венька было подался к ним, да услышал, наконец, обернулся, увидел ее, замер, и рукой только машет, и шепчет: «Ложись, ложись...»

Но набежала, схватила за руку с пистолетом, и не бороться, нет — толкнула с разбегу, повалилась к корням, и запричитала срывающим-ся голосом:

— Идиот! Идиот! Венька! Милый мой, ты что, спятил? Ты думаешь — они? Венька, погоди, погоди секундочку, я ввек тебе не прощу — погоди — есть же время у нас — я все объясню...

Он рвался, матюгал, гнал домой, но не пускала, как обхватила намертво — только если б убил — отпустила, и — похолодело вдруг внутри все, решилась, вскочила — дорогу ему закрыла, и в голос уже почти:

— А ну-ка сядь, не рыпайся!

И так сказала, что он замер, глаза только вылупил.

— Венька! Чем хочешь тебе клянусь, только выслушай. Ведь это же позор, позор на всю родню, на всю Слободу, на весь город, на весь белый свет. Как ты не понимаешь, дурень ты, они же не крадут — они возвращают! Ведь, если не вернуть... Ну уразумей ты наконец. Я, я их уговорила... Да, что я — они сами, понял?

Но ничего, конечно, не понял, и опять, и опять вцепилась:

— Запомни, Венька, — предашь своих — не жить тебе здесь, и в городе не жить — проклянут все. Хочешь, как Бутыла? Да? Хочешь? Если не понимаешь — молчи. Молчи в тряпочку. Они же возвращают, что Фриц вчера Сереге насильно вручил. Фриц обманул его, сказал, что это копии. Венька, пойми, пойми, милый ты мой, ну что тебе еще сказать? Поверь, ты меня хорошо знаешь, неужели думаешь смогла б с мазуриками связаться? Да они — ты ж век их знаешь... Слышишь, Венька, не пушу, все равно не пушу, и не пытайся. Но если сейчас арестуешь, то трижды идиот будешь — век не отмыться перед людьми. Запомни — век!

Что-то он, кажется, понял, но рвался по-прежнему, и не пускала, похлеще бульдога впиалась.

— Ну черт, ну сука, пусти, стрелять буду!

Но ухитрилась, укусила за руку, и выронил от неожиданности пистолет, и покатались, покатались, и — вдруг — как с небес:

— Вы же тут, не пойму — любитесь или деретесь? Бутылин голос.

И Серега, Бутыла, Венька, Надежка — все друг на друга выставились, и Бутыла опять спокойно так, с улыбочкой:

— Видел, Венька? Все видел, да? А понял? Нет? Ну так пойдем, тут-то ведь не место, парень. Пойдем ко мне в кочегарку, а их вот отпустим, голубков, их дело — сторона. А захочешь — арестуешь — я не сопротивляюсь. Пойдем, парень, пойдем, потолкуем.

И шли, как собаки побитые. Около кочегарки Бутыла стал, отпер дверь, Веньку пропустил, а Сереге с Надежкой ручкой сделал — умятывайте. Глазом подмигнула, как тогда в избе, весело так, и дверь затворил.

И поняли — уговорит, объяснит — такую уверенность вселил. А руки дрожат — сил нет, и ноги не идут, однако — пошли. Обнял ее, и пошли. Молча. Какие тут слова? И только изредка останавливались дух перевести.

— Ко мне?

— Да, конечно, только подожди, надо в дом на минуточку.

И так посмотрела: и хитро, непонятно как-то, и не утерпел, одному стоять-ждать неохота было:

— Я с тобой. Спят же все — чего там...

На секундочку, на мгновение одно замялась, опять взглянула — теперь пристально, изучающе:

— Что уж там, пойдем.

И зашли.

34.

Первое, что он увидел, было детское белье на веревочках через всю кухню, и запах — резкий, кислый, в нос шипающий, но Надежка задержаться не дала — потянула на свою половину, где они жили с матерью. Около ее кровати стояла новенькая желтая кровать, заведенная расшитой простыней. Она к ней его и тянула:

— Это — Сереженька. — И, как она умела, протянула: — Сергей Сергеевич...

— ???

— Да, Сереженька, шесть месяцев уже.

По-прежнему улыбалась, хвостик только рыжий утвердительно подпрыгнул на затылке.

— Шесть месяцев! Шесть?.. Сергеевич....

Она прижалась к нему, приласкалась:

— Сергеевич, Сергеевич, не сомневайся. — Поглядела уже изучающе, и глаза блеснули гордо, независимо, как обычно. Но рот рукой зажала, поманила к выходу. — Тсс! Он чутко очень спит, пойдем к тебе...

Но Серега отрицательно мотнул головой, сел на кровать, и сказал резко:

— Здесь будем.

И сам обрадовался, что так сказал.

Утром — не маленький, тетка Соня их подняла. Услышали, как встала, подождали, пошли за ней на кухню. Софья Минаевна только руками всплеснула и заплакала, и подошла. обняла его, уронила ему голову на плечо, и оттого только стыднее ему стало, не знал, куда глаза прятать. Но тетка Соня быстро оправилась, смахнула большим пальцем слезинки и уже улыбалась во весь рот, и уже отчитывала-благословляла:

— Ты смотри мне, Надюшку береги. Я-то, Сереженька, я-то как тебя ждала. Знала, что одумаешься. Вот и слава Богу — надоумил. Слава Богу...

И засуетилась, бросилась пироги доставать, словно нарочно пекла, а всего скорей, нарочно и пекла — ждала в гости. И вот уже пили чай, а Софья Минаевна все ему внучка нахваливала: ей молчать было тяжелей, ему — говорить, и поддакивал, и все глядел на них, и так вдруг внутри спокойно, тепло стало, и уже откинулся на стуле, и — век бы так ни о чем не думать... А Минаевна все не унималась:

— Глядите — решили, так чтоб по-человечески, иначе обоих прогоню. Да... — она опять всхлипнула, — ведь уедете, станете, как же, тут в деревне сидеть. Да где ж вам там — оставайтесь, ребяташки, — и пошла-поехала причитать — Катерина Колькина и спасла: проснулась, выглянула из-за занавески:

— Жених объявился! Здорово, здорово! Давненько ждем.

И поцеловала — как с дороги встретила.

— Ну, видал?

Как своим гордилась.

А он, как на заказ, запищал, зашелся в голос, и все в избу сыпанули. Взять на руки? Ждут — не подступаются, и — взял. А потом-то уж просто: ребяташки Колькины забегали, Надежка бутылочки кипятком ошпаривала, мешала смесь, Минаевна вздыхала, что теперь все бабы безмолочные, Катерина на детей орала... А он держал червячка на руках, разглядывал, и отпускать не хотелось, но накормили, переодели, вынесли на улицу. Надежка пристроилась рядышком: спокойная, но гордая-прегордая, только виду не подает, только глаза сияют. Пошли на берег соймы встречать.

35.

Старик хорошо видел вдаль — с деревенского высокого бугра так все вырисовывалось; облака наконец пришли в движение, и, набирая скорость, побежали, понеслись, зашепили за Озеро, за Черный берег, на юго-запад к смешанным буреломным лесам, изрезанным зигзагами окопов и воронок, по краям которых произрастают из земли одни лишь пустоцветы сыроежки да неподдающиеся рже, словно на исполинских верблюдов кованные, толстые, неохватные пятерней, подковы — следы побродивших здесь некогда мохнатых баварских тяжеловозов. Где-то там, за черной полоской горизонта тучи и пропадали. Здесь же, поблизости, это он уже скорее слышал и ощущал — залепетали кусты, и с вечно наклоненной к воде толстокорой липы на него просыпалась древесная чешуя, и где-то рядом захлопала крыльями ворона. По берегу же, над самой кромкой, потянулись из Озера на городские помойки первые чайки. Свободное небо набрало глубину, и в Малых Никольских озерах затеплился свет, кладя начало наступающему дню.

Он стоял у своей липы, у своей любимой липы, как стоял здесь вчера, позавчера, много-много дней подряд, как и много-много лет назад стоял у той, теперь чудом сохранившейся, изъеденной пожарами, зияющей пещерой-дуплом, коряворукой, немой, с редкими кустиками случайной листвы, той, что одиноко торчит на пустынном бугре — месте старой деревни. Он стоял долго. Слушал. Глядел далеко, и так глядя, вспомнил, как восхитила глаз чудесная паучья сеть, как отвлекла тогда, повернула мысли на близкое, на осязаемое почти рукой и на вечно ускользающее, недоступное скудному его уму.

Он поискал паутину — ее уже не было. Лишь обрывки, сбитые ветром в подобие кудели, цеплялись за изрезы коры — не было уже кружева, исчезла красота, исчезла и сотворившая ее мохнатая, крестом помеченная ткачиха. Серая, пустая, свалывшаяся сеть — не живая, порушенная: хлам, ошметки былого великолепия. Когда налетела смерть? Зачем? Кому помешало трепещущее на ветру легчайшее кружево ловитвы? Да и помешало ли? Всего скорей просто настал срок.

И, в который раз подумав так, в который раз подивился: природа убивает не из корыстного интереса, но только из чувства голода, только ради продолжения жизни, и хоть всегда и везде и во все времена смерть выглядит одинаково, все же, все же, законное угасание естественно, ибо оно безвинно. Иное дело человек. Сколько пришлось пови-
дать ему насильственных смертей, и не только в Воркуте, где смерть стала обычнее жизни, и выживший невольно оказывался соучастником в убиении себе подобных: отбоярился от дальней командировки — посылают другого, закосил пайку — не хватит другому, конца и края не видно было подобным уравнениям, и хотя проистекали они из естественного, сродни борьбе за существование паучьего и стрекозиноного народа закона, но все же, задумываясь сегодня о том времени, когда о таких мелочах думать почти не приходилось, он и в этом соучастии теперь винил себя, винил, потому как все яснее видел, в какой кощунственной игре пришлось поучаствовать, и те немногие, лично им спасенные, отбитые, пристроенные в сравнительное тепло, все равно не перевешивали общей чаши. Но страшнее, стократ страшнее были убийства ради забавы, убийства, совершенные по злобе, ночные и дневные, прилюдные и тайные, убийства от скуки, от лени, от похоти, от жадности, от жадности, убийства самосудом и убийства по суду, который был многожды беззаконней любого лагерного беззакония.

Тогда он измучился, рассуждая: где же кара? И понимая, и веруя, что она наступит, обязательно наступит там, за чертой, все же не мог уяснить, понять не мог — для чего? Для чего? И, охваченный отчаянием, впадал в неверие, и проклинал, и богохульствовал в душе, и каждый раз каялся, и молился, и верил, и покаяние очищало, обновляло, давало силы жить.

Но странно — жизнь не становилась от этого легче, то есть не становилось легче то, что окружало, наполняло будни ежесекундными заботами — ни там, в воркутинском аду, ни позднее. Вернувшись, получив пенсию, он остался одинок ровно настолько, насколько был одинок до лагеря. Нет, после уж не приходилось трудиться хребтом, и все же, все же — спасало-то только сознание правоты, сознание исполненного долга.

Он всегда был свободен, всегда был независим, всегда знал, что прав, но сомнение терзало, не давало сна по ночам, и часто, забытый в лагере разговор с председателем снова вставал перед глазами, мучил прежней мыслью — предатель? И всякий раз убеждал себя, уговаривал, что нет же, какой он предатель — ведь он с ними, всегда с ними, и лучшим доказательством служил тот почет, что постепенно нарастал по мере отпадения шор, тот почет, которым теперь вот по-настоящему только под конец окружили его деревенские, то уважение, с которым звали на свадьбы, поминки и просто к праздничной петропавловской ухе на берегу. Свобода, выходит, была всего важнее, свобода и за-
таенная, никому не показываемая любовь.

Что ж, получалось, что земля жила вечным законом, и человек, ступающий по ней, ежечасно, ежедневно вступая с ней в единоборство, через него, через ее сопротивление познавал этот первый, простецкий закон. Жесткий закон. Небеса же безмолвны — они бросают человека, оставляют его один на один со своими страстями, своими ошибками, и человек живет, потому что надо, дышит, потому что иначе умрет. Многие, лишенные голода совести, добывая себе пропитание, не задумываясь, преступают черту, совершают насилие над себе подобными, над братьями своими. Лишенные боли душевной, они замечают только живую, земную боль, и главное, главное, что заложено в них так же, как и способность дышать, так и не прорастает, не развивается, иссыхает, и лишь в редкие, отчаянные минуты вспыхивает что-то в груди, будоражит, задевает неведомые доселе струнки. Но у всех ли,

всегда ли? Нет, жизнь показала, что нет. Ни добро, ни истина не доступны многим — только мысль, порожденная совестью, помучив, побередив сердце, освобождает наконец от скороспелого и наносного — освобождает, даруя свободу. Если б каждый грех доставлял боль, думал он, а каждое ответное покаянье — радость, как же скучно б нам жилось. Нет, долго надо взвешивать на своих весах, сомневаться, отчаиваться даже — трудиться, прежде чем труд подарит великое чувство. И он постиг его, постиг не сразу, но сам, сам однажды ощутил себя правым, правым по-настоящему, по большому счету, не уговорил, не убедил, как случается каждому, нет — ощутил, почувствовал, как по новой задышал, и — жизнь не стала легче, но был обретен покой, был им заработан покой.

Потому-то и любил старик утренние выходы к липе. Здесь, под сенью вечной, казалось, листвы, или по-зимнему замершим сплетением ветвей, он думал, впитывая природную тишину, и здесь, как нигде больше, приходили самые дорогие мысли, что можно было варить, обкатывать в голове уже в течение целого дня.

Вот и сейчас, настроенный поначалу мрачно, до сих пор переживая неожиданный ночной приход сына, вспоминая его потерянное, напуганное и гордое одновременно лицо, он убедил себя, что поступил верно. Простил ли? Да, конечно, простил, но не здешним, дешевым прощением, и если сын поймет, то цель будет достигнута. Цель?.. Какая цель?.. Как просто б было раскинуть руки, обнять этого чужого, старого, испитого человека, лишь какими-то отдаленными воспоминаниями связанного с ним, но — не смог, не позволил себе, закрыл дверь и постарался не слушать, и слышал, как тот, родной и единственно оставшийся, всхлиывая и бормоча проклятия уходит, уходит уже навсегда. Гордыня или долг перед теми, кто вкусив земного ада, так и остался навечно впаян в ледяную линзу вечной мерзлоты? Гордыня, гордыня — смертный, страшный грех... А сын, что ж, сын не поймет, значит, так и надо...

И снова, сейчас, как и в ту ночь, кольнуло в сердце, и зашарил руками, отбросил свой посох, прижался к толстому стволу, и, на него опираясь, к нему прильнув, отдышался, переборол слабинку. Сын — Вовчик — Павел Иванович... Нет, Сашка, он знал, не способен на такое, знал, верил, а потому и защитил перед людьми, и рад был убедиться, когда сын пришел. Пришел, откликнулся, просил прощенья. Значит, не все потеряно, не все. Теперь дело за ним самим.

Что же касается тех двух, он мог бы предсказать их исход и заранее — всегда не любил ни рыбака-мазурика, ни Пашку-скомороха. Не любил, не видел в них соли, что делает человека человеком, и волнованный всех женщин вопрос: не Павел ли Иванович убил Вовчика — вовсе его не волновал. Не кара небесная их постигла, как шептались в церкви старушки, постигла их худшая кара — совесть подвела к концу, точнее — отсутствие таковой. И не жалко было их, жалко было жизней загубленных, как жалко было глядеть и на живущих: и на Арсентия, и на Валентина Егоровича — с виду такого даже самостоятельного, как уверяли, работавших в треть оборота, работавших, чтоб работать. Жалко было и Кольку — безобидного пьяницу, жалко было Витьку-скопидома, жалко было всех, и себя самого в том числе, так никогда с ними и не порыбачившего, не внесшего лепты в их труд, принужденного временами лишь молиться за них, молиться, испрашивая им неведомое блаженство...

Он глядел на подходившие к берегу соймы, на гадающих в небе чаек. Птицы небесные не сеют и не жнут... Вот именно — птицы, счастливые, беззаботные птицы, в поиске пропитания снующие по жизни — счастливые, счастливые и несчастные одновременно. Сколько же лет еще надо бродить по пустыне, чтоб окреп дух?

У кромки воды стояли Серега с Надежкой, и малыши на Серегиных

руках сучил ножонками и тянул руки ввысь, к небу, к орущим чайкам-выюшам. Старик знал, Софья все рассказала ему, и он ждал — придет или забудет? И когда увидал Серегу, спускающегося с косогора с Венькой, загадал, что все будет хорошо. И сейчас он испытывал радость — сбилось то, что не он один испрашивал, и отмечая, как весело приветствуют рыбаки Серегу с Надежкой, не слыша их шуточек, но хорошо себе их представляя, он вдруг заулыбался. Быть может, этот, лишенный еще речи Сергей Сергеевич? Быть может, он?

И почему-то убедил себя, быстро убедил себя, и убедив, и радостно оглядевшись окрест, отметив снова глазом до мелочей знакомые виды: новую деревню, стены Монастыря, большую глыбу древнего Егория, и чуть выглядывающую из-за его плеча головку спасенного деревянного Николы, и Озеро, и соймы у берега, и корявый, черный силуэт той, вечной никольской липы, он вдруг почувал, явственно ощутил, как силы покидают его. И снова, как когда-то в детстве, пронзил его вечный вопрос, тогда доставивший много неприятностей, страхов и переживаний, а теперь почему-то только развеселивший: «А есть ли Бог?» Он покрепче обнял родное дерево, могучее, неколебимое среди буйно разросшейся молодежи ивняка, и, вжавшись до боли сердечной, всем телом вжавшись в его изборожденный морщинами ствол, вошел в него, слился с ним, исчез, и лишь прошелестел своей теперь исполинской шевелюрой, прошелестел и потянул свои старческие, корявые руки к воде, к берегу, к веселящемуся беспричинно, не знающему еще забот, на отцовских руках восседающему, розовощекому малышу.

36.

Арсентий пришел встречать лодки, для виду захватив два ящика под рыбу: сложил в стопку побросанные кое-как на берегу, отсортировал негодные: всем своим видом деловым старался загладить вчерашнюю пьянку. И когда ткнулись соймы в песок, и донеслось оттуда веселое: «Ну, Арсентьюшка, проспался?», — он лишь привычно посетовал: «Выходился, вроде». Забрался на нос, присел на каюте, закурил и устался на дележ, от которого сегодня ему ничего не причиталось. Чтоб совсем не пропадать в бездействии, он принялся подкалывать Серегу. Рыбаки радостно подхватили, и понеслось, понеслось вперемежку с лещами, судаками да порционными щучками, нырявшими в увесистые городские целлофановые мешки, и остановились, только подсчитав вырубку да закулив по-последней.

— Ты, Серега, чтоб так прохлаждаться да с дитем нянчиться, походил бы с нами, — и отдых будет, и заработаешь, — предложил Валентин Егорович.

И предложение это, лестное предложение, вроде бы случайно, мимолетно сказанное, много значило — на нет сводило все зубоскарины.

— Время-то у тебя есть?

— Есть, Валентин Егорович.

— Ну дак за чем дело стало? Сапоги Колька даст, желтуху найдем, приходи вечером.

— Спасибо...

Парня Надежка давно уже отнесла — убежала готовить обед. Он поднимался в горку один, нес в руках двух здоровенных коричневых лещей, что отвалили от души, в подарок. Он нес в каждой руке по рыбине, держал их за глаза. Лещи были тяжелые.

— Да-да, — повторил про себя...

Зачем он приехал? Зачем? Долг Колонку? Две проклятушие тыщи казались теперь столь ничтожными. Зачем? Неужели не мог **зачать или зашабашить на худой конец?** Две тыщи — месяц работы в

леспромхозе. И, главное, мог же хоть сейчас подъехать — ребята звали с собой, нашли бы, что красить. И из-за двух тысяч, из-за своей проклятой гордыни...

Сейчас, утром все пролетевшее мгновенно, казалось, уже слышавшее, снова навалилось, как два леща, как подъем в гору, как предложение Валентина Егоровича. Почему? Почему именно с ним?

Тетка Соня глядела в корень — где им жить? Не здесь же. Конечно, не здесь. На время оставить, доучиться?.. Колонок, Клямов, Господи, какая чепуха, ведь он не собирался покидать Москву, а теперь... Р-раз! — и повернулось все, на сто восемьдесят градусов повернулось. О какой свободе может идти речь? О той, что вещал Павел Иванович? Все бабы на одно лицо... Все? Нет, Надежка ни словечком не обмолвилась, и тем хуже. Ждала? А что толку?

Опять с глубокого дна, с самого низа живота поднималась знакомая волна — и бессилие, а не злоба, и отчаянье, а не страх, и голова стала, как чугунная...

Дома бросил лежей в тазик, ополоснул руки под рукомойником, пробрался к Надежкиной кровати, к их теперь совместной кровати, повалился носом в подушку, и второй укрылся сверху — не слышать, не видеть — лежать. И когда Надежка подсела, спросила участливо: «Ты, что, Сереженька?» — он только буркнул в ответ, отвернулся к стенке, и она отстала. Выпорхнула из избы.

А он задумался серьезно: удрать? остаться? Старался не слушать, как дышит в кроватке сын, старался не вслушиваться и вслушивался помимо воли, ловил его сопение. И самый страшный, самый глубокий, до поры до времени таившийся, где-то будто и не в нем самом, вопрос, как вопль немой пронзил, протряс все тело: чей сын? «Сергеевич... не сомневайся». И Колонок — «суета суета...» И чем больше думал, тем больше сомнения брали, знал, что неправда, знал, и гнал их, и больше только тонул. Он еще не уговорил себя, не выбрал, а потому, желая быть правым, подспудно, подсознательно выбирал наиболее выгодный для себя, для себя только вариант. Приподнялся, заглянул в кроватку — но что там разглядишь? Что? И вдруг пришло на ум — пронеслось в мозгу — как Фриц... фрицев плодить... И только большее стало, и лежал — не встать, и гнал прочь наваждение, пробовал подумать о Надежке, жалеть ее, и жалко было, но себя жалеть. И плакать хотелось, но слезы не шли, только скулы сводило. И крутились мысли: Надежка, сын, Фриц, милиция... Да, еще и милиция. Капитан просил задержаться. Удрать сейчас — им только повод давать. Но и ждать сил не было. Вообще не было сил. И уговорил ли Бутыла Веньку? А что, если он уже в кутузке — на берегу утром, как обычно, его не было. И страх к горлу поднимался тошнотой, в который раз за эти дни охватил всего. И лежал так, и не заметил, как уснул, и очнулся от грохота — в дверь барабанили.

— Ну вот и пришли...

Но не милиционеры — Бутыла ворвался в избу, запыхавшийся, очумелый, и, брызгая слюной, вращая глазами — дикий, полусумасшедший, вывалил из какого-то грязного мешка две иконы.

Те самые!

— Серега! Те? Те? Говори! Говори скорее, а то я с ума сойду. Мы ж их сами, Серега!..

И когда поуспокоился, отдышался, рассказал. Веньку он ушатал быстро — налил ему фрицевского спирта — оставалось у него еще в заначке, и все объяснил, убедил, что молчком надо. И домой свел. А как в кофегарку к себе вернулся, как сел в кресло, да налил еще, так и вспомнил — вроде бы в ту ночь он мешок какой-то... И утром обыскался — весь уголь перерыл, и — нашел! И сразу сюда. И, что теперь делать?

Поглядели теперь уже не в спешке, внимательно — те. Значит, выходило, не обманывал Фриц — копии давал. Значит... Господи... Софья Минаевна даже перекрестилась с испугу и заплакала: «А я-то, дура, грешница старая, на Пашу подумала».

И постановили — звонить. И позвонили с турбазы, и... вся неделя в одни сутки слилась — не до рыбалки стало: приехали, забрали и иконы, и их с Бутылой, и — допросы, протоколы, и, на счастье, оказался в Старгороде искусствовед из Москвы — дал справку — в церковь подложены копии. Но не сразу и он определил, долго возился, пока компетентного своего мнения не вынес. А почему копии — Сереге так по крайней мере показалось, он просто поверил следствию — доказательства слишком у него вялые были. Но убедил милицию — профессор, фигура. И отпустили. Венька молчал, как рыба — ему б за недонесение здорово вкатили. И все при своих остались.

А кто Вовчика убил? Кто в кочегарку иконы принес? Окурок? Третий?.. Но это уже милицееское дело было.

И в пятницу, с раннего утра хоронили Павла Ивановича и Алексея Платоновича вместе — две крышки около железновского дома стояли. Народу собралось много: рыбаки пришли прямо с лова, музейные, да и из деревни, и свезли их на старое никольское кладбище, и положили рядом: тут Витька расстарался — взял отгулы, достал автобусы, если б не он, может, и не успели до выходов. А когда за столом сидели, много про покойников хорошего вспоминалось — никому ведь зла не подделали, никому не мешали, а гусли — выходило со слов музейных, что Павлу Ивановичу равных тут во всей стране не было...

И когда провожал Сергей Валентина Егоровича, тот его по плечу похлопал, сказал, добренький такой от водочки: «Ну, парень, дед-то у тебя гордый был мужик, да-да, гордый...» И это как похвала прозвучало.

Разошлись гости, разбрелись помаленьку и пока женщины убрали со стола, пока выносили табуретки да доски, Серега ушел потихоньку на бугор, прислонился к дедовой любимой липе, около которой в лопухах его и нашли, и замер, и думал — не думал, — стоял, смотрел в вызвездившее небо, и здесь только у дерева было ему почему-то хорошо и по-настоящему покойно.

А после Надежка позвала с крыльца: «Сереженька... Сереженька...» — и он оттолкнулся от шершавой коры, пошел на зов.

37.

Ночью Надежка вдруг сказала, призналась, давно, видно, таила: — Сереженька, ты не волнуйся, у меня на книжке две с половиной тысячи лежит. Расплатишься, еще и на переезд хватит, а там, снимем пока частную, а я куда-нибудь устроюсь за жилье. Не волнуйся, милый, все устроится.

Он погладил ее тогда, уснул.

Вот он омут — вот оно, тихое счастье. Все рассчитала, все продумала. Нет, винить нельзя — все правильно, все верно, но только кабала, опять кабала. Опять опека — не Колонок, так Надежка. И снова все так миленько обставлено, все так обставлено, что и не заметил, как попался в сеть. Паучиха, точно паучиха... Он с трудом погасил подступавшую уже истерику, закрыл глаза. Все ясно — только бы не проспать.

И проснулся рано, словно кто в бок толкнул, где-то около пяти проснулся, за окошком еще и рассвет не брезжил, и встал, оделся, и ей сонной поцеловал лоб: «Сейчас, сейчас приду». В колыбельку не глядя, не умывшись, черкнув только на столе два слова, вышел. Взял в материнском доме сумку — как она была пустая, так пустой и оста-

лась, погасил лампадку под иконами, а их — постоял, поглядел, но оставил — Бог с ними, в конце-то концов, подумаешь — две тысячи. Он не он будет, если в три раза больше не сколотит — теперь надо. Павел Иванович своим опытом научил. Теперь он зарабатывает, и с деньгами, расквитавшись с Колонком, заживет наконец независимо — сам голова — тогда можно будет и их перевезти. Перевезти?..

Пока хромал к остановке по спящей, серой еще деревне, по застланному туманом монастырскому саду, мимо Егория, мимо кочегарки, все расписывал себе будущее, и все более убеждался, что прав. Нет, только своими руками, только сам, а то, что же получается, даже Валентин Егорович намекнул — иди, чем так нянчиться, лучше зарабатывай. Нет, нянчиться времени нет — работать. Работать, всем доказать. Кому? Клямову? Колонку? И им тоже, и им тоже...

Он еще не выработал четкого маршрута — главное выбраться из города, а там на попутках, как-нибудь, доедет до Вологды, до лес-промхоза — ребята поехали по их с Колонком наколке, по их стопам. Найдут — не велика проблема, найдут.

На монастырском круге, на конечной, не хотелось дожидаться — сейчас напозвонят бабки, кто-нибудь да встретится, а около Заповедника, на второй остановке, вдруг да повезет — вдруг поймает шального молоковоза или попутку из Поозерья, а даже если и автобус... Он хромал по мокрому от росы шоссе, по самой середке дамбы, нога опять заныла, видно, погода менялась, и, не оглядываясь назад, шел и убеждал, уговаривал себя, и отдавались в голове только чавкающие звуки мокрых кроссовок.

Около Заповедника сел на пенек, спрятался в кустах — ему все видно было из своего укрытия, сел, закурил, уставился на торчащую из-за кустов маковку деревянного Николы. Да-да... Да-да, парни... И так сидел. Час? Два?

Давно поднялось солнце, проезжали в город желанные попутки, пронесся мимо пустой остановки рейсовый автобус, прострекотал на мотоцикле возвращавшийся с дежурства Венька, а он все сидел, как прирос к сосновому пеньку. Обругал в душе Веньку долдоном, обматерил, но не поднялся навстречу рейсовому и все видел и глядел уже назад, но не было туда ходу. Все кончено, уже проснулись, уже заметили, уже нашли записку: «Подробности — письмом» — на большее его не хватило. Нет, отрезано. Отрезано! Сам, сам, сам... Ведь не навсегда же...

Проехала аварийка с автобазы. С водителем рядом сидел Бутыла — опять заросший, небритый, похмельный со вчерашних поминков — ехал занимать очередь на сдачу — чтоб первым отстреляться, сбить свой хрусталь и к бане, к пивному ларьку, а там, скоротав до открытия время, подлечившись, закупить уже на все и спокойно ехать домой, в кочегарку, в пустую нетопленную кочегарку, и в кругу постоянных слушателей рассказывать, по-новой рассказывать события сумасшедшей недели, собирать обильную дань, а свое, на кровные заработанные прикупленное, запрятать — на ночь, на утро — на самое тяжелое, самое тоскливое время.

Что ж, Бутыла их спас. Разведчик! Вот и еще одна поозерская легенда — надолго ли только? Надолго ли? Походит с месяц королем, и опять...

Нет, хватит! Он встал, и первая же попутка подобрала и вывезла за город, на трассу, а там, там машин было уже много, и какая подберет, с какой посчастливится? С «камазом»? С «жигуленком»? Или вот с этим, мчащимся на всех парах «икарусом»?

Витька! Витька проехал! Но нет, промчался, не заметил его малиновый автобус — Витька сидел за рулем: сосредоточенный, как всегда, вливающийся в дорогу, только в дорогу.

Сергея упорно продолжал голосовать.

38.

«Икарус» шпарил по шоссе: в Таллинн, в Таллинн, к морю! Туристы, рано поднятые с постели, досыпали, а Витька гнал, словно что-то упущенное наверстывал.

Только дорога лечила, только в пути все всегда забывалось — оставалось одно шоссе, и он щелкал одну за одной колымаги, и даже тяжелые сверхскоростные автопоезда, и даже зазевавшихся частных на «жигулятах». Он любил ездить быстро.

Но сегодня он ехал на автопилоте — почти не замечал ничего, и когда экскурсоводша, взвизгнула на крутом повороте, он не пошутил, как обычно — огрызнулся.

Как же все ему ненавистны! Как ненавистны!

Только здесь, только сейчас, сегодня, когда, наконец, вырвался из проклятой мышеловки, когда, наконец, поверил, что пронесло, смог вздохнуть облегченно. Ведь всю неделю — как на ноже, как на плахе. И черт с ними с деньгами, снял их с тайной сберкнижки — жена не заметит, черт с ними, но зачем, зачем вообще затеял всю эту историю? Попутал гад, попутал таллиннский таможенник — посулил, и сколько — двадцать штук, двадцать тысяч! За что — за две дощечки. Да, с такими деньгами он мог бы наконец вздохнуть спокойно, мог бы вообще уйти с автобуса в сторожа в яхт-клуб. Потихоньку бы ковырялся в мастерской, а не вламывал бы, как сейчас вламывает — ведь вот все завидуют, а никто, никто так, как он, спину не гнет! Никто! А дочки скоро школу кончат — разлетятся, а им с женой что останется? А с двадцатью тысячами мог бы и парников еще настроить... Да что там говорить, что там думать.

Но думал, думал, думал, и гнал, гнал, гнал. А, собственно, он-то при чем? Он-то при чем? Он резал? Он топил? Ничего подобного — он только денежку дал, и, если б не Бутыла, сукин сын — крест нашел, иконы перепрятал по пьяной своей заморочке. И зачем им гадам крест переть понадобилось? Пожадничали. Ох, как же всех их он ненавидел — такой верняк, такой верняк завалить! Но, может, оно и к лучшему? Да, точно, к лучшему — на мокруху он не подписывался. А ведь ехал бы сейчас, дрожал, вдруг остановят, вдруг проверят, вдруг найдут? А так — со спокойной совестью, да, да, да! Со спокойной совестью — все чих-пых, все, слава Богу, устроилось: Павел Иванович вышел в святые угодники — музейные обещались, клялись на поминках, что закатят выставку, на весь свет раструбят. И они раструбят — они это умеют, уже после смерти-то грех не раструбить. Бутыла — тоже герой, вся деревня кланяется. А Вовчик? Что ж, Вовчик — судьба. Он разве виноват, что крест не поделили — нечего было лишка хапать. Так ведь бичи — одно слово.

И вспомнил вдруг, как перед глазами встала Маруся Будулаева, цыганочка. Вот беззаботная душа — хоть бы ей что. Когда вокзал проезжал, зацепил ее краем глаза: пьяная в дым, с двумя опойками под рученьки — бредет себе по тротуару — волосы нечесаные, морда опухшая — орут в три глотки, и как их милиция не арестует? Ну, а арестует — что с них взять? За «сутки» нечем даже расплатиться. Их дилижанс стороной объезжает — только план портить.

И влетело в уши, застряло в них, как тогда на вокзале влетело в форточку, нестройное, надсадное, нечеловеческое Маруськино пение: «А-а-а-ма-ма-ма-а-а-...» И не отделаться, и, хоть головой мотай, стоит в ушах. И озноб по телу пробежал, заколотило, и глянул на руки, а потом в зеркальце — глаз! Глаз! Черт! Кровью налитой! И руки — лапы! И шерсть медвежья, и когти, и клыки, и рыло, и пиджак, где пиджак — шерсть голая! И — зарычал, натурально зарычал, и по тормозам! И по пультам! По кнопкам! Без разбору! И, наконец, дверь отъехала, медленно отъехала на пневматике, и, уже не соображая,

рванулся из кресла. И когда гидша участливо к нему наклонилась: «Товарищ водитель, вам плохо?» — бросился на нее, исцарапал лицо в кровь, и визг, вой из автобуса: «Сумасшедший, сума-а-а-а...» — и он, он, кубарем в канаву, и на четвереньках к лесу, к лесу, к спасительному лесу, и там, далеко, уже на болоте, уткнулся в мох, рылом раскопал ямку, разворошил, раскидал мокрые ошметки, и глубже, глубже, к холодной, вкусной земле, и все равно не уйти, не уйти никуда — вопит, визжит, дергается в ушах, прямо в мозг ухверткой заползает Маруськино: «А-а-а-а-а...» А лес кругом хвойный, тяжелый, и ни одна веточка не шелохнется, ни одна хвоинка не упадет — жара давит, и тишина, словно не день, не солнце кругом, а глубокая, страшная ночь.

39.

А Надежка?

Встала утром, увидала записку на газете, прочла и — онемела. Смирилась, и только маленькая жилка в мозгу пульсировала: тик-тик-тик-так-так-так! — неужели за все, за все — маленького кусочка счастья не достойна? И все кругом в тишину погрузилось: Катерина, Софья Минаевна, даже Колька-балабол и тот молчал. Сторонкой ее обходили, в дела ее не совались, как воды в рот набрали.

А дел-то ведь, дел по дому, да еще с ребеночком — не заметила, как день пролетел. И когда уgomонились все, когда забились все по углам, по кроватям, когда, насытившись, засопел ее Сереженька в желтой кроватке, вышла на берег, к Озеру, и стояла долго-долго, слушала, все вглядываясь вдаль, и когда налетели чайки, очнулась вдруг, от забытья своего очнулась, подкосились ноги, ударились оземь, и чайкой, чайкой вольной полетела к небесам. И летала в надозерной глади, и все глядела, высматривала кого-то в белой ночи и кричала, кричала, весело кричала и не понимала, удивлялась, как это глупые люди веселый крик за плач принимают?

Долго летала, умаялась и вспомнила тогда о сыне, и ради него только потянула назад к дому, к родному берегу, и в темной уже ночи упала в песок.

И поднялась, стряхнула налипшие песчинки, постояла еще, недолго в себя приходя, и сама себе сказала: «Врут они все — вернется, я знаю, что вернется!» И покатались наконец слезы, и не утирала их, шла домой, и плакала сладко и беззвучно, и знала, верила, что права будет.

А без веры как жить?

Михаил Джавахишвили

Похождения авантюриста Квачи Квачантирадзе

РОМАН

С грузинского. Перевод Александра Эбаноидзе

Сказ о конце любви

Вера исхудала, истаяла. Тайна ее любви мучила прямодушную девушку. Квачи не показывался с ней на людях и в доме при посторонних избегал ее, объясняя это тем, что их заподозрят, станут перемиывать косточки, приставать с советами... Думает ли Квачи жениться? Разумеется! Что за странный вопрос! Но... Вере придется подчиниться патриархальным грузинским законам, иначе Квачи не сможет переступить с ней порог отчего дома и не получит ни копейки из кошелька своего папаша — Силибистро Квачантирадзе, а кошелек этот оценивается в миллион... Словом, необходимо благословение родителей. Квачи ждет его со дня на день...

Однажды Верочка, не на шутку испуганная, вбежала к Квачи, повисла у него на шее и, трепеща всем телом, прошептала:

— Послушай... Я должна тебе сказать, что... он только что шевельнулся... вот здесь... — и осторожно прижала руку к животу. Она дрожала и льнула к Квачи.

А тот словно одеревенел. Молчал и растерянно моргал.

— Скажи что-нибудь! Что мне делать?

— погоди... Не торопи, дай подумать...

Он потер лоб. И придумал.

— Здесь мне больше оставаться нельзя. Мы тут оба, как в тюрьме, не можем даже свободно поговорить. Я переберусь на другую квартиру. Ты будешь часто приходить... А появится необходимость — вовсе переберешься...

Эта мысль пришла к Вере по душе.

— Прекрасно! Снимем две комнаты, и пока придет родительское благословение, будем тихонько жить...

На следующий же день Квачи переехал на другую квартиру.

Но теперь никак не удавалось выкроить время, чтобы повидаться с Верочкой без свидетелей и поговорить о будущем, или просто упасть друг другу в объятия, хоть на десять минут забыть свои страхи и заботы в предчувствии грядущего завтра. То Квачи не было дома, то у него сидел Седрак, или Бесо, или Лади, а то и все вместе. Веру встречали приветливо, по-братски, и так же приветливо выпроваживали.

Однажды она пришла в назначенное время, но вместо Квачи ее встретил Бесо Шикия. Усадил за стол и осторожно начал:

— Вера, вы серьезная, умная девушка, поэтому позволю себе быть с вами откровенным.

— Боже мой! Что-нибудь случилось?..

— Я должен сообщить вам, что... Квачи получил письмо от родителей.

— Ну? И что же?..

— Вообще-то они согласны и даже рады его выбору, но...

— Но?!

— Одно непереносимое условие: женишься после обучения в университете.

Вера растерялась, залепетала...

— Я понимаю... Это... это, наверное, правильно... Но ведь я... Что делать мне? Как мне быть эти три или четыре года? Я... Я беременна... и совсем скоро рожу.

— Об этом не беспокойтесь. Квачи будет вас содержать...

— Не знаю... Мне надо подумать... понять...

— Я и говорю: вы умная девушка! — взбодрился Бесо. — Подумайте. Только не волнуйтесь и не порите горячку.

Поблудневшая Вера нетвердыми шагами направилась к дверям.

— Да, я совсем забыла: а где Квачи? Почему он сам не сказал мне все это?

— Квачи у своего дяди. К нему приехал дядя. Он и привез письмо...

После этого Вера несколько раз приходила повидать жениха, но не заставала.

Однажды случайно встретила на улице. Схватила за руку, отвела в сторонку и сквозь слезы зашептала:

— Что ты со мной делаешь? Мама все узнала, выгнала меня из дома. Живу у подруги. Мне буквально нечего есть...

— Успокойся. На улице неудобно говорить о таких вещах... Вот, возьми на расходы и приходи в семь часов — все обсудим.

— Я была у тебя раз десять, но не заставала.

— Что делать, дорогая, занят. Но сегодня жду непременно.

В семь часов вместо Квачи Веру опять встретил его друг — на этот раз Чипи Чипунтирадзе: пригласил в комнату, стал приставать — не то шутя, не то всерьез.

— Дался вам этот Квачи! Чем я хуже? Такая красивая девушка может сбить с толку любого мужчину и жить в свое удовольствие. — Все так же — то ли шутя, то ли всерьез, Чипи обнял Веру и притянул к себе. Вера вырвалась. И вдруг у нее началась истерика. Чипи перепугался не на шутку. Кинулся за водой, кое-как привел в чувство.

Однако через две недели землячество объявило, что Вера Сидорова подала на своего соблазнителя заявление.

Квачи призадумался. Спросил:

— Разбирательство будет публичным?

— Разумеется.

— Что ж...

Вечером Квачи обстоятельно поговорил с Бесо Шикия.

— Нет, — сказал Бесо. — На это не пойдут ни Чипи, ни Седрак.

— Что значит — не пойдут! Какие же это друзья. Бросают в трудную минуту! Если упрутся — я уломаю...

В грузинском землячестве шел товарищеский суд. Вера Сидорова путано и бессвязно рассказывала о своей беде, то краснела, то бледнела от стыда и запиналась.

— Сначала все было хорошо, жили душа в душу. А когда я сказала про свое положение, он совсем остыл... Стал избегать меня. Мама узнала, выгнала из дому... Я осталась без куска хлеба. Меня приютили друзья. Но они люди бедные... Скоро ложиться в родильный дом... Как? На какие средства? Я не знаю, что делать, как быть?.. — под конец будущая мать Квачинога ребенка и вчерашний предмет его развлечений разревелась, как дитя.

— Что скажете, господин Квачантирадзе?

— Все истинная правда. Вынужден внести только одну поправку: я не знаю, мой ли этот будущий ребенок...

— То есть как — не знаете? Если вы...

— Мне трудно говорить об этом. Но коли эта женщина не постеснялась вынести наши отношения на люди, я вынужден сказать все.

— Говорите!

— Дело в том, что у нее были и другие...

Вера побелела и вскочила:

— Что?! Что ты сказал?.. — голос у нее сорвался.

— Погодите, сударыня, — обернулся к ней Квачи. — Я все скажу. Сперва ответьте на такой вопрос: знаете ли вы Чипи Чипунтирадзе и Седрака Хавлабрия?

— Знаю. Вы сами познакомили меня с ними... Ну и что?

— А то, сударыня, что эти молодцы чаще ходили к вам, а не ко мне. И вы также заходили к ним. Теперь я замолкаю, господин председатель. Об остальном можете расспросить свидетелей.

— Аме, земляк-джан, господин председатель? — начал свои показания Седрак Хавлабрия. — А как же? И я к ней ходил, и она заходила... Аме? Стыдно говорить об этом, но совесть не позволяет подтвердить клевету: обязан сказать правду... Да, было, все было... Когда? Да месяцев восемь с тех пор...

То же самое повторил Чипи Чипунтирадзе — спокойно и беззастенчиво.

Вера Сидорова помертвела. Потом замолотила маленькими кулачками по столу и, задыхаясь, закричала:

— Неправда! Неправда!! Неправда!!! — ее крики смешались с истерическим смехом. Она захлебнулась и рухнула на руки подруге.

На этом разбирательство дела закрылось.

Победитель Квачи вместе с преданными друзьями отправился в знакомый духан.

Там их ждал духанщик Арутюн, шашлыки, теша, зелень и кисло-ватое ганджирское вино, выдаваемое за кахетинское.

Сказ о разорении и самшитовой ложке

Квачи приходилось туго. Очень туго. Деньги иссякли. А вместе с ними ослабло влияние. Друзья не толпились вокруг, как прежде, не льнули и не славословили. И женщин заметно поубавилось. В долг давали все неохотней. Портной, башмачник и прачка в один голос жаловались на обстоятельства и трудности жизни. И скоро он окончательно оказался на мели. А что Квачи без денег? Рыба без воды, орел без крыльев, скакун без ног.

В конце концов нужда заставила его обратиться к отцу.

В ответ из Кутаиси пришло восемнадцать рублей денег и столько же страниц упреков и поучений...

Обыкновенно силибистровский отпрыск обедал в ресторане гостиницы «Европа».

Как-то он незаметно сунул в карман серебряную ложку и вышел. Тот же прием повторил и на второй, и на третий день.

Ресторатор был вне себя. Собрал официантов и строго-настрого наказал:

— Каждый день пропадает столовое серебро. Вор или среди вас, или среди посетителей. Если в три дня не найдете, всех рассчитаю. Ступайте! — и вычел стоимость убытка из заработка официантов.

В тот раз Квачи совсем обнаглел: отобедав, взял серебряную ложку и на глазах у официанта положил в нагрудный карман.

Обрадованный официант бросился к хозяину ресторана.

За это время Квачи передал ложку Бесо Шикия и шепнул:

— Уходи и смотри, что я устрою этому недоумку...

Хозяин ресторана послал служащего за полицейским, а сам с деланной почтительностью подошел к Квачи и попросил:

— Сударь, нижайше прошу на минуту в мой кабинет.

Когда же в кабинете появился полицейский, хозяин ресторана как медведь набросился на Квачи:

— Вор! Бандит! Ты крадешь ложки, мошенник! Сейчас же обыщите этого негодяя! Он украл у меня десять ложек. Вот и сейчас в этом кармане у него моя серебряная ложка.

Квачи вытерпел фонтан брани и оскорблений, затем обернулся к полицейскому:

— Обыскивайте. Пожалуйста, я согласен.

Полицейский, извинившись, принялся за обыск и... извлек из нагрудного кармана самшитовую ложку.

Владелец ресторана, выпучив глаза, пялился то на Квачи, то на полицейского, то на своего официанта.

Между тем Квачи расположился в кресле, закинул ногу за ногу и с достоинством оборотился к полицейскому:

— Прошу сейчас же составить протокол. А вас, — он обернулся к хозяину ресторана, — за гнусную клевету я упеку в тюрьму.

Владелец ресторана схватился за волосы и простонал:

— Зарезал, негодяй! Зарезал!

— И это занесите в протокол! — сказал Квачи.

— О чем вы? Какой протокол! — воскликнул владелец ресторана и гаркнул на сгрудившихся в кабинете официантов. — Убирайтесь сейчас же, тупицы! — когда все вышли, он вырвал протокол из рук полицейского, изорвал его и вкрадчиво попросил: — Не надо изводить бумагу, скажите сразу — сколько?

Квачи отрезал так же коротко:

— Три тысячи.

И начался торг. Базар. Хозяин ресторана начал с пятисот и добравшись до тысячи, застрял надолго. В конце концов сошлись на полутора тысячах. Квачи взял деньги, отнес домой и бросил на стол перед изумленным Бесо.

— Вот! Эти деньги — из ничего. Одна самшитовая ложка и моя сообразительность принесли тысячу пятьсот рублей. Нужда заставила, не то и три тысячи отхватил бы...

Бесо в подробностях поведал друзьям историю самшитовой ложки. Поднялся шум, хохот. Некоторые вызывались повторить подвиг Квачи — разумеется, в другом ресторане. Затем стали выяснять финансовые отношения — сводить счета. Хавлабриян потребовал свои проценты и должок духанщику Арутюну; Чикинджиладзе взял сто рублей, Чипунтирадзе — двести. Бесо Шикия едва уберег пятьсот рублей. Да и те растаяли за две недели.

В этот раз на помощь пришел Седрак: принес толстую пачку новеньких купюр, но при этом так дрожал и испуганно шарил глазами, что Квачи невольно рассмеялся.

— Вот, княз-джан, только осторожно, не то сам погибнешь и меня потянешь. В большом магазине и в хорошем ресторане не разменивай. Ходи среди мелкой сошки: где семечки купи, где папиросы, или на извозчике прокатись...

Квачи в два дня обменял полученные деньги, но при этом чуть не попался: в двух местах ему вернули купюры.

Седрак перепугался не на шутку.

— Говорил — не ходи в хорошее место. А ты в кофейне Фанкони стал расплачиваться. Все! Больше нету. Нету, говорю!

Квачи глянул было на него орлом, но тут же понурился:

— Выручай, Седрак!..

— Что? Выручить, говоришь? Так и быть, выручу, как брата. Но знаешь, что скажу, княз-джан? Опасное дело плохо кончается. Да-

вай, какое-нибудь чистое ремесло изучай. Ты человек башковитый. Я так думаю, что для тебя лучше маклерства занятия не найти, прямо по тебе выкроено. Есть одна мысль, только послушай...

Сказ о том, как Квачи был агентом

Через два дня Квачи уныло тащился от магазина к магазину, от дома к дому, переходил из квартиры в квартиру. И повсюду болтал, болтал без умолку, без раздыха, без пауз. На исходе мая он уговаривал купить печи «Гелиос» новой системы. Расхваливал свой товар, приукрашивая и преувеличивая его достоинства, и читал покупателям популярные лекции по термохимии.

— Минутку... Послушайте, пожалуйста... Я прошу только одну минутку вашего внимания... Вот сюда вы наливаете керосин... это приподнимаете, а это опускаете... Полтора литра керосина отопгреют вам пять комнат...

— Спасибо, сударь! У меня во всех комнатах прекрасные каминны... Да и какие печи в мае месяце!

— Минутку! Выслушайте, пожалуйста... Подарите мне еще пять минут... Посчитайте экономию...

За неделю он продал-таки пару печек.

И наконец постучался к некоему Хопштейну.

Они схлестнулись не на шутку — поистине, поединок достойных соперников. Хопштейн был категоричен; наотрез отказался покупать «Гелиос», даже взялся за шапку, всем видом изображая, что собирается уходить, и закричал:

— Не хочу, вам говорят! Я сказал — не хочу!

Однако и Квачи заартачился: не обращая внимания ни на шапку Хопштейна, ни на его возмущение стал нахваливать свой товар.

Хопштейн убежал в другую комнату, Квачи последовал за ним.

Хопштейн взялся за газету, Квачи терпеливо ждал.

Наконец Хопштейн устал, сломался, спросил:

— Сколько вам причитается?

— Семнадцать рублей и двадцать пять копеек.

— Получите, только оставьте меня в покое.

— Вот квитанция. Всего вам доброго!..

Хопштейн догнал его на лестнице.

— Минуту, молодой человек! Мне нужно сказать вам несколько слов... Пожалуйста, вернитесь на минуту... Вот так, присаживайтесь... Теперь вы послушайте меня. Этой кошке больше проку от этой книги, чем мне от вашей печки. Не присылайте мне ее, не надо. Поставьте у себя, продайте, выбросьте или подарите беднякам. Еще никому не удавалось всучить мне такое ни к чему не пригодное барахло. Честь и хвала вашему напору и решимости! У вас прирожденный дар агента. Вы что-нибудь смыслите в страховании? Нет?.. И не надо! Через час все узнаете. Слушайте меня внимательно: я — страховой инспектор, служу в «Саламандре». Это самое крупное страховое общество в России... Сто миллионов исходного капитала, десять миллионов ежегодной прибыли... Номинальная стоимость акций — сто рублей, биржевой курс на сегодня — триста сорок один рубль. Вот, взгляните в газету: «Саламандра» в состоянии скупить все — «Россию», «Якорь», «Северное общество», «Волгу» и «Москву»... Я назначу вас агентом по страхованию жизни и от несчастных случаев... Будете работать из комиссионных... Некоторые наши агенты заколачивают в месяц до двух тысяч рублей... Да, да! Сейчас объясню вам правила и технику страхования...

В тот день Квачи пообедал у Хопштейна, затем получил еще один урок и с тарифами, плакатами и таблицами вернулся домой.

Хозяин квартиры, моряк Кулидис, оказался дома.

— Как? Вы до сих пор не застрахованы?.. Моряк и не застрахован! Вас на каждом шагу поджидают опасности... Вот и прекрасно: если проживете, получите свои деньги с приростом. Страхование — единственный способ накопления капитала. Будете ли живы или умрете — в любом случае вы в выигрыше: умрете с легким сердцем, ибо вашей вдове и детям не придется побираться. Не слушайте других! Более того, вы должны подать пример всем прочим! В Америке застраховано 99,7 процента населения, в Англии 97,9 процента, в Германии — 94,8 процента, а в России — 0,01 процента. Это еще один пример нашей темноты и непросвещенности! Нет, сударь мой, судьба послала меня в вашу семью, как ангела-хранителя, и я не отстану, пока не застрахую вас... Торопитесь? Ничего, сейчас нет дела важнее... Нет денег? Тоже не беда. Для начала довольно и ста рублей...

Квачи за полчаса обработал Кулидису. Того самого Кулидиса, за которым другие агенты гонялись годами.

Он вписывался в жертву мертвой хваткой и не отпускал до тех пор, пока не вписывал в свой реестр.

С утра до вечера Квачи хлопотал и мельтешился. Одних запугивал возможной смертью, других завлекал возможной выгодой, писал заявления и выписывал квитанции, собирал деньги, вручал страховые полисы и попутно поносил конкурирующие фирмы и соперников-агентов.

— Общество «Россия»? Не сегодня-завтра прогорит. «Волга»? Уже обанкротилась... «Москва» не выплачивает страховки... Агент Карпов? Да это просто вор... Кацман? Мошенник и плут! Сихович? Растратчик!.. Не доверяйте этим шаромыжникам!..

Всюду свой, со всеми накоротке.

— А-а-а, князю Наполеону Аполлоновичу наше почтение! Как живааете? Что нового? Милости просим, князь! Окажите честь...

И Квачи оказывал честь — то Петру, то Павлу, то обедал у Ивана, то ужинал у Сидора, то кутил с Кузьмой и месяца через два оправился, похорошел и заважничал по-прежнему.

Завел с десяток субагентов, нанял извозчика, вернул долг Седраку и запряг в работу своих дружков.

Но оставалась одна забота, одна неутихающая боль: глодала и мучила мысль о том, что у него так и не появилось лишних денег...

— Почему вы сами не застрахуетесь? — спросил его как-то Хопштейн.

Квачи призадумался, сосредоточился и сам спросил себя:

— Действительно, почему бы не застраховать Силибистро?!

С того дня в голове у него забурило, как в котле на сильном огне.

Сказ о страховании жизни и дома

Квачи по-прежнему рыщет по городу; рыщет и думает, прикидывает и мозгует.

Обмозговал, продумал, взвесил и написал:

«Дорогой отец!

Мой добрый Силибистро!

Заполни правильно печатный бланк, что посылаю вместе с письмом. Ты страхуешься на десять тысяч рублей. Причину не спрашивай. Скоро приеду и все объясню. В Кутаиси есть агент «Саламандры» Володя Шаридзе. Ступай прямо к нему, и все сделает он как надо. Скажи, что Квачи, то есть я, тоже агент «Саламандры», чтоб никаких комиссионных с тебя не брал. Посылаю триста рублей. Сто передай агенту, сто истрать на себя, а остальное отдашь ему, когда получишь полис из Петербурга. Как только полис придет, телеграфируй коротко: полис получен. Тогда я приеду и проверю все остальное. Смотри, не перепутай ничего и делай так, как я пишу. Кроме этого,

срочно застрахуй в «Московском обществе» оба наших дома — на максимально большую сумму. Не мне тебя учить. Верю, справишься и спроворишь все в лучшем виде.

Обо мне не беспокойся, я живу хорошо.

Очень рад, что ты наконец выхлопотал себе прапорщика¹. Конечно, ты заслуживаешь большего, но ничего — все еще впереди. Я там малость задолжал Эremo, Лайтадзе и Даниэльке. Передай всем привет от меня и скажи, что Квачи скоро приедет и расплатится.

Ну, смотри, отец, не спутай чего-нибудь!

По ночам часто плачу оттого, что до сих пор не повидал тебя и моих дорогих и любимых Пупи, Хуху и Нотио. Целую всех крепко! Если судьба на моей стороне, возможно, перевезу вас из убогого Кутаиси в Тбилиси. Молитесь Богу, и он нам поможет!

Твой сын Квачи.

Р. S. Сообщи, жива ли вдова Волкова, у которой ты приобрел дом. Никому не говори о моем возможном приезде.

Твой Квачи».

Одновременно Квачи вручил Хопштейну заявление о том, что он — Квачи Квачантирадзе желает застраховаться от несчастного случая на сумму в двадцать тысяч рублей.

— А жизнь не думаете застраховать?

— Нет, я еще молод. А несчастный случай возможен в любом возрасте... Мне столько приходится ходить и ездить — мало ли чего...

Через две недели ему пришел полис из Петербурга.

А вслед за ним и телеграмма из Кутаиси:

«Полис получил. Силибистро».

Вскоре после этого Квачи объявил друзьям, что его отец Силибистро заболел и он завтра же уезжает в Кутаиси.

Квачи и Бесо поспешно поднялись на пароход и через пять дней были уже в Кутаиси, в том самом доме на Тбилисской, где Квачи провел свой последний гимназический год и который «очень дорого обошелся» его отцу и деду.

Что тут началось! Мать Квачи, чувствительная Пупи, от радости почти лишилась чувств; постаревшие Хуху и Нотио прослезились; один только Силибистро важничал и пыжился, поскольку его жирные плечи украшали прапорщические эполеты.

Утолив первую радость встречи, Квачи, Бесо и Силибистро удалились в кабинет и долго шушукались там.

Замысел обсуждали три дня. Квачи заучил наизусть оба отцовских полиса — на жизнь и на дом. Он был очень доволен, что дом ценой в четыре тысячи Силибистро умудрился застраховать на десять тысяч.

На четвертый день по приезде сына Силибистро не смог подняться с постели: он жаловался на боли в животе и в груди.

Прошло еще две недели.

Врачи находили у Силибистро то малярию, то желудочные колики, то диабет, то рак.

— Как можно доверяться местным коновалам! — стонал Силибистро.

А члены его семьи подхватывали:

— Слава Богу, приехал Квачи, он отвезет отца в Тбилиси...

Квачи с Бесо за это время тряхнули стариной — вспомнили и толстощекого Эremo, и добряка Лайтадзе, и жида Даниэльку; не забыли ни Буду Шолия, ни его благочестивую супругу Цвири. Впро-

¹ Если дворянин не состоял на службе, но чем-либо отличился, он получал чин прапорщика и право носить эполеты. (Прим. автора.)

чем, самого Шолия Квачи не застал, чему ничуть не огорчился; что же до Цвири, то она от радости буквально не устояла на ногах.

Вдова Волкова, узнав о приезде бывшего постояльца, заперлась в своем чулане и, пока тот куролесил по Кутаиси, молилась и постилась. Старушке было так неловко и стыдно, она так избегала Квачи, словно сама обманула, разорила и ограбила его, лишив на старости лет пристанища...

Спустя еще три недели ослабевшего, впадающего в забытие Силибистро тепло закутали и повезли в Тбилиси.

Там, в Дидубе¹, Квачи снял затерянный в овраге трехкомнатный домишко и на следующий же день приступил к делу.

Он шастал по городу, зыркал глазами, прихихивался, прислушивался, выведывал и уточнял. Наконец взял след.

В один прекрасный день заявился к восьмидесятилетнему старику русскому, из чиновников.

— Вы хозяин этого дома?

— Да, я.

— У вас живет Ованес Шабурянц?

— Это мой дворник. Он очень болен.

— Болен? Что с ним?

— Уже две недели как его расшиб удар. Отнялась левая сторона и язык.

— Боже мой, какая жалость! Почему я не узнал об этом раньше, может быть, мне удалось бы ему помочь. Не удивляйтесь, мы с ним давние друзья. Однажды, много лет назад, я тонул по неосторожности и Ованес спас меня... Потом мы надолго потеряли друг друга. А на днях я случайно узнал, что Ованес служит у вас.

— Вы делаете божеское дело, если присмотрите за ним. Он одинок, как перст. На всей земле нет никого, кто приютил бы больного. Он ведь бежал из Турции...

— Знаю, знаю, он армянин из Вана... Его семью уничтожили турки... Боже мой, Боже мой, как жаль, что я опоздал! Ради Бога, покажите мне моего несчастного друга!

— Пойдемте. Я, сами изволите видеть, в таком возрасте, что кто бы за мной присмотрел... Все собираюсь сходить в больницу и уговорить их забрать несчастного Ованеса...

— Нет, нет, не делайте этого! Я присмотрю за ним. Раз уж судьба предоставила мне воздать за спасение, я не отступлюсь...

В темном, сыром и смрадном подвале они подошли к прикрытому лохмотьями недвижному телу.

— Бари луст², Ованес! Узнаешь? Нашел я тебя... С трудом, но нашел. В тот раз ты меня спас от смерти, теперь мой черед. Долг платежом красен! Лучше бы тебе ко мне перебраться... Не бойся, недельки через две поставим тебя на ноги... Ну-ка, где его паспорт?

Привели носильщиков. Потрясенного, безъязыкого Ованеса вынесли, усадили в пролетку и повезли.

Все трое остались довольны — и Квачи Квачантирадзе, и старик русский, и Ованес Шабурянц.

В тот же день Квачи пригласил врача.

— Доктор! Ради всего святого, доктор! Помогите! Какое несчастье! За что, за что мне такое наказание! — причитал Квачи со слезами на глазах.

— Успокойтесь, сударь. Успокойтесь и расскажите все по порядку: как? когда? Кто этот больной?

— Это мой отец, Силибистро Квачантирадзе! Месяц назад мы переехали в Тбилиси. Он был вполне здоров, ни на что не жаловал-

¹ Район в Тбилиси; в то время, когда разворачивается действие романа — пригород.

² Здравствуй (арм.).

ся, никаких признаков... Потом... Может быть, вы помните, десять дней назад на базаре взорвали бомбу...

— Как же, как же! Прекрасно помню.

— Так вот: мы с моим несчастным отцом, как нарочно, оказались на месте взрыва. Бомба взорвалась чуть ли не у наших ног. Один Господь ведает, как мы уцелели. Тут же взяли извозчика и уехали со злосчастного места. И вот с той минуты до сегодняшнего дня отца трясло и знобило. Я порывался пригласить врача, но отец не разрешал; за всю свою жизнь, говорит, не обращался к врачу и сейчас не стану. Особенно из-за каких-то террористов... А сегодня, вроде ни с того, ни с сего у него вдруг все отнялось — и рука, и нога, и язык, Господи! Почему я только жив!

— Успокойтесь. Не надо так волноваться. Может, его состояние и не так уж опасно, — и врач принялся осматривать больного.

Квачи был на грани обморока: ему казалось, что больной вот-вот очнется и заговорит.

Наконец врач сказал:

— Не стану скрывать, приготовьтесь к худшему. Возможно, ваш отец скоро умрет. Хотя может протянуть и долго...

Надежда, столь неопределенно высказанная врачом, привела Квачи в отчаяние. Он рухнул на стул:

— Боже мой!.. Боже мой!..

Врач выписал рецепт, дал рекомендации и ушел.

В ту же минуту в комнату вошел Силибистро.

— Ну! Как дела?

— Порядок! Сказал, что долго не протянет. Крепитесь, говорит, и мужайтесь...

Оба усмехнулись.

— Завтра отвезу тебя в больницу, отец. Прикинешься, будто язык отнялся, помычи там на них...

— Ладно, ладно!..

На следующий день в городской больнице приняли больного:

«Ованес Карапетович Шабурянц... 45 лет... город Ван... подданный Турции... Признаки апоплексического паралича...»

А еще через две недели в одной из грузинских газет было напечатано следующее объявление в траурной рамке:

27 сентября сего года в г. Тбилиси
после непродолжительной болезни скоропостижно скончался
Силибистро Квачантирадзе,
о чем с глубочайшим прискорбием извещает
его вдова Пупи, осиротевший сын Квачи (Анаподист),
дядя Хуху Чичия и тетя Нотио Чичия.
Похороны состоятся сегодня в 12 часов из дома усопшего.
(Дидубе, ул. Сагурамская, № 84)

Тут еще случилась досадная ошибка: траурное объявление по небрежности редакции напечатали в день похорон, а поскольку газета была вечерняя, то на панихиду не смогли прийти даже те несколько дальних родственников, которые при других обстоятельствах нашлись бы в Тбилиси у семейства Квачантирадзе.

Несчастливого «Силибистро» на второй же день крепко заколотили в гроб, поскольку, как объяснял Квачи, он засмердел.

Священник и дьякон лениво и вполсилы служили панихиду.

Пупи и Нотио в трауре, заплаканные, обессиленные от горя сидели с распущенными волосами. Ланиты их были исцарапаны, а очи — «яко озера неиссыхающие».

Хуху и Квачи стояли, понутив головы. Лица у них были скорбные, брови насупленные, глаза припухли и покраснели от слез, невыносимого горя и бессилия перед лицом смерти.

Едва дослушав панихиду, гроб с телом «Силибистро» поставили под балдахин и спорым шагом направились к Кукийскому кладбищу.

Вдова и родня усопшего с плачем и причитаниями следовали за балдахином, исподтишка озираясь по сторонам. Где людей было пожиже, они умолкали, где погуще — принимались голосить.

— Горе мне, несчастной! Горе, горемычной! — звывала Пупи. — Кто теперь пойдет на базар? Кто купит там зелень и вырезку на шашлыки, которые ты так любил, Сили-би-стро-о!.. Кто закроет мне глаза, которые тебе так нравились, Сили-би-стро-о!.. Здесь мы жили рядышком, душа в душу, чтобы нам рядышком уйти туды-ы-ы! Никогда тебе, родимому, не вернуться сюды-ы-ы!.. А ведь так мы друг дружке клялись-обещали, мой верный, мой преданный Сили-би-стро-о-о!..

— Горе мне, горе! — сокрушался Квачи, бия себя по голове. — Кто теперь даст мне мудрый совет?! Кто поддержит меня? Кто пришлет денег, чтобы кончить университет!..

Бесо Шикия, понураясь, следовал за скорбящим семейством и посмеивался в тоненькие усики.

На кладбище взбежали спорым шагом, сунули гроб в могилу, засыпали землей и, с облегчением вернулись назад.

В тот же вечер «Ованес Шабурянц» выписался из больницы и отправился прямиком на Навтлугский вокзал. Квачи проводил «Ованеса». В вокзальных сумерках они долго шушукались, потом крепко расцеловались и попрощались.

Еще через несколько дней переписчик в Кавкавском полицейском участке сделал в книге следующую запись:

«Ованес Шабурянц, 45 лет. Подданный Османской империи. Прибыл из Тбилиси. Поселился на Базарной улице, № 16...»

Сказ о пользе страхования

Заказное

Губернскому инспектору страхового общества «Саламандра» Михаилу Джавахишвили.

г. Тбилиси. Верийский спуск, № 21, кв. № 2.

от Квачи (Анаподиста) Силибистровича

Квачантирадзе

Заявление

Почтительнейше уведомляю Вас, что первого октября сего года в девять часов вечера ехал по улице на велосипеде. Возле церкви, в темноте меня сбила коляска. Был составлен соответствующий протокол, копию которого прилагаю. У меня повреждена левая рука и левая нога. Я застрахован в вашем обществе от несчастного случая, страховой полис № 124392 от 11 мая сего года.

Кроме того с прискорбием уведомляю Вас, что 25 сентября сего года в 4 часа 30 минут в Тбилиси в моем доме неожиданно скончался мой дорогой и горячо любимый отец Силибистро Квачантирадзе, жизнь которого была также застрахована в вашем страховом обществе на десять тысяч рублей; страховой полис № 175663 от 4 июня сего года.

Прилагаю три справки по поводу

- 1) лечения больного
- 2) смерти и

3) захоронения.

Прошу принять все необходимые по закону меры.

С уважением
Квачи Квачантирадзе

2 октября 19... г.

г. Тбилиси. Сагурамская ул., № 84.

Согласно служебным правилам и существующим установлениям областной инспектор Закавказского отделения страхового общества «Саламандра» Михаил Джавахишвили на следующий же день отправился на Сагурамскую улицу и лично навещал осиротевшего и скорбящего Квачи Квачантирадзе.

— Господин Квачантирадзе? Я по поводу вашего заявления...

В доме засуетились и как бы испугались.

Квачи приподнялся на постели и простонал:

— Очень приятно, сударь... Присаживайтесь!.. Нет, нет, лучше сюда...

Хуху принес плетеное кресло, Пупи приставила к нему пуфик, а Нотио толкала мягкое кресло, но застряла в дверях.

— Не беспокойтесь, сударыня. Спасибо!

— Премного наслышан о вас, сударь! И только в самом лучшем смысле,— начал Квачи.

— Доброе имя — бесценный клад,— вздохнула Нотио.

— Если вы в такие молодые годы снискали столь славное имя, то, когда до преклонных лет доживете вся Россия будет о вас говорить! — простонала безутешная вдова Пупи.

Так встретили инспектора в семье Квачантирадзе — воскурили фимиам и капнули в душу благовоний лести.

Когда поток любезностей подыссяк, инспектор сказал:

— Перейдем к делу? Что с вами стряслось?

Тут вся семья в один голос захлопала и запричитала:

— Ох как же — что с нами стряслось, сударь! Куда уж хуже! Нашей беды врагу не пожелаю...

— Гибнем, сударь вы наш! Гибнем, батюшка! Такая крепкая семья враз гибнет на корню!..

Пупи расплакалась и вышла в другую комнату.

— У нас была крепкая, дружная семья,— взволнованно начал Квачи. — Здоровье, любовь и согласие, дом — полная чаша! Никто никогда не болел... И вдруг на той неделе в одночасье умирает отец, не успев вымолвить ни слова, не дав отеческого благословения, не напутствовав меня в жизнь!.. Через день в Кутаиси сгорел наш дом, а теперь вот еще это... моя беда...

— Ваш дом был застрахован?

— Ах, сударь, до страховок ли нам сейчас!.. В прошлом году за него давали сорок тысяч, но я не собирался продавать. Теперь придется довольствоваться десятью. Я скорблю о дорогом отце, что же до дома и моих конечностей, то, поверьте, готов лишиться их вовсе, только бы еще хоть разок увидеть его!

— Вы сильно пострадали? Травма серьезная?

— Смотрите сами...

Нотио с предосторожностями откинула одеяло с больного: рука и нога были в лубках; запястье и щиколотка опухли и посинели.

— Вот полис моего несчастного отца. Нам причитаются какие-то жалкие десять тысяч.

— Эх, оживи он сейчас, я бы приплатил вдесятеро вашей страховой компании,— пробормотал Хуху.

— А вот мой полис... На каких-то двадцать тысяч. Дело не стоило хлопот, я и не собирался страховаться, но уговорил одесский инспектор. Буквально уломал... Вы знаете Хопштейна?

Инспектор просматривал полисы и прочие документы.

— Да, знаком...

Документы оказались в полном порядке.

— У кого вы лечитесь? Кто ваш врач?

— Бедов. Знаете такого?

— У компании есть свои врачи. Я пришлю одного из них.

Квачи навострил уши, взгляд его оживился.

— Кого именно?

— Хотя бы Шабишвили. Это известный врач. А теперь мне пора.

— Ах, что вы! Куда вам спешить, сударь? Посидите, отдохните, попьем кофе. Чем мы вам не угодили?

— При чем тут — не угодили? Дела...

— Батоно Михаил! — попросил Квачи: — Не затягивайте дела, оформите поскорей. Иначе придется махнуть рукой на эти страховые и... За все потери и страдания причитаются какие-то гроши — не стоит из-за них изводить человека.

— Не волнуйтесь, батоно Квачи! Документы о смерти вашего отца сегодня же отправлю в Петербург и не далее, чем через месяц вручу вам десять тысяч рублей. Что же до вашей травмы, то придется потерпеть. А когда поправитесь, каждый день болезни будет оплачен вам из расчета двадцати рублей.

— А если не поправлюсь?

— Что за странные мысли? Непременно поправитесь.

— А вдруг нет? Ведь случается — вроде бы по совсем простой причине у человека руки-ноги отсыхают.

— Если у вас отсохнет рука и нога, разумеется, мы выплатим всю сумму страховки...

Когда инспектор вышел, семейка переглянулась, глазами спрашивая друг друга, удалось ли его провести.

Хуху удовлетворенно проговорил:

— Этот человек ничего не понял.

— Не заметил, — подтвердил Квачи.

Доктор Шабишвили говорил инспектору Джавахишвили:

— Не пойму, что происходит с конечностями Квачантирадзе. Я лечу, а кто-то словно бы нарочно членовредительствует. Я делаю блокаду из целебной мази, накладываю лубки, а рука и нога буквально сохнут на глазах...

— Заметьте, что бабушка Квачи — старуха Нотио, знахарка, в частности, мастерица увечить конечности с последующей реабилитацией. Спрос на ее умение высок, поскольку многие таким способом освобождаются от воинской обязанности. У нас есть право уложить Квачантирадзе в больницу и установить круглосуточное наблюдение. Но покамест воздержимся от крайних мер, они могут вызвать нежелательные пересуды: агенты других страховых компаний немедленно ухватятся, поднимут в прессе шум и наш престиж пострадает. Внимательно следите за ходом болезни. Посмотрим, как пойдут дела дальше. Дайте Квачи почувствовать, что мы догадываемся...

Через неделю к Квачантирадзе неожиданно нагрянули инспекторы Хопштейн с Джавахишвили и доктор Шабишвили.

Квачи смешался. В ту пору он особенно был плох — слаб и бледен.

— Наполеону Аполлоновичу наше почтение! — весело приветствовал его Хопштейн.

— Доброе утро... Присаживайтесь...

— Как поживаете? Как здоровье?..

Квачи как обычно застонал и запричитал, роняя слезу:

— Гибну!.. Отец умер! Дом сгорел!.. Вот и я совсем плох!

— Знаю, знаю. Я все знаю. Даже больше, чем вы думаете! — холодно и жестко прервал его Хопштейн. — Господин доктор, снимите повязки с травмированных конечностей.

Квачи опять застонал и заохал. Повязки сняли, больного осмотрели: рука и нога у него высохли до кости.

— Да, да, это оно! Никаких сомнений,— резко бросал Хопштейн.— Переважите!

Он отвернулся и, пока доктор перебинтовывал Квачи, стоял у окна, беспечно барабанил пальцами по стеклу и глядя на облачное небо. Затем обернулся и с металлом в голосе начал:

— Теперь к делу. Я буду краток, резок и прям. Хватит играть в прятки. Нам это не к лицу, мы давно не дети. Сразу же сообщу, что закрытие всех трех ваших дел поручено мне.

— И дело о доме тоже?

— Да, и дело о поджоге дома тоже. Начнем сначала. Первое: вы сбежали из Одессы, не взяв расчета, и увезли тысячу рублей казенных денег... Терпение, сударь, терпение!.. Мы не знаем ни Чикинджиладзе, ни Хавлабрияна. Мы знаем только вас и имеем дело с вами. Второе: вы обманули десятки клиентов... Кого? Вот список — читайте. Вместо вас им вернули деньги мы, то есть страховая компания: всего две тысячи шестьсот семьдесят пять рублей. Третье: ваш дом был заложен в минувшем году в банке за тысячу четыреста рублей. Банк оценил его в две тысячи, вы же застраховали на десять тысяч. Кутаисский страховой агент, способствовавший этому, в наших руках. Ваш дя-дюшка или дедушка — вот этот старик Хуху Чичия тоже не уйдет от ответа... Я сказал, потерпите. Не спешите и не горячитесь. Теперь четвертое и главное: я по профессии врач, при этом давний, опытный инспектор, и обмануть меня невозможно. Со всяким сталкивался, видел тысячи увечий, но ваш случай редкий. Прямо скажем — из ряда вон!.. Будьте добры, объясните, как вы умудрились так упасть, что лодыжка у вас повреждена с внутренней стороны, а рука с внешней? Удивительно! Прямо-таки непонятно!.. Дальше: какая причина того, что ваши конечности так истаяли? Непосвященному может показаться, что они и впрямь сохнут... Причины столь необычной сухорукости надлежащим порядком будут установлены в больнице. Завтра же вам придется перебраться туда... Не волнуйтесь, при вас круглосуточно будут две сиделки... Ах, вам не нравится такая перспектива? Но вы же знаете, что мы облечены такими правами... Все равно не хотите?.. Поднимите скандал, привлечете внимание газет?.. Это ваше право! Если вам не жаль ни собственного имени, ни этого старика, ни кутаисского страхового агента... В таком случае наше пребывание здесь излишне и мы уходим, — Хопштейн встал со стула.

— Стойте!.. Не уходите!.. Может быть, мы договоримся... — Квачи тоже приподнялся на постели.

— Что ж, попробуем. Только коротко. Видите эти деньги? — и Хопштейн вытащил из кармана толстую пачку пятацотрублевых. — Эти деньги немедленно перейдут к вам, если... если будете благоразумны и проявите умеренность.

Глаза Квачи чуть не вылезли из орбит; во рту пересохло; он нервно задвигался под одеялом.

— Я... я человек покладистый... Споры и торги не по мне...

— Стало быть, подсчитаем. Десять тысяч вам причитается за отца. Это бесспорно.

Квачи облегченно перевел дух: Хопштейн словно снял с него многопудовый камень.

— Максимальная стоимость вашего дома четыре тысячи. Получите пять. Итого пятнадцать. Дальше: ваши драгоценные конечности застрахованы на двадцать тысяч. Эту сумму вы можете востребовать, если рука и нога у вас действительно отсохнут. Но я обещаю за месяц вылечить вас. Лечение обойдется рублей в четыреста — пятсот. Мы даем в десять раз больше — еще пять тысяч.

— Выходит, вместо сорока тысяч вы выплачиваете всего двадцать?

— Да, двадцать тысяч. Или получаете эти деньги, или мы препровождаем вас в лечебницу... А могу и к прокурору.

— Не согласен. Мало.

— Раз так — прощайте!

— Погодите! Дайте хоть три дня подумать.

— Не могу! На случай, если вы не все продумали, даю час. Мы с инспектором выйдем, прогуляемся в Муштаиде...

Не успела за инспекторами закрыться дверь, как поднялся шум, споры, подсчеты и загибание пальцев.

Час пробежал быстро. Ушедшие вернулись.

— Надумали? — спросил Хопштейн.

— Мне причитается хотя бы тридцать пять, но я согласен на тридцать.

— Это ваше последнее слово?

— Да.

— Выходит, мы не сошлись. Не вините меня, если вам придется пожалеть об этом... Прощайте! — и они опять вышли.

Когда спускались по лестнице, их нагнала Пупи.

— Минуточку... Не сердитесь... Если можно, еще на два слова!

Вернулись.

— Двадцать восемь и ни рубля меньше, — хрипло выдавил Квачи.

— Значит, нам незачем было возвращаться.

— Терпение! Что за спешка? Двадцать пять!

— Двадцать. Да или нет?.. Не надо лишних слов. Да или нет?.. Раз так, прощайте!

Еще раз ушли.

На улице их настиг бегущий старческой трусцой Хуху.

— Господа, не обижайте нас... будьте милосердны... Если чем не угодил, простите! Квачи согласен.

Еще раз вернулись.

— Надеюсь, обойдемся без торга. Двадцать.

— Согласен. Но, может быть вы хотя бы не вычтете ту сумму, о которой говорили вначале.

— Идет! Это аннулируем. Перо и бумагу!

— Выходит — все... — опять уныло завел Квачи. — Эх, пропала моя головушка! Боже упаси связываться со страховыми агентами!.. Куда человеку податься? Как достучаться до правды? Угробь я три года на поиски истины, они бы у меня вдвое заплатили...

Хопштейн составил расписку.

— Подпишите все четверо.

Прочитали и подписали.

Потом вылупили глаза на деньги, что отсчитывал инспектор.

— Погубили... Провели... Обсчитали, — опять занул Квачи.

— Всего наилучшего! Дай вам Бог использовать эти деньги на благие цели! Прощайте!

Их проводили до лестницы.

Хопштейн буркнул:

— Вот черт — переплатил! Можно было и на пятнадцать уломать.

А у Квачи тем временем все бросились обниматься и радостно хлопать в ладоши. Хуху и Пупи были очень довольны, и только Нотио кривила губы и морщила нос.

С Квачи сняли бинты и лубки, теплой водой смыли вредоносную мазь и намазали другую — целебную. Он перестал стонать, сел и написал телеграмму:

«Кавкави, ул. Базарная, 16 Шабурянцу.

Сошлись на двадцати. Пять высылаю. Купи дом. Скоро приедем. Анаподист».

— Деньги и телеграмму отправь Силибистро, — велел он Хуху. — А завтра поезжай в Кутаиси и распродай все, что у нас осталось — землю, мебель, все... Что? Как быть со старухой Волковой? Вот уж не моя забота! Не могу же я до смерти на горбу ее таскать! Дай сто рублей и хватит с нее... Всем скажешь, что переезжаем в Варшаву.. Стой... А для начала купи коньяк, мартель, шампанское, марсалу и херес.

Еще сигареты «Виктория»... Не перепутай ничего, запиши! Да фруктов принеси, ананасов... Что? Человек жизнь прожил и не знает, что такое херес и ананас!.. Что ты сказала, Нотио? За десять дней поставишь меня на ноги? Будет и тебе магарыч!.. А теперь дайте немножко отдохнуть... Устал я сегодня... Посплю...

Через две недели инспектор Михаил Джавахишвили приметил на тбилисском вокзале стройного, элегантного молодого красавца.

— Здравствуйте, батона Квачи!

— Здравствуйте, глубокоуважаемый батона Михаил! Как поживаете? Как здоровье вашей досточтимой супруги?

И Квачи крепко пожал инспектору руку той самой рукой, которая две недели назад казалось высохшей и бессильной.

— Спасибо. А как вы?

— Не так хорошо, как хотелось бы мне, но и не так плохо, как желал бы Хопштейн... Ничего, я еще встречу когда-нибудь с этим бестией!.. Мое почтение!

— Счастливого пути! — ответил инспектор и долго с улыбкой смотрел вслед Квачи, важно, с небрежным достоинством ступавшему по перрону тбилисского вокзала.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Сказ об освоении банковского дела

Пока Хуху Чичия продавал в Кутаиси земельный участок и оставшееся барахлишко, Квачи Квачантирадзе не бездельничал. Прихрамывая, с подвязанной рукой, он таскался по клубам и ресторанам. Завел разнообразные знакомства, по обыкновению принохиваясь и прицениваясь, прикидывая возможности своих новых знакомых. При этом случилась однажды маленькая неприятность: старейшина клуба пригласил его к себе и хлестко отчитал. Однако Квачи не смутился и даже не покраснел. В те дни он уже наладился назад, в Россию, и его не волновало, что скажут о нем три десятка человек в городе, где его почти никто не знал.

За карточным столом Квачи познакомился с неким Назимовым — чиновником Азовского банка, игроком, мотом и пьяницей. Ко времени их знакомства карты разорили Назимова дотла. Несколько раз ему удалось сыграть в долг, но затем партнеры спросили наличные и не сдали ему карту.

Назимов огляделся, обратился к Квачи.

— Князь, одолжите до завтра десять рублей.

— Я не одалживаю денег незнакомым, — холодно отрезал Квачи.

— Если это единственная причина, то позвольте представиться: служащий Азовского банка Назимов, — он протянул Квачи руку и тот волей-неволей пожал ее. — Препятствие преодолено. Надеюсь, теперь я вправе рассчитывать на десять рублей?

Квачи так понравилась выходка Назимова, что он охотно дал деньги, сопроводив дружелюбной улыбкой. В то же мгновение некая идея молнией пробежала в его мозгу... За первой улыбкой последовала вторая, за десяткой — десятка: в ту ночь новая дружба была крепче вином и увенчана красотками. Два сердца, две родственные души нашли друг друга.

Квачи несколько раз пригласил Назимова, одолжил ему денег — словом, приручил совершенно. Они успели хорошенько пошутиться, после чего Квачи заторопился с отъездом. Пуши глазами спросила о причине спешки; Квачи понял немой вопрос и ответил:

— Странный город этот Тбилиси! Здесь нет возможностей для настоящего дела. Кроме того, он нашенький город — слишком много

своих. А я затеряюсь подальше, откуда злые языки не донесут сюда сплетен... Кто знает, что ждет меня впереди, может статься, это пристанище еще послужит мне...

Его поняли. Быстренько собрались и снялись с места.

Направились в сторону Ростова.

На станции Беслан их встретил одетый по-европейски, гладко выбритый Силибистро, преображенный в Ованеса Шабурянца. Едва успели обняться и порасспросить друг друга о прошедшем.

Силибистро с семейством свернул в сторону Кавкави, а Квачи и Бесо Шикия взяли курс на Петербург.

На следующее утро они встретились в Ростове с Назимовым, заблаговременно взявшим отпуск. Бегло посоветовались, выпили кофе и пошли в банк.

В какой-то момент Квачи вдруг заробел, но тут же собрался с духом, придав лицу решительное выражение и без церемоний распахнул дверь директорского кабинета.

— Мое почтение! Князь Орбелиани¹, — с этими словами он положил на стол перед директором соответствующий паспорт и банковский билет.

В билете было написано:

«Азово-Донской банк... Ростовское отделение.

Просим выдать князю Николаю Павловичу Орбелиани 37 435 (тридцать семь тысяч четыреста тридцать пять) рублей в счет тбилисского отделения вашего банка.

Директор X

Бухгалтер Y

Кассир Z».

Директор вызвал служащего, передал ему билет и приказал:

— Найдите авизо, — затем обернулся к Квачи. — Вы впервые в Ростове? Кого изволите знать из нашего общества?

— В ваших краях я не то в третий, не то в четвертый раз. И все проездом. Гостил дня по три у моих друзей — у сына сенатора Денисова, у графа Нордбека, барона Тизенгаузена. Мы близки с Пажеского корпуса. В этот раз я от Нордбека. Его имя называется Калиновка, если не путаю. Отсюда недалеко, верст двадцать... Не исключено, что недели через две стану зятем этого почтеннейшего семейства...

Служащий вернулся и положил бумаги на стол. Директор написал на них: «Выплатить», вернул Квачи паспорт и что-то спросил о Пажеском корпусе. Квачи ловко перевел разговор на Одессу и проявил изрядную осведомленность. Беседа оживилась, затянулась чуть ли не на полчаса.

Наконец Квачи встал:

— Рад знакомству. Приглашаю на помолвку... Уведомлю вас письмом... непременно... До свидания!

Пока Квачи «проворачивал дельце» с директором, Назимова буквально начало трясти. Он сперва отошел подальше от Бесо Шикия, предварительно прошипев ему в ухо:

— Если что-нибудь случится, я вас не знаю...

Потом не выдержал и пошел к выходу:

— Жду на улице... Помните, мы не знакомы...

Квачи сложил деньги в бумажник, убрал в нагрудный карман и огляделся, Назимова нигде не было.

— Где эта пьянь? — спросил он Бесо.

— Сломался. Говорит: если сорвется — я вас не знаю...

Квачи, хмуря брови, пошел к дверям. Взявшись за бронзовую

¹ Орбелиани — один из самых знатных родов в Грузии.

ручку, он вдруг остановился — его осенило. Живо обернулся к Бесо, дал ему какие-то указания.

Бесо выскочил на улицу. Назимов стоял у входа.

— Скорее! Спасайтесь! — зловещим шепотом бросил ему Бесо, а сам наклонил голову и скорым шагом пошел по тротуару.

Помертвевший Назимов трусцой припустил за ним.

— Что?.. В чем дело? Что случилось?! Узнали?!

Оба свернули в узкий проулок.

— Едва спаслись... Дело совсем плохо, — скороговоркой тараторил Бесо. — Ави́зо получено, но директор засомневался, денег не даст... Я, говорит, вас не знаю, в шифре какая-то путаница, придется послать депешу в Тбилиси... Они с бухгалтером о чем-то совещались в соседней комнате, говорили по телефону... «Князь» сказал, что мы зайдем завтра и ушел... По-моему, все пропало. Если мы на время не исчезнем — всем крышка. Но запомните, что и я вас не знаю!

Назимова затрясло, как в лихорадке, стуча зубами, он бормотал:

— Бедная моя семья... мои дети... Ведь у меня жена и дети... И нету даже денег на дорогу...

— Деньги на дорогу я дам. Но вы должны сейчас же исчезнуть. Вот сто рублей — придется обойтись...

Перепуганный Назимов, несолоно хлебавши, уехал в Ставрополь. А сияющие Квачи и Бесо в вагоне первого класса продолжили путь на север.

— Если Назимова поймут, станут искать меня в Киеве. Славно я запутал следы, ничего не скажешь, — похвалялся Квачи перед своим преданным другом.

Сказ о переселении в Петербург

Прошло больше года с тех пор, как Квачи и Бесо поселились в Петербурге.

Квачи вызвал из Одессы Джалила, вслед за которым постепенно перебрались Хавлабрия, Чхубишвили и остальные. Возродилась одесская семья. Молодые люди редко заглядывали в храмы науки, зато их частенько заносило туда, где были гуляющие женщины и сомнительные развлечения.

Квачи рос на глазах, день ото дня созревал, расцветал, распуштался, ибо здесь неизмеримо больше было поле деятельности — работы, наблюдений, подражаний. Он нашел поприще, где мог расправить крылья и развернуться!

Жили в одной квартире с Бесо и Джалилом; остальные расселились неподалеку. И работу поделили. Теперь Квачи не разменивал свой творческий дар на мелочи. Когда случалось затеять крупное дело, он привлекал друзей и, «провернув», делился добычей; в других же случаях, если дружина гнала мелкого зверя, участие Квачи ограничивалось советами.

Долгая совместная работа обучила и натренировала всех. Закон естественного отбора выявил в каждом его природный дар — оставалось только усовершенствовать.

Бесо Шикия по-прежнему или помалкивал, или говорил после всех, но иной раз несколько его негромких слов развязывали сложный узел; нити любого дела сходились к нему.

Чипи Чипунтирадзе все время шутил и острил, состязаясь по части баек с Седраком. В слежке ему не было равных; но точно так же никто не мог соперничать с ним в устройстве скандалов и нечистых историй. Отличала Чипи еще одна черта: при малейшей опасности, даже мнимой, он мог сорваться и завопить: «Пропали!.. Все погибло!.. Спасайся!..» Частенько преждевременной тревогой Чипи рвал отлич-

но заготовленную сеть, частенько спугивал подобранных к крючку тучных сомов, частенько влетало ему от Квачи, но избавиться от страхов он так и не смог. Со временем, раскусив дружка, Квачи удалил его от рискованной работы, поручая разведку и слежку.

Седрак в начале очередной «операции» осторожничал, при разработке плана и дележе добычи всегда был на месте, во время же самой работы либо заболел, либо отговаривался неотложным делом; в крайнем случае опаздывал и затем отшучивался:

— Вах! Нашли тоже молодца! Если там нужен боксер-вышибала, Габо не хуже меня бокс знает. Если б дошло до кинжалов, то и тут вы сто очков мне дадите. Я — казначей...

Лади Чикинджиладзе по-прежнему постоянно жевал что-нибудь и все-таки жаловался на голод. В «деле» никогда не забежал вперед, трусил в хвосте за событиями, однако, если обстоятельства вытаскивали его вперед, не отступал, за другими не прятался и честно делал свою часть работы.

Габо Чхубишвили слегка пообтесался, но по-прежнему напоминал твердолобого упрямого буйвола; своей грубой прямоотой и нахрапом он частенько вызывал в клане смуту; был ворчлив, занудлив, но преданно тащил ярмо общего дела и, как ребенок, подчинялся Квачи.

Джалил никогда ни о чем не просил, всегда был покорен судьбе, заглядывал Квачи в глаза и улыбался:

— Дай тебе Аллах удачи и мира, княз-джан! Силино бедовый ты мужчина, силино умны!

Чем щедрей удача одаривала Квачи, тем больше он от нее требовал. В поисках прекраснейшей возлюбленной — удачи ни перед чем не отступал; если дверь оказывалась заперта, ломился в окно, если и окно не поддавалось, проникал через дымоход и вылезал из камина.

Однажды именно так проник он в почтеннейший дом и оказался лицом к лицу с приятельницей хозяйки дома — пожилой дамой.

Квачи Квачантирадзе — статный курчавый, черноглазый и речистый красавец, уже изучил и усвоил повадки людей из общества. Отважная решимость, смелость и опыт сделали свое... открыли ему врата эдема, те самые, возле которых он долго колулся, подбирая ключи и тычась вслепую.

Сказ о начале нового «дела»

В Петербурге, на Васильевском острове у Квачи семикомнатный бельэтаж, обставленный роскошно и со вкусом. Его столовую темного дуба украшают «натюрморты» старых голландцев и фламандцев, коллекция старинных декоративных тарелок, северский фарфор и венецианский хрусталь.

Большой зал сверкает и лучится. Четыре зеркала достигают потолка. У стен выстроились в ряд стулья с золоченой резьбой. В углу концертный рояль. На окнах и дверях расшитые шелком атласные занавеси и портьеры. Атласом и шелком обиты и стены. На них развешены картины Серова, Левитана, Маковского, Шишкина, а также несколько «ню» из парижского «Салона».

Кабинет и малые гостиные отделаны частью на европейский лад, частью на персидский. Текинские и хорасанские ковры, французские гобелены, бургундский бархат, редчайшее индийское шитье золотом, коллекция старинного оружия и драгоценные безделушки без счета.

В дальних и тихих помещениях книгохранилище и бильярдная. Иногда по комнатам пробегает лакей, черно-белый, как сорока. У входа замер швейцар, пестрый, словно попутай, со строгим, грозным лицом.

В кабинете сидит князь Наполеон Аполлонович Квачантирадзе в расшитом бухарском халате; покуривая гаванскую сигару, просматривает газеты. У его ног на тигровой шкуре грозный английский дог и огромный светло-каштановый сенбернар.

Пушистая ангорская кошка ловит муху, попавшую между оконными рамами и играет с солнечными зайчиками.

На письменном столе скрючилась наряженная во фрак и цилиндр обезьянка, она мажет себе мордочку чернилами и гримасничает.

В апартаментах царят тишина и покой.

Личный секретарь Квачи — преданный Бесо Шикия входит неслышно.

— А-а, Бесо, это ты? — лениво потянулся Квачи. — Какие новости? Письма? Опять попрошайничают...

— Княгиня Голицына устраивает благотворительный бал-маскарад в пользу своей богадельни и просит вас быть распорядителем танцев.

— Ладно, положи на стол... Если не пойду, поблагодаришь и пошлешь пятьсот рублей.

— Принц Кобург-Хоттель приглашает на ужин.

— Ах, надоел... Поблагодари и напиши, что занят.

— Князь Волконский продает арабского скакуна и...

— Достаточно... Таких арабских скакунов у меня уже десять.

— Завтра в яхт-клубе торжественный ужин в честь османского принца Мухтара Азиза.

— Хорошо. Напомни завтра.

— Билет в ложу императорского театра. Танцует Смирнова.

— Сходи сам... И отнеси букет.

— Еще одно письмо. Таня Прозорова пишет, что сегодня вечером в девять часов у нее будет «он».

— Дай сюда! — И он выхватил розовое письмо на шелковой бумаге из рук Бесо. Прочитал, улыбнулся радостно.

— Наконец-то! Наконец!.. Уже год жду этой минуты... Знаешь, Бесо, о ком речь в этом письме? Не знаешь? Тогда я скажу. Хотя погоди... Лучше потом... — Квачи взволнованно ходил по кабинету. Кровь бурно бежала по жилам, и сердце не уместилось в груди: — Прекрасно!.. Настают новые времена!.. Фортуна постучалась в твою дверь и, если ты мужчина, не упускай ее! — бормотал Квачи, распаленный огнем идей и надежд. Затем обернулся к Бесо: — Позвони, чтобы подали автомобиль Бенца... Погоди! Сегодняшней погоде больше подходит мерседес или «Берлье».

— Погода прекрасная. Лучше всего ландо.

— Будь по-твоему — ландо. Вороных не запрягать: они в прошлый раз чуть не понесли. И пришли мне камердинера!

Затем взялся за телефон:

— Алло! Елена, ты?.. Да, да, это я, Квачи... С утренним поцелуем припадаю к твоим божественным рукам... Прошлой ночью? Да, выиграл что-то тысячу двадцать... Ах нет, что ты, что ты! Это тебе наврали, хотят нас посорить, не верь... Нет, ту особу проводил не я, а князь Витгенштейн... Я нигде больше не был, отправился прямехонько домой... Ну ладно, довольно об этом, Елена. У меня серьезное дело. Тебе приглянулось жемчужное кольцо, так вот — если будешь пайнкой, завтра же получишь его... Что? Услышит кто-нибудь? Так и подсадят на телефонной станции в Петербурге грузинку, чтобы наш с тобой разговор подслушала! Ладно, ладно, все понял!.. Значит, жди меня дома, сейчас же выезжаю, — и он обратился к камердинеру: — Ну, мой дорогой Джалил, одень меня!

Пока Джалил одевал его, Квачи нетерпеливо переминался с ноги на ногу, как необъезженный жеребец, и говорил:

— Хороший день!.. Прекрасный день!.. Молись, Джалил, чтобы моя затея кончилась удачей... Повидаю старца... посмотрим, устоит ли он против меня!.. Против моей Елены... Не хочу этот галстук... И этот тоже... Дай вон тот!

Джалил воздел руки к небу:

— Аллах иль Аллах! Дай бог удача моего князя!

Дворецкий доложил:

— Ландо подано!..

Пара белых рысаков английской породы, запряженных по-английски, легко катят изящное сверкающее ландо. Рядом с кучером расправил плечи наряженный в черкеску Джалил.

Прокатившись по Морской, выехали на Невский.

Люди провожали взглядами сверкающее ландо, белых скакунов и молодого красавца, раскланивающегося направо и налево, посылающего во все стороны мужественную, открытую улыбку.

На тротуарах отовсюду слышится:

— Как! Вы не знаете? Князь Квачантирадзе, Наполеон Аполлонович! Прекрасное имя!.. Владелец несметных богатств: нефть, марганец, медь, имение в пятьдесят тысяч десятин...

В другой группе кто-то утверждает:

— У него такой замок в Колхиде, что из Америки едут полюбоваться!

Еще один знаток убеждает:

— Он царского рода. Чистейших кровей, как китайский богдыхан.

— Три дня назад состоялось собрание учредителей акционерного общества «Англорос». Вообразите, Квачантирадзе явился туда с контрольным пакетом и прибрал к рукам всю компанию. То же самое он проделал с «Саламандрой» и «Космосом»! Великий финансист!

— Я слышал, в Петербурге не осталось ни одной красавицы, чтобы он... Помните герцогиню Каталонскую? На всей земле не сыскать женщины краше и достойнее. Прошлой зимой она приехала в Петербург. И что же? Не продержалась и трех дней. Поверьте, мне известно доподлинно. Узнал муж... Что? Дуэль? Кто решится на дуэль с Квачантирадзе — он попадает в летящую муху...

На эти слухи и сплетни, на раздувание имени Квачи давно работают его друзья и наемные агенты.

Ландо остановилось на Суворовском проспекте и еще через пять минут Квачи целовал руки молодой вдове, красавице грузинке, подлинной царице лицом и статью.

— Ну будет, будет, сумасшедший!.. Лучше расскажи, куда ты делся минувшей ночью? Изменил мне, негодник, признайся...

— Клянусь тебе, Елена, что я...

— Не клянись, все равно не верю. Что за большое дело ты затеял?.. Что? Отныне я должна стать твоей кузиной? Ах, шалунишка, зачем придумывать родственную близость? Разве мы можем быть ближе? Вот оно что! Понятно: значит, я должна представляться твоей родственницей. А потом?.. Что? Что ты сказал?! Боже упаси! Этого я себе не позволю! Мне опуститься до такого грязного мужика!..

Квачи коротко растолковал Елене свой план и нарисовал картину блестящего будущего.

Елена смягчилась.

— Высшее общество — это прекрасно, но... разве мне не довольно тебя... Что? Лучше, чем ты? Чем же? Как, как?! Замолчи сейчас же, негодник! Ха-ха-ха!.. Неужели? Да, верно, это враки, не может быть! Ох, ха-ха!.. Не пристало мне водиться с таким, но... коли ты затеял грандиозное дело, так и быть... Попробуем... Нынче же?! В случае удачи, купи мне тот маленький дом, что так мне нравится... А теперь я вся внимание...

Сказ о знакомстве со святым старцем и прочими господами

На набережной Невы стоял скромный неказистый дом. В этом доме жила немолодая вдова, весьма влиятельная придворная статс-дама и кавалер многих орденов Анастасия Прозорова.

Квачи был настолько свой в этом доме, что называл статс-даму Таней и обходился с ней по-родственному; что же до статс-дамы, то она звала Квачи «мой Аполлончик» и была ему подлинным ангелом-хранителем. Не сосчитать, сколько раз проводила она Квачико по хрупкому мосту над пропастью, сколько раз вытаскивала из темных и зловонных ям, сколько потратила на него сил и средств, сколько раз изгоняла и возвращала вновь!

Но не меньше яду изрыгали по поводу столь редкостной дружбы злые языки и недоброжелатели. Поговаривали, будто бы два раза в неделю Квачи прямо-таки обязан являться к своей «сестре»; будто бы вместе со сладостями и цветами он присылает ей десятки счетов, будто бы Тане надоело оплачивать эти счета, и она выделила на «родство душ» ежемесячную сумму...

Знавшие статс-даму, разумеется, не слушали злопыхателей и не верили сплетням. В их представлении Прозорова была женщина настолько кроткая и религиозная настолько богобоязненная и скромная, что в ее немолодом, поджаром теле, равно как и в душе, озаренной благодатью божьей, не могло найтись места для порока, тем паче, для греха прелюбодеяния.

Этот дом, украшенный иконами и пропахший ладаном, посещали исключительно согбенные сенаторы, беззубые гофмейстеры и гофмаршалы, шестидесятилетние фрейлины и статс-дамы, а также епископы и архиепископы, столь престарелые и немощные, что без посторонней помощи им не удавалось даже одолеть невысоких лестниц. Среди этих старцев один только «Аполлончик» был молод, но... До каких пор нам идти на поводу у злобной сплетни? Ни благочестивая особа, ни галантный Квачико не нуждаются в нашем заступничестве. И все! И кончим на этом! Если в мире существует справедливость, ни одна крупница грязи не пристанет к этой обители.

Однако...

В тот день Квачи с кузиной Еленой в половине десятого подкатили в закрытом ландо к затемненному дому вдовы Прозоровой.

Хозяйка познакомила их с гостями:

— Его преосвященство духовник государя и ректор духовной академии... Его преподобие старец царьшынского монастыря Илиодор... Епископ Саратовский Гермоген... Вдова генерала Лохтина... Обер-прокурор Святейшего Синода господин Лукьянов... Их помощник господин Саблер... Военный министр генерал Сухомлинов... Статс-дама госпожа Куракина... Баронесса Ноден... Министр внутренних дел господин Макаров...

Квачи и Елена благоговейно склонились перед духовными лицами и приложились к руке; остальным почтительно поклонились.

Среди гостей одни были министрами в прошлом, другие — в настоящем, третьи — стремились стать таковыми в будущем. В религиозном салоне вдовы епископ домогался архиепископства, архиепископ — митрополитства, генерал — чинов и званий, провинциал стремился в столицу, купец гнался за кредитами, банкир — за концессиями, дамы хлопотали за мужей и любовников; а все вместе рвались к престолу, тщаь хоть на ступеньку приблизиться к нему. В сердцах этих людей шла невидимая и жестокая битва, лица же выражали улыбчивое благочестие, христианское долготерпение и ангельскую кротость.

«Богородица» — вдова Лохтина продолжила прерванную беседу.

Квачи с удивлением взирал и слушал странные речи: незадолго до того Танечка кое-что поведала ему об этой особе.

Лохтина была пожилая дама, чрезвычайно гордая, образованная и хорошей фамилии. Нескольким лет назад она стала первым апостолом «святого Григория», его верной и послушной рабой, отреклась от всего — от дома, от имущества, самолюбия, женской чести — и бескорыстно последовала за новым мессией. Эта больная женщина стала ближайшей сподвижницей святого Григория, его прислужницей и пропагандисткой. В конце концов вдова проложила старцу дорогу в несчастную семью невезучего государя.

Впоследствии она уступила свое место при дворе более молодой и привлекательной Вырубовой, но все-таки не отреклась ни от двора, ни от сподвижничества, ни от сладостного рабства. Она по-прежнему таскалась по всей России за «святым старцем» и записывала в дневник каждый его шаг, каждое слово.

Вот и в эту минуту все взирали на нее.

«Богородица» была босиком, в странном желтовато-белом балахоне, расшитом пестрыми лоскутами; голову ее украшал необычный убор с лентой и надписью золотыми буквами: «Во мне всякая сила. Аллилуйя».

— Позавчера я в третий раз лицезрела нашего Спасителя, — голос ее взволнованно дрожал, а глаза возбужденно сверкали. — Вам ведомо, братья и сестры, что позавчера ночью он еще был на пути из Москвы, но дух его опередил его и явился мне. Наш святой был с ног до головы в белом, над головой сиял нимб, в одной руке он держал крест, в другой же — огненный меч...

— Господи, помилуй! — прошептал Саблер и перекрестился.

Остальные последовали его примеру.

— Явился он мне и рек: «Покайтесь в грехах, православные! Близится день Страшного Суда. Дрожите и трепещите, неверующие, евреи и мутящие душу народа русского!» Я пала ниц у его святейших ног. Он же возложил руку на главу мою и отпустил мне прегрешения мои. Когда же я очнулась, наш Спаситель возносился в небо... На следующий день святой старец приехал из Москвы, я рассказала ему все. «Сестра моя, — ответил он. — Истинно в то время душою своею я был с тобой».

Опять все перекрестились и зашевелили увядшими губами:

— Непостижимы, Господи, дела Твои!

— Боже, прости нам прегрешения наши!

Лохтина встала, возвела очи горе и стала вещать:

— Истинно говорю вам: он есть святой избавитель наш, присланный свыше для спасения земли нашей, святой Руси, погрязшей во грехах и в мерзости, для очищения и отпущения грехов, для наказания грешников и покаяния неверующих и утверждения жизни блаженной и благодати на веки вечные. — Она обернулась к царицынскому монаху — старцу Илиодору и возопила: — Он есть сын Его, безгрешный и претерпевший! Я же недостойная посланница его, апостол и богородица Мария. Дрожите и трепещите, и покайтесь в грехах ваших, православные!

Старец Илиодор вздрогнул и насутился, остальные же опять зашептали и склонили головы пред «богородицей».

— Поистине сбылось предсказание Достоевского, — обратился к ней Саблер со слезами на глазах — который говорил, что Россию спасет от великой смуты и вернет на путь веры не монарх и не герой, а какой-нибудь блаженный юродивый мужичок, выбранный Всевышним из простого люда и явленный в годину испытаний.

— Страна, очищенная таким мужичком, каленым железом выжжет неверие во всем мире, излечит его от бесовства и сатанинских идей, — добавил генерал Сухомлин.

— Два Рима пали, третий, Русь, стоит, а четвертому не быть! — припомнил средневековое витийство Лукьянов.

— Третий Рим вечен! Разрушить его невозможно! Много раз пытались, но тщетно. Не бойтесь, православные, с нами Бог! — возгласил хитрый старый лис Саблер.

Квачи воспользовался минутой.

— Его сиятельство изволили высказать совершенно справедливые слова. Не верьте в падение третьего Рима и не бойтесь. Он бессмертен! На Кавказе тоже подняли голову неверные, но...

— Вы кавказец? — спросил Макаров.

— Да, я оттуда родом. Там тоже осквернено и поругано святое имя нашей святой Руси. То, что Россия строила сто лет, глупый и немощный Воронцов-Дашков разрушил за какие-нибудь два года. Пора избавиться от этого тайного масона. Верно у нас говорят: на Кавказе два Воронцовых — один всегда на ногах¹, другой всегда в постели. Но тот, второй, изо дня в день мешает русским делам на Кавказе — лучше бы уж просто болел...

Господа заулыбались. А Квачи продолжал:

— Слава Богу, кроме этого немощного тайного масона, у нашего обожаемого государя есть еще на Кавказе немало преданных слуг: Алиханов, Толмачев, Мартынов, Грязнов и тысячи других. Общими усилиями мы снесли голову гидре революции...

Таня что-то шепнула на ухо своим соседям. Оба на минуту оживились и изумленно воскликнули:

— Не может быть! — затем повернулись к Квачи и попросили: — Молодой человек, расскажите, как вы были ранены...

— Ах, право, это не заслуживает вашего внимания... Ничего особенного... Но если вашему превосходительству интересно... Поскольку я не давал роздыха жидам и революционерам и буквально держал их мертвой хваткой, они решили разделаться со мной — оценили мою голову в десять тысяч. Однажды им удалось-таки бросить бомбу. Промаяхнулись. Бог миловал! Погнался — троих убил, двоих ранил и еще двоих поймал. Другая группа обстреляла меня из ружей, но на их беду я оказался гораздо метче. Тогда решили отравить и подкупили слугу. И тут не вышло... Не буду долго занимать ваше внимание, скажу одно — мы без пощады разделались с неверными. Правда, в результате я тоже ранен в ногу, но, о-о, как они поплатились за мою рану!..

Танечка чуть было не подтвердила наличие шрама на бедре у Квачи, который на самом деле был следом зубов самтредской дворняги, но вовремя спохватилась и прикусила язык.

Квачи говорил еще долго, щекоча нервы своим слушателям и радуя старческие сердца. Вдова Лохтина записала фамилию Квачи в книжечку, остальные же просто запомнили ее.

С улицы послышался шум подъехавшего автомобиля.

— Пожаловал! Пожаловал святой и Спаситель! — с благоговением возопила «богородица» и вскочила на ноги.

Встали и остальные.

Хозяйка дома и вдова Лохтина бегом ринулись вниз по лестнице.

Минуты через две в комнату стремительно вошел Григорий Распутин.

Квачи взглянул на влиятельнейшего человека своего времени и вспомнил его характеристики, прочитанные в тот день в двух разных газетах.

«Темный, грубый, бесцеремонный и наглый. Грязный душой и телом, порочный и блудливый сибирский мужик...»

¹ Видимо, намек на статую Воронцова.

«Святой и безгрешный старец... Ниспосланный с небес ясновидящий пророк. Истинный патриарх, самовластный и проницательный».

Все встали, покорно склонив головы, спрятав лица под масками кротости и благочестия, точно дети пред строгим отцом.

Распутин на мигу остановился в дверях.

Среднего роста, плотный, налитой; черные волосы, длинные и жесткие, были намаслены и небрежно расчесаны надвое. Губы полные, жадные и лиловато-темные. Лоб высокий, нос плоский; поредевшая борода венником и усы казались приклеенными. Под губами — гладко выбрито. Кожа — смуглая, несвежая и сальная. Руки длинные. Пальцы корявые, ногти грязные, с черными ободками. Глаза странные и необычные: глубокие, беспокойные, исполненные какой-то таинственной силы, бесхитростно-наивные и в то же время, холодные, впи- вающиеся намертво.

На нем была красная атласная рубаша, спшитая «его мамочкой» императрицей и расшитая синим шелком. Рубашу перехватывал сплетенный из шелковых нитей пояс с кистями. Широкие бархатные штаны заправлены в лаковые сапоги гармошкой.

Святой словно бы усмехнулся:

— Мир вам и благословение Божие! — и вприпрыжку, выламываясь и гримасничая, обошел всех, ощеряясь и, как Петрушка, размахивая руками. Он говорил на странном и непонятном русском, то и дело к месту и не к месту вставляя церковные слова. Никого не пропустил: всех прижал к груди и расцеловал, громко, со смаком. Кого поцеловал один раз, кого — два, а Елену сграбастал, как медведь, так, что та выгнулась, чуть не задушил в объятиях, зацеловал чуть не до крови и еле выпустил из рук.

К его руке приложились почтительно и благоговейно.

Гринька благословил всех и каждого одарил несколькими словами.

Сухомлинову сказал:

— Навострен у тебя меч Господень?

Архиепископу Гермогену бросил:

— С нами Бог!

Царицынскому старику Илиодору заметил:

— Не одолеть нас жидам, сами сгинут!

Макарову холодно кинул:

— Пора кончать.

Елену обнадежил:

— Ищи исцеления во мне, сестра моя, и в тебе будет благоволение мое!

Квачи хмыкнул, довольный.

Наконец пришел и его черед.

— Ищи и обрящешь! — ободрил его святой.

От обер-прокурора Синода он отвернулся.

Помощник обер-прокурора Саблер рухнул ему в ноги, плача и лепеча:

— Благословения, святой отец! Благословения и благоволения жажду!

Босая пророчица, апостол и «богородица» Лохтина вместе с Саблером пала ниц, обняла святого за колено и поцеловала носки его сапог. Распутин поднял обоих, обоим отер поцелуями слезы, обоих обнадежил, всплакнул вместе с ними и прослезил других.

При виде этого по гостинной пополз шепоток:

— Лукьянова отстранят, обер-прокурором Синода назначат Саблера...

Затем все расселись и завели душеспасительную беседу.

По одну сторону от себя святой усадил своего апостола, а по другую — сияющую царственной красотой Елену; ей он сперва положил руку на колени, затем постепенно добрался до бедра.

Квачи обратил внимание на эту руку, усмехнулся в усы и подумал: «Клянуул! Началось!»

Лохтина обняла учителя за талию и прислонилась затуманенной головой к его плечу. Елена поначалу смущалась: сидела, потупясь, время от времени вскидывала черные миндалины своих глаз, каждый раз видела голубые фасолинки глаз святого и опять кокетливо отводила взор в сторону, пряча его за сетью ресниц.

Под конец и она склонила свою божественную голову на грудь учителя, закрыла глаза и затихла.

Все благоговейно взирали на эту живую картину и целомудренно улыбаясь, вспоминая сцену из «Священного писания» — Спаситель, Мария и Марфа.

«Вообще-то Елена больше похожа на Марию Магдалину...» — хмыкнул Квачи.

Бдур святой старец ткнул в него палец и:

— Ты кто? — спросил.

— Князь Квачантирадзе, святой отец!

— Выходит, кавказец... Не люблю... Дикий народ... Чуть что — за кинжалы хватаются... Басурманы.

Квачи мягко пояснил:

— Я, святой отец, грузин. А грузины — православные.

Гришка удивился.

— *Нешто христиане?*² Как тебя звать?

— Наполеон Аполлонович.

— Наполеон? Аполон? — опять удивился Гришка.

Его апостол, вдова Лохтина, объяснила оба имени.

— Значит, оба язычники, бесы! С нами крестная сила! — воскликнул Гришка и перекрестил всех.

Хозяйка дома шепнула ему на ухо:

— Молодой человек кузен этой дамы — Елены. Если помнишь, мы несколько раз говорили о нем.

Гришка сразу оттаял, подобрел.

— *А-а-а-а, Аполончик! Так это ты грался на Капказе за государя-батюшку и святую Рвсь? Я тебя знаю, хорошо знаю!.. Ты был еще ранен, верно? Мне ндравится твое имя. Подь ко мне! Хатиши вина?* — он еще раз расцеловал Квачи и его кузину.

Квачи от вина воздержался, сказал, что не пьет.

Разговор зашел о судьбах России, евреях, революции, третьем Риме и его всемирном господстве. Квачи воспользовался темой разговора и продемонстрировал живость своего ума, преданность церкви и престолу.

— Столыпин и Щегловитов — вот две могучие опоры святой Руси... Крамола еще не изжита до конца, ее корни не выкорчеваны... Гидра смуты и революции жива, у нее бьется сердце! Долг каждого сына отечества — очистить от скверны нашу прекрасную родину и святую церковь!

Квачи долго говорил об этом предмете; он плеснул масла в затухавшее пламя и перепугал успокоившихся было господ.

Вдова Лохтина подхватила его речи, снова вспыхнула, воспламенилась и с воплем рухнула в ноги святому:

— Гибнем, святой отец! Спаси и помоги, святой отец! Спаси!!!

Что-то забормотал и залепетал Саблер. И все прочие вслед за ним заволновались, повскакали с мест. И пошли опять чмоканье, жаркие объятия, слезы и поцелуи...

В тот вечер решила судьба нескольких министров, сенаторов, и архиепископов. Одни опустились вниз по житейской лестнице, другие вползли на ступеньку выше.

¹ Слова Распутина в оригинале у Джавахишвили часто даны по-русски; мы печатаем их курсивом, с сохранением авторской орфографии. (Прим. пер.)

Гости постепенно разъехались.

Святой отец увел Елену в комнату направо, хозяйка потащила Квачи в комнату налево.

Через час опять собрались вместе — на этот раз все были довольны друг другом.

Раскрасневшаяся Елена так и пылала; волосы ее растрепались, глаза маслянисто поблескивали.

Хозяйка дома и святой пошептались.

— *Подь сюда!* — позвал Гришка Квачи. — *Ты мне нгравишься. Хатишь дружбу? Акромья таго, будиш мне охранять, патаму как жиды и люцинеры больно зло супротив мне имеют. Хатишь? Мотри мене харашо! Таня, подай икону, клятву будим давать.*

Хочет Квачи дружить с Распутиным? Что за вопрос! Целый год он только об этом и мечтал: целый год прокладывал дорогу к старцу искал путей-подступов к нему, ибо прекрасно сознавал, что именно он был подлинным царем и патриархом России и держал в своих руках всю власть над этой необъятной страной.

Принесли икону и Евангелие, поклялись друг другу в вечной дружбе и братстве.

Затем Гришка вспомнил:

— *Жиды и люцинеры внесли в Государственную думу запрос обо мне. Я им покажу запрос!* — он вскочил, взорвался, взъярился. Глаза его метали искры, горели огнем. Он то пищал бабьим голосом, то топал ногами и орал с пеной у рта: — *А, стервы! А, окаянные! А, подлые!*

Потребовал перо и бумагу, сел и с полчаса потел, кряхтел и стонал — писал телеграмму в Крым, государю и государыне. Наконец дописал.

«Ливадия, царям.

Миленький папа и мама! Вот бес-то силу берет окаянный. А Дума ему служит: там много люцинеров и жидов. А им что? Скорей бы Божьего помазанника долой. А Гучков гаспадин их прихвостень, клеветчет, смуту делает... Запросы, Папа! Дума твоя, што хошь, то и делай. Какой там запрос о Григории. Это шалость бесовская, прикажи. Да! Не каких запросов не надо. Да! Григорий! Да!»¹

Свои каракули, похожие на куриные лапки, передал Квачи:

— *Телеграмму отправишь нынче же! А теперь айда по домам! Хозяюшка! Красно солнышко! Пасибо тебе! Дай Бог по-хорошему,* — он расцеловал хозяйку и обернулся к Елене: — *Леночка, сестрица! Подь ко мне домой. Я тебе совет добрый дам...*

Он чуть ли не на руках снес по лестнице доставшийся от Квачи подарок: Елена крепко обняла святого за шею и спрятала утомленное, полубормочное лицо в его длинной бороде.

Все трое сели в автомобиль.

— *Так не гоже, сестрица! Подь сюда! Садись сюды!* — и он усадил Елену на колени, поскольку в машине было «тесновато».

Когда подъехали к дому старца, святой обернулся к Квачи:

— *Аполончик, обожди здесь. А ты, Леночка, проводи меня, коли хочешь совета от старца! Завтра приходите оба, поговорим...*

Пока святой наверху давал Елене советы, Квачи ждал на улице. Ждал не меньше часа. Наконец она вышла.

Квачи обиженно дулся. Елена улыбалась.

— *Что за старец такой этот Гришка — ни одного седого волоса в бороде,* — проворчал Квачи.

Елена промолчала.

Так, не проронив больше ни слова, доехали до дома.

¹ Эта телеграмма подлинная. В Думу был внесен запрос о Распутине и это его взбесило. (Прим. автора)

Квачи провел Елену в комнату, сел.

— Нет, это уж слишком! — буркнул.

Елена по-прежнему улыбалась.

— И хорошо он тебя проверил?.. Ну и что? Обнаружил болезнь? — с ревнивой злостью процедил сквозь зубы.

— Сказал: не замочив ног, рыбу не поймает, — отрезала Елена, снимая платье, потягиваясь и по-прежнему лукаво улыбаясь.

— Все-таки как же он так быстро и осмотрел, и совет дал?

— Во всяком случае он лучше других докторов, — едко куснула Елена.

— Лучше меня?

— Тебя?.. Ха-ха-ха! Ты, Квачико, еще мальчик!

Квачи разволновался:

— Вот это уже неправда.

— Муж в поход ходил, а жена ему про битву рассказывала — слышал такую поговорку? Аа-ха-ха-ха! Не нравится? Как я погляжу, ты через меня хочешь и дело сделать, и для себя сберечь. Но тот, кто гонится за двумя зайцами, упускает обоих... Ах, не переживаешь? Так-то лучше... Ты человек умный...

— Смотри, без моего ведома ничего не затевай.

— Не бойся, без тебя я не сделаю ни шагу... Вместе начали, и продолжим вместе; ты умом, а я... а я глазами и улыбками... Приходи завтра, все обсудим. Не забудь про обещанные жемчуга...

Сказ о секретаре и охране святого

На следующий день Квачи призвал своих дружков и дал им новое задание. Габо Чхубишвили, Бесо Шикия и Джалилу приказано было явиться в полдень к дому святого по указанному адресу и ждать Квачи у входа. Сам он сделал кое-какие покупки и заехал к Елене, прихватив обещанное кольцо.

Елена показала ему похорошевшей и расцветшей. Она тут же примерила дорогой подарок и радостная, счастливая, то кокетливо красовалась перед зеркалом, то висла у Квачи на шее, целовала его и, смеясь, шаловливо лепетала:

— Так ты вчера обиделся? Негодник... Но ведь сам же наставлял меня... Больше не обижаешься? Так-то лучше, мой милый. Забудь все... Я нарочно сказала, чтобы позлить тебя. Разве может этот старикан-сладкоежка сравниться с тобой — куда ему! Фу, грязный, неумный!.. Фу, фу, пахнет воском и лампадным маслом... Уже едем? Что ж, я готова...

Через десять минут «мерседес» Квачантирадзе остановился на Гороховой улице у дома святого.

Бесо с помощниками был уже на месте.

На лестнице толпилось множество народу. Многие ждали своей очереди на улице.

Старец бранил какого-то генерала. Увидев Елену и Квачи, вскочил и крепко обнял обоих.

— *Сиди и мотри, я часи!* — бросил он Квачи, Елену же увел в другую комнату и, когда распаленный и всклокоченный вернулся оттуда, сказал ему: — *Сиклытарем будишь у мене. Зави хто поважней га почище будит...*

Квачи стал исполнять обязанности секретаря. Бесо Шикия он назначил при себе помощником. Джалила поставил у входа, а Чхубишвили и остальным поручил разведку и надзор, поскольку у старца было множество врагов и опасность постоянно витала над ним.

В тот день через кабинет Гришки прошло не меньше ста человек. Откуда только и по какому поводу не приходили люди к чудотворцу! Из Владивостока и Варшавы, из Афона и Ташкента, из Соловков

и бог весть из какой дыры — генералы и губернаторы, монахи и купцы, банкиры и адвокаты, крестьяне и монашки, священники и чиновники...

Святой сперва принял «чистых» просителей и красивых женщин. Потом сбежал по лестнице, суя в руки кому рубль, кому трешник и покрикивая при этом:

— *Молись за царей и меня!.. Некогда, некогда! Вот сиклытарь, скажи яму, ежели чаво надоти...* — затем обессиленный упал в кресло и выдохнул: — *Уф! Черти полосатые! Замучили совсем!*

Новоиспеченному секретарю было чему удивляться. Грубоватый мужлан проявлял удивительную проницательность и гибкость. Он с одного взгляда определял сильного и слабого, выгодного и ни к чему не пригодного, умелого и бестолкового, и принимал соответственно: одних радостно, с объятиями и поцелуями; перед другими ломал шапку, лебезил и склабился; для третьих едва находил два-три грубых слова. Красивых женщин не отпускал, не обнадежив: обнимал крепко и прижимал утешительно. Если женщина жаловалась на хворь, Гришка уводил ее в другую комнату для осмотра и лечения или поручал Квачи записать адрес. Изредка садился с пером к столу, полчаса кряхтел и потел, в итоге выводил что-то настолько несуразное, словно по бумаге, обмакнув лапы в чернила, бегали куры и записывали свое кудахтанье.

Бесо отлично понял поручение Квачи и за неделю справился с ним: уже через неделю квартиру Квачи осаждало море народу. Все это «море» нуждалось в старце.

Квачи поступил толково и разумно: перекрыл воду, орошающую огород Гришки, и отвел ее в свой сад.

Клиенты поняли, что дорога к старцу проходит через квартиру князя Квачантирадзе, поэтому сперва являлись к нему, оставляли там большую часть жертвенных, требных и благотворительных подношений и уже от его сиятельства, получив письмо Бесо Шикия, отправлялись за благословением на квартиру Распутина.

Охрану святого дружкй Квачи вели поочередно, соперничая в этом с правительственными агентами.

Отныне мнительный и напуганный старец спал спокойно и искал повод отблагодарить заботливого сподвижника, каковой тот представлял не далее, как через две недели.

Сказ о том, как Квачи «провернул» новые большие дела

Слух о дружбе Распутина с Квачантирадзе в несколько дней разнесся по городу. Раньше других об этом узнали власти и деловые люди. Бельэтаж на Васильевском со двора все также был осажден; избранные же и благородные поднимались по мраморной лестнице и дожидались очереди на позолоченных стульях.

Первым на квартире Квачи появился банкир Ганус. Сначала пошептался с Бесо, затем вошел в кабинет Квачи.

— Я человек дела и время ценю дорого. Знаю, что и вы не бездельник, поэтому буду краток. У меня с десяток крупных дел. Вы можете помочь успешно закончить их... Разумеется, такая помощь будет оценена по достоинству.

Приступили и часа два говорили: обсуждали, взвешивали и примерялись. Затем подписали соглашение, пожали друг другу руки, улыбнулись и пожелали успеха.

За Ганусом Бесо завел в кабинет второго делового человека — некоего Гинца, найденного им самим старого еврея.

Этот вышел от Квачи через три часа.

Через несколько дней, улучив минуту, Квачи завел с Гришкой разговор о туркестанских каналах.

— Сколько мне? — прямо, в лоб, влепил Гришка. — Три тыщи будит?

Квачи радостно удивился таким скромным аппетитам.

Гришка схватил телефон, вызвал одного министра, потом другого и обоим наказал:

— Мама и папа очень жилают ефто святое дело, Аполончик будит у тебя, все скажет, а ты сделай, как он прикажет. Да! Это хочу я! Да!.. Чаго? На Капказ? Чичас об эфтом деле телиграм напишу папеньке и маменьке...

Сел и опять полчаса кряхтел, обливался потом.

Телеграмма первая:

«Ливагия, Царям,

Папа мой миленький и мама. Кого послать на Капказ, покою вам нетути. А вот дорогой еписком Тобольский Алексей хоть куда¹. Ему и место на Капказ. Пошлите его. Это я очинь жилаю. Он мне ласкает. Понимает подвиг. Честь ему нужно оказать. Верный везде верный. И на Капказе он будит нашим другом. Да, я! Григорий! Да!»

Телеграмма вторая:

«Миленька! Бесы напали на отца Ивана². Икону на него. А вы не слушайте. Хоша она и базарская, а все равно святая. Как принять и еще боле. А Восторгову награду на Капказ и Сибирь».

Обе телеграммы вручил Квачи для отправки и прибавил:

— Вишь, как капкасских ласкаю. Только Воронцов пакостник все люционерам, жидам да армяшкам тянит. Да, добирюсь до него. А ты тилиграм не показывай никому, да ни болтай зря, а то мотри у мене¹.

Гришка погрозил Квачи пальцем. Тот еще раз поклялся в верности, похвалил Восторгова и Алексея, превознес обоих до небес и отправился к Сухомлинову и Кривошеину.

Елену Гришка не отпустил, сказал, что ее надо полечить.

На следующее утро Квачи первым делом заявился к Ганусу.

— У меня все готово. Вот письмо. Ваши условия?

Поторговались. Уговорились. Составили и подписали договор.

Квачи тут же взялся за телефон.

— Алло? Кто говорит?.. Его превосходительство? С вами говорит князь Квачантирадзе... Что вы сказали?.. Не знаете такого? Как же не знаете, если с вами вчера говорил обо мне по телефону наш святой отец! Вспомнили? У меня к вам письмо от святого отца... Да, да... Хорошо, сейчас же буду...

Через полчаса Квачи стоял в кабинете министра финансов возле карты империи и увлеченно говорил:

— Древняя империя Тамерлана, нынешний Туркестан, некогда процветала и кормила стомилионный народ. Взгляните на эту бескрайнюю пустыню. В ней уместятся пять Франций. Ее надо оросить, возделать, вспахать, превратить в цветущий сад и заселить нашими людьми. Что только здесь не растет! Превратим эти земли в цветущий край, освоим, обрусим и просветим. С их помощью за два-три года выправится наш торговый баланс. А что они принесут лет через десять — двадцать, это сейчас даже невозможно подсчитать!.. Но прежде всего пустыню надо оросить. Для этого необходимо чetyреста миллионов. У казны таких денег нету. А у нас есть, и мы хоть завтра готовы приступить к работе. Да, все уже готово, и доклад, и план, и проект договора...

¹ Просьбу Распутина выполнили и Алексея назначили экзархом в Грузию. В 1908 году его убили в Тбилиси. (Прим. автора.)

² Речь идет об Иване Восторгове, который в это время был замешан в весьма нечистом деле — фальшивую икону продал как древнейшую. (Прим. автора.)

Долго говорил Квачи и своим красноречием, подкрепленным Гришкими каракулями, вроде бы убедил неглупого министра.

Выслушав Квачи, министр сказал:

— Мне ваше предложение по душе. Сегодня же изучу материалы и на послезавтра назначу заседание. В этом деле могут иметь влияние министр земледелия, а также военный министр. Если они не станут противиться...

— Не беспокойтесь, не станут! — прервал Квачи, уже держащий в руках все концы этого дела.

— И если будет на то воля государя... — осторожно добавил министр.

— Будет. Непременно будет! — бодро заверил Квачи.

— В таком случае вопрос можно считать почти решенным. Всего наилучшего! Кланяйтесь нашему святому отцу, приложите за меня к руке и передайте, что его желание для нас закон.

— Сегодня же повидаю его и все передам. Да... — вскользь заметил Квачи. — Вчера мы были в одном доме с нашим духовным отцом. Там оказался Витте. Он очень ластился к святому, но... можете не беспокоиться — я и Анастасия Прозорова приняли необходимые меры и укрепили ваши позиции.

— Весьма признателен, князь, весьма! Не забывайте, князь, милости прошу в любое время в мой дом, всегда буду рад...

Он обеими руками пожал руку сыночку Силибистро и с улыбками, извинениями и благодарностями проводил до лестницы.

Сказ о запугивании святого и поношении врагов

С первого же дня знакомства с Распутиным Квачи стал прибегать к одному и тому же приему: время от времени показывал кого-нибудь на улице и, зловеще понизив голос, говорил:

— Этот человек следит за вами, святой отец, будьте осторожны.

Святой отец пугался, еще крепче прижимался к Квачи, прямо-таки лип к нему, а Квачи успокаивал его, обнадеживал:

— Не беспокойтесь, отче святой, от моих натасканных ищеек ничто не ускользнет. Только нижайше прошу вас, никуда без моего ведома не ходить и с незнакомыми на улицах не общаться.

Если Григорию случалось проявить строптивость, за дело брался Чипи Чипунтирадзе. Он прохаживался мимо распутинского дома, поглядывал на окна, словно выслеживал кого-то; Квачи же подводил старца к окну, показывал ему Чипунтирадзе и говорил:

— Вот этот человек выслеживает вас. Не извольте сегодня никуда отлучаться, иначе я не гарантирую вашу безопасность...

И святой, как дитя, слушался Квачи и жил по его указке.

Однажды Квачи нашептал Распутину в ухо:

— Дражайший учитель! Я поклялся тебе в верности и потому обязан предупредить: Илиодор, Гермоген и еще кое-кто из церковников задумали недоброе, хотят погубить тебя!.. — смел в кучу собранные по сусекам сплетни и рассказы, правду и кривду, и поднес.

Григорий взорвался:

— А, стервы! А, подлые! А, окаянные! А, гагина Илиодоришка! Я те дам! А ведь сам пригнул этих гадин, сам вывел в люди и ко двору привел. Сколько им подарков было дарено по моей милости. Дважды хотели сослать каналий в дальнюю пустынь, и оба раза я отговорил. Ох, неблагодарные! Из-за них даже со Столыпным повздорил, в народе недовольство вызвал!

Затем сел и, изощед потом, накарябал:

«Царское село. Царю и царице.

Миленький папа и мама! Вот миленькие владыки как беса-то поразили. Бунтовчиков помазанека Божьего покарали. Оно и правильно — Теперича нужна их паласкать. Награду им. Только не сразу всем, а так одному, а опосля другому, а то собаки Гермоген и Илиодорка лаять будут. Да, нужно! Это пишу я, Григорий. Да! За подвиг надо ласкать! Да!»¹.

Квачи понял: Гришка решил наградить послушных членов Синода и наказать непокорных.

— Эту «тилиграму» пошли сейчас же! Это первая, а будет еще тыща. Я их всех сгною в пустыни! Они у меня будут так голодать, что о собачине возмечтают и взмолятся! А ты, Аполончик, мотри в оба! Ходи к ним, разговоры заводи, разузнай все... Что ты сказал? Хочешь храм построить? А пять тыщци будит? Ладно, завтра же и это дело покончим... Приготовься, завтра покажу тебе государя с государыней... Аполончик, мечтал ли ты когда о таком счастье? Нет, конечно!.. Запомни и оцени, не окажись и ты неблагодарным, навряде того Илиодорки, не то... Мотри у мене!

Квачи благоговейно приложился к его руке, а затем впустил посетителей.

И пошли объятия, лобзания, целование рук и преклонение колен, хвала и величание, мольбы и слезы, вопли и пророчества, исцеление душевнобольных красавиц и изгнание из оных блудных бесов...

Затем Квачи вернулся домой.

— Бесо, как дела?

— Все в порядке. Сегодня двести человек пришли за билетами. Гинц говорил по телефону, сказал, чтобы ты позвонил, когда вернешься.

— Какие еще новости?

— Из Грузии просят на обновление Гелати².

— Пошли тысячу...

— В «Диле»³ поместили твой портрет и написали много хвалебных слов.

Эту статью Квачи прочитал. Сердце его забилося и лицо расплылось в горделивой улыбке, хотя за последнее время он привык к восхвалениям в прессе своего имени — «величальные» печатались чуть ли не каждую неделю: в этих статьях щедро были рассыпаны такие щекочущие самолюбые слова, как «восходящая звезда», «гениальный финансист», «просвещенный меценат».

— Пошли в «Дилу» какое-нибудь объявление и тысячу рублей. Автору?.. Что он пишет?.. Хочет поехать учиться в Париж и нуждается в деньгах на дорогу? Дешево же он оценил свое перо... Триста. Что еще у тебя, Бесо?

— Твой отец Силибистро пишет, что надоело ему там жить — постоянно в страхе, на люди показаться не смеет...

Квачи вскочил, нахмурился, высокий лоб избороздили морщины.

— Что мне делать, Бесо? Что делать?! Если бы я знал... Если бы мог предвидеть... Я готов вдвойне вернуть «Саламандре» те деньги. Но как предъявить теперь людям живого Силибистро?!

— Людишки что-то пронюхали, поговаривают...

¹ Продвижению Распутина способствовали монах Илиодор и епископ Гермоген, затем сделавшиеся его врагами. Распутин взял верх: Гермогена постригли в дальний монастырь, Илиодор же успел выехать за границу, где издал книгу, которая нанесла большой вред репутации царя Николая и царицы. (Прим. автора).

² Монастырский комплекс XI в. недалеко от Кутаиси.

³ «Д и л а» — «Утро» (груз.) — грузинский детский журнал.

— Знаю, что поговаривают. Но как показать им воскресшего покойника? Весь мир станет потешаться надо мной. — И задумался, задумался глубоко; наконец отрезал: — Нет, это невозможно! Возвращение в Кутаиси невозможно. Напиши: если хотят — пусть приезжают сюда. Но Силибистро все равно останется в покойниках, жить он может только по паспорту Шабурянца... Завтра же, Бесо, подыщи им квартиру, где-нибудь в глухом квартале. И еще заведи в «Саламандре» шустрого человека, чтобы своевременно сообщил, если там что-нибудь прознают. Надо дело в зародыше удушить... А теперь оставь меня ненадолго...

Он прилег на обитое штофом канапе. Собрался с мыслями: вытянул из спутанного клубка одну нить, за ней другую, третью, — и вскоре перед ним раскинулась целая сеть новых комбинаций.

— Послезавтра получу от Гануса миллион... Выброшу на биржу акции «Англоросса» и сам же их тайно скуплю — пополню контрольный пакет... Надо придумать что-нибудь против «Космоса» — вызвать шум в прессе: акции сразу подскочат, тут-то я их и продам... Гришка посодействует, напроорочит... и Тане сбегрю тысяч на сто... Заодно попользуюсь Гинцем, Ганусом и Мендельсоном. Они мне счета, а я их акциями — нате вам!..

Комбинации продуманы, пора действовать.

— Алло! Кто говорит? Гинц? Приветствую Абрама Моисеевича! Слушаю вас... Что? Нет, невозможно!.. В таком случае, оставьте мне хотя бы сто акций, взамен устрою вам выгодное дело... Договорились... Что? Не может быть! Ха-ха-ха-ха! Выгнал?.. Спустил по лестнице?.. Аха-ха-ха!.. Что? Вылил ему на голову? Аха-ха-ха! Вот это да-а!.. Завтра в «Аркадии»? Хорошо, буду... Вместе с Еленой? Когда вы состаритесь, когда утомитесь?! Хорошо, хорошо, приведу, но взамен вы уступите мне Клаву, договорились? Отлично... Абрам Моисеевич, вы не строите церквей?.. Что?! Уже выстроили двадцать... Еврей, и строите церкви? Аа-ха-ха-ха! Что-о-о? Фабрику по производству икон? Будете торговать иконами?! Тогда уж и мирно начните изготовлять, и духовную академию откройте... Да, нужно построить огромный храм... Кроме того, для армии необходимо два миллиона пар белья, миллион штук одеял и множество всякого другого добра... Всего больше, чем на двадцать миллионов... Ладно, завтра поговорим. Кланяйтесь дражайшей Сусанне Марковне, поцелуйте руку вместо меня. Спокойной ночи, дорогой друг!..

В последнее время Квачи все чаще жалел, что в сутках не сто часов. Отпрыск Силибистро из Самтретии взялся за столько дел, так разрывался на части, что однажды Елена шутя заметила ему:

— Да ты совсем выпотрошен, мой милый, раз в неделю не вспомнишь обо мне, да и то... Если б не святой Григорий, я бы тебя бросила.

— Ладно, давай без глупостей! — цыкнул Квачи.

Однако в словах Елены было зерно истины. От многих хлопот, напряженных трудов и бессонных ночей Квачико и впрямь вымотался. Глаза его не горели прежним огнем, и молодая кровь не так шумела по жилам. Он сознавал это, но не мог ослабить натянутых нитей.

Несколько часов ежедневно он расходовал на святого учителя; затем принимал у себя «клиентов» покрупнее. потом — на биржу, повидать Гануса и Гинца; иногда возникала необходимость навесить их дома и утешить их жен: хотя бы дважды в неделю — выполнить братский долг перед Таней; и Елену не следовало забывать...

Но Квачи не сдавался и, как упрямый конь, галопом неся за путеводной звездой, издали сверкавшей своему избраннику и заманивавшей все дальше и дальше.

Сказ о спасении святого

В этой погоне за звездой своего счастья Квачи неожиданно накнулся на невидимую стену: Туркестанская концессия плюхнулась в бюрократическое болото, дело о храме святого Григория заплеснело в архиве, снабжение армии кто-то перехватил, да и все прочие начинания заморозились и заржавели.

Газеты перестали печатать портреты Квачи и восхвалять его.

Ганус выразил Квачи резкое недовольство, а его красавица жена прикинулась больной и вдруг сделалась настолько неприступной, что даже не выпустила Квачи в опочивальню.

Гинц рычал и показывал зубы — биржа уплывала у него из рук.

Таню потянуло куда-то в сторону.

И Елена дулась и хмурилась.

Квачи призадумался. Очень призадумался: похоже на то, что сын Силибистро идет ко дну.

Но его не так-то легко было потопить.

Однажды он собрался с силами, поднатужился и произвел на свет маленькую комбинацию.

— Ладно, теперь я знаю что делать! Бесо, поди сюда!

Усадил возле себя верного Бесо и шепнул ему на ухо всего слов двадцать, не больше.

— Ясно... Понял... — кивнул смысленный Бесо. — Сейчас же иду — есть такой человек...

Пошел к одному бездомному, из бывших студентов, и спросил:

— Хочешь поесть и хорошо выпить?

Бывший студент уже был под мухой, стал божиться:

— Ей-богу, три дня ни капли в рот не брал! Вот те крест!

Завалились в трактир и выпили. Когда бродяжка-«студент» хорошенько набрался и устал нести околесную, Бесо спросил:

— Хочешь заработать сотню?

— Господи! Да ради сотенной я хоть сейчас в Неву брошусь!

— Дело будет проще. Ты мог бы два раза пальнуть из револьвера в воздух?

— Да хоть из пушки!..

— Отлично. Вот двадцать рублей. Остальные получишь потом. А теперь следуй за мной!

Отвел бродяжку на квартиру к Квачи и сказал:

— Вот тебе белье и одежда. Вот ванная. Перво-наперво — вымойся, смени белье и хорошенько выспись... Остальное — после... — Потом зашел к Квачи и доложил: — У меня все готово.

Квачи тут же взялся за телефон:

— Святой отец, вдова Лохтина целый месяц слезно умоляет... Смилуйтесь, съездите к ней... Да, нынче же вечером... Что? Уверю вас, никакой опасности. Сейчас же выплю свою разведку... Добро буду у вас через час...

Поздно ночью Григорий и Квачи вышли от Лохтиной и сели в коляску. Зацокали копыта, коляска покатилась и свернула в глухую безлюдную улицу. В темноте возникли два силуэта, и в это же мгновение грянули два выстрела.

Квачи стремглав выскочил из кареты:

— Стой! Стой, говорю, не то буду стрелять!

Одна из теней остановилась. Квачи три раза кряду выстрелил в нее, и когда та упала, наклонился и выстрелил еще раз.

Затем вернулся, выпрыгнул в коляску и расправил плечи:

— Пошел!..

Через час множество вельмож поздравляли Распутина со спасением и выражали Квачи глубочайшую благодарность.

Явился начальник полиции, предъявил паспорт убитого, рявкнул:

— Мы знаем этого мерзавца. Известный террорист. Наконец-то от него избавились!

Когда потерявшийся с перепугу Григорий окончательно пришел в себя, он, как медведь, сграбастал Квачи и забормотал, всхлипывая:

— Аполончик, ты подарил мне жизнь... Как тебя, друже, отблагодарить. Проси, чего пожелаешь!..

Квачи сполна воспользовался мгновением.

— Хорошо... Хорошо... Всенепременно! — бубнил святой, хлюпая носом. — Послезавтра же пойдем к папеньке и маменьке... Поздравим с возвращением из Крыма и заодно дело обговорим. Дай еще разок прижму тебя к сердцу...

К вечеру телефон Квачи устал и охрип. Казалось, весь Петербург узнал, что ждет его через день.

Сказ о прыжке на высочайшую ступень

Сверкающий поезд пыхтя и отдуваясь, подошел к Царскосельскому вокзалу. Перрон и площадь запестрели мундирами.

Гришка и Квачи едва успевали отвечать на поклоны.

Вооруженный до зубов Джалил сверкал глазами и ворчал:

— Вах-вах-вах! Если весь этот чалавек к падишах пойдет, лошадь не хватит!

В ландо и автомобилях с золочеными гербами расселись министры, сенаторы и придворные.

Гришка плюнул на автомобиль:

— Фу, бесовская штука! Чертов кусок! В жисть не сяду туда! Эй ты, попугайчик, давай сюда хфайтон!

Сели, откинулись на подушки, и под топот копыт, покатали ко дворцу.

На широкой мраморной лестнице у входа толпятся придворные: кавалергарды, камер-юнкеры, камер-пажи, камергеры, шталмейстеры.

Комендант дворца генерал Воейков выслушивает тихие указания министра двора и отдает соответствующие распоряжения.

Гришка и Квачи вошли во дворец.

Квачи окинул взглядом огромный зал, и в глазах у него запестрело: хрусталь, бронза, мрамор, золото, серебро, шелка, гобелены, картины и скульптуры — все влекло взор и восхищало.

Вельможи в расшитых золотом мундирах стояли, как изваяния. Эти живые статуи с лентами через плечо сверкали крестами и звездами из драгоценных камней.

При виде Гришки головы их низко склонялись, на лицах отпечатывались улыбки, после чего они опять каменели и оледеневали.

Тут каждому отведено его место, и все-таки каждый стремится высунуться хоть на пядь, чтобы себя показать, да и на других глянуть свысока.

— *Што, Аполончик, небось ндравится? Глаза лупаешь? Ничаво, держись за mine, вывезу!* — подбодрил Гришка смущенного Квачи.

Открылась одна из дверей.

— Их величества государь-император и государыня-императрица!

Гвардейская стража обнажила шпаги, военные, отдавая честь, вскинули руку к виску, остальные склонились в низком поклоне.

В дверях показались царь с царицей и наследник: посередине шел царь, слева от него шествовала царица, справа вели малолетнего царевича Алексея, за которым следовал воспитатель—дядька матрос Деревенко. Царская чета была одета скромно, что чрезвычайно поразило Квачи. Все трое, улыбаясь, раскланивались.

Вдруг случилось нечто непонятное: откуда-то повыскакивали юродивые и убогие калеки в лохмотьях — горбатые, кривые, колченогие и, кривляясь, визжа, неся бред и околесицу, бросились за государем и государыней.

Гришка шепнул:

— *А, юродивые, блаженные черти! Опережать хотят? Нет, ша-мши! Аполончик, при за мной! Да не зевай! Чего рот-то разинул?!*

И в ту же минуту сорвался с места и потащил за собой Квачи.

Царь с царицею остановились и, согласно старинному обычаю, низко поклонились всем этим божьим людям — немым, юродивым, шутам и блаженным. Затем улыбнулись им и обласкали.

Окаменевшие живые статуи умильно улыбались, хотя многие из них ненавидели и этот древний обряд и этих убогих, отнимавших у них минуты общения с их величествами.

Церемонейстер знал свое дело: как только государь с государыней удалились, он, с улыбкой раскинув руки, остановил юродивых и оттеснил к выходу. Гришке же и Квачи почтительно поклонился и открыл перед ними золоченую дверь.

Гришка схватил Квачи за руку и втащил в ту самую комнату, где скрылась царская семья.

— Святой отец!

— *Мои миленькаи! Мама! Папа! Алеша!..*

Обнялись крепко-крепко и долго лобзали друг друга.

— *Вот миленькаи-то возрадовали мне и Боха! Как ездили-то? А мама здорова, Алеша тоже. А ты, Николаша, маленько того!.. Дай Бох! Дай-то Бох!.. А я вот маво хранителя и спасителя князя Аполончика привез показать. Ха-арош, о-о, как хорош! А как молится-то круто, как молится-то прытко! Его наготи ласкать миленькаи, так хочу я! Да, я! Да! — потом обернулся к наследнику: — Алеша, погь до миня! — посадил царевича на колено, обнял и пощекотал, посмеялся и рассмешил.*

Государь и государыня подали Квачи руку и горячо поблагодарили за спасение святого Григория.

Квачи почтительнейше поцеловал обоим руку.

Николай улыбался так, словно испытывал неловкость.

— Ваша фамилия, князь?

Квачи собрался с духом:

— Квачантирадзе, государь!

— Что происходит на Кавказе?

— Была большая смута, государь. И среди нас появились посланцы нечистой силы. Но мы, твои верноподданные — не устрашились, сразились с ними и одолели...

И Квачи описал государю и государыне свои деяния: и про бомбу, и про обстрел, и про отравление, но — благодаренье Всевышнему! — провидение сохранило ему жизнь, дабы еще раз испытать на преданность престолу и России.

— Вот и вчера провидение послало вам новое испытание!..

— Да, государь. Я готов каждый день доказывать мою преданность.

— Спасибо, князь, спасибо! Не забуду вашей службы. А теперь, скажите: как вы полагаете, Кавказ уже успокоился?

— Не совсем, но... Не извольте беспокоиться, государь! Нас много на святой Руси, преданных вам и единому Господу. Крепко обопричьтесь на наши плечи, они сильны и выносливы. Мы пойдем все вперед и вперед, легко и радостно неся престола на своих плечах!

Осунувшийся, хмурый и печальный царь обнял Квачи, уронил слезу ему на грудь, и не одну, и, чтобы укрепить свое робкое сердце, проникновенно повторял:

— Спасибо, князь, спасибо!.. Хорошенько оберегайте нашего святого отца! И будьте осторожны, князь, у нас много врагов...

— Я же сказал, Николаша, что его надоть обласкать,— вмешался Гришка.— Верни Аполончику княжеское звание, Николаша. Сам только что Аполончика князем назвал. А слово царя — закон.

Николай покраснел.

Квачи поспешил успокоить его:

— Государь! Княжеский титул Квачантирадзе получили еще в седьмом веке. В восьмом веке мой предок был главнокомандующим грузинского воинства. С тех пор у грузинских царей четырнадцать Квачантирадзе были советниками и католикосами. В восемнадцатом веке турки разрушили нашу крепость и замок. Сравнили с землей и сжгли. Тогда же пропали фамильные архивы со старинными царскими грамотами и регалиями. Весь Кавказ знает, что мы родовитые князья, потому мы и не стали хлопотать о гербах и бумагах. Дворянское звание оставалось при нас, а большего и не надо, чтобы с честью служить Вашему Величеству...

— Хорошо...— пробормотал государь.— Пусть так! — и что-то записал в книжечку.

«Ашордия, теперь тебе цена копейка! Обещанил я тебя!» — воскликнул в душе Квачи.

Заговорили о делах государственных. Царь и царица — оба смотрели на святого старца, как некогда евреи на Моисея, вещавшего с Синая Божьи заповеди.

Чего ни пожелал Гришка, что ни предложил, было принято — все пробил и провел, на всем настоял.

Только раз по какому-то поводу государь робко заметил:

— Сердце говорит мне одно, а разум другое...

Тут Гришка вскинул кулачище и изо всех сил грохнул по столу. Все в комнате задрожало.

Побледневшая государыня привстала, наследник заплакал, а царь вздрогнул и оторопел.

Гришка впился в него своим неистовым взором, долго смотрел, не отрываясь, и наконец желчно процедил:

— Ну што? Где екнуло, *здесь али тут?* — он приложил палец сперва к груди, а затем ко лбу.

— Здесь... Здесь екнуло... Сердце затрепетало! — дрожащим голосом ответил Николай и приложил палец к сердцу.

— То-то же! Когда думаешь о деле, не верь разуму. Сердце свое спроси. Сердце лучше ума.

Царица схватила Гришку за руку и припала к ней.

— Спасибо... Спасибо, святой отец!

— Хорошо... Я и впредь так буду делать,— согласился царь.

Деревенко с трудом унял плачущего царевича.

Еще долго обсуждали, обговаривали и взвешивали важнейшие и сложнейшие государственные дела.

Наконец Гришка прервал аудиенцию, которую давал царю:

— Ну, *теперича гайда отселева, Аполончик! Папа, а ты не плошай! Чаво пригорюнился-то? Дай Бох! Сиди крепко, а жигам и бесам волю не давай. Да дави окаянных покрепче! Аж штоб чертям тошно было! То-то! Ну, здорово! А тебе, мамаша, апосля ищо скажу два слова. Я туточко буду, у царевен наших...*

Государь и государыня милостиво попрощались с Квачи, вручили ему бесценную Гришкину жизнь и пригласили:

— *Пропосту, на стакан чаю и для божественных бесед.*

Гришка и Квачи вышли.

В ту же минуту в комнату к царям с визгом, хохотом и воплями ворвались юродивые и убогие.

— *Туточко подожди, я чичас!* — бросил Гришка Квачи и галопом припустил через весь зал.

Квачи обступили знакомые и незнакомые министры, сенаторы и придворные вельможи. Поздоровали, расспросили.

Квачи понимал, как высоко вознесся в этот день. Поэтому соответственно изменил свой тон и облик: выпрямился, откинул голову, собрал на лбу глубокомысленные складки и небрежным тоном дал такое интервью:

— Я счастлив отметить, что наши дражайшие государь, государыня и наследник престола за время пребывания в Крыму заметно окрепли. Настроение у всех прекрасное... Ожидаемые изменения в политике? Ничего существенного... Видимо, усилятся преследования жидов и прочих ненадежных элементов в обществе, в последнее время заметно приподнявших головы. Война?.. Война с Турцией сейчас нежелательна, поскольку наша мощь вскоре понадобится для более значительных дел. Каких? На этот вопрос покамест я не могу ответить... В свое время узнаете... Мы должны слегка поправить Государственную думу, поставить ее на место... С министрами и вельможами так же надо бы разобраться и избавиться от некоторых...

От этих слов у многих в зале дрогнули сердца — у одних от страха, у других с надеждой.

В круг высших сановников вошел министр двора — высокий красивый старик Фредерикс и медовым голосом сообщил Квачи:

— Князь! Их императорские величества государь и государыня изъявили желание видеть вас нынче на обеде.

Квачи низко поклонился.

— Моя нижайшая благодарность и счастье безграничны!

Высочайшего расположения из всех знатных, родовитых и славных в тот день удостоились только Квачи и Гришка.

Это и впрямь была самая высокая ступень, которую Квачи лелеял в своих мечтах и коей он достиг.

Сказ о спасении престола и России от смуты и распада

История обычно врет, но и на старушку бывает проруха.

Именно так случилось на этот раз — история по ошибке сболтнула правду и золотыми буквами вписала в свои анналы имя Квачи Квачантирадзе, отвела ему достойное место в величайшем событии, совершившемся в тот незабываемый день в царскосельском дворце усилиями Гришки и Квачи.

Сей великий всенародный подвиг, событие века, повернувшее вспять колесо истории, изменившее судьбы страны, золотом занесено в скрижали и достойным образом отмечено в личном послужном списке; однако всюду Квачи фигурирует под псевдонимом, обозначен единственной буквой — буквой «К»; собственно говоря, для нас в этом нет ничего удивительного, поскольку, как мы неоднократно убеждались, он был чрезвычайно скромный и застенчивый молодой человек и как мог избегал рекламы и афиширования. Впрочем, и сейчас еще можно найти двух-трех завистников продолжающих утверждать, будто бы этим «К» был не Квачантирадзе, а Великий князь Константин; но — благодарение Всевышнему! — известный историк и архивариус Чоришвили¹ окончательно опроверг эту версию и отвел Квачантирадзе в эпохальном для страны событии подобающее ему место.

¹ Придуманная фамилия, переводимая как «Сплетнев».

На историческом обеде, кроме царской семьи, присутствовали только Гришка, Квачи, фрейлина императрицы Вырубова и министр двора барон Фредерикс.

После обеда, когда царевич и царевны покинули зал, когда душеспасительная беседа и возвышенные речи иссякли, государыня взволнованно и с дрожью в голосе проговорила:

— Святой отец! Вы всегда были нашим верным другом и надежным советником... Все предсказанное вами сбылось: поражение в войне с Японией, победа над революцией, рождение наследника и многое другое. Поэтому без вас, вы это хорошо знаете, мы не смеем ничего решать.

— И правильно делаете! — буркнул Гришка.

— Откладывать дальше совсем невозможно. Когда вы были у нас в Крыму, святой отец, Ники уже тогда хотел поделиться с вами нашими заботами, но я уговорила его отложить. Теперь же настало время открыть величайшую тайну. Только вы должны помнить, что эта тайна должна быть похоронена между нами шестью: если о ней узнают, страну ждут величайшие бедствия.

Квачи в знак клятвы поднял палец.

— Не утруждайте себя, князь! — обернулась к нему императрица. — Не надо клятв. Совершенно исключено, чтобы избранный друг нашего святого оказался болтуном... Вы, наверное, помните, что пять лет назад, когда началась смута и для России наступили трудные времена, мы решили отречься от престола и покинуть страну. Тогда и нас, и Россию спас святой учитель — сумел переубедить Ники и чуть ли не силой оставил на престоле.

— Так разве же не оправдалось в тот раз все, что я предсказал? — спросил Гришка.

— Оправдалось, святой отец, полностью оправдалось! Потому и молимся на тебя и решили при жизни воздвигнуть храм святого Григория. Но дело в том, что Ники так и не избавился от мысли отречься от престола.

— Что?! Как?! — в один голос вскричали Гришка и Квачи.

— Он и сейчас все время думает об этом. Твердит одно и то же: в России мы не будем счастливы, мы все здесь погибнем... Одна я бессильна, мне не удастся переубедить его. Помогите, святой отец! И вы, князь! Посоветуйте, укажите нам волю Божию!.. Отче! Спаситель наш, наш святой, помогите! — и царица разрыдалась.

Николай сидел, обхватив голову руками.

Гришка тоже глубоко задумался.

Все долго молчали, ждали, что скажет святой.

Наконец скорбно насуленный Григорий встал и возгласил с волнением и надеждой:

— Помолимся Богу!

Все опустились на колени пред иконой. Молились долго, истово. Потом поднялись и опять устали на Григория.

Гришка шагнул к Николаю и вкось спросил:

— Ну! Что внушил тебе Господь во время молитвы? Какой дал ответ?

Царь молчал, безвольно понурясь. Затем покачал головой и прошептал:

— Господь не удостоил меня ответа...

— Потому не удостоил, что ты есть грешник и недостойн его! Покайся в грехах, очисти свое сердце от нечистых помыслов и тогда Всевышний Господь отверзнет пред тобой врата мудрости!

Долго наставляли и вразумляли поникшего и отчаявшегося государя. Внушали, пугали, предостерегали, что в случае отречения страну ждут смута, анархия, распад империи, война, голод и мор; что за все это Господь спросит только с него.

Квачи тоже напряг все свои умственные способности и красно-

речие. Но хмурый царь по-прежнему сидел понурясь, только в знак несогласия не переставал устало мотать головой.

Тогда вдруг Гришка преобразился: странная дрожь пробежала по его телу, руки и губы затряслись, нос заострился, а неистовая синь глаз вспыхнула глубоким пугающим пламенем. Он вплотную подскочил к царю и стал кричать на него, топая ногами и размахивать руками перед его лицом.

— Что?! Ни народу, значит, больше не веришь, ни Боху?! Видать забыл ты, что не слушающий голоса Божьего будет изгнан из церкви и проклят! Анафема! Анафема! Анафема тому царю, который забыл и Господа, и вверенный ему народ, и церковь, и свой царский долг!! При слове «анафема» царь привстал, затрепетал, заробел.

Гришка же продолжал метать громы и молнии:

— Кто дал тебе право разрушать царство? Как смеешь ты губить свой народ?! Понимаешь ли ты, что уступаешь престол бесам и жидам?! Значит, и в твоей душе угнездились бесы! Значит, ты и сам посланник ада! Ты не царь, а антихрист! Антихрист!

— Господи, помилуй! — простонал царь и широко перекрестился дрожащей рукой.

— Я тебе говорю, цыты! Я, Григорий, тебе говорю, цыты! — вопил в неистовстве Григорий. — На колени! На колени! И моли у Господа отпущения грехов! Молись Господу! Молись, дабы изгнал из души твоей бесов и нечистую силу!

И опять они долго стояли коленопреклоненные пред иконою и молились громко, страстно, со слезами и стенаниями.

Наконец Гришка поднялся и сказал:

— Встань, государь! Встань и скажи, что внушил, что посоветовал тебе Всевышний?

Обессиленный царь вдруг бросился в ноги Распутину. Рядом с ним рухнула на колени царица и ее фрейлина госпожа Вырубова; все трое истово припали к ногам и рукам святого старца, щедро орошали слезами и, воздев руки, кричали срывающимися голосами:

— Святой отец!.. Ты наш Господь-избавитель!.. Ты наш Спаситель!.. Спаси и помилуй, святой отец!

Поблдневший Распутин стоял над ними, словно окаменев. Голова у него закинулась. Сверкающие ледяным холодом глаза вперились в икону. Он положил левую руку на голову царю, правой же широко крестился и прыгающими губами шептал:

— Благодарю тя, Господи, что спас святую Русь, и царя ее, и семью его, и церковь православную от ада и поругания... Помилуй нас, Господи!.. Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя! Аминь!

Потрясенная государыня на иконе поклалась Гришке:

— Клянусь Всевышним Господом нашим Иисусом Христом, святым Серафимом Саровским, моими детьми и мужем, что никогда тебя не оставляю! Никогда, даже если весь мир восстанет на тебя! До смерти и даже на том свете я буду с тобой!

Наконец Гришка поднял с колен полуобморочного царя:

— Встань, государь! Встань и царствуй во славу России, на радость православной церкви! Даруй народу своему надежду и сокрушай наших врагов... Изыди, враг человеческий! Изыди, сатана!

И прижал к груди прослезившегося Николая.

Награждение Квачи, извинения одной дамы и еще несколько историй

— Видал? Убедился? — спрашивал Гришка в царском вагоне изумленного Квачи.

— Неисповедимы дела твои, учитель и чудотворец! Видел, слышал и убедился.

— Еще раз сподобил Бох избавить от агрома-адной опасности Расею, церковь и царя-батюшку.

— Учитель, вы заслуживаете величайшего памятника как спаситель отечества! Немедля, завтра же приступим к возведению храма святого Григория.

— Устроил же я тебе и это дело... В благодарность за сегодняшнее царица-матушка к четырем миллионам еще миллиончик подбросила. Теперь дело за тобой. Поглядим, что за храмину возведешь... За пять-то миллионов можно изрядный возвести, верно?

— Я построю такой храм, что и Айя-Софию за пояс заткнет и собор Святого Петра, что в Риме. С божьей помощью управлюсь.

— А с княжеством-то я тебе уладил, титул-то твой!.. И «концессию» на каналы в этом «Туркатане»! И заказ на исподнее да на портянки для солдат получил, Аполончик! И мундир флигель-адъютанта отхватил!..

— Бессмертны дела твои, святой отец!

— За тобой десять тысяч.

— Завтра же вручу, святой отец.

— А Елену в придворные дамы! Фрейлина, статс-дама и кавалер царских орденов... А ты думал!.. Пусть только не важничает и добра не забывает, не то я...

— Нет, нет, святой отец! Елена не такая.

Тут Григорий заметил в вагоне красивую женщину. Сорвался с места, пристал к ней.

Минут через пять Квачи пошел его разыскивать и услышал:

— Ты чаво кобенишься-то, стерва? Мине государь с государыней руку целуют, а ты ломаешься?! Что? Не знаешь, кто я? Гришку Распутина не знаешь? Так я те покажу, кто я такой! У-у, бесстыжая шалава!..— и наговорил таких слов, что даже вагон покраснел.

Просьбами и увещаниями Квачи кое-как вернул в свое купе великого учителя, который никак не мог утомониться и грозился каторгой.

Минут через десять щепетильная дама и ее супруг — высокопоставленный чиновник и друг министра юстиции Щегловитова — осторожно постучались в купе и почтительнейше попросили прощения.

Гришка не желал с ними разговаривать. Огорченный и напуганный супруг ушел. Квачи последовал за ним.

— Аполончик! Стой у двери и никого не впускай! — бросил вслед Гришка.

На подступах к Петербургскому вокзалу раскрасневшаяся и встрепанная дама весело выпорхнула из Гришкиного купе.

Квачи спросил Гришку:

— Вы простили ее, святой отец?

— Простил. И грехи отпустил... Христианин я, аль нет? Вот ее адрес, запиши!

— Ну и слава Богу!..

— Аполончик! Сегодня я твой гость — приглашай в «Аркадию».

— Вы слишком щедры, святой отец! Столько счастья в один день!..

— Подготовь все хорошенько. Ложу закажи с занавесочкой, чтоб закрывалась... Привези Елену... А теперь ехай домой и отдохни. Ну и денек выдался! Страсть! Господи, прости и помилуй, и отпусти нам прегрешения наши!..

Квачи было не до отдыха! До вечера надо было много успеть.

Первым делом он погнал свой «Берлье» к Ганусу.

— Поздравляю!.. Мы победили! Проект утвержден! — бросил он пораженному банкиру. — Завтра к двенадцати оплатите наш до-

говор. Я весь день во дворце... Едва удалось уйти... Оставили на обед, ни за что не отпустили... Масса новостей... Уйма перемен... Перед вами фитель-адъютант...

Он рассказал о событиях того дня, в том числе многословно поведал «величайшую тайну, которую клялся сберечь до могилы» да еще приврал отсебятины. В его рассказе то и дело слышалось:

— Мы назначили... Мы перевели... Мы решили... Россия была на грани гибели, нам с трудом удалось ее спасти... Мы убедили государя... Вы позволите телефон? Спасибо!

И, словно драчливый баран, набросился на телефон:

— Алло! Бесо, ты? Найди моих маклеров! Живо! Найди, где хочешь! Через час буду... Ладно, ладно, об этом после. Дай отбой.

— Алло! Елена, тысяча поцелуев и мои поздравления! Как с чем?.. С тем, что ты теперь у нас фрейлина... Не веришь? А завтра, когда получишь соответствующую бумагу с гербом, тоже не поверишь? Да, мы с Гришкой «провернули» это дело!...

— Алло! Квартира Гинца!.. Абрам Моисеевич, это вы? Поздравляю с победой на всех фронтах! Больше покамест ничего не скажу. Через полчаса буду у вас. Соберите инженеров и архитекторов...

Опять обернулся к Ганусу.

— Значит так, дорогой друг! За вами магарыч!.. Целую ручки вашей супруге! Очень жалею, что не повидал ее...

Он и к Гинцу ворвался, раздулся от хвастовства.

— Мы с Гришкой сделали!.. Вместе обедали... Сместили... Наградили... Храм доверили мне. Беретесь построить?

— Да за что я не возьмусь! Пусть мне финансируют прокладку железной дороги на Луне — возьмусь!

— Вот планы, вот договор, вот письмо государыни-императрицы...

— Сверю... Посмотрю... Просчитаю...

— Армии нужно двадцать миллионов пар белья. Вот список и цены. Пять процентов мне — и заказ ваш...

— Не так сразу. Надо просчитать. Ответ завтра утром.

— Значит, до завтра! У меня еще уйма дел... Дома с утра ждут министры и начальники департаментов... Поклон супруге, целую ручки... До встречи, мой дорогой друг!

На лестнице, как обычно, толпился разношерстный люд.

— Гоните всех прочь! И больше эту мелюзгу не впускать! Не до них нам теперь! Мне поручено дело такого масштаба, что ихних грошей и считать не стану... Бесо, зови биржевых маклеров!..

— Седрак! Отбери из очереди тех, кто почище и давай сюда, остальных — в шею!.. Чипи, беги на вокзал, встречь Силибистро и Пупи, устрой на квартиру. Без моего разрешения чтоб сюда не заявлялись. Присмотри за ними, будь за хозяина... Габо! Отвезешь эту записку в оперу, примадонне Волжиной. Если пожелает, привезешь ее в «Аркадию»...

Опять ринулся к телефону.

— Алло! «Аркадия»? Говорит князь Квачантирадзе... Зарезервируйте для меня первую или вторую ложу, украсьте цветами, да понарядней... И чтобы все было готово...

— Алло! Танечка? Тысяча поцелуев!.. Надеюсь, ты здорова? Хочешь посмотреть место грехопадения? Вертеп. Блудилище... Учитель тоже будет там. Не робей, потом сама пожалеешь... Если хочешь, можешь надеть маску... Что? Боишься? Говорю тебе, ничего страшного. Я так проведу вас в ложу, что сам черт не заметит. Будет Елена и певица Волжина, словом, все свои... Значит, согласна? Тогда быстрее одевайся, мы за тобой заедем...

Сказ о «паспорте» Григория и побивании блудницы

Два часа ночи.

Пиршество в разгаре.

Огромный зал горит и сияет.

Хрустальные люстры из множества гирлянд играют тысячами граней, слепя, как бесчисленные алмазы.

Нежно позвякивает севрский фарфор.

Замороженное в серебряных ведерках и бережно запеленатое шампанское брызжет золотыми искрами в граненых кубках.

Шипит и пенится льющийся из узкогорлого, пузатого кувшина янтарно-медовый кюрасо-шипр.

Мускаты, марсала и бенедиктин, бордо и бургундское переливаются и играют всеми оттенками багрянца и золота.

В бокалах баккара голубым пламенем полыхает шартрез.

Золотятся груды экзотических плодов: ананасы и апельсины, мандарины и пампельмусы.

Тают во рту французские груши — сенжермен и дюшес.

На белизне скатертей щедро рассыпаны матово-румяные персики, дымчато-синие сливы, изумрудный, янтарный и лиловый виноград. Вперемешку с ними — редчайшие розы, гортензии и орхидеи.

Пунцово распластались омары и крабы.

Поджаренная дичь выпатила розовые грудки и бесстыже задрала аппетитные окорочка.

Вокруг полуобнаженные плечи и спины, груди и руки, и обтянутые паутиной чулок точеные длинные ноги.

Живописно и пестро перемешиваются парча и атлас, бархат и гипюр.

Восхищают взор роскошные кружева — венские, гентские, валенские и восточные, златотканое шитье — бисер, стекларус, жемчуг. Иссиня-черные, золотисто-каштановые, рыжие, соломенные и светло-русые волосы вьются локонами, курчавятся, шелковисто спадают на плечи, волнуются, струятся и вздымаются пышными копнами.

Слепит блеск бриллиантов и рубинов, гранатов и аметистов, бирюзы, изумрудов, лазурита и жемчуга.

Сизый табачный дым змеится к потолку и тает.

Загадочно-дразнящей лаской щекочет ноздри аромат духов.

На эстраде сменяют друг друга французенки, итальянки, испанки, японки, алжирские еврейки и тунисские арабки — танцовщицы со всех концов света.

Под треск кастаньет сходит с ума фламенко, неистовствует чардаш, кокетничает мазурка, бесстыже вихляется кекуоки, перешел все границы матчиш, извивается страстное танго и обнажается чувственный танец живота.

А вот и канкан — ватага девиц скачет, задрав подолы и дружно вскидывает ноги; шуршат юбки, мелькают ляжки, спит кружевное исподнее...

Мужчины и женщины сплелись в объятиях и, опьяненные запахом и плотью, бездумно плывут в волнах танца.

Слышится взволнованный шепот, двусмысленные остроты, возбужденный женский хохоток.

Зал пререзает молния горящих желанием глаз.

На влажно-алых губах и жемчужно-влажных зубах дрожит отблеск распаленного желания.

В наркотическом томлении, разгоряченная острой едой и вином плоть ищет утоления и воспламененная кровь все упрямей требует своего — жаждет, чтоб ее погасили.

Сверкающий зал охвачен желанием, и неутоленно. Колеблется в дыму дурмана.

Рычит и скалится багряный зверь — зверь блуда и похоти — со вздыбленной гривой, окровавленной пастью и острыми клыками. Точно Содом, полыхает тот зал в неукротимом пожаре животной страсти, греха и разврата...

В занавешенной портьерами, украшенной цветами ложе пируют Гришка, Квачи, Елена и Таня. Время от времени они поглядывают на сцену, где сменяя друг друга поют и пляшут русский хор, цыгане, негры, тирольцы, француженки, испанки...

Пьяный в стельку Гришка орет:

— Давай сюда кукуоки!.. Пусть энта гишпанка пляшет еще! Зови сюда цыганок! Скажите — Гришка Распутин кутит и всех кличет. Всех!.. Велит явиться!.. И чтоб мне не перечить, ни-ни! Не то разрушу к чертям это блудилище!

Ворот шелковой рубахи Гришки оборван, грудь распахнута, рукава по локоть засучены, волосы всклокочены и вылезшие из орбит глаза мутны и масляны: пылающая голова, как в тумане. В его помутившихся глазах разгорается недобрый огонь, он не находит себе места, мечется, шарит руками по столу и пьет все, что подвернется. Грубым басом ревет непристойные куплеты вперемишку с псалмами. Зычно, со вкусом, выкрикивает грязные, уличные словечки, как стрелами, рая Таню и Елену, смущая хористок. То и дело пристает к танцовщицам.

— Чего скачешь, как кобылка необъезженная! Чего ломаешься! Раз уж пьянка пошла, давай гулять по-нашему, по-мужицки! Рассупонься, девки, покажь титьки! Сбрось все! Не бойся сраму! — накинулся, стал тискать, лапать, разорвал платье на груди.

Танцовщицы зашумели. Одни хохотали, другие негодовали и пытались вырваться. А Гришка только пуще распался:

— Чаво кобенитесь-то, стервы? Чаво брыкаетесь-то! Уж вас-то навидался голяком. И не такие крали со мною в баньку гуртом ходют. Меня сама царица приемлет, а вы кто такие!.. Вот эту рубаху моя «старушка» своими руками мне сшила. Ага, сама сшила, сама узором разукрасила... Аполончик, отстань! Отстань, говорю! Изыди!.. Танька, и ты молчи! Цыть! Сегодня царь с царицею руки-ноги мне лобызали, а вы что за шелупень, чтобы!..

Квачи пытался унять разбушевавшегося Гришку. Таня и Елена сгорали от стыда.

Остальные звали кто полицию, кто владельца ресторана. Люди толпой обступили ложу.

— Что? Так значит я не Гришка Распутин? Значит, не верите, да?! Ну, коли так, глядите! Убедитесь! — он расстегнул штаны и предъявил бесспорное удостоверение личности. — И теперь не вознали Гришку?! Вот вам мой пачпорт! Смотрите и убедитесь! А кто жалуает, может проверить!..

Таня и Елена вскрикнули и бросились вон из ложи. За ними последовали еще несколько дам. Вокруг поднялся хохот и свист. Кто-то сорвал занавес с ложи, выставив на обозрение всего зала пьяного скота. Поднялся шум и суматоха. Музыка смолкла. Танцовщицы частью разбежались, частью сбились на эстраде.

Кто-то крикнул:

— Поймать его! Поймать и вышвырнуть!

Другой отозвался.

— Врет он! Неправда! Никакой он не Распутин!

После этого все смешалось.

— Проверьте! Гляньте! Вот мой пачпорт! Вот вам мой тугамент! — вопил стоящий у края ложи Гришка.

Зал содрогался. Одни хохотали:

— Аха-ха-ха-хаха!..

Другие вопили:

— Вон его! Вон!.. Ему место в доме умалишенных!..

И все, как пчелы, слетелись к разукрашенной ложе, грозясь и негодую, смеясь и хохоча.

Джалил неколебимо, как скала, воздвигся у входа, положил руку на кинжал и, сверкая глазами, просил:

— *Пожалиста, барин! Пожалиста! Не ходи, а то кров будит...*

Наконец появились владетель ресторана с приставом.

Кто-то опять завесил ложу сорванной портьерой.

Чтобы успокоить посетителей и отвлечь от скандала, вовсю грянул цыганский хор, завизжали, запиликали скрипки.

Гришка тоже обмяк, слегка пришел в себя и теперь только отбrehивался от пристава, вяло страдал:

— Только посмей написать протокол, на каторге сгною, голодным псам скормлю. Это говорю тебе я — Гришка Распутин! Отстань! Сам уйду!.. Аполончик, брось этим сукиным детям по сотне, и будет с них!.. А теперь пошли... Где Танька с Ленкой? Сбежали? И ляд с ними! Начхать... Я тебе говорю, не смей ничего писать, не то...

С превеликим трудом Квачи увел в дымину пьяного Гришку. Их провожали угрозы, крики и свист.

По дороге Гришка вдруг стал командовать:

— Давай направо! А теперь налево! Теперь прямо! Стой!

И остановил автомобиль у публичного дома.

— Учитель, как можно! Нас узнают, дойдет до государыни...

— Аполончик, молчи! Кто узнает? Моя «старушка»? Пусть узнает! Ты молодой и ничего не понимаешь в бабах. Пусть узнает, будет лучше меня любить... Не разбираешься ты в ихних штучках, Аполончик. Айда за мной!..

Ворвался в веселый зал и завопил.

— Мамзелям наше нижайшее! Ну-ка, «Камаринского»!

И под звуки разбитого фортепиано лихо, бойко и ловко пустился в пляс, увлекая девиц, тормоша и полукая. Затем каждой подарил по пять рублей и заказал двадцать бутылок вина и водку.

Выпили, переколотили посуду, изгваздали помещение.

Гришка отобрал пятерых девиц и завалился к ним.

Одна девица чуть не силком уволокла Квачи.

Джалил выбрал семипудовую блондинку.

Прошло полчаса.

Откуда-то слышался женский визг и отборный русский мат.

Квачи собрался уходить и только ждал учителя.

Вдруг из той комнаты, где развлекался Гришка, донесся женский крик:

— Спасите-е-ее! Убиваю-у-у-ут!..

Квачи бросился было в коридор, но смекнув, повернул к выходу.

У дверей он нос к носу столкнулся со скатившейся по лестнице совершенно голой девицей. Перепуганная, встрепанная, та с истошными воплями выскочила на улицу и припустила посреди мостовой. За ней огромными скачками гнался великий учитель. Тоже совершенно голый. Он на бегу стегал девицу своим плетеным пояском с увесистыми кистями и, задыхаясь, хрипел:

— *А, стерва! А, подлая! А, окаянная. На те. На те. На те.*

Сперва за ними погнались Квачи и двое прохожих. Затем поспешили на помощь другие. Девка без чувств рухнула на мостовую. Ее подобрали и понесли в дом. Гришку же обступили с криками.

— Держи срамника! Хватай! Бей!

Джалил тут же оказался на месте происшествия, наполовину вытащил из ножен свой кинжал и попросил:

— *Пожалиста, ходи, пожалиста...*

Появилась полиция. Но Гришка продолжал бушевать.

— Дайте только портки натянуть, сволочи, тогда погляжу, кто

из вас посмеет тронуть Гришку Распутина!.. Городовой, гони эту шваль, не то на каторге сгною! Ну-ка, живо! Кому сказано!..

Услышав имя Гришки Распутина, толпа захохотала:

— И точно — он!

— Гришка Распутин! Вы только гляньте, гляньте на него!

— Расходись! Расходись, говорят! — орали полицейские.

Гришка вернулся в публичный дом и минут через десять вышел одетый. Его остановил пристав.

— Что? — дернулся Гришка. — И ты с протоколом?! Никак, жизнь надоела? Или деток своих не жаль?!

— Нет, сударь, что вы... Я... Я ничего... Я только хотел своими глазами увидеть нашего святого Григория... И больше ничего. Дозвольте проводить, не то, не ровен час...

— Не надо... — сразу отошел Гришка. — Аполончик, дай ему четвертной. Как твоя фамилия? Завтра приходи до меня...

В ту же минуту автомобиль тронулся с места.

Сказ о покаянии святого и потрясении биржи

Была у Гришки одна махонькая комнатка, вся увешанная иконами, уставленная церковной утварью и книгами. Там помещалась его молежня.

Попытываясь, он нетвердо вошел в молежню. Слабо освещенный пламенем лампадки Иисус с кротким укором взирал на него с иконы. И рухнул Григорий Распутин пред тою иконой, пал ниц и возопил ко Господу о грехах своих:

— О, горе мне, грешному! Паче всех человек окаянен есть, покаяния несть во мне, даждь мне, господи, слезы, да плачуся дел моих горько... Кто творит таковое, яко же аз? Яко же бо свиния лежит во калу, тако и аз греху служу...

Наступил рассвет. Григорий по-прежнему коленопреклоненно молился. Погрязший в грехах, предавший душу нечистому, молился жарко, со слезьми горючими, стенаниями тяжкими и вздохами утробными: при этом внятно и громко произносил слова покаянного канона, время от времени прерывал их церковным песнопением, бил себя кулаком в грудь и обдирал колени.

После полудня Квачи заглянул к учителю.

Прислужник доложил:

— Отец Григорий молотся. Со вчерашнего дня не выходили из часовенки, ничего не изволили вкушать и никого не пожелали видеть.

Квачи удивился, но нимало не огорчился, поскольку в этот день намеревался «провернуть» с десяток комбинаций.

Забежал на другой день.

Прислужник повторил то же:

— Отец Григорий все молотся. Со вчерашнего дня не изволили выходить, ничего не ели и никого не пожелали видеть.

«Что за чудеса?» — Квачи заглянул в комнату рядом с той, где двое суток молился Григорий.

Там стояли на коленях с десяток мужчин и женщин и страстно каялись в грехах учителя. Среди них Квачи увидел погруженную в молитву Таню. Опустился рядом, воздел руки, возвел глаза и зашевелил губами.

Из молежни доносился ослабевший голос учителя:

— И раздевши Его, надели на Него багряницу; и сплетши венец из терна, возложили Ему на голову и дали Ему в правую руку трость, и, становясь пред ним на колени, насмеялись говоря: радуйся, Царь

Иудейский! И плевали на Него, и, взявши трость, били Его по голове. И когда насмеялись над Ним, сняли с Него багряницу и одели Его в одежды Его и повели на распятие...

Чтение Евангелия прервалось рыданиями.

Таня рухнула на пол, выкрикивая:

— Довольно, святой отец! Будет!.. Сколько же можно!..

Остальные поднялись и заголосили.

Квачи вывел Таню, кое-как успокоил ее и, поскольку на тот день планировал еще пару комбинаций, вскочил в свой автомобиль и помчался к банкиру Ганусу.

Вечером полюбопытствовал по телефону:

— Алло! Как себя чувствует наш святой отец? Все еще не поднялся с молитвы? И ничего не изволил есть? Дверь по-прежнему заперта?! Боже милостивый, чудеса да и только! Как прикажете понимать?.. Ну что ж, завтра непременно зайду, проведу...

На третий день к вечеру он опять наведалься. Дверь к Григорию по-прежнему была заперта.

На этот раз в соседней комнате молилось значительно больше учеников святого старца, но Тани среди них не было.

Ученики порывались взломать запертую дверь, однако «богородица» Лохтина не допустила этого.

Прошла неделя молитвенного поста. Жилище Григория не вмещало последователей и учеников, а также любопытствующих — виднейших и знатных людей столицы. Одни молились, другие пророчествовали, вещая нечто несусветное.

Вдруг дверь молельни отворилась. Раньше других прислужник впустил туда Квачи.

Истощенный и обессиленный Григорий в полубеспамятстве лежал на полу.

— Боже всемогущий!.. Святой отец!..

— Аполончик! Мой верный и преданный друг и брат! — едва слышно прошепел Григорий. — Не бойся, со мной ничего худого не случится. Лучше слушай и запоминай: и возрадуется Господь, егда грешники покаются в прегрешениях своих... Значит, если Господь насылает на нас нечистого, нам следует не гнать его, а потакать — блудить, грешить, бесчинствовать, дабы было в чем покаяться. Не совершив греха, и каяться будет не в чем. Запомни, святой лишен благодати Божией, ибо безгрешен, а безгрешному не в чем каяться, нечем умилишь Господа... Ты понял?

— Понял и запомнил. Велика и бездонна мудрость твоя, о святой отец!

Гришка помолчал, а затем продолжал:

— Аполончик! Ты, как дитя, наивен и безгрешен, ибо многого еще не знаешь и не понимаешь. Но скоро возмужаешь и откроется мир твоему разумению. А покамест скажу тебе одно: такого грешника, как я, и среди рати нечистой не сыскать. Что семь дней молитвы? Пустяк! Помню, когда от семьи бежал, жену и деток бросил, набрел на пещеру в горах и три месяца из той пещеры не вылезал. Ничего, кроме сухарей да воды, в рот не брал. Немытый и грязный стоял я на коленях пред иконой. Чесотка меня извела, парша съела. Раз, когда совсем ослаб и отчаялся, глянул на икону Пресвятой Богородицы и увидел: из очей Ее текли слезы... И сказала она: «Григорий! Григорий! Очистился ты. Отпускаю тебе прегрешенья твои! Мир гибнет в когтях у нечистого. Встань и иди во спасение и исцеление рода людского!» Я и пошел. С тех пор вот хожу и служу Господу нашему Иисусу Христу... Сколько раз удалялся я от мира — когда на месяц, когда на два, а то больше! Вот и сейчас приспело нам расстаться, мой дорогой Аполончик!

Квачи не на шутку встревожился:

— О чем вы, святой отец? Куда?

— Далеко, очень далеко. В Иерусалим. Хочу поклониться святым местам. Приложиться ко гробу Господню, омыться и очиститься.

— А как же я, святой отец? На кого меня покидаете? Что? В путь с вами? Я готов. Очень даже готов — к святым местам... Но все-таки надо подумать. Святой отец, отложите свое паломничество хоть на два-три месяца!

— Не могу. Минувшей ночью святой образ обратился ко мне и рек: «Григорий, не далее, как через три дня отправляйся в Иерусалим, ибо неисчислимы прегрешения твои...» Теперь ступай, Аполончик. Пришли мне Елену или Таню. А завтра в десять часов вечера будьте у меня, поведу в одно заповедное место. Такое вам покажу, что и во сне не приснится...

Дома озадаченного Квачи ждали неприятные новости.

После возвращения из Царского Села он мнил себя счастливейшим из смертных, ибо в тот день разом достиг всего: и княжеского титула, и придворного звания, и влияния, и власти, а главное — богатства, которое со дня на день должно было золотой рекой потечь в его карманы.

Часть этого богатства он заполучил в первые же дни, и ринулся на биржу.

Последнее время из уст Квачи слышно было только: «облигации», «купоны», «акции Путилова», «ленские», «саламандры», «Лежей», «Продал! Купил! Проиграл! Выиграл!»... Но как-то так получилось, что «проиграл» он говорил значительно чаще, чем «выиграл», а это не могло не огорчать. Квачи обнаружил, что во время игры на бирже кто-то заглядывал в его карты, наконец он убедился, что у него недостаточно сил и средств, чтобы крутить рулетку по своему усмотрению; что, напротив, сам Квачи стал чьей-то игрушкой и жертвой. Но было поздно — хоть локти кусай. На то, чтобы остановиться и отступить, не хватало осторожности, трезвости и хладнокровия, а потому, ступив в болото биржи, он полез дальше, вглубь, где его ждали или полное разорение, или поистине фантастическое богатство.

Он позвонил своему другу, банкиру Гинцу:

— Алло? Ты? Слушай меня внимательно: если мы поладим, когда смогу получить деньги?.. Завтра? Что?.. И контракт готов? А если не соглашусь на условия? Понизишь?.. Раз так, согласен. Дорого мне обходится наша дружба, но что поделаешь — будь по-твоему!..

Он повесил трубку телефона и повернулся к Бесо.

— По распутинским делам никого больше не принимайте. Спятил старец. На старости лет в Иерусалим отправляется — во спасение души. И черт с ним! Пусть хоть шею себе свернет! На нем столько грехов и грязи, что не то что Иерусалим — если тысяча ангелов будут скрести целый год, все равно не отскребут. — И опять схватился за телефон. — Ух, чуть не забыл! Алло! Елена, ты? Гришка тебя ждет, жажду, говорит, хорошенько согрешить, чтобы был повод хорошенько покаяться. Что? Нет времени? В чем дело, голубушка? Надо бы и мне немножко внимания уделить, для меня постараться!..

Сказ о ночном радении

В ту ночь часов в одиннадцать Гришка Распутин повел Квачи, Елену и Таню на радение «людей божиих».

Гришка и Квачи обрядились в белые холщовые рубахи, Елена и Таня — в просторные белые платья. Так требовали правила почитания мучеников, ибо белый цвет был знаком истинности их учения.

На окраине города, в приземистом доме собирался «корабль хлыстов». В просторной комнате толпилось до шестидесяти мужчин и женщин, в большинстве молодых.

Там же, в углу, отирались дружки Квачи, по его ходатайству получившие от Григория разрешение присутствовать на радении.

Во главе собрания у конторки стояла «богородица» — вдова Лохтина, тоже в белом балахоне, пестревшем блестками и бантиками; поверх распущенных волос — неизменный странный плат с лентой и надписью золотыми буквами: «Во мне всякая сила, Аллилуйя». Как обычно, она была босиком.

Радение уже началось. Богородица читала молитвы. При виде Распутина голос ее сорвался, и она пошла ему навстречу, выкрикивая:

— Вон он, сын Божий! Вон он, Иисус Христос! Вот он, наставниче предобрый и пастырь прещедрый! Осанна, благословен грядущий во имя Господне! Воистину скажем: придите и поклонитесь Христу нашему, Богу, ибо достоин сын Божий славы и поклонения... — и бросилась ему в ноги и зацеловала край белой рубахи.

Все обступили учителя. Одни, подобно Лохтиной, падали ниц, другие целовали рубаху и руки.

Гришка по-братски обнял всех, облобызал мокрыми губами. Затем последовал за «богородицей» к столу.

«Богородица» затянула псалом. Все подхватили, славя Всевышнего и Дух Святой, которые, согласно их вере, в ту минуту, находились вместе с ними под одной кровлей. Пропели множество других песнопений и наконец затянули «Христос воскрес». Пели стройно, увлеченно и благоговейно, все громче и громче, доводя себя до экстатического возбуждения.

Когда допели, учитель и сын Божий начал проповедь.

Квачи стоял в стороне и внимательно слушал Гришку. Он с трудом научился разбираться в его речениях, поскольку Распутин щедро оснащал их церковными словесами и мужицким просторечием.

Для начала Гришка напомнил братьям-корабельщикам заповеди учения.

Заповеди он толковал хитрословесно, иносказательно, особенно же напирал на ту, что касалась супружества и плотского греха.

— Дух во человецех кроток, плоть же, острупленная грехами, зла и люта, а посему лютую плоть должно пытать и умерщвлять. Супружество грех еси. Время и молитва духу Святому каждому подарит духовную супругу. Духовным супругам плотское соитие не вменяется во грех. Равно как и соитие с иными женами не зачтется во блуд, бо «таковая любовь лишь голубиное воркование»...

Затем Гришка припомнил хлыстовского Господа, сынов его, апостолов и мучеников. Под конец не забыл и о себе:

— Сподобился аз лицезреть небеса отверзтые и на них Дух Святой во славе, летящий яко голубь, и явился он мне и был мне голос свыше, и гласил: «Григорий, ты сын мой возлюбленный, в коем мое благоволение». И перенес меня тот дух в пустыню, и пребывал я там шесть раз по десять дней, и пытал меня искушениями многими и нечистой силой, и быша я там со зверьми, и ангелы служили мне. А питался акридами и диким медом...

Он припомнил множество греховных соблазнов, явленных дьяволом, дабы погубить его душу, и множество своих чудных деяний.

— Возведи окрест очи и виждь: близок День Страшного Суда, грядет Господь со славою. Истинно говорю вам: покайтесь и уверуйте! Приидите ко мне, мытари, и я буду пастырем вашим и просвящу земли темныя. И осенью вас Духом Святым, и исцелю от болезней, и повергну во прах нечистого, и укреплю души слабые. Матери, братья и сестры! Егда приидете в лоно мое, я соединю вас в любви, радости и ласке и дарую вам блаженство райское и радость небесную...

И после глубокого молчания окинул взглядом учеников своих, сидящих ошую и одесную, и рек:

— Братья и сестрии! Возрадуйтесь, яко в чертогах Отца Небесного, ибо с вами пребывает сын Господа возлюбленный и Дух святой! Возлюбите друг друга, яко в раю, и воркуйте друг с другом, яко голуби, ибо истинно говорю вам: нет в братской любви ни блуда, ни по-

хоти, ни греха. Изыди от нас всяк нечистый, прокаженный и грешный духом!

— Изыди! Изыди! — в один голос откликнулись люди божии.

Святой Григорий вдруг преобразился, загорелся, воспрял: его преданный подмастерье и друг Квачи Квачантирадзе вспомнил, как вразумлял старец царя и молился за него; вспомнил также истовое покаяние святого; всмотрелся внимательней в его пылающие ланиты и горящие очи, вслушался в громоподобный голос и постиг, откуда происходила беспримерная сила Григория, его безграничное влияние и все преодолевающая мощь.

Святой же вещал огненными словесами.

— Да будем мы сердце одно и плоть едина. Да будем петь и ликовать! Да восславим Господа Бога нашего! — и зычно, нараспев закончил. — Ал-ли-луй-я-а-а!

И поднялись люди божии.

И взяли друг друга за руки.

И пошли водить хороводы, яко братья с сестрами.

По одну руку от сына Божия шла в хороводе Елена, по другую — «богородица» Лохтина.

Слева от Квачи встала Таня, справа втиснулась пышногрудая, светловолосая особа.

Дружки Квачи тоже выбрали по плотненькой, нестарой сестре и вступили в хоровод.

Сперва двигались «в обхватку», степенно и неторопливо, и пение звучало размеренно. Постепенно распаяясь, убыстрилось.

Посреди хоровода несколько молодых мужчин и женщин волчком кружились на месте.

Перестроились «стенкой». Распались на части, все убыстряясь, взмахивая руками. Сходились «стенка на стенку» и расходились.

Порушили «стенку» и пошли «корабликом», как журавли друг за дружкой — быстрее и быстрее, жарче и жарче.

Наконец Гришка крикнул:

— Круговое! Круговое!

Отпустили друг друга и завертелись волчком, вздувая пузырем рубахи и платья. Лица покраснелись, волосы разметались, пот катил градом. Почти в беспамятстве вихрем кружились на месте, мотая головами, нелепо взмахивая руками, и теперь уже не пели, а, задыхаясь, сипели какой-то бред, выкрикивали невнятные, непонятные слова.

Но вот один запатался и рухнул, как подрубленный, за ним другой, третий, четвертый... Все чаще слышался мягкий звук грузного падения. Пол побелел от рубах и платьев. Те, кто выдержал сумасшедший вихрь, топтались среди лежащих и, вместо пения, хрипели и задыхались; упавшие лежали точно покойники в саванах и, пронзенные мистическим озарением, пророчествовали.

— Я есмь голубица небесная! — бормотала «богородица» Лохтина. — Святый отче, великий чудотворче, пресладкий и всещедрый, без сил лежу, пораженная огнем сердечной молитвы. Протяни мне руку свою и избавь от нечистого...

— Христос! Ты брат мой! Приди и утверди в душе моей любовь братскую, ласку небесную и блаженство райское. Приди, брат мой, приди! — лепетала Таня, протягивая руки к Квачи.

А он осторожно перемещался туда, где лежала отмеченная им светловолосая пышка. Добравшись до намеченной цели, подмигнул Седраку; Седрак сразу же рухнул возле Тани. Вихрь погасил последнюю лампаду, и тут же Квачи улегся там, куда его так влекло.

И наступила тьма крошечная и мрак непроглядный.

И узрели братья и сестрии, отцы и матери небеса отверстые и Дух Божий, несущийся по нему, яко голубь. И восторжествовала в той горнице Сионской любовь братская, ласка небесная, радость родительская и блаженство райское.

И прежде, чем наступил рассвет и восстало светило, слышались из той горницы воркование голубиное, пение ангельское, вой и рычание звериное, крики и вопли обезьяньи и скулеж, и стон, и визг бесов, коих истово изгоняли из страждующих.

Так кончилось радение «людей божиих».

Наутро собрались вновь, и вновь признали Гришку Распутину кормщиком и сыном Божьим, Лохтину — восприемницею и богородицей, а двенадцать мужчин и женщин — двенадцатью апостолами.

Затем с иконами и пением духовным двинулись к вокзалу — проводить Григория, отбывающего в святой город Иерусалим во искупление грехов, как своих, так и всего «древа большого».

В пути к молитвенному шествию присоединилось множество последователей и учеников Григория, которые также распевали псалмы и радовались благодати, что ждала сына Божия на святой земле, и роняли слезы многие, ибо пришло время расставания.

И были на вокзале рыдания и причитания горькие, и стенания, и громкие вопли, и терзания волос, и царапанья шек, и лобзанья без счета. И были у учениц его ланиты увядшие и очи, яко запруды неиссякающие.

И взревела жутким ревом, возопила воплем чудовищным громогласная железная машина — исчадие ада.

И похитила та машина-паровоз сына Божия, святого учителя, патриарха-старца и царя всея Руси — Гришку Распутину.

И в наступившей тишине разошлись ученики его и пошли во все концы света, дабы нести учение святого и проповедовать, и повторять радения во славу сына Божия.

Аминь!

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Сказ о распаде товарищества

Стоило Распутину отправиться паломником в далекий Иерусалим, как Квачи и его ватага остро ощутили свое сиротство. Словно бы подмыло фундамент или проломилась матица; словно отнялась десница и высох живительный ключ. Квачи почувствовал себя грудным младенцем, покинутым матерью, и задался вопросом:

— Что же это деется, братцы? Денег навалом, покровительниц хватает. Ну ей же ей, не Гришка же содержал меня... Если врагам взбредет в голову воспользоваться ситуацией и пнуть побольней, есть кому заступиться — тут и государь с государыней, и целая аллея важнейших тузов, еще минувшей ночью искавших моей улыбки и вилявших хвостами...

Квачи утешал и обнадеживал себя подобными соображениями, однако незримый страх не оставлял его и точил сердце.

По возвращении с вокзала он не застал дома никого, кроме агента Хайнштейна.

— Какие новости?

— Очень плохие! Банки настаивают на заполнении налоговой декларации и грозятся распродажей акций. Если они выбросят на биржу такую прорву, цена еще больше упадет.

— Распродайте акции «Англоросса» и внесите в банк.

— Результат будет все тот же. Курс резко понизится.

— Так что же делать? Где взять столько наличных?

— Заложите пакет акций Ганусу или Гинцу...

Весь день Квачи с Хайнштейном толкались в банках, на бирже труда, среди финансовых воротил, и всюду натывались на непреодолимую преграду.

В конце концов, замученный метаниями в невидимых силках, Квачи последовал за своим советчиком Хайнштейном, который повел его по дорожке, указанной Гинцем. Одни акции он заложил, другие перезаложил, третьи распродав, четвертые выкупил, но денег все равно не хватило. Курс проданных акций наутро подскакивал, а курс купленных падал.

День шел за днем, и потери следовали за потерями. Квачи все больше запутывался в невидимой и прочной паутине, грозившей в конце концов превратиться в скандальное разорение.

В последнее время он все чаще слышал требовательное:

— Восполните разницу!.. Внесите!.. Уплатите!..

И Квачи бессмысленно и бесцельно бился в силках банкротства, твердил точно попугай:

— Продайте!.. Заложите!.. Отдайте!.. Внесите!..

Наконец он раскрыл глаза, все увидел, все понял. И завопил:

— Спасите!!! Гибну!!! На помощь!!!

Но поздно.

Бросился к Елене, от нее к Тане, однако после грандиозного скандала в «Аркадии» и отъезда святого Григория обе тайно отбыли за границу, оставив для него письмо:

«Милый друг! После случившегося в «Аркадии» мы не можем здесь оставаться. Временно уезжаем в Европу. Советуем тебе последовать нашему примеру. Прощай! Желаем удачи!..

Твои Таня и Елена».

Гинц и Ганус окатили его ледяной водой. Квачи еще несколько раз дернулся, трепыхнулся и тихо скончался для биржи. Квачи — деловой человек, Квачи — финансист был раздет донага и одежды его поделили Гинц и Ганус.

В тот же день явились дружки.

— Седрак, выручай!

— Аме, Квачи-джан? Разорился? Сто рублей тебе хватит?

— К черту! Проваливай!

— Миллионы на ветер пустил, а теперь — Седрак, выручай!

— Положение осложняется, — солидно заметил Бесо и развернул перед Квачи газету. — Во, читай...

«Московское дело» метало громы и молнии по поводу того, что «строительство величайшего для православных храма поручено какому-то кавказцу К., передавшему подряд жидам». Другая газета утверждала, будто бы К. К-дзе пролез в царский дворец с фальшивым паспортом, якобы дворянство оного весьма сомнительно, что же до княжеского титула, таковой К. К-дзе и «небезызвестный святой старец» выпытали у государя фиглярством.

Третья газета объявила Квачи банкротом, довольно подробно рассказала его биографию, к тому же пригрозила в ближайших номерах поведать пикантные подробности его стремительного взлета.

Квачи вспыхнул, возмущился. Затем рухнул в кресло и простонал:

— Кончено!.. Все... Я погиб!..

Все долго молчали. Квачи лежал в полуобмороке и безвольно тер побледневший лоб.

Но вдруг он вскочил, расправил плечи; в голосе зазвучала сталь:

— А-а, дудки! Квачантирадзе так легко не сдается! Седрак!

— Аме!

— Ступай и изготвь с десятков заграничных паспортов. Один на имя князя Багратиона-Мухранского. Другой — афганского принца. Остальные для свиты. Фамилии придумаешь сам. Утром чтоб все было готово. Понял?

— Аме? Понял, а как же!

— Бесо! Живо найди человека с тугой мощной и быстренько все распродай!.. Что? Ах, это все Танино?!.. Вот новость!.. Не до Тани мне

теперь, брат, сам видишь — горю! Да — и мебель, и лошадей, и автомобили. Все, все! Приготовься к дальней дороге... Об отъезде никому ни слова. Ну, действуй!

Сказ о встрече эмира и безъязыкости Квачи

Вождь был в роскошном азиатском халате, с чалмой на голове и расшитых кошах¹. Свита помещалась в соседних купе.

В кармане у Квачи лежал паспорт на имя афганского принца Рабибуллы Абдул Рахман Шейх-Али, в запасе еще с полдюжины паспортов князей, баронов и принцев разных национальностей.

Кондуктор, узнав от сопровождающих лиц, что в его вагоне едет наследник афганского эмира, сообщил об этом дежурному жандарму. Жандарм отправил соответствующую телеграмму в Варшаву. Там же о путешествующем принце доложили генерал-губернатору.

Как только поезд подошел к варшавскому вокзалу, в вагон поднялся блестящий офицер и почтительно сказал:

— Прошу прощения, я имею честь говорить с секретарем его высокопревосходительства афганского принца? Передайте, пожалуйста, его высокопревосходительству, что адъютант генерал-губернатора хотел бы навестить его и выразить свое почтение.

Перепуганный Чипи влетел в купе:

— Пропали!.. Попались!.. Нас раскрыли!

Квачи не испугался. Он только собрал складки на лбу, задумался, а затем приказал:

— Спокойно! Выше голову и смотрите орлами! И запомните: я порусски ни бум-бум. Седрак, ты мой секретарь и переводчик. Ты, Бесо, мой врач. Держитесь молодцами! Ну, зови... — а сам прилег на диван и задымил янтарной трубкой.

Адъютант ловко щелкнул каблуками.

— Честь имею сообщить, что его превосходительство генерал-губернатор Варшавы приветствует вас и просит оказать ему честь — пожаловать на обед!

У всех отлегло от сердца. Седрак «перевел» просьбу адъютанта.

— Говорил же я — здесь что-то не так! — улыбнулся Квачи. — Поблагодари и скажи, что мой врач запретил мне выходить из вагона, поскольку мне нездоровится.

Седрак перевел, Бесо степенным кивком подтвердил его слова.

Адъютант выразил сожаление по поводу болезни принца и сообщил, что на перроне появления его сиятельства дожидаются важные местные чиновники.

— Просите...

И гуськом, вереницей потянулись друг за другом губернатор, полицмейстер и множество других соискателей наград.

Квачи благосклонно принял всех без исключения, всех одарил приветливой улыбкой; своему секретарю велел записать фамилии чиновников и их ордена, видимо, давая понять, что по завершении путешествия внесенные в список чиновники пополнят свои награды афганскими орденами. Затем все, кланяясь и улыбаясь, гуськом удалились из вагона.

— Как они пронюхали о моем путешествии? — спросил Квачи.

— Аме? Это Чипи шепнул обер-кондуктору, чтобы тот с большим почтением к нам отнесся. А тот, наверно, кому-то сообщил!

— Эге!.. На всякий случай не мешает со следа сбить, дорожку запутать...

¹ К о ш и — восточная обувь без пятки с загнутыми носами.

Они незаметно пересели в краковский поезд и свернули на Австрию.

В Катовицах жандармы забрали у пассажиров паспорта для проверки и выдачи виз.

На пограничной станции в вагон поднялись двое жандармов. Квачи видел, что жандармы спрашивали у пассажиров имя и фамилию, затем извлекали из стопки визированный паспорт и вручали.

Подошли жандармы и к его купе.

— Ваше имя и фамилия?

Квачи стоял, как громом пораженный; он вдруг вспомнил, что час назад Бесо наугад вытащил один из шести его паспортов и, не глядя, сдал жандарму.

«Моя фамилия! — лихорадочно думал он. — Откуда я знаю, какой из шести паспортов сдал этот придурок! Заговорить по-татарски — вдруг там паспорт барона Тизенгаузена! Заговорить по-грузински — вдруг у него в руках паспорт князя Трубецкого?»

— Ваше имя и фамилия? — снова спросил жандарм.

Квачи обливался потом и тарашил глаза на дверь, где надеялся увидеть Бесо. Жандарм уже поглядывал с подозрением.

— Я спрашиваю, как ваша фамилия? Что с вами? Уж не онемели ли вы?

Что? Онемел? Да, конечно же онемел! Этот жандарм удивительно точно определил: Квачи немой, немой от рождения.

У него отлегло от сердца, он улыбнулся и замычал:

— Ммм... мммаа... ммммымы... — мычал и подвывал Квачи, при этом улыбался и прижимал руку ко рту — немой, дескать, совсем немой и тянулся другой рукой за паспортом.

Жандарм тоже заулыбался.

— И впрямь немой, — сказал один и протянул ему всю стопку. — Раз такое дело, найдите сами ваш паспорт.

Квачи торопливо принялся перебирать.

«Наконец-то!» — он протянул жандармам один из паспортов.

— Князь Ираклий Георгиевич Багратион-Мухранский! — громко прочитал жандарм, расплылся в улыбке и залебезил: — Ваше сиятельство... извините за недомыслие...

В это самое время в купе заглянули Седрак и Бесо.

«Выдадут черти, наверняка проболтаются!» — перепугался Квачи и ринулся к ним, тыча в нос свой паспорт, гневно топая ногами, жестикулируя, как глухонемой, и мыча.

У тех глаза полезли на лоб и отвисли челюсти:

— Ваа, онемел?! — поразился Седрак.

Обрадованный его догадливостью, Квачи так отчаянно закивал головой, что чуть не свернул себе шею: дескать, да, да!..

— Несчастный князь! — проговорил один из жандармов. — Такой молодой, такой красавец и немой.

— А какого рода! — подхватил другой. — Какой фамилии: Багратион-Мухранский!

— Да, да! — закручинился Бесо Шикия. — Немой от рождения. Вот везем в Вену к знаменитому врачу.

Жандармы вручили паспорта Бесо и Седраку и вышли, а Квачи и его дружки сразу же заперлись.

— В чем дело? Что случилось?

— Черт бы побрал этого Бесо-торопыгу, вот в чем дело!

И рассказал им все.

— Аха-ха-ха-ха! Охо-хо-хо-хо! — зашлись Седрак и Бесо.

— Чего ржете, недоумки! — осерчал Квачи. — Чуть не погорел по вашей милости! — потом припомнил, как пришлось ему онеметь, и сам расхохотался.

Сказ о легком помешательстве в Вене и о въезде в столицу мира

Хозяин гостиницы, управляющий и метрдотель явились приветствовать знатного «фюрста» Багратиона и поблагодарить за выбор гостиницы.

Вслед за ними просунулся всезнающий и вездесущий еврей из России.

— Приветствую сиятельного князя!.. Я — гид... Двадцать лет в Вене... Покажу все... Десять крон в день...

Отправились осматривать город.

Пять дней осматривали. Гид тащил Квачи к памятникам истории и искусства, но Квачи настолько утомило посещение первого же музея, что он отложил на будущее осмотр всего, кроме Рингштрассе и Пратера, где проводил дни до сумерек и ночи до рассвета. Эти просторные улицы, бульвары и сады, и женщины, прославленные венские женщины; их будто нарочно подбирали: статные, породистые, голубоглазые, холеные. Эти живые лилии сбили Квачи с толку, отогнали сон, смешали все замыслы и планы и настолько смутили и взволновали, что он даже отложил несколько изящно задуманных и ловко завязанных комбинаций.

За несколько дней Квачи захмелел, опьянел и изнемог от их бесхитростной, простой и сильной любви. Но и этим белотелым ундинам дал вкусить жар черноморской крови, бешеную пылкость крепыша южанина, обжигающий огонь иссиня-черных усов, угрюмую страсть грузинских глаз.

Бесо с Седраком кое-как выпростили Квачи из пут белотелых колдуний и увезли в Париж.

Миновали Зальцбург, Мюнхен, Страсбург...

И вот далеко в ночи небосвод на огромном пространстве зловеще задел, словно горел край земли и зарево пожара отражалось в небе.

Поезд с лязгом и грохотом спешил к тому пожару. Наконец он ворвался в город, еще довольно долго громыхал по мостам и между пакгаузами и со стенами и тяжкими вздохами подкатил к Восточному вокзалу Парижа.

Тут же возник и неперенный всюду одесский еврей:

— Я двадцать лет в Париже... Знаю, как свои пять пальцев. Говорю на девяти языках... Двадцать франков в день и стол...

Квачи всмотрелся:

— Исаак Абрамович!... Исаак Одельсон!

Услышав это, еврей изменил выражение лица, потом расплылся в улыбке:

— Наполеон Аполлоныч, вы? Господи, Боже мой!

— Что вы тут делаете, Исаак Абрамович?

— Эх, расскажу после. Разорился я... Потом расскажу...

— А Ребекка? Как поживает Ребекка?

— Хорошо. Она хорошо, но.. После... все после... А сейчас следуйте за мной...

Вчетвером сели в машину и по Страсбургскому бульвару направились к лучшей гостинице. По распоряжению Квачи автомобиль медленно плыл по мостовым.

— Выежаем на Большие бульвары, — объявил Исаак Одельсон. — Это бульвар Сен-Дени. Это Бон-нуа... Это Пуасоньер... А вон знаменитый Монмартр... Теперь въехали на бульвар Итальянцев... Вон знаменитая Гранд-опера и ее авеню... А это бульвар Капуцинов... Там замечательный собор Мадлен...

Квачи и его друзья смутно различали град слов, полный чужих и непонятных названий, которыми так и сыпал старательный гид. Они оказались в самом сердце столицы мира и растерялись, опешили, оторопели.

По сторонам широких бульваров стеной стояли семи-восьмизэтажные здания со сверкающими, ярко освещенными окнами. В глубине ярко расцвеченного ущелья, по его дну текли два бесконечных человеческих потока и переход с одной стороны бульвара на другую представлялся почти невозможным, ибо проезд был буквально запружен открытыми и закрытыми колясками и каретами, двухэтажными автобусами, трамваями и автомобилями. На перекрестках стояли полисьмены, умело правили небольшими жезлами, то своевременно останавливали людской поток, то перебрасывали его в другое русло.

Сияли электрическими огнями бесчисленные кафе и бистро, полные разнаряженного люда. В воздухе вспыхивали и гасли разноцветные надписи электрическими буквами.

Таинственный гул города, его рокот, дыхание и вздохи волновали Квачи, рассеивали внимание.

— А, Бесо! Припомни-ка свои Самтрედия и Кутаиси! — улыбнулся в усы Квачи.

— Против Самтредии оно, пожалуй, получше, но с Кутаиси не сравнить! — отшутился Бесо Шикия.

Свернули мимо Мадлен, выехали на площадь Согласия, пересекали ее и углубились в тенистые, в пять аллей Елисейские поля.

На площади Этуаль подкатили к роскошному отелю «Елисе» и сняли апартаменты, достойные знатного князя из великой России.

Осмотр сегодняшнего Вавилона и некоторые рассуждения

Квачи с друзьями и Коранашвили, которого разыскивали в Латинском квартале, стоят на верхней площадке Эйфелевой башни. Трехсотметровая железная конструкция гудит, вибрирует и покачивается, отчего слегка кружится голова.

У их ног раскинулся Париж — бесценная камяная грудина Земли, красота городов, средоточие искусств и всеобщий центр притяжения.

За гранью Парижа, за его окраинами, насколько хватает глаз, виднеются большие и маленькие городки, поселки и деревни, тянущиеся к сердцу страны, льнущие к нему, готовые излить свою любовь и ласку — сторожат, охраняют, служат.

Из-за невысокой гряды над Марной, из утреннего тумана выплыл красный шар и окрасил в розовый цвет зеленые холмы вокруг Парижа.

Не сразу, постепенно Париж сбрасывает вуаль тумана — просыпается, потягивается и улыбается утренней улыбкой.

А туман — ночное дыхание города-красавца — медленно вползает на холмы, тянется на запад и залегает в дальних изгибах Сены.

На глазах у примолкших искателей удачи расцвел и распустился этот дивный цветок земли: умытый и причесанный, кокетливый и чистый, улыбчивый и веселый, бескрайний и необозримый, жилище и храм, гнездо и собор.

Вдали, очень далеко на юге и востоке, петляли две чистые реки — Марна и Сена. На подступах к Парижу, около Шарантона они сливались, и теперь уже одна Сена разрезала Париж надвое; возвращалась на юг, у Сен-Клу и Булона поворачивала на север, в Сен-Дени вновь сворачивала на юг, около Сен-Жермен делала большую петлю, еще раз меняла направление на север и, извиваясь, втекала в задернутый дымок большой Сен-Жерменский лес.

По реке вверх и вниз плыли караваны судов и лодок, и с такой высоты было похоже на то, как если бы по сверкающему и извилистому зеркалу ползли жуки и букашки.

Зеркало реки пересекали до сорока железных и каменных мостов и до двадцати зеленых островов делили ее на части.

Драгоценнейшую камю на груди земли охраняли три ряда стражей и часовых: наполовину ушедшие в землю, закованные в стальные и железные латы, укрепленные башнями и вооруженные тысячами пушек. Среди них угрюмо и грозно высились обращенные в сторону германцев Шарантон, Венсен, Мон-Валерьен и Сен-Дени.

Столицу мира со всех сторон пронзили длинные стрелы — сверкающие железные дороги; такие же дороги охватывали ее кольцом. Десятки поездов, клубясь паром, точно черные змеи, извивались в разных направлениях.

Легкие Парижа — его леса, сады и парки еще дышали утренним туманом. На востоке зеленел испятнанный озерами большой Венсенский лес; на юге — столь же обширные леса — Медонский, Сен-Клу, Севрский и Версальский, на западе — Булонский и Сен-Жерменский.

А по Парижу, словно разлившаяся между домами зеленая влага, растеклись сады и парки Тюильри, Люксембургский, Ботанический, Монсо, Трокадеро, Монсури...

Ярким пламенем похлывал золотой купол Дома инвалидов.

Из чешуйчатого моря черепичных крыш мощно вздымались Пантеон, Сакре-Кер, собор Парижской Богоматери, Сен-Жермен-де-Пре, Сен-Сюльпис, Лувр, Пале-Рояль, Гранд-Опера и множество старинных замков, дворцов.

С высоты Эйфелевой башни внятно слышался гул и рокот легендарного города.

Квачи Квачантирадзе не чувствовал природы; она не задевала его души и сердца. Его не волновали ни горы, упирающиеся в поднебесье, ни безбрежное море, ни пестрота возделанных долин; но сейчас, глядя с высоты трехсот метров на лежащий у его ног ослепительный Париж, он проникся и почувствовал головокружительную прелесть, упоительный шарм этого города, за долгие века так любовно отделанного железом и деревом, камнем и мрамором, туманом и дымом.

Квачи и слуха был лишен, но сейчас его очаровала таинственная музыка этого города — гармония гула, дыхания и лепета...

В лифте спустились на вторую площадку, где помещался ресторан. Позавтракали и отправились в Лувр.

На первом этаже осмотрели скульптуры.

Зал следовал за залом, за эпохой — эпоха, культура одной страны сменяла другую.

Квачи не слушал всезнайку Коранашвили. Отдавал предпочтение изваяниям обнаженных женщин, а всем скульпторам предпочел Канову; его работы рассматривал со всех сторон, и едва удерживался от выражений восторга.

Но когда перешли в античный зал и увидели божественного Скопаса, Мирона и Праксителя, увидели неповторимых Афродит и Венер, нимф и Диан, от избытка чувств у Квачи вырвалось:

— Что за руки их изваяли! Бесо, ты только взгляни! Сходи, дорогой, узнай, за сколько продадут эту Венеру Милосскую? Это что, ее фамилия, что ли — Милосская? Видать, жена какого-то поляка, или русского князя. А хороша была женщина!.. Если не дороже тысячи отдадут, куплю и поставлю у себя в доме возле лестницы, велю приделывать руки, в одну руку вставляю рог или букет цветов, а в другую — электрическую лампочку...

Пошли дальше по залам огромного дворца и часа три ходили изумленные: Л'Орлож, галерея цветов, старый Тюильри...

В зале Аполлона Квачи, как пьявка, прилип к одной из стеклянных витрин: глаза у него загорелись, сердце затрепетало. За стеклом лежало несколько бриллиантов величиной с голубины яйца, меч Наполеона с алмазами по эфесу и множество других бесценных сокровищ... В ту минуту глаза Квачи сверкали, как содержимое витрины. Он осторожно огляделся. Единственный смотритель беспечно прогуливался по залу.

Покой и степенность покинули Квачи. Сперва он привязался к Коранашвили; не добившись ответа, на ломаном французском обратился к зрителю:

— Комбьен кут сет шоз, силь ву пле? (Сколько стоят эти вещи?)

— Сэ па, мсье. Он ли карант о сенкант мийон. (Не знаю, сударь. Говорят, миллионов сорок или пятьдесят.)

Долго после этого Квачи ходил рассеянный и слегка подавленный. В его голове засела какая-то мысль, бесовский план зрел в ней, завязывалась и плелась хитроумная комбинация...

— А в этих залах шедевры мировой живописи,— продолжал Коранашвили.— Начнем с итальянского Ренессанса... Вот Корреджо... Это Тициан... А это нежный, романтический Боттичелли... А вот и Джоконда божественного Леонардо да Винчи!

— Это и есть Джоконда?! — удивился Квачи.— Ее, что ли, в том году похитили? Ну и ну! Какой же дурак ее крал! Что она стоит, эта картина?

— Ей нет цены. Ее никогда не продадут. Так же, как и Венеру Милосскую.

— Надо же, сколько лопухов на свете! За такую и червонца не дам. Глянь, глянь, Бесо, как пялится! Не-е, сдурели люди, ей-богу!

— Ва-а, вы сюда гляньте, братцы! Что тут делается! — прервал его Седрак.

Они вошли во французский зал, увешанный множеством «ню».

— Роза Бонор... Приудон... Делакруа... Ватто... Мейссонье... — гнул свое Коранашвили, но его не слушали; все обступили висящую в углу «Одалиску» Энгра — томную, бескостную, пышнотелую.

— Ва-а, вы только на круп ее посмотрите, а! — топтался на месте Седрак и блестел глазами.

— Вот это я понимаю! И женщина в порядке, и картина! Такая и живая на тыщу рублей потянет.

— О живых не скажу — не знаю, что же до картины, то за тысячу вам сделают копию. Вот и художники...

В зале работали трое художников, все трое делали копии.

Поговорили с одним из них, сторговались, оставили адрес.

— А здесь испанская живопись: Мурильо... Веласкес... Гойя... А это английская школа: Рейнольдс... Рескин... Это фламандско-голландская: Ван Дейк... Рёйсдал... Гениальный Рембрандт...

Габо и Седрак вспыхнули интересом к рубенсовским женщинам.

Квачи выдохся, глаза у него слипались, он едва волочил ноги.

— Мы прошли примерно треть. Остальное осмотрим бегом.

— Ни, ни, ни! — замахал руками Квачи.— Где у меня столько сил! Не для того я сюда приехал!

Вышли из музея. Наняли авто и, объехав театр Бернар, ратушу и собор Парижской Богоматери, углубились в Латинский квартал.

Перед Пантеоном Коранашвили показал землякам роденовского «Мыслителя».

Бронзовый гигант сидел, опершись локтем на колено, уперев подбородок в кулак. В его фигуре было столько сосредоточенности и волевой целеустремленности, что напряглись даже мышцы ног, словно мысль материализовалась и обрела вес.

Квачи присмотрелся к бронзовому гиганту, усмехнулся, изрек:

— Крупную комбинацию задумал малый. Мне бы такого в подручные, смысленный бы кореш получился.

— Тут рядом еще два музея — Люксембургский и Клюни, — предложил Коранашвили.— Зайдем, посмотрим...

— Э, нет. Баста! Я устал. Теперь в хороший ресторан...

Рассуждения многоопытного Одельсона

Друзья надели редингтоны, продели в петлицы по хризантеме и спустились в ресторан. Владелец гостиницы и метрдотель почтительно приветствовали новых гостей.

Ресторан был спокойный, тихий, строгий: ни кутежей, ни тостов, ни песен.

Выходя после завтрака, в дверях столкнулись с приунывшим Исааком Одельсоном. Тот усадил всех троих в авто и бросил шоферу:

— А Лоншан, силь ву пле!

В дороге Одельсон кратко рассказал Квачи свою историю.

Изгнанные из Одессы, супруги приехали в Париж. Одельсону удалось прихватить изрядную сумму денег.

— Я мог спокойно жить на эти деньги, но беда в том, что я еврей. А еврею, даже заваленному миллионами, не живется без дела. Вот я и приобрел большой ювелирный магазин — и прогорел.

— Неужели Исаак Одельсон разорился? Можно ли в это поверить?

— Разорился. Еле сумел сберечь столько, чтобы открыть Ребекке маленькую мастерскую.

— Выходит, Ребекка теперь работает?

— Мы оба работаем. С нами еще живет моя племянница, сирота...

Проехали по бульвару Гранд-арме. Пересекли Булонский лес и оказались у ипподрома Лоншан. Там уже было многолюдно. И какая публика! Весь парижский бомонд!

Необозримое поле для скачек окружали цветущие кусты; трибуны были украшены гирляндами.

Толпа гудела и роилась, точно потревоженный улей...

После скачек Исаак дал ему толковый совет: у дороги в Булонский лес есть ресторан «Арменвиль»; бомонд заворачивал туда — передохнуть и принять «аперитив».

Для начала Квачи купил превосходную лошадь, победившую в тот день на скачках; затем направились в ресторан.

И впрямь, весь Париж прошествовал перед ним. Квачи изучал проезжающих женщин, а самых красивых и стройных раздевал глазами, столь элегантно пользуясь при этом моноклем, что ему позавидовал бы даже его учитель, министр двора барон Фредерикс.

А опытный, знающий свое дело гид наводил на след.

— Вон президент Пуанкаре... А это послы: России... Германии... Английский... Вон министры — прошлые и нынешние: Сарриен, Като, Клемансо... А вот и миллионеры. А там писатели, журналисты и люди искусства: Стенвей... Марсель Прево... Сара Бернар... Лозан... — Перечисляя, он сообщал краткие сведения или интимные подробности.

— Эти женщины — живые модели. Магазины мод бесплатно одевают их и таким образом знакомят общество со своей работой... Вон там сидит любовница барона Гревье... а это любовница Конде... А вот эта... — И он показал с десятков дам далеко не первой молодости и называл столько же миллионеров, на содержании которых они числились.

— Как?! — поразился Квачи. — Неужели миллионеры не могли найти себе молодых?

— Аа, а! — лукаво улыбнулся Одельсон. — Сразу видно, что вы человек неопытный! Парижский демимонд не примет юную вертихвостку, неопытную и не обученную своему искусству. Кокетливая, шаловливая хохотушка с потешными ужимками овладевает ремеслом в студенческих кафе. В этом плане Париж разделен на два мира: тот берег Сены — и этот, Латинский квартал — и Монмартр. Юная красotka начинает на том берегу, а кончает на этом. Там она пашет и сеет, здесь же собирает урожай. На том берегу студенты учат ее любви, на этот она приходит мастером. В Латинском квартале женская любовь застенчиво улыбается, порой трогательно плачет и милыми шалостями щекочет мужское сердце; на Монмартре женщина громко

смеется и хохочет. Ласка латинянок — легкий ветерок, ласка монмартрок — буря. Страсть тех — язычок пламени, страсть этих — пылающий уголь. Легкомысленные шалуны пахнут розами и фиалками, женщины же Монмартра, любовницы миллионеров — маринадом и... камамбером и рокфором... Что? Вы еще не пробовали сыр-рокфор? Гарсон, два рокфора и два камамбера... Да, стало быть, на чем я остановился? А у кого миллионы? У стариков. Стало быть, и лучшие женщины принадлежат им. Зрелые люди, вроде меня, не любят ветреных вертихвосток, непоседливых, бойких, веселых хохотушек, слезливых и болтливых сорок. По мне лучше опытная и мудрая ворона. Да, это говорю вам я, одесский еврей, уже перебродивший и скисший Одельсон, который полвека шатается по свету и все видел и все испытал. Не осталось и пяди земли, неведомой мне. Я знаю девять языков, переменил девять профессий... А вот и рокфор с камамбером принесли!.. Ну-ка, попробуйте и понюхайте... Ешьте, ешьте, не морщитесь. Когда привыкнете, уже не сможете без него обходиться. Скажите, ведь пахнет этот сыр зрелой женщиной, говоря по-русски, бабой? Пахнет баба этим сыром?.. У-у, пахнет, да еще как!.. То-то... Да, я, значит, говорил о том, что сменил девять профессий. Сначала был часовщиком в Одессе, затем революционером. Не смейтесь, это тоже профессия, и очень опасная, ненадежная и ненасытная — забирает всего... Тридцать лет назад я сбежал из Сибири в Америку. В Бостоне завел фабрику по утилизации мусора и тряпья, в Клондайке искал золото, в Вирджинии разводил хлопок, на Кубе производил сахар, в Гренландии ловил рыбу, на Аляске охотился, в Претории копал алмазы, в Занзибаре торговал слоновой костью и на Цейлоне искал жемчуг на морском дне... В конце концов я вернулся в Одессу и начал пять разных дел с хорошей перспективой. Остальное вы знаете: на старости лет разыграла дурь, и опять связался с революционерами. Ха-ха-ха!.. Только благодаря вам избежал каторги. Судьба улыбнулась мне, да так широко, что вместо Сибири Исаак Одельсон вынырнул в Париже. И не с пустым карманом, но... Теперь бегаю хвостом за такими почтенными господами, как вы, и тем зарабатываю на кусок хлеба для своей семьи...

Еще долго слушали изумленные Квачи и его дружки старого Исаака, и впрямь все видевшего, все знающего и все испытавшего.

Затем опять сели в авто и поехали по пригородам Парижа: Севр, Сен-Клу, Курбева и Клиши...

Вечером уютно устроились в галерее кафе Риши, заказали по гренадину, сидели и любовались Большими бульварами.

Солнце клонилось к закату. Над церковью Мадлен в небе зависло необычное облако — словно легендарная жар-птица, раскинув огненные крылья, летела вниз головой. Казалось, она держит в клюве алый шар заходящего солнца, красящий в огненный цвет Большие бульвары с высокими домами, людьми и разнообразными экипажами. Тут и там окна полыхали. Воздух пропитался золотистым туманом, и в этом тумане живыми волнами плыл людской поток.

Квачи чувствовал странное душевное волнение; он жадно озирался и присматривался ко всему, пытаясь разгадать причину, найти источник осязаемого наслаждения. Так ничего и не разгадав, в конце концов опять обратился к Одельсону:

— Исаак Абрамович! Я частенько бывал в такие вечера на Невском проспекте. Видал и Рингштрассе, и Пратер. И погода там была не хуже, и народу не меньше, но... но все-таки я никак не пойму, в чем особая прелесть этих бульваров.

— Ха! — усмехнулся Исаак Одельсон. — Я видел вдесятеро против вашего: берлинскую Фридрихштрассе, римскую Корсо, лондонскую Пикадилли, мадридский Прадо, Нью-Йорскую Пятую авеню, Дели, Каир, Тонкин, север и юг, восток и запад, но другого такого города не встречал. Причина? Двадцать лет Исаак Одельсон искал при-

чину и наконец нашел. С трудом! Ха! Ну-ка, взгляните на эти здания, Вам доводилось где-нибудь видеть краше?

— В Вене дома красивее. Новее, стройней и ярче.

— Что верно, то верно! Теперь посмотрите на это небо, вдохните этот воздух.

— В Вене небо не хуже, а воздух нежнее и чище.

— И то правда. Теперь посмотрите на толпу.

— И в Вене толпа так же нарядна и элегантна.

— Пожалуй, даже наряднее. А теперь сравните женщин. Женщина — украшение нации. Она как роза в букете шиповника, как заря на тусклом небосклоне. Сравните венки с парижанками.

— Венки? Красивее и породистее. Но парижанки... они... они... они более... — И не найдя слов, Квачи заиграл пальцами.

Опять ему на помощь пришел Одельсон.

— Парижанки живее, изящнее, кокетливей, не так ли? У парижанок в глазах, в движениях, в крови неистощим божественный огонь, вкус, легкость, пикантность. Так в чем же тайна притягательности Парижа? Отвечаю: здешний воздух, сама жизнь пропитаны волшебством, тайной силой. Как ее назвать? Душа и кровь народа — вот простейший ключ к этой тайне.

— Уж не хотите ли вы сказать, что у французов другая кровь! — с иронией воскликнул Квачи. — Не такая, как у всех...

— Несомненно! Поверьте старому Одельсону. Будь у всех одинаковая кровь, одинаковыми стали бы и язык, и законы, и строение тела, и вера, и мораль, и обычаи. Одельсон не ученый, но у него есть глаза, уши, наблюдательность и ум. Он все видел, все слышал и понял. Вы не прогадаете, господа, если прислушаетесь к старому Одельсону!.. Я говорил и настаиваю — создавая француза, Бог влил ему в жилы горячую кровь, водвинул в грудь пылкое сердце и вложил в голову ясные, хорошо промытые мозги, к тому же наградил жизнестойкостью, чувством прекрасного, и все это хорошенько приправил перцем. А уж французы те мудрые дары — вкус, талант, темперамент — вынесли на люди и рассеяли, раскидали повсюду, пометив своим тавром и эти бульвары, и дворцы, и самый воздух. Вот и вся тайна! Это говорю вам я, старый Исаак Одельсон!

Вдруг он вскочил и закричал:

— Рахиль! Рахиль! Постой, моя маленькая! Обожди, я иду! Бегу! — обернулся к Квачи и пояснил: — Это моя племянница, та самая, о которой я говорил. Вижу, она вам понравилась? Познакомлю, непременно познакомлю... А теперь позвольте откланяться. До завтра!..

И людское море миг поглотило subtilного Одельсона.

Сказ о посещении ночных заведений и возобновлении старой любви

Пообедав в Гранд-отеле, друзья отправились осматривать ночной Париж.

Начали с Латинского квартала: американский бар «Суфло», «Даркур» и через «Фоли Бержер», «Олимпию» и «Ля принсес» добрались, наконец, до «Мулен Руж».

Метрдотель и белогрудые сороки-лакеи во фраках завели их в переполненный зал, проводили в почетную ложу.

В ту же минуту оркестр заиграл русский гимн «Боже, царя храни». Все встали и повернулись лицом к ложе Квачи.

— Вив ля Рюси! Вив ля Рюси! — раздалось в зале, и Квачи осыпали аплодисментами и дарами — цветами, сладями, шампанским...

Квачи раскланивался и с улыбкой благодарил. Затем повернулся к оркестру и подал знак. Оркестр грянул огненную «Марсельезу». Опять все вскочили и вытянулись.

— Вив ля Франс! — громко крикнул Квачи.

— Вив ля Франс! Вив ля Франс! — громом откликнулся зал.

— Прошу передать оркестрантам триста франков и дюжину шампанского! — велел Квачи метрдотелю. — А тех, кто оказал нам честь и прислал подарки, отблагодарите вдвойне: дам цветами, а господ — отборными винами!

И вручил склонившемуся в почтительном поклоне метрдотелю стопку визитных карточек с золотой вязью на русском и французском:

*«Князь Ираклий
Багратион-Мухранский
флигель-адъютант императора Всероссийского»*

Расселись и стали есть и пить.

Вдруг Квачи вздрогнул. В углу зала он заметил горящие, как угольки, глаза, которые точно отравленные стрелы пронзили его сердце.

— Мадам Ляпош!.. Бесо, Седрак!.. Мадам Ляпош!..

Они узнали друг друга, улыбнулись. Их взгляды не просто встретились — столкнулись: и столкнулись их сердца.

— Седрак зови ее скорее сюда, не то... Живо!..

Через пять минут Седрак доставил полуобнаженную, словно выточенную из слоновой кости Лизет Ляпош.

Открылась старая рана, закровоточил затянувшийся шрам, занялась присыпанный пеплом огонь и запел иссякший было фонтан прерванной любви и неутоленной страсти.

Они ломали руки, горько упрекая друг друга и вспоминая одесское прошлое.

Затем Квачи спросил:

— У этиль вотр мари? (Где ваш муж?)

Лизет сокрушенно вздохнула:

— Иль э мор мон ша. (Умер. котик.)

— Вах, это он здорово сделал, верно? — заметил Седрак.

— Плохо только, что так поздно сообразил! — откликнулся Квачи. Медленно стали набирать высоту — выпили, захмелели.

И вот уже пиршество в разгаре... Все как в Петербурге...

Хрустальные люстры играют тысячами граней.

Нежно позвякивает севрский фарфор.

Замороженное в серебряных ведерках шампанское брызжет золотыми искрами.

Шипит и пенится янтарно-медовый кюрасо-шипр.

Мускаты и бенедиктин, бордо и бургундское переливаются и играют всеми оттенками багрянца и золота.

В бокалах баккара голубым пламенем полыхает шартрез.

Золотятся груды экзотических плодов.

На белизне скатертей щедро рассыпаны матово-румяные персики, синие сливы, изумрудный, янтарный и лиловый виноград. Вперемешку с ними — редчайшие розы, гортензии и орхидеи.

Пунцово распластались омары и крабы.

Поджаренная дичь выпятила розовые грудки и бесстыже задрала аппетитные окорочка.

Повсюду в зале обнаженные плечи и спины, и обтянутые паутиной чулок точеные длинные ноги.

Живописно перемешиваются парча и атлас, бархат и гипюр. Восхищают взор роскошные кружева.

Агатово-черные, золотисто-каштановые, рыжие, соломенные и светло-русые волосы вьются локонами, курчавятся, шелковисто спадают на плечи.

Загадочно-дразнящей лаской щекочет ноздри аромат духов.

На эстраде сменяют друг друга француженки, итальянки, испанки. Под греск кастаньет сходит с ума фламенко, неистовствует чар-

даш, кокетничает мазурка, бесстыже вихляет кекуоки, и обнажается чувственный танец живота.

А вот и канкан — ватага девиц, задрав подола, дружно вскидывает ноги: шуршат юбки, мелькают ляжки и ослепительное кружевное исподнее.

Мужчины и женщины сплелись в объятьях и, опьяненные запахом и плотью, бездумно плывут в волнах танца.

Слышится взволнованный шепот, двусмысленные остроты и возбужденный женский хохоток.

Зал прорезает молния горящих желанием глаз.

Волнуется обнаженная грудь. На влажно-алых губах и жемчужно-влажных зубах дрожит отблеск распаленного желания.

Рычит и скалится багряный зверь — зверь блуда и похоти со вздыбленной гривой окровавленной пастью и острыми клыками.

Точно Содом полыхает зал в неукротимом пожаре животной страсти и греха.

И Квачи шагнул в этот пожар, оседлал багряного зверя, ринулся в дурманные волны, в мутный омут разврата и блуда и недели две тонул, захлебывался и сгорал в нечистом огне.

Все повидал и всего отведал: рай и ад, подвалы апашей и убежища шлюх, пригородные сады и тайные дома свиданий, продажную любовь и случку, которой через замочную скважину упивались немощные евнухи и сутенеры.

И в столице мира Квачи видел и осызгал лишь блудницу на звере багряном — голую, с задранными ногами, — бесконечную вакханалию похоти и веселья, роскоши и наслаждения. И уверовал по недомыслию, что весь этот красавец город, вся страна французов точно так же проводила свою жизнь и так же тратила силы...

Сказ о возрождении старой любви и о зарождении новой

На пятый день по приезде в Париж Квачи был приглашен Исааком Одельсоном в Латинский квартал, где у него была маленькая, уютная квартирка.

Принарядившаяся Ребекка полыхала от радостного волнения. За пять прошедших лет она чуточку пополнила и еще больше похорошела.

Квачи и Реби говорили о прошедших годах, глазами пожирая друг друга.

Обелали втроем.

— Моя племянница Рахиль работает очень далеко, — пояснил Исаак. — Потому там же и обедает, а сюда приходит только ночевать. Надо будет вас непременно познакомить, она чудесно поет...

Пообедав, Исаак встал:

— Тысяча извинений но у меня сейчас очень хороший клиент, он назначил встречу на восемь часов: придется вас покинуть.

— Мы тоже выйдем пройтись — сказала Реби и проводила мужа до дверей. Затем вернулась в комнату и бросилась Квачи на шею.

С того дня Квачи пожертвовал Ребекке два вечера в неделю.

Он снимает на Елисейских полях отель-особняк, обставленный по-парижски. С ним живут все его друзья; читающая корреспонденцию и обучающая его языку француженка Сюзанна — находка расторопного Бесо; и с десяток слуг — швейцар, лакеи, повара, грум...

Квачи легко и быстро обогатил свой французский, легко и быстро запомнил дороги и тропы этого города и вскоре усвоил повадки, манеры и правила поведения здешних рантье и фланеров.

Порой Сюзанна, помимо уроков французского, давала Квачи уроки французской любви и, надо сказать, оставалась весьма довольна усердием и способностями своего ученика.

По утрам Квачи в сопровождении грума на породистой английской лошадке совершал прогулки по Булонскому лесу. Затем пил на Больших бульварах утренний кофе; завтракал в обществе друзей в своем особняке, фэйф-о-клок — пятичасовое чаепитие — в «Карлто-не» или «Англии». В семь обедал у «Максима» или в «Гранд-отеле», а вечера и ночи проводил в кабаре и шантанах.

Как-то раз на выставке в «Салоне» Квачи вдруг вскинулся:

— Елена!.. Таня!.. Боже мой!.. Откуда? Какими судьбами?

Прошло больше четырех месяцев с тех пор, как Елена с Таней бежали от скандала, учиненного Распутиным в «Аркадии», и все это время они жили в Париже на бульваре Сент-Оноре, но до сих пор не знали о том, что и Квачи в Париже.

Князь Витгенштейн тоже приехал в Париж и волочился за Таней, поскольку к этому времени разорился в пух и в некотором смысле стал походить на Квачантирадзе.

Квачи задумался: ему приходилось заботиться о Ляпош, Сюзанне и Ребекке, теперь появилась Елена. Не долго думая, он решил эту задачу следующим образом: «На Танины деньги я хоть двадцать женщин смогу содержать». Лишь одного не мог решить Квачи: кому подарить грядущую ночь.

В конце концов и эту задачу он решил так:

— Мне очень грустно, мои дорогие, но я не могу пожертвовать вам весь вечер! Этой ночью еду в Шалон к своему другу — виконту Шуазель, завтра он устраивает для меня охоту... — и поскольку шел между Таней и Еленой и обеих держал под руку, обеим со значением стиснул локотки и подмигнул. Затем поцеловал ручки и ушел.

В девять часов Квачи прошел по бульвару Сент-Оноре. Окна Тани были освещены.

— А если б Елена оказалась у меня? — спросила Таня через час.

— Сказал бы, что опоздал на поезд, — ответил Квачи.

— Что ты скажешь Тане, если встретишь ее утром? — спрашивала его в ту же ночь Елена.

— Скажу, что опоздал на поезд...

Так связалась между этой троицей нить, разорванная четыре месяца тому назад.

Однажды в «Кафе-Риш», когда Квачи потягивал через соломинку гренадин, возле него остановился Исаак Одельсон и упрекнул:

— Выходит, вы уже вышли на дорогу и старый Одельсон вам больше не нужен!.. Позавчера мы столкнулись нос к носу, я поздоровался, а вы даже не ответили!

— Нет, нет, господин Одельсон, я просто не видел вас, поверьте! Беседовать с вами для меня всегда большое удовольствие. Вы человек умный и опытный, а это как раз то, что мне нужно.

— Умный, опытный и порядочный! — добавил Одельсон.

— Справедливо — и порядочный, — подтвердил Квачи. — Присаживайтесь, пожалуйста, и расскажите, как поживает Реби.

— Благодарю вас, очень хорошо. Случается, заскучает без вас, но... — Исаак наклонился к Квачи и коснулся его колена. — Я сейчас здесь не один, меня ждет моя племянница Рахиль.

— Правда? — оживился Квачи. — Так зовите ее... Просите...

— Рахиль! Иди сюда, моя девочка, иди! Вот познакомься: щедрый, умный и благородный князь Багратион-Квачантирадзе¹.

— Присаживайтесь... Заказывайте, что вам угодно... Гарсон!

— Оказывается, грузинский царский род Багратионов, — обратился Исаак к Рахили, — потомки нашего библейского царя Давида.

— Неужели? — удивилась Рахиль. — Но как? Каким образом?

— Да, — подтвердил Квачи и рассказал древнюю легенду.

Исаак вдруг вскочил:

¹ Нелепое сочетание этих фамилий исполнено сарказма и юмора. (Прим. пер.)

— Я скоро... Маленькое дельце...— и припустил за кем-то.

Квачи сперва внимательно оглядел Рахиль, затем придвинулся к ней так тесно, что их бедра и плечи соприкоснулись.

Рахиль была женщиной совсем иного типа, чем остальные одалиски гарема Квачи. Высокая, тонкая, белокожая, чуть веснушчатая, зеленоглазая, с удлинненным овалом лица, такая броская и привлекательная, что ни сидящие вокруг, ни проходившие мимо не могли оторвать от нее глаз.

Сказ о «картинной галерее»

Неожиданно, когда Рахиль наклонилась, в приоткрывшемся декольте он заметил какие-то голубые разводы.

— Мадмуазель, что это у вас на груди?

— Ой!.. Ничего! Право, ничего! — смущенно залепетала Рахиль, прикрывая обеими руками вырез платья.

— И все-таки, ради всего святого!

— Да, право, ничего особенного... Когда мне было десять лет, мы жили на Цейлоне. В то время туда приехал какой-то знаменитый художник, который рисовал свои картины тушью на человеческих телах. Моей маме так понравились разрисованные им женщины, что она пожелала и меня разукрасить. Вот и все.

— Скажите пожалуйста... И много он нарисовал?

— Много!.. Все тело. Здесь... и здесь... и вот тут...

— Могу ли я насладиться его искусством? Признаюсь, я большой любитель живописи. И ценитель.

Рахиль рассмеялась.

— Но этого еще никто не видел!

— Спрятанное сокровище — пропащее сокровище,— с улыбкой заметил Квачи.— «Что ты спрятал, то потеряно...» Кстати, ваш дядя говорил, что вы даете уроки пения. Возьмите меня в ученики.

— Каждый урок обойдется вам в десять франков.

— Если не в сто раз по столько, как-нибудь переживу.

— А если в десять раз?

— Сочтемся после... Но уроки придется давать у меня.

Рахиль оценивающе оглядела Квачи.

— Хорошо... Уроки у вас... За это — двадцать франков...

В тот же вечер Рахиль тыкала пальцем в клавиши рояля и мучила беднягу Квачи:

— До-о... ре-е... ми-ми-и... ми-и! В жизни не имела дела с таким бездарным учеником!.. Ми-и-и!..

Квачи надрывался, что было сил, но все ноты у него звучали одинаково фальшиво.

Наконец разгневанная Рахиль захлопнула крышку рояля.

— У вас так же нет слуха, как у этого стула. Я ухожу.

— Погодите. Я еще не начинал...

И начал. Схватка была жаркой и короткой. Квачи приступом взял картинную галерею и в подробностях рассмотрел все произведения знаменитого художника. Хотя в живописи он разбирался так же, как в музыке, умудрился сделать открытие: в потайных и сокровенных уголках прекрасного тела Рахили обнаружил ряд необычных автографов: «Жан», «Поль», «Эжен», «Пьер»...

Сказ о крушении гарема Квачи

Первый визит Рахили не был таким уж заметным событием в жизни Квачи, но навсегда запомнился ему из-за одного малозначительного обстоятельства, имевшего серьезные последствия.

Когда Рахиль ушла, Квачи сказал себе:

— Рахиль — шестая. Как бы мне чего не перепутать... — и чтоб и впрямь не запутаться, внес в дневник следующее расписание:

Понедельник	мадам Ляпош
Вторник	Ребекка
Среда	Елена
Четверг	Рахиль
Пятница	Сюзанна
Суббота	Таня
Воскресенье	Отдых

Записал и на всякий случай против каждого имени пометил адреса.

Квачи помнил расписание наизусть, другие же пометки в книжке были столь незначительны, что, уходя из дома, он частенько забывал ее на столе.

Прошло время.

В очередную пятницу учительница французского Сюзанна — явилась за своей долей и не застала Квачи. Ждала долго. Ей невольно попала на глаза лежащая на столе записная книжка. Взяла, перелистала и наткнулась на расписание. Она кое-что знала об изменах Квачи, кое о чем догадывалась, заполучив же в руки красноречивый документ, вспыхнула, взъерошилась и решила показать коготки: переписала адреса и ушла.

Через два дня любовницы Квачи получили записки следующего содержания:

«Моя дорогая! В наш день я занят, а потому очень прошу тебя прийти в субботу ровно в пять. Тысяча поцелуев! Жду с нетерпением!»

Сюзанна знала, кому из шестерых не могло быть отказа — Таня никогда не ждала, и потому назначила встречу в ее день и час.

Раньше всех в субботу пришла Таня. Следом за ней явились Сюзанна, Ребекка, Елена, Рахиль и Ляпош.

Не успела Таня расстегнуть платье, как Джалил постучал в дверь и сообщил о приходе Сюзанны.

Минут через десять Таня, одевшись, вышла из спальни через кабинет в гостиную, где уже собрались все женщины.

Квачи ходил по комнате обалдевший, точно индюк в жару, и бормотал:

— Будьте как дома... Знакомьтесь... Присаживайтесь... Да, да, прекрасная погода...

Сперва одна из женщин, улучив минутку, отвела Квачи в сторону, за ней другая и третья... Всех интересовало одно и то же:

— Это твоя записка?.. Скажи, для чего ты меня пригласил?

Сказать «да» — горе, сказать «нет» — беда!

Поднатужился самтредский жуир, поднапряг свои недюжинные способности, но так ничего и не придумал.

— Бесо, вели подать чай!.. Кто-то подстроил мне этот «файф-оклок»... Идите все, займите их чем-нибудь!..

Женщины таинственно перешептывались и фыркали. Квачи заметил, что больше других активничала Сюзанна, и понял, кому обязан сюрпризом.

В гостиную ввалились дружки Квачи — поспешили на помощь. На шестерых женщин пришлось шестеро мужчин.

Квачи подсел к Сюзанне; расспросил о том, о сем, улыбаясь со значением, и вдруг так ущипнул за локоть, что Сюзанна чуть не вскрикнула. Ущипнул и прошипел в самое ухо:

— Погоди у меня... Я тебе задам жару!..

— Джалил! — поспешно позвала Сюзанна. — Джалил, голубчик, пооди сюда! Иди, сядь рядом... Будь сегодня моим кавалером.

Квачи подходил то к одной своей гостье, то к другой, но ни одна не пожелала с ним говорить. А когда внесли чай, они дружно встали и пошли к дверям.

— Постойте!.. Куда вы?.. — растерялся Квачи.

Ему даже не ответили и, не подав руки, ушли.

Друзья переглянулись.

— Что же это творится?.. Люди добрые! — Квачи схватился за голову.

— Порой и чума на пользу! — утешил хитроумный Бесо.

— Это верно! — живо согласился Квачи. — Ты прав. Передохну. Да и для дела времени больше останется.

Так бойкая Сюзанна разогнала гарем Квачи.

Об одном разговоре и о возвращении трех дружков на родину

Товарищество Квачи закрепилось в Париже, обрело почву под ногами. Поначалу стояли нетвердо, смущенно озирались и осторожничали. Но постепенно приободрились, огляделись, осмелели. А затем обнаглели и поперли, что жеребчики, разорвавшие постромки. Да и отчего бы не попереть? Язык французский малость освоили, привычки и повадки узнали, правила и обычаи приняли, напялили цилиндры, обзавелись тросточками, растворились в толпе — и айда!..

Почти два года Квачи с дружками охотились на бескрайнем лугу и рыбачили в бездонном море. Кто сосчитает и кто опишет хитрость и ловкость Квачи, чутье и нюх, азарт и умение!..

Как-то раз, когда товарищество «провернуло» парочку крупных дел и деньги посыпались на них обильней, чем соломенная труха на гумне, они сели, откупорили бутылку шампанского и повели такой разговор.

— Князь, знаешь, что я тебе скажу? Давай за ум браться! — начал Хавлабрян.

— Ты что себе позволяешь, пентюх! — возмутился Квачи. — Потвоему, я не в своем уме?

— Если прислушаешься к моим словам, значит — в уме, ну, а на нет и суда нет — как знаешь... Ведь это что выходит? Сделали мы хорошее дело. Молодцы! Столько денег ни твой отец Силибистро, ни мой папик Галуст и во сне не видели, за неделю вдвоем не пересчитают, хотя умеют деньги считать! Давай теперь возьмемся за ум и завяжем... Аме? Что?.. Знаю, ты теперь ничем, кроме кутежей и попок заниматься не собираешься, и как пришли эти денежки, так и утекут. И опять все сначала... А однажды что с нашим братом бывает? Не всякий раз твой кувшин воду принесет, когда и кокнешь... И что потом? Все нам боком выйдет. Давай теперь сядем и поживем тихо-мирно. Заодно и тюрьмы избежим, заодно и почет-уважение заработаем, семьи создадим и свое дело заведем. А? Хорошие я сказал слова или как?

— Ну и ну-у-у!.. Этот Седрак, как я погляжу, вовсе омещанился! — воскликнул Квачи. — Бросить Париж и воротиться в темную, глухую Грузию! Оставить здешних красавиц — и там гоняться за гванкетильскими рожками! Покинуть этот дворец и поселиться в самтреском, да хоть и в тбилисском курятнике!

— Одна прогулка по Большим бульварам мне дороже всей Грузии! — подтвердил Чипунтирадзе.

— Чего ты ищешь в той Грузии? Что там оставил, дурачина? — Квачи снисходительно хлопнул Седрака по плечу.

— Часть я уже сказал, а другую скажу. А как же!.. Что там оставил? Стариков родителей, отца с матерью, которые ради меня всю

жизнь мучились, шеи гнули. Бедных родственников, что столько времени в рот мне глядели и теперь ждут моего возвращения.

Чипи и Лади смехом прервали эти речи.

— Сказал же я, что он совсем омеянился!

— Что я там оставил? Ва-а, да все! Телавские виноградники, Алазанскую долину, когда смотришь на нее из Надиквари, цивгомборский ветерок, стекающий с гор... Кахетинское вино, нашенских черноглазых девушек, верных друзей-товарищей...

Седрака перебил Джалил:

— Хороши друг-товарищ, красный люля-кебаб, смачный бозортма и бозбаш¹, баяты², Азиры³, один бели-бели матушка и — хаджан, Джаили!.. Аллаверды⁴, Габо-джан!

— Ух, шени чире ме, шени! — горячася, вскочил Габо Чхубишвили: — Что я в Гори оставил? Горийскую крепость — умру за того, кто ее возвел! Когда на ее вершине устроим с друзьями хлеб-соль, шашлыками зашипим и задымим смачно, затынем застольную, и наш дудуки заиграет, затокует, завохчет...

Седрак остановил его:

— Когда на рассвете зурнач встанет на пригорке, ударит сдари и приветствует зарю...

Дальше они говорили наперебой:

— Утречком, когда скользнет по Куре плот, а на нем мы с нашим маленьким кутежом стрелой поплывем по течению мимо Исани...

— Кагда банщик в серни баня харашо тебе паламай, патом барашкин курдюк с баклажан харашо пакушишь и завалишься спать.

— Когда наработаешься в винограднике — хоть рубаху выжмай, присядешь в тени дедовского ореха и не спеша примешься за холодные огурчики, чихиртму и мацони...

— А на ртвели⁵ налопаешься сладкого будешгури⁶, потом примешься за приправленного айвой козленка, и запьешь шипучим маджари⁷, а Леван — благословенна мать, что его родила, — кахетинскую затынет и поведет, поведет...

— Или в роще во время охоты поджаришь на вертеле дикого голубя, а потом углубишься в дремучий лес и окатит тебя прохладой...

— Эге, да что же это с ними делается?

— Я думал, люди европейцами стали, цивилизацию усвоили, а выходит так и остались азиатами! — высказался Чипунтирадзе.

— Про это самое и выдумал Дарвин закон атавизма: даже фрукт привитый, садовый может в одночасье одичать, в старую породу вернуться. Вот и с ними такой атавизм приключился...

Чхубишвили Габо еще раз подтвердил свое желание вернуться домой и при этом обронил забытое слово **р о д и н а**.

К этому слову и прицепились:

— Весь мир — моя родина! — изрек Квачи. — Мое место в богатой и развитой стране. Я люблю культуру, прогресс, чистые улицы, развлечения. Мне нравится белоснежная манишка, цилиндр, лаковые штiblеты. Люблю холеных, вымытых и надушенных женщин в шелках и батисте, которые они меняют как минимум три раза в неделю.

¹ Экзотические восточные блюда.

² Восточные песни.

³ Популярный в начале века на Кавказе исполнитель восточных песен.

⁴ Так во время застолья передают тост другому.

⁵ Ртвели — сбор винограда.

⁶ Сорт столового винограда.

⁷ Неперебродившее сусло.

— Моя родина там, где мне перепадет вкусный кусок,— брякнул тихоня Бесо.

— На что мне согдится родина курятников, виноградарей и пастухов? — удивился Лади.

— Ну и ну-у-у! — возмутился Габо. — Выходит, если моя матушка старая и некрасивая, я должен оттолкнуть ее и забыть?!

Постепенно разговор перешел на другое, опять возобладала неисчерпаемая тема застолья, и Седрак, обнаруживший в те самые дни маленький восточный ресторан, повел друзей в Латинский квартал.

Завалились и перевернули вверх дном укромное пристанище парижских греков. Сами, засучив рукава, взялись за дело, кое-что объяснили хозяевам и все вместе выставили на стол сыр и зелень, красное кипрское вино и греческий коньяк, табакá и плов, люля-кебаб, завернутый в плоский лаваш, шашлыки с луком, тешу, творог с мятой, чихиртму, сациви и рыбу.

До утра кутили на грузинский лад и греков втянули, подпоили и уложили спать на полу...

После этого Габо, Джалил и Седрак стали готовиться к отъезду. И через день отправились на родину.

Спустя несколько месяцев оставшаяся в Париже четверка узнала, что Габо купил овец, пахотную землю и даже лес и лута под пастбища; Седрак завел в Телави изрядную торговлю и стал ссужать деньги под проценты; что же до Джадила, то он открыл в Тбилиси лавку «Фрукты и восточные сладости» и вдобавок взял в откуп серную баню.

Все трое утешились — обрадовали родителей и друзей-приятелей, устроили теплые, уютные гнезда. Устав от трудов, отдыхают в тени дедовского ореха, кутят под звуки дудуки, приударяют за черноглазыми девушками, иногда рыбачат на речке. Порой вспоминают былое и неумело, запинаясь и повторяясь, рассказывают про Одессу, Петербург, Париж и Вену.

Сбылось предсказание Квачи: они опять превратились в «отставших от прогресса темных азиатов». Но зато жили в своей стране, дышали ее воздухом, пахали ее землю, и душа их откликалась на ее заботы и радовалась ее радостям.

Что же до Квачи, Бесо, Лади и Чипи, то эти по-прежнему колесили по Европе, пьянствовали в ресторанах, отсыпались в номерах, джентльменствовали, княжили, маркизничали и время от времени «проворачивали» лихие комбинации.

Кто из них выиграл и кто проиграл: Квачи с друзьями или же Габо и Джалил с Седраком? Как знать...

Любовник леди Харвей

Квачи усвоил повадки и вкусы богатых европейцев, перенял их аппетиты.

В Париже заимел особняк, в Биаррице — изящную виллу, в Ницце — яхту; в гараже — три автомобиля, в конюшне — шесть лошадей и в кармане — чековая книжка.

В то лето он отправился в Трувиль.

К вечеру вышел на пляж, осмотрел беспримерную выставку. Зрелище и впрямь было редкостное: женщины всей Европы демонстрировали свои прелести, едва прикрытые ярким трико.

Сухопарые, рыжеватые англичанки, неприступные и чопорные. Дебелые, роскошные фламандки, крутобокие и широкоплечие.

Рослые, голенастые и бедрастые скандинавки и немки.

Изящные испанки, смуглые, словно из бронзы, и чуточку надменные.

Итальянки и француженки — томные и кокетливые, ленивые и бурные, легконогие, как серны. и гибкошеие, как лебеди; скромные и бойкие, тоненькие и пухленькие, пышногрудые и субтильные, блондинки, шатенки, брюнетки и рыжие — мадам, фрау, фрекен, мисс...

Вдруг перед ним вышла из воды прекрасная русалка; высокая грудь, тугие бедра, тонкая талия, хрупкие косточки, стройная шейка, медно-красные волосы и глаза цвета южного неба. Не обращая внимания на Квачи, она остановилась у кромки воды, сплела на шее белоснежные руки, выпнулась и сладко потянулась.

— Боже всевышний! — вспыхнув, как порох, воскликнул в душе Квачи. — Вот она, пеннорожденная Афродита! Подлинное чудо мира!

Тут русалка обернулась, обдав его голубизной своих глаз и колдовской улыбкой. Но вдруг насупила бровки, вытянула шею, побежала легкими оленьими прыжками и, скрывшись в кабине, залилась серебристым смехом.

Через час Квачи перебрался в отель, где жила Афродита.

Дал швейцару золотой и спросил, кто эта женщина.

— Леди Харвей, — ответил швейцар. — Вдова лорда Харвея, в прошлом году во время охоты в Индии растерзанного бенгальским тигром. Леди обожает морские купания, рулетку, бифштекс с кровью, опасную охоту, рыбалку, цветы и... статных брюнетов...

Всю ночь Квачи увивался в казино вокруг леди Харвей.

По обе стороны от нее стояли ее компаньонка мисс Хопкинс — злой и косоглазый цербер — и юноша лет двадцати, женственно нежный, застенчивый брит.

По возвращении в отель Квачи приказал почтителному портье:

— Утром принесете леди Харвей корзину цветов и вручите вот это... — он передал свою визитную карточку.

Наутро Квачи получил душистое письмо, на одной стороне которого было написано: «Спасибо! Я обожаю цветы! Не ищите меня!» — а на другой значилось: «Леди Элизабет Харвей. Лондон Вестенд. Черинг-кросс. 276».

— Что? Не искать?! Когда женщина говорит — не ищите, понимай наоборот! Срочно узнайте, куда она отправилась? Ах, отплыла в Гавр! Бесо, в два счета найми моторную лодку!

Быстро погрузились и взяли курс на Гавр.

В открытом море настигли большой пароход. На палубе Квачи заметил облокотившуюся на борт леди Харвей; леди узнала Квачи, улыбнулась ему и долго махала платочком.

Квачи обернулся к владельцу катера:

— Куда держит курс этот пароход?

— Он пройдет вдоль берегов Франции и Португалии и, обогнув Испанию, поднимется в Марсель.

— Его можно догнать?

— Только экспрессом по железной дороге из Сен-Назара.

Через час Квачи мчался в салон-вагоне вслед за упорхнувшей избраницей. Паровоз летел, как на крыльях. Другие поезда стояли на станциях, уступая путь сгорающему от нетерпения Квачи. Пронеслись мимо Руан, Ле-Ман, Анжу, Нант. Наконец — Сен-Назар.

— Пароход «Бордо» уже прибыл?

— Через час отплывает.

— Слава Богу! Бесо, скорее!..

Часа через два, когда корабль вышел в океан и леди Харвей, словно второе солнце, озарила его верхнюю палубу, Квачи почтиительно склонив голову, встал у нее на пути.

— Молю о снисхождении, миледи! Вы писали, чтобы я не искал вас. Увы, я не справился с первым повелением!..

Ледяное английское сердце дрогнуло.

В городе Биаррице, в стране басков, они сошли на берег.

Пока корабль входил в порт, Квачи показал леди в бинокль ажурную виллу в мавританском стиле, живописно венчавшую скалу.

— Вам нравится, миледи?

— Прекрасно! Жить над морем на такой высоте все равно, что в раю. Ах, если б она была свободна...

— Для вас она свободна, миледи. Эта вилла моя. Вы осчастливите меня, если соизволите...

— Ваша? Вот как... Я бы с удовольствием там пожила, но...

Квачи понял ее с полуслова:

— Не беспокойтесь, миледи, я буду жить в другом месте.

На таких условиях леди Харвей приняла приглашение...

С утра до ночи они наслаждались жизнью. То отправлялись на пляж, то на моторной лодке выходили в открытое море, то заходили в Байону, то на авто забирались в Пиринеи и нередко на целые дни оставались там среди басков.

Вечерами гуляли в парке, слушали концерты; затем ужинали в казино и подсаживались к рулетке.

Ледяное сердце леди Харвей иссушило Квачи.

Однажды после ужина, по дороге к своей вилле, в темной аллее Квачи обнял слегка захмелевшую леди и прижал к груди, затем пал к ее ногам, обливая их слезами.

Леди Харвей со смехом вырвалась и убежала.

Отчаявшийся Квачи метался по темной аллее, бил себя кулаком в грудь и восклицал:

— Что ж... ладно! Так мне и надо!.. Ладно!..

Когда свет в спальне леди Харвей погас, Квачи на цыпочках взбежал на балкон и полез в заранее отворенное окно.

— Князь! Пренс!.. Джентльмен!.. Что с вами! Возьмите себя в руки! Я позову... Мисс Хопкинс!.. Мисс Хоп...

Квачи губами зажал рот испуганной леди и напором покорил ее.

Минут через пять за дверью послышалось шарканье шлепанцев и заспанный голос мисс Хопкинс.

— Миледи!.. Леди Харвей!.. Вы звали? Вы что-нибудь ищите?

Задыхающаяся леди с трудом ответила своей компаньонке:

— Ничего, мисс... ничего... Я уже нашла... нашла...

— Ты нашла, но и я не в накладе! — сдерживая смех, прошептал ей на ухо Квачи.

— Тсс... Тихе, сумасшедший! — разгоряченными губами зажала ему рот и, обвинив длинными руками, едва не задушила в объятиях.

Три дня и три ночи Квачи и леди Харвей не видели ни в казино, ни на пляже, ни в парках.

Они точно повредились в рассудке; не в силах унять разыгравшую кровь, каждую неделю мчались на вокзал и носились по курортам всей Европы — Виши!.. Остенде!.. Карлсбад!.. Монтре!.. Веве!.. Лугано!..

Наконец остановились в Ницце, в «Отеле Небраска» и перевели дух.

О том, как «провернули» одно большое дело

Казино в Монте-Карло.

Искатели счастья со всех уголков земли, словно мухи на мед, слетались сюда. Азия и Европа, Америка и Африка — все здесь, все крутят колесо судьбы и жаждут богатства.

Удача и поражение отпечатаны на лицах: одни сияют, другие наливаются желчью, третьи попрошайничают в безнадежном отчаянии и, случается, кропят своей кровью сказочно красивый зимний сад.

Некоторые так привыкли к этому дворцу фортуны, что тут и старятся, живя на подаянье. Они знают секрет игры! Открыли способ обогащения! Он у них в руках — ключ к тайне, с десяток табличек, исписанных математическими формулами, безошибочными, как сама истина, плод проигранного состояния и десятилетних наблюдений. Хотите выиграть — поверьте этим людям! Плата невелика: проигрыш — ваш, выигрышем поделитесь; или дайте им хотя бы сто франков, чтобы они могли купить белье и сменить обувь. Больше они не просят, поскольку в этом казино легче умереть с голоду, чем войти туда в несвежей рубашке и запыленных штиблетах: стерильная опрятность, безупречная вежливость и беспрекословное послушание — вот чего требует от этого рода людей дирекция казино за право бесплатного входа во дворец фортуны.

Леди Харвей и Квачи каждую ночь пытаются счастья в казино. Им не везет: леди Харвей скоро проигралась. Квачи пришел ей на помощь, однако повернуть колесо судьбы не удалось. Они проигрывали все больше и увязали все глубже, играя то по своему разумению, то по системе разорившихся советчиков.

Наконец Квачи получил свой чек из банка с уведомлением: на вашем счету ничего нет.

Расстроился Квачи! Очень расстроился.

— Бесо, поезжай в Экслебен и продай мою виллу!

Бесо привез деньги.

Квачи почти все отсчитал крупье.

Через неделю:

— Бесо, поезжай в Биарриц и продай мою виллу!

— Ты подарил ее леди Харвей, — напомнил Бесо.

— Отыграюсь и верну...

Через две недели опять призвал Бесо.

— Бесо. Сегодня же езжай в Париж и продай особняк. Ладно, ладно... Сам знаю, что гибну, но другого пути нету... Не робей, пока ты обернешься, я обстрипаю тут дельце...

В ту пору из Лондона приехал в Ниццу брат леди Харвей — лорд Броукстоун, богатый бонвиван и денди.

Квачи и лорд по достоинству оценили друг друга. Две недели их имена не сходили с уст у всей Ниццы. Они поразили старожилов размахом и роскошью, немного выиграли, в сто крат больше проиграли и без счета выпили. Наконец лорд сказал Квачи:

— Пренс, будьте моим гостем в Лондоне.

— Ол райт!..

По пути в Лондон заехали в Париж. Квачи пригласил брата с сестрой в свой особняк, уже не принадлежавший ему, но еще не освобожденный для нового владельца. Он еще разок тряхнул мощной, вернее тем, что в ней осталось, восхитив гостей своим домом.

Перед отъездом дал Лади Чикинджиладзе секретные инструкции, Бесо с багажом заблаговременно отправил вперед, сам же отбыл с леди Харвей и лордом Броукстоуном.

В Лондоне стараниями Бесо его ждали апартаменты в «Астории» ландо с гербом, автомобили и куча репортеров.

На следующий день газеты опубликовали сообщение:

«В Лондон прибыл кавказский принц царского происхождения... Большой друг Англии... Сторонник русско-английского сближения... Принц, личный друг лорда Броукстоуна, остановился в «Астории».

Лорд Броукстоун и леди Харвей повезли Квачи показывать Лондон: Трафальгар, Черинг-кросс, Сен-Джеймс, Тауэр...

В Вестминстере Квачи встретил спикер палаты, в Бритиш-музее — главный директор, в Адмиралтействе — адмирал флота.

Вечером Броукстоун дал в фамильном дворце большой обед в честь Квачи: на следующий день Квачи пригласили в яхт-клуб и затем приглашали нарасхват, буквально не давая роздыха.

Через две недели Квачи отблагодарил всех: устроил такое сказочное пиршество, что гости по сей день вспоминают его. Присутствовали более трехсот гостей, высшее лондонское общество: люди либо чрезвычайно родовитые, либо столь же преуспевшие и богатые. Играл оркестр, пели лучшие певцы Европы: Карузо, Батистини, Нелли Мельба и Тито Руфо. Зал украшали экзотические цветы и тропические растения, выписанные с Ривьеры.

Целую неделю весь Лондон говорил об этом приеме.

Квачи того и добивался.

Вскоре по прибытии сюда, он получил перечисленные телеграмм из Парижа десять тысяч фунтов стерлингов. В тот же день Бесо переслал их назад в Париж Чикинджиладзе. На другой и на третий день эти же деньги опять перечислялись из Парижа в Лондон и из Лондона возвращались в Париж.

Опытный Бесо сообщал о поступлении денег в самое неподходящее время — зачитывал телеграмму князю Багратиону как раз тогда, когда у него были гости. Квачи извинялся:

— Простите, господа, должно быть, срочная депеша...

Затем отдавал распоряжения:

— Немедленно получите эти десять тысяч фунтов. Сорок тысяч срочно отправьте главному управляющему в Тбилиси... Сообщите моему банкиру в Париже, чтобы выдавал моему парижскому секретарю князю Трубецкому ежемесячно миллион франков, а в Петербург, в нашу главную контору, телеграфируйте, чтобы решали все на месте и впредь не беспокоили меня...

— Яхта вашего сиятельства на пути в Лондон.

— Прекрасно.

— Тбилисская контора запрашивает, сколько им позволено расходовать ежемесячно на благотворительные цели?

— Триста тысяч.

— Еще одна телеграмма: граф Орлов согласен за предложенную вами цену — три миллиона — уступить золотые копи в Сибири.

— И слава Богу! Уведомите об этом главную контору. Остальное — после... Еще раз прошу извинить, друзья...

Примерно такой диалог затевали Квачи с Бесо в присутствии влиятельных лордов и могущественных банкиров.

Квачи понимал, что деловые разговоры в присутствии гостей здесь, в Европе, «шокинг», но знал он и то, что гости не осудят его строго, а лишь скажут с улыбкой:

— Вуаля ан пренс этранже э-э... экзотик!

А его друг лорд Броукстоун примерно так заступится за него:

— У каждого народа свои особенности...

А вот к чему Квачи вел дело, никто не знал...

Прошло две недели после нашумевшего и по сей день не забытого ужина «у князя Багратиона-Мухранского».

Квачи просматривал утренние газеты. Вдруг ему на глаза попалось сообщение, набранное крупным шрифтом: в Париже началась забастовка работников почты... Он выпустил газету из рук и задумался. Наконец подсел к столу, набросал что-то карандашом на листке бумаги и кликнул Бесо:

— Это список моих лондонских друзей. Направь всем письмо вот такого содержания. Желательно ответ получить в один день... Смекаешь?

Бесо улыбнулся:

— Еще бы! — отрезал коротко и вышел.

План был простой и ясный.

На следующий день около шестидесяти лордов, банкиров и промышленников получили письмо следующего содержания:

«Высокочтимый лорд (или мистер, или сэръ!). Позвольте довести до Вашего сведения некоторые обстоятельства.

Завтра мне необходимо перечислить в мою главную контору в Петербурге изрядную сумму для немедленного покрытия срочных расходов. Большею частью необходимой суммы я располагаю, недостающую же велел выслать из Парижа моему парижскому управляющему.

Однако из сегодняшних газет я узнал крайне неприятную для меня новость: французская почта и телеграф не работают по причине забастовки почтовых служащих. Это обстоятельство спутало мои планы и задержало ход обычных финансовых операций.

Это бы полбеды. Но, как мне стало известно, в ближайшие дни собирается объявить забастовку английская почта.

Вышеозначенные обстоятельства вынудили меня, высокочтимый лорд (мистер, или сэръ), воспользоваться Вашим щедрым гостеприимством и дружеским расположением. Пять тысяч фунтов стерлингов (некоторым он написал три тысячи, некоторым две и даже одну) избавили бы меня от временных затруднений. На всякий случай высылаю вексель сроком на десять дней. Нынче же отправляю в Париж одного из моих секретарей за деньгами, поскольку существует опасность затягивания забастовки.

Отныне жду возможности достойно оценить доброту Вашего сердца и широкое гостеприимство.

Заранее шлю Вам, высокочтимый лорд (мистер или сэръ), сердечную благодарность и мои сожаления по поводу того, что пришлось Вас беспокоить.

Примите мой сердечный привет и заверения в глубочайшем к Вам уважении.

Ираклий Багратион Мухран-батони
Князь и флигель-адъютант Императора
Всероссийского»

Расчет Квачи оправдался сполна. С десятков адресатов не удалось нигде застать, остальным же письма были вручены и почти от всех получены деньги. Лорд Броукстоун лично посетил Квачи и вручил сумму вдвое больше запрашиваемой.

Леди Харвей тоже прознала о затруднениях Квачи: она заложила подаренные им жемчуга и фамильные драгоценности, по телефону пригласила его к себе и насильно вручила деньги, сопроводив их жаркими ласками. Могла ли бедняжка знать, что это был последний приступ умопомрачительной любовной горячки!

В тот вечер Квачи с Бесо два часа, не поднимая головы, считали деньги. Затем спешно собрали чемоданы и вызвали автомобиль.

Бесо объявил директору отеля:

— Их сиятельство отправляется в Бирмингем, посмотреть новейшие устройства на заводах — на предмет приобретения. После завтра вернемся. Апартаменты оставляем за собой...

Попетляли узкими лондонскими улицами, выехали к речному порту и вниз по Темзе ринулись к морю.

Через день вместо Бирмингема они были в Антверпене.

А теперь сказ о драгоценных камнях, сумасшедшем доме, дуэли, кинокартине и прочих деяниях

С тех пор Квачи Квачантирадзе колесит под разными фамилиями по белу свету: то он князь Багратион, то наследник афганского эмира, то граф Тышкевич, то иранский принц Каджар. Кто сосчитает все его подвиги, кто опишет разнообразные трюки, их изящество и остроумие!

В Нью-Йорке он где-то откопал особу своего пошиба.

Начали с небольшого опыта.

Квачи вошел в ювелирный магазин, отобрал несколько превосходных камней и тщательно их рассматривал. Погодя в магазине появилась его новая сподвижница; завела у витрины разговор с владельцем магазина. Квачи незаметно обронил один бриллиант; тот мягко упал на ворсистый ковер. Сподвижница переменила место, наступила на камень, затем закончила разговор и ушла, унося на подошве прилипший бриллиант.

Владелец магазина обнаружил потерю, с сомнением покосился на Квачи. Тот оскорбился, потребовал, чтобы его обыскали. Появилась полиция — обыск, протокол, затем извинения. Бледного от негодования Квачи проводили до автомобиля да еще попросили принять несколько тысяч долларов в качестве моральной компенсации.

В Антверпене — городе алмазов, Квачи направил свою подружку в частную, только что основанную лечебницу для душевнобольных.

— Вы знаете мсье Вермье? — спросила она директора лечебницы.

— К сожалению, не знаю. Я совсем недавно в Антверпене.

— Это мой отец. Бедняга сошел с ума, все время бредит бриллиантами. Не выпускает из рук свой маленький саквояж и уверяет, что тот набит алмазами. Временами он становится таким буйным, что нам приходится применять силу. Я очень прошу взять его в вашу лечебницу.

— С удовольствием, мадмуазель!

— Все мои драгоценности папочка забрал — собирается, видите ли, открыть ювелирный магазин... Предупреждаю — когда будете их отбирать, он станет сопротивляться.

— Это уже по нашей части. Справимся. Вы сами его привезете, или прислать санитаров?

— Нет, нет, я сама. Не надо его травмировать...

Затем ловкая девушка явилась в магазин мсье Вермье. Отобрала прекрасные серьги, диадему и жемчужное ожерелье.

— Мсье Вермье! Сегодня день моей помолвки. Отец дал семьдесят тысяч и доверил самой выбрать подарок. Мне безумно нравится это ожерелье, но не хватает двадцати тысяч. Папа, конечно, не стоит за ценой, но я боюсь опоздать: пока вернусь домой, пока он выпишет чек, банк закроется... Пожалуйста, сделайте для меня одолжение, поедemте к нам!

Мсье Вермье задумался. Предвкушение барыша взяло верх над осторожностью:

— Хорошо. Идемте.

— Возьмите все три вещи. Может быть, папа выберет серьги, или диадему: они тоже дивно хороши. Хотя я обожаю жемчуг...

Вермье сложил отобранные украшения в маленький сак. Сели в авто и подъехали к лечебнице, которая больше смахивала на роскошный особняк, нежели на сумасшедший дом.

Их встретили с приветливыми улыбками.

— Милости просим! Присаживайтесь. Сегодня чудесная погода...

Девушка вела себя как дома: отдала людям несколько несущественных распоряжений и прямоком направилась к директору.

— Привезла, доктор. И, конечно же, со своим сакom. С нашими фамильными драгоценностями. Еще раз предупреждаю: он будет сопротивляться, бредить... Главное, конечно, лечение, но согласитесь — не очень-то приятно, когда все состояние семьи в руках душевнобольного.

— Не беспокойтесь, мы привычны к эксцессам — опыт!

Директор с девушкой вышли в гостиную.

— Бонжур, мсье Вермье! Очень приятно познакомиться! Пожалуйста, поедemте со мной... — и увел Вермье из гостиной.

— Папочка, вот драгоценности!— бросила в пространство девица и взяла у Вермье сак якобы для того, чтобы показать отцу украшения. Невозможно было понять, к кому она обращалась, кто ее «папочка» — Вермье или директор.

Вермье озадачила обстановка комнаты, в которую его ввели, да и одежда персонала настораживала. Он смешался, потянулся за своим саком. Однако девица с улыбкой, покачав головой, выбежала из комнаты. Вермье бросился за ней. Тут-то его и схватили — трое сильных санитаров легко, как пушинку, подняли немощного старичка.

— Пустите! Мой сак! Мои жемчуга! Мои бриллианты! — вопил Вермье.

— Успокойтесь, мсье Вермье! Ваши бриллианты не пропадут... Успокойтесь. Я врач-психиатр. Вы находитесь в лучшей лечебнице... Скоро мы вас вылечим и вернем назад, в вашу семью.

— Что? Психиатрическая лечебница? Кто из нас сумасшедший — я или вы?.. А-а, я все понял! О, горе мне!.. Все пропало!.. Господи, что же делать! Пустите! Помогите! Где мои алмазы?!

— Я сказал, успокойтесь, мсье Вермье! Ваши драгоценности у вашей дочери.

— Какая дочь? Да вы бредите! Эта девица ваша дочь. Ваша, а не моя!

— У меня нет ни дочери, ни жены, уверяю вас.

— У меня тоже нет дочери. Так значит...— Вермье вдруг прозрел, все понял и чуть впрямь не свихнулся.— Поймите, олухи безмозглые — эта воровка провела нас всех... Хватайте ее! Догоните! Быстрее!!!

Директор лечебницы встревожился не на шутку. Минут за пять они с Вермье скороговоркой пересказали друг другу и сопоставили все, что знали. Затем бросились к телефону, но было поздно: Квачи и его напарницу словно земля поглотила...

В Вене Квачи приметил богатого барона еврея. В клубе вроде бы случайно толкнул его локтем и сам же возмутился.

— Осторожней! Невежда! Грубиян!

— Извините... но я... я...

Квачи не дал ему договорить и легонько ткнул в подбородок.

Поднялся шум, кончившийся тем, что Квачи с бароном обменялись адресами.

На следующее утро секунданты Квачи — Бесо и Чипи Чипунтирадзе явились к барону и объявили:

— Это дело не может кончиться без крови.

Затем вскользь бросили:

— Советуем не торопиться, барон! Афганский наследник прославленный стрелок, без преувеличения — в летящую муху попадает. Можете сами убедиться: сегодня в пять часов принц будет в тире Пратера. А вечером мы зайдем еще раз... поговорим. Возможно, удастся избежать кровопролития...

— Но мне кажется, что без дуэли уже все-таки...

— Да, да! Конечно! Дуэль непременно состоится. Но... можно сделать так, чтобы не пролилась кровь. Подумайте до вечера...

С пяти до шести часов Квачи палил в тире — изрешетил все мишени. Подосланный соглядатай убедил барона, что афганский принц и впрямь стреляет без промаха.

Вечером Бесо сказал барону:

— Принц дает честное благородное слово и клянется святым именем Магомеда, что не прольет вашу кровь, если... если мы договоримся.

— К делу. Сколько вы хотите?

— Ваша жизнь бесценна. А ваш капитал ценится в десять миллионов. Нам довольно и одного.

— Мне проще сегодня же исчезнуть из Вены.

— От позора никуда не скроетесь. Мы на всю Европу растробим о вашей трусости.

— Евреи никогда не хвастались смелостью и никогда не платили так дорого за сомнительную славу дуэлянта.

— Не забывайте, что вы австрийский барон.

— Сто тысяч. И кончим на этом.

— Девятьсот тысяч с кровью и восемьсот без крови.

— Не понимаю.

— Вы легко раните принца и выйдете из дуэли победителем. Как мы это устроим? Это уже наше дело.

Идея дуэли с кровью барону понравилась.

— Если дуэль кончится ранением принца — двести.

— Восемьсот!

— К двумстам не прибавлю ни пфенига.

Сошлись на полмиллиона и половину тут же получили.

В день дуэли поутру Бесо расцарапал Квачи левую руку, наложил легкую повязку и повез в Шенбурнский лес, где дожидались барон и его секунданты.

— Что ж, начинайте... Раз... два... три!

Барон и Квачи, не целясь, пальнули друг в друга.

Квачи уронил пистолет, схватился за левую руку и, пока доктор подбежал к нему, сорвал повязку с раны.

— Ничего, ничего... Пустяки! Рана легкая, за три дня заживет! — успокаивал доктор.

Барон напыжился и заважничал. То и дело повторял:

— Я ранил на дуэли афганского принца... В левую руку... Научил молодца вежливости!

В тот же вечер Квачи с бароном окончательно рассчитались, и в том же клубе отметили свое примирение. Барон и там ходил гоголем и хорохорился:

— Я благодарю Бога за то, что мой друг принц так легко отделался. Принц, выпьемте на брудершафт! Ты счастливчик!.. Да, да, поверьте — он счастливчик: ведь сначала я целился ему в сердце, но пожалел такого молодого и красивого...

Квачи улыбался, пил и дружески похлопывал барона по плечу...

Прошло немного времени. «Афганский принц» и эти деньги пустил по ветру — прокутил и профукал.

Туго ему пришлось, очень туго! А как приперло, опять разыграла творческая жилка. Он маялся, тужился, буквально как роженица, и произвел на свет премилую комбинацию. Она была так хороша, что Квачи проявил особое старание: тщательно сплел силки, завязал узлы — все привел в надлежащий порядок и затем явился к директору одного крупного банка:

— Позвольте представиться: я от фирмы Патте. Мне нужно снять ограбление банка для синема. Не буду долго занимать ваше внимание, сейчас вы все поймете: банк ваш, а артисты наши. Вы с сотрудниками также примете участие в съемках и навсегда останетесь на экране. К тому же неплохо заработаете.

Директор расплылся в улыбке.

— Спасибо, что остановили выбор на нашем банке...

Собрал сотрудников и сообщил новость. Все оживились.

— Мы приедем завтра, каждому разъясним мизансцену и проведем репетицию... — говорил Квачи: — Да, вот еще что: дайте знать полиции! Впрочем, я и сам договорюсь с ними.

Все так же улыбаясь, директор взялся за телефон.

— Алло! Мсье Град, это вы? Сообщаю, что завтра наш банк будет ограблен.

— Что? Кто?! Что вы такое говорите?!

— Успокойтесь, мой друг, успокойтесь! Это собираются снимать

картину для экрана. Да, да, и вас тоже снимут. К вам сейчас же заедет режиссер от Патте...

На следующий день Квачи и полицмейстер обошли полицейских в окрестностях банка. Полицмейстер предупредил каждого.

— Этот человек будет снимать для синематографа ограбление банка. В самом банке и на подступах разыграют суматоху, поднимут крик. И тебя тоже снимут. Но пока вот этот человек не даст указаний, ни во что не вмешивайся. Понял?.. Передай остальным!

Затем Квачи и его свита с аппаратом заявили в банк.

— Итак, все по местам! Работайте, как ни в чем не бывало. Когда ворвутся бандиты, вы испугаетесь. Вот вы полезете под стол... Вы броситесь к директору... Да, да, именно так... Вы не успели закрыть кассу, подняли руки вверх и с перепугу разинули рот. Пошире чтоб было посмешней... И все! В этой сцене больше ничего. Погоню за бандой снимем на улице... Итак, по местам!..

Разъяснив мизансцену клеркам, Квачи зашел к директору.

— Вот этот бандит ворвется к вам и станет угрожать револьвером. Вы окаменеете от страха и не сможете шелохнуться. Вот этот перережет телефон и...

— Револьвер случайно не заряжен?

— Ну что вы! Можете не волноваться... Начнем, пожалуй.

Чипунтирадзе ворвался в кабинет директора и в самом деле перерезал телефон. Оператор во всю крутил ручку аппарата:

— Сцена с директором снята! Отлично! Переходим в кассу...

«Артисты» вышли в общий зал и вынесли аппарат.

— По местам! Сначала снимем кассу, а уже после остальных... Второй и четвертый бандиты, начинайте!

Чипунтирадзе и Бесо Шикия ворвались в кассу.

Квачи носитса и командует:

— Руки вверх! Вверх!.. А вы раскройте рот пошире! Не улыбайся, испортите! Отвернитесь, отвернитесь! Бесо, шүрвй! Чипи, сметай все! И дуйте, братцы, со всех ног! Кассир, можете повернуться!

Пока Квачи командовал, оператор крутил ручку аппарата, а кассиры изображали из себя артистов, «бандиты» и впрямь смели все из касс и сейфов и исчезли.

Директор и несколько служащих как-то настопожились, в их души закралось сомнение: деньги-то и впрямь унесли...

Оператор направил аппарат на встревоженных служащих, восхищенный естественностью их игры. Квачи кричал:

— Именно так! Замечательно! Гениально! От артистов никогда не добиться такой подлинности!.. Теперь снимем сцену на улице!

Директор бросился к перерезанному телефону, остальные погнались за Квачи.

— Помогите! — завопили кассиры. — Банк ограбили! Ловите!

— Знаем, знаем! — посмеивались в усы полицейские и не двигались с места. — Это все для кино...

— Да говорят вам, ограбили!

Не скоро удалось убедить полицейских ринуться в погоню, но... Режиссера от Патте разыскивают по сей день.

Дурные деньги, также дурно утекали из рук. Приходилось плести и раскидывать все новые силки и сети.

Но тут грянул гром и европейский Эдем поразила молния — началась мировая война.

И Квачи мгновенно сменил фронт: изобрел новые капканы, ловушки, обрядился в соответствующие времени доспехи.

Окончание следует

На древних холмах

С киргизского.

Перевод Сергея Белорусца

Доспехи

Человечье тело уязвимо,
Словно чашечка тюльпана в бурю.
При любой погоде человеку
Обязательно нужны доспехи:
От жестокого мороза — шуба,
От жары — соломенная шляпа,
От воды, от сырости, от грязи.
От болезней, от когтей звериных,
От унынья, от падений духа,
От космического бездорожья,
От накатанного равнодушия...
Но во всем бескрайнем этом списке
Лишь одни доспехи
Мне противны —
И картину жизни омрачают,
Будучи от жизни неотрывны:
Те, что человек изобретает,
Чтоб спасти себя
От человека...

Зимний вечер

Скрип раскатанного снега
Где-то рядом.
Это —
Вечер в поисках ночлега
Бродит.
Хлопья света
С неба падают наклонно,
Снежный пух роняя...
Здесь, под сенью небосклона,
Жизнь течет земная.
Дух варящегося плова.

Будничные бденья...
Здесь, под отчим гнетом крова,
Мы живем с рожденья.
Ржанье лошади глухое,
Кашель за сараем...
Здесь, под блеклою луною,—
Тихо умираем.
...Все кругом заплонила
Ночь — большая птица:
В поле на краю аила
Вечер спать ложится...

Курай¹

Дети к тебе, старику,
Приезжают порою.
Но не затем,

Чтоб тебе по хозяйству помочь —
Так, на побывку.
Удобно. Почти под рукою.

Тургуналы Молдобаев. Член СП. Автор десяти поэтических книг на родном языке и двух — в переводах на русский, выпущенных республиканским издательством. «Советским писателем» подготовлен к изданию первый московский сборник поэта. Живет в Бишкеке.

¹ Сорная трава.

День погостят —
И беспечно отправятся прочь.
...Мигом июнь да июль
Над землей пролетели —
Время пришло
На полях собирать урожай —
Сплошь на угодьях чужих
Клевера запестрели,
А на участке твоём —
Все курай да курай.

Снова глядишь ты в окошко
Больными глазами —
Жизнь продолжается,
Душу твою не щадя:
Лихо колышет курай
На ветру свое знамя.
Дети — не едут.
И все же —
Ты им не судья...

Есть в тех древних горах олени

«Есть в тех древних горах олени» —
Каждый раз,
Когда слышу я,
Эта песня, как наважденье,
Завораживает меня.
Слышу:
Скачет оленьё стадо,
Песню счастья трубя в горах —
И страшиться людей не надо,
Ибо те не внушают страх.
А теперь
Только в песне древней
Да в легендах олени есть.
Ты в киргизских горах оленей
Не ищи —
Не найдешь их здесь...
Ах старинная песня наша,
В сердце строчки твои звучат —
Вспять,
Из времени Коджоджаша!¹
Мне навстречу
Олени мчат.
Слышу:
Скачут олени дружно,
Проникая сквозь толщу лет —
Им страшиться людей не нужно:
Ни капканов, ни ружей — нет...

Лунный свет

Лунный свет
Волшебен и таинствен:
Длинные бесшумные лучи,
Оседая бликами на листьях,
Медленно качаются в ночи.
Им еще качаться до восхода,
Длиться, никуда не торопясь,
Под сквозною сенью небосвода
Странно преломляясь и дробясь...

¹ Герой киргизского эпоса.

В страду

Весь светодень
Густое солнце
На землю неустанно
Тягучею струею льется
Из огненного чана.

От жажды изнывает птица
Над полем раскаленным:
Ей не поется,
Не летится
Под ясным небосклоном...

Жара не хуже, чем в парилке,—
И пот течет лавиной...
За стрекотом сенокосилки
Не слышен
Гуд пчелиный...

Трава цветочным фейерверком
Рябит перед глазами,
Арбы, наполненные с верхом
Душистыми валами

Свободно пышущего сена,
Скрипят от перегрузки —
И долог путь еще
До плена
Усушки и утруски...

Пыль под копытами клубится,
Вращаются колеса.
Поют горластые возницы —
Акыны сенокоса...

Древние холмы

Сюда, на эти древние холмы —
(С тех пор, похоже, вечность утекла) —
Сходились наши лучшие умы,
Чтоб обсудить важнейшие дела.

Акыны собирались,
Чтобы здесь —
(То время оно унесли ветра) —
Звучала нескончаемая песнь
Под сводами небесного шатра...

Для молодецких игрищ и потех
Джигиты появлялись...
(Сколько лет
Тех ловких пареньков,
Джигитов тех,
Здесь на холме —
Да и на свете — нет)...

Уйдут и наши годы чередой —
Когда-нибудь уйдем из жизни мы,
Но будут монолитною грядой
Стоять на месте
Древние холмы.

Как я сегодня
К ним пришел сюда,
Чтоб здешним духом
Память возродить,—
Да будут люди приходить всегда,
Да будут люди вечно приходить!..

Иси Меликзаде

Да здравствует демократия!



РАССКАЗ

С азербайджанского.
Перевод Т. Калякиной

Перед финским домиком, в котором живет председатель, было не протолкнуться, чуть не всё Евшанлы явилось сюда, в райцентр. В толпе самое меньшее человек шестьдесят, люди кричали, ругались, колотили в запертую дверь...

Появился милиционер Аликулу.

— Клянусь! — закричал он, поднявшись на крыльцо. — Могилой Кардашхана клянусь, всех засажу!.. Тут вам не феодализм! Советская власть еще не сгинула, чтоб вы с гражданами своим судом расправлялись!.. А ну разойдись!..

Вчера он вот так же надувал жилы на тощей шее, ругался и грозил, грозил и ругался, и люди разошлись.

Но сегодня они, похоже, стояли насмерть. На угрозы никто внимания не обращал, и Аликулу понял, что дело плохо. Видя, что они на него ноль внимания, заметно понизил голос:

— Ну что вы за люди, ей-богу? У милиции на глазах человека убить намерены? Могилой брата своего заклинаю, уходите! Возьмитесь за ум! Мусульмане вы или не мусульмане?

Его не слушали. Окончательно выбившись из сил, Аликулу присел на верхней ступеньке. Сняв фуражку, достал смятый платок и, мысленно проклиная своего молодого начальника, вытер лысеющую макушку. «Сдурели они там, совсем сдурели! Против озверевшей толпы одного милиционера послать!.. Я ж не дракон какой! Они за просто растерзают. Тигры лютые!.. Одно слово — евшанлы!..»

И в нем с новой силой вспыхнула злоба против жителей Евшанлы. Он и всегда-то терпеть не мог тех, кто из этого села, а когда по их вине умер Кардашхан!.. Ему что — время было помирать? Всего шестьдесят лет отроду. Слег с малярией. Температура как подскочила, не спускается, и все тут. Ну, пускай, температура, не смертельная же болезнь — отпустит. Грудные дети выживают, а то мужчина в расцвете сил! Он, да будет земля ему пухом, и вел себя как мужчина, можно сказать, не охнул ни разу. На четвертый день только облизал сухим языком губы: «Арбуз», — говорит, арбуза ему захотелось. А осень давно уж кончилась, где его возьмешь, арбуз? Хорошо, у него два сына — орлы, пошли им, Аллах, большое потомство! Бросились в Евшанлы — во всем районе только там баштаны, до зимы арбузы хранятся.

И съел-то бедняга крошечный кусочек, и кусочек этого евшанлыского арбуза сгубил человека... Какие лекарства ни давали, какими травами ни отпаивали... Все без пользы. Через два дня, обхватив руками живот, приказал своим детям долго жить. Такой мужчина, малярия его не взяла, а арбуз евшанлыский свел на тот свет! Оказывается, они, подлецы, чтобы поспевал скорей, чтоб тянул побольше, всякие яды вредные в удобрение подбавляют! «Это ж надо: за копейку людей готовы губить, чтоб вам всем пусто было! Чтоб семя ваше перевелось!»

Аликулу надел фуражку, сунул в карман платок. И поднялся.

— Шли бы вы все по домам,— сказал он усталым голосом.— От беды убережетесь. Сами подумайте, ну что вы делаете? Председатель не по нраву, в райком идите! В исполком жалуйтесь!

Но люди решили сами рассчитаться с председателем Назаром — очень уж он им насолил. Пяти месяцев нет, как появился в Евшанлы, а уже троих в милицию отправил. Одному дали пятнадцать суток, второго оштрафовали. Когда третьего забрали, люди не выдержали: «Да что ж этот пришлый над нами вытворляет?! На кого надеется? Или в большом хлеву теленком рос? Кто он есть, этот Назар?!»

И, в самом деле — кто? В Евшанлы и понятия не имели, кто он, какого роду-племени. Вроде с неба в корзине спустился. А ведь сами во всем виноваты. Упрямство их, самодурство привело к тому, что Назар оказался председателем. Когда прежний умер, они все никак столковаться не могли — выбрать председателя из своих. Достойные люди есть, но у каждого целая армия родни, а потому, когда стали думать о новом председателе, село разделилось на группки. И каждая, выдвигая своего, ставила подножки другим претендентам. Яму копали друг дружке. И дождались: в один прекрасный день в правлении воссел Назар. Группки сразу же замирились и дружно поперли против нового председателя. А тот в открытую полез на них. «Да, я такой! Будете меня знать! И начну я с трудовой дисциплины, потому что в этом колхозе понятия о ней не имеют! Я кандидат наук, бросил в городе научную работу, чтоб помочь вам наладить дело. Или я превращу этот колхоз в образцовый, или я не я буду!».

Из толпы вышел бригадир Газанфар, орденосносец.

— Ученый он... Плевал я на его ученость,— сказал Газанфар, глядя прямо в лицо милиционеру.— На старом базаре новые порядки заводить? Как жили раньше, так и будем жить! Подумаешь: преступление — водитель колхозную машину три дня во дворе держит! Он же детям своим на хлеб зарабатывал. Ну, разозлился, конечно, сказал ему в сердцах, подлец, мол, ты, Назар. Что же, из-за этого в милицию человека сдавать?!..

Слова его покрыл сплошной гул, каждый что-то выкрикивал.

Впереди толпы стоял мальчик лет десяти с крошечной собачкой, кудрявой и вислоухой. Аликулу давно поглядывал на нее, уж больно не похожа была она на собаку. Ростом с кошку, пузатая, с черной пастью. Точно такие продаются в игрушечных магазинах, только бархатные. Аликулу оглядел мальчика — босые голые ноги в засученных до колен старых штанах, бритая голова — и подумал, зачем мальчику такая собака и что это, интересно, за порода? Сучка ее родила или, может, из яйца вылупилась?

Разозленный орущей толпой Аликулу закричал вдруг на мальчика:

— А ну, мотай отсюда, тебе говорят?!

Но мальчик, похоже, не слышал его в гуле выкриков. С интересом поглядывал на орущих людей, не понимая, видимо, чего хотят они от человека, одиноко живущего в финском домике. Только раз видел он председателя Назара. Низенький, рыжеватый, на носу мелкие веснушки. Исчез куда-то, как начался шум. Один говорил — милиция его охраняет, другой утверждал, что он первому товарищ по институту, вот тот и не велит ему показываться, а третий кричал, что сбежал Назар, удрал от народного гнева.

Подошли еще несколько милиционеров. Увидев их, Аликулу малость приободрился, зато люди окончательно вышли из себя.

— Эй, где ваш начальник?!

— Если он мужчина, пускай выйдет к нам!

— Товарищи! — выкрикнул Газанфар и поднял руку. Все замолчали. — Начальник Назару друг-приятель! Как говорится, ворон ворону глаз не выклюет! Насилие совершается, товарищи! Справедливость попирают, товарищи!..

Толпа заревела. Пожилой человек с пеной у рта матерно обругал начальника и один за другим бросил в окно два крупных камня. Стекло вылетело со звоном.

Собачонка, вздрогнув, прижалась к ноге мальчика, завизжала.

Аликулу поглядел на мальчика, хотел накричать на него, но вместо этого вполголоса сказал Газанфару:

— Уведи людей. — Он знал, что это Газанфар подначил односельчан, привел их сюда, давно уже метил в председатели. — Уходите. Плохо может кончиться.

Но Газанфар не послушался. Сделал знак какому-то парню, тот вышел вперед и мелом написал на стене домика несколько слов.

Мальчик, не обращая внимания на повизгивавшую собачонку, чуть запинаясь, прочел написанные крупными буквами непонятные слова: «Назар, убирайся из колхоза!», «Назар предатель!»

— Чего придумали, а! — сказал Аликулу, обратившись к милиционерам.

Те промолчали.

Бригадир Газанфар снова поднял руку.

— Товарищи! Еще несколько лет назад мы не могли бы вот так, собравшись открыто, высказать то, что наболело! Сейчас восемьдесят девятый год, товарищи! У нас в стране объявлена демократия! Мы можем теперь в полный голос, ничего не боясь, сказать, что нас тревожит! Можем привлечь к ответу таких, как этот Назар! Да здравствует демократия, товарищи!

Люди будто только и ждали этого возгласа. У кого что было в руках, стали кидать в финский домик. За минуты выбили все окна до одного.

Милиционеры, прибывшие на подмогу, куда-то делись.

Собачонка сжалась у ног мальчика. Он стоял, подрагивая от страха.

И тут один из парней стал привязывать на спину собачке какую-то тряпку. На тряпке черными буквами было выведено: «Назар».

— Эй! Глядите! Назар-то здесь! — крикнул кто-то.

Люди перестали засыпать дом камнями. Сперва пошумели, что председатель и правда явился. Когда же увидели надпись на спине собачки, злоба прорвалась яростным, диким хохотом.

Вислоухая собачонка кружилась вокруг мальчика, привязанная на спине тряпка не давала ей покоя.

И вдруг задняя лапа ее подломилась от удара, собачка взвизгнула, бросилась к мальчику, но еще один камень угодил в надпись «Назар». Собачонка, уже не надеясь добраться до мальчика, скользнула меж людскими ногами, побежала прочь... Раздался рев, крики, в собачонку полетели камни: по голове, по спине... Кто-то два раза взмахнул палкой, и собачий визг стих...

Толпа вдруг успокоилась, опав, как пена в казане с кипящим маслом. Хмуро поглядывая на распластанную в крови собачонку, люди стали расходиться.

Немного погодя перед финским домиком остались только мальчик, милиционер Аликулу и — в луже крови — кудрявая, вислоухая собачка...

Мальчик стоял на коленях возле нее и плакал, кусая губы.

Подойдя к ребенку, Аликулу присел рядом на корточках. Посмотрел на черную, как головешка, детскую шею, костлявую грудь. Вдохнул. И глядя на тряпку, привязанную к собачьей спине, сказал тихо:

— Я этих евшанлыцедз знаю: пока кровь не увидят, не успокоятся.

Слезы застилали мальчику глаза. Он схватил окровавленный камень, лежавший возле собаки, и, рыдая, бросился к финскому домику.

Михаил
С. Бернштам
**Проклятый
вопрос
о цене идей**

Путь коммунизма

Статья написана весной 1985 года по особому случаю.

В феврале того года самый влиятельный американский ежемесячник «Комментарии», любимое чтение президентов и интеллектуальной элиты, законодатель общественного мнения, напечатал статью своего главного редактора Нормана Подгореца «Проклятый вопрос об Александре Солженицыне». Мой (ныне покойный) друг и сосед Сигни Хук, старый американский социалист и первый философ Америки, попросил меня написать статью о том же предмете. Наиболее острые куски Подгорец поместил в майской книжке своего журнала в том же 1985 году. Почти целиком, с малыми сокращениями, статья вышла в 1988 году в октябрьской книжке журнала «Хроники. Журнал американской культуры».

Статья с тех пор не только устарела, а вообще отжила свой век. Ее следовало бы отправить в архив за ненадобностью, поскольку вышла маленькая книга А. И. Солженицына «Как нам обустроить Россию. Посильные соображения». В ней Солженицын все сказал сам о своих взглядах на наиболее приемлемое для людей общество. Сказал предельно резко и куда как недвусмысленно. Выделю три основных

положения. Во-первых, независимость человека от государства, основанная на свободных конкурентных рынках, в свою очередь основанных на полной частной собственности. Во-вторых, конституционная республика, основанная на власти закона, с выборными представительными властями и широкими народными общими и местными правами. В-третьих, расформирование империи, федерализм, сотрудничество народов, неприятие всякого национализма. Все настолько прозрачно, что общественные взгляды Солженицына (как и во многом сходные с ними Нобелевского лауреата по экономике Джеймса М. Бьюкенена) ожидает судьба идей Адама Смита и основателей американской республики: на них перестанут ссылаться, они станут привычным и безличным общим местом. Но пока это еще не произошло, моя старая статья, может быть, не будет лишней для русского читателя. Буквальный перевод статьи невозможен из-за непереводаемого американского экономического жаргона, я просто переписал ее по-русски предельно близко к первоначальному тексту. Отдельно я добавил несколько новых примечаний.

Когда влиятельная группа американских интеллектуалов, одинаково и лево-либералы и нео-консерваторы, объединяются против одного человека, русского бумагомастера в ссылке в городке Новой Англии, тут должна быть какая-то большая ставка на кону. Их собственное объяснение: вот, Александр Солженицын — реакционер, социальный консерватор, антидемократ, романтик и патерналист образца 19 века, государственный-этатист, националист, и что там еще можно навесить, все тут.

Но вряд ли из-за таких пустяков был бы такой словесный гром. Америка и не такое видала. В этом деле есть своя ирония, потому что ни настоящие социальные консерваторы и блюстители нравов, как Патрик Бьюкенен (защищающий праведный гнев моралистов, подкладывавших динамит в абортарии), ни патерналистские элитисты, как Джордж Уилл (проповедующий государственный контроль за воспитанием детей в семье), ни религиозные романтики, как Малькольм Маггеридаж (верящий в крестовый поход против коммунизма и атеизма), ни крайние правые ястребы, как Джеймс Бёрнам (допускающий превентивную ядерную войну ради защиты Западной христианской цивилизации), ни борец против преподавания дарвинизма в школах Томас Бетелл, ни другие столпы правизны в общем-то не подвергаются остракизму со стороны интеллектуального сообщества. Даже занимают свое уважаемое место на правом фланге. В чем же дело с Солженицыным, мягкотелым либералом и образцом беспринципного хлебосольного плюрализма и терпимости по сравнению с вышеназванными суровыми джентльменами? Даже после такого беглого огляда обстановки, никак нельзя принять собственное объяснение заинтересованных сторон, что им плох Солженицын по принципиальным соображениям, неприемлемо все его право-консервативное мировоззрение.

Попробуем лучше посмотреть на природу происходящего с циничной экономической точки зрения. Обсудим догадку, что Солженицын каким-то образом нанес ущерб корпоративному смыслу существования и корпоративному интересу интеллектуальной элиты, ее месту в обществе, пошатнул общественное положение всей группы, независимо от политических взглядов и далеко выходя за пределы обсуждаемых узких русских вопросов.

Подход к объяснению

Еще до подробного разбора приведу пример, который может намекнуть на существо дела. Джин Киркпатрик выдвинула и бросила в массовую печать положение, что авторитарные режимы в слаборазвитых странах Латинской Америки и Юго-Восточной Азии имеют сравнительные преимущества перед режимами социалистических стран. Солженицын еще до того отмечал сравнительные преимущества авторитарного государства для России начала XX века, по сравнению с последующим режимом, и обсуждал гипотетическую полезность авторитарного устройства для переходного периода после коммунизма.

И вот Киркпатрик приемлема и стала героиней у нео-консерваторов, а на Солженицына вешают бубновый туз. Видимо, дело не в самой идее, а в ее приложении, в том, что из нее вытекает в жизни. Сама идея в общем виде была еще у Джона Стюарта Милля (от него попала к А. И. Герцену), а сильная наметка у Адама Смита: приоритет экономической свободы (независимость человека) над политической, экономическая свобода является необходимым, хотя и недостаточным, условием политической свободы, а одна политическая свобода, без экономической, может обернуться хаосом и затем рабством. Это уже классика. Видимо, задевает интеллектуалов только русское приложение идей, к российским 1900—1910 годам и советским 1980-м—1990-м. Как объяснить такое дифференцированное отношение?

В Латинской Америке, Юго-Восточной Азии и других странах интеллектуальная элита имеет огромное влияние и при правых (авторитарных, военных), и при либерально-демократических, и при левых (коммунистических и национал-социалистических) режимах. Интеллектуальные круги, за исключением небольших групп великовозрастных студентов, полностью инкорпорированы в правительственные учреждения и советнические службы или занимают иное престижное и влиятельное положение. Будь то рыночники — выпускники Чикагского университета в Чили — или государственники — выпускники Гарвардского и Йельского университетов — в Мексике и других полусоциалистических странах Латинской Америки, различие между ними политическое, идеологическое, а не социальное. В целом интеллектуальный класс имеет возможность творить историю и руководить народным быдлом. В царской России, за несколькими личными исключениями в XIX веке, бюрократия и предрежущие власти пополнялись особым образом, помимо интеллектуальных кругов, и были не слишком проницаемы для влияния последних. Интеллектуалы как целое, как олицетворение группового интереса, и правые, и левые — находились в вечной оппозиции.

Солженицын не только не считает такое положение вещей ужасным насилием над свободой, не только виноватит все русские интеллектуальные партии того времени,

хоть правые, хоть левые, порой интеллектуально возвышая над ними аппаратных бюрократов, но и на обозримое будущее не обещает лучшей перспективы. Он как бы заранее лишает интеллектуальную элиту ее прирожденного права на водительство. Он чуть ли — да даже и не чуть ли — не проповедует невмешательство интеллектуалов в историю. Писать, выбрасывать идеи на рынок — пожалуйста, а лезть руководить, навязывать идеи народу, захватывать рынок — этого нельзя. Но не могут же врачи общества не подвергнуть остракизму человека, отрицающего гражданское право общественного врачевания в России даже как таковое! Человека, клеветущего, что претензии на общественное врачевание кончаются кровопусканием. Вот это покушение на прирожденное гражданское право интеллектуалов претворять идеи в жизнь и делает Солженицына классово враждебным, классово опасным элементом, независимо от идеологий.

(Дополнение 1990 года: эта гипотеза с тех пор была дважды проверена на исторической практике и нашла подтверждение. Рассмотрим оба случая. Когда в СССР напечатали «Как нам обустроить Россию?», ряд видных представителей либерально-демократической интеллектуальной элиты, даже и не социалистической, вдруг отнесся к этой работе враждебно. И ведь по существу — соглашались с основными положениями и с нерегулируемым свободным рынком, и с частной собственностью на любое производство, банки и землю, и с упразднением колхозов-совхозов, и с выборностью властей, и с иерархией властей на федерально-земской основе, и (впрочем, с оговорками — жалко политического раздолья и больших тиражей) с роспуском империи, и с уничтожающей критикой националистов и национал-коммунистов, и, может быть, даже с отменой прописки. А в целом — неприятие, и не критика деталей, а именно неприятие интеллектуального поля, мировоззрения. Так в чем же дело? Откуда накаленный пафос неприятия? Да ведь в солженицынском предложении общественного устройства даны жесткие конституционные рамки — свободные экономические рынки и подконтрольные политические учреждения, а для социально-политического творчества интеллектуальной элиты и места не остается. Влияния на историю и на народную жизнь не остается. Или, употреблю точное, но забытое старое слово: не остается — местечек. Современный американский опыт показывает, что жесткие конституционалисты, сторонники неизменной власти закона, устойчивых неменяемых правил общежития, сторонники минимальной роли политического рынка вызывают растущее сопротивление интеллектуальных групп. В 1987 году, когда президент Рональд Рейган рекомендовал судью и профессора Роберта Борка (строгостоящего конституционалиста, ученика основателя экономической теории права Эрона Дайректора) на освободившееся место в Верховном суде, вся либерально-демократическая Америка, все университеты, профсоюзы, прессы, все группы специальных интересов, все политические лобби встали на дыбы. Такого накала страстей не было со времен Вьетнамской войны. Сенаторов задавили письмами и звонками от организованного меньшинства избирателей, угрозами демонстраций и неизбрания на новый срок, и один за другим, вполне толковые сенаторы, сами юристы по профессии, отлично знающие, какой выдающийся мыслитель и знаток Конституции Борк, сдавали позиции и в итоге провалили Борка. <...>)

Солженицын попал в самое чувствительное место: он разработал вопрос о цене идей для людей — о цене идеологий вообще, не только неправильных (с одной или другой точки зрения), а любых, — о цене социальных устройств интеллектуалов для простых людей.

Есть табу, которые никому, даже Нобелевским лауреатам, не рекомендуется нарушать. Нельзя говорить об экологических последствиях научного прогресса, зато можно — об экологических последствиях роста экономического благосостояния. Хотя верно и справедливо первое, а не второе, но контроль над вторым увеличивает свободу творчества интеллектуалов, их государственническую власть над рынком, а контроль над первым — уменьшает, устанавливает контроль людей и рынка над ученым творчеством. Но это всего лишь наука — удел избранных, меньшинства интеллектуалов. А большинство занято социальным творчеством, производством общественных идей, которые они хотят сбывать, претворить в жизнь, уж там берет их несознательный народ или не берет. И поэтому можно говорить о человеческих, социальных последствиях политической деятельности, но нельзя — о последствиях деятельности идейной. Солженицын нарушил это — самое страшное — табу.

Солженицын, свобода и государство

С экономической точки зрения, Солженицын, вопреки общепринятой мудрости, является оригинальным и своеобразным либертарианцем — крайним сторонником свободы человека от государства. Он является единственным значительным либертарианцем, когда-либо печатавшимся на русском языке. Отмечу, что либертарианизм чужд русской интеллектуальной традиции. Солженицын сам отмечал (в частности, в предисловии к книге В. В. Леонтовича «История либерализма в России», каковую, характерно, Солженицын издал по-русски), что русское интеллектуальное сообщество особенно тем, что никогда не понимало подлинный классический либерализм. Отмечу, что доказательство сему содержится в самом современном русском языке.

С появлением понятия «интеллигенция» в России в середине 19-го столетия русские термины, обозначающие городского домовладельца, мелкого собственника и мелкого предпринимателя, «обыватель» и «мещанин» — термины из того же культурного поля, что *burgher*, *citizen* и *businessman* в английском языке, *citoyen* и *bourgeois* во французском и *Burger* в немецком, — изменили свое смысловое наполнение в прессе, в литературе, а впоследствии и в общераспространенном употреблении. Уже свыше ста лет слова «обыватель» и «мещанин» обозначают тупое, жадное, узколобое, антиинтеллектуальное существо. Чтобы совершить такой изумительный переворот в языке, все русское интеллектуальное сообщество упорно трудилось несколько десятилетий. Так эти слова и закрепились — зато понятие «интеллигентный человек» приобрело над-описательное, над-социальное значение. Это уже не представитель определенного рода занятий и общественного положения, а сливки общества. Понятно, что и эту языковую операцию совершили не обыватели. Сходно в современном русском языке особым почтительным наполнением сопровождаются слова «государство» и «держжава». Их часто пишут с заглавной буквы.

На этом фоне Солженицын, его мысли, его образное поле, его словоупотребление — совершенно беспрецедентны. Мне кажется, что ключик к пониманию мира Солженицына можно найти в одном неожиданном отступлении в «Архипелаге ГУЛАГ» — в замечании к истории солженицынского знакомого по ссылке, Григория Самойловича М-з. Напомню, это был в прошлом партийный деятель в должностях и на войне. Как-то начальство послало его на передовую передать воинской части приказ к отступлению. Если бы он передал приказ, возможно, сколько-то солдат и офицеров могли бы спастись. Но М-з испугался, что самого убьют на передовой; он остановился, не доехав, обнял дерево и дал молитвенную клятву Иегове, что, если ему удастся выжить, он посвятит остаток жизни следованию религиозным заветам. Воинская часть погибла или попала в германский плен, М-з выжил, отсидел срок в советских лагерях и еще годы в ссылке. Со всех возможных оценочных точек зрения, перебирает Солженицын, этот человек достоин морального осуждения как самовлюбленный эгоист, пожертвовавший жизнями сотен людей ради одной своей; у этого человека так же нет и принципов, он предал своих товарищей по армии, он не патриот, и еще он фактически помог злейшему врагу своего (еврейского) народа. Но, вдруг поворачивает Солженицын, он не осуждал этого человека, поскольку есть измерения совсем иного и более существенного порядка. Человек — хозяин своей жизни. Разве общественные учреждения, государство или армия или иные коллективы родили человека? — спрашивает Солженицын (этот же вопрос возникает и в другом эпизоде, он явно сквозной для Солженицына). Вот ядро Солженицына: «Он стоит неподвижно под снегом, как часть этой природы. Разве родило его на свет — государство? Почему же государство присвоило себе решать — как этому человеку жить?» Естественная основа жизни возвышается над присягами и другими государственными связками и межчеловеческими долгами — вопреки всем идеологиям. <...>

(Дополнение 1990 года: <...> Солженицынский подход не оставляет никаких разумных и идеологических оснований государственного навязывания человеческих путей, кроме голого произвола. Солженицын буквально лишает государственников и противников свободы каких бы то ни было аргументов, причем достигает этого простейшей естественной ссылкой. Он делает естественное, обычное право буквально естественным правом — и это сразу выводит государство из области господства в область подчинения и службы (как ему и положено). Я не знаю в истории мировой общественной мысли столь бесподобно простого и бесспорного решения основного вопроса человеческого существования.)

**Не анархизм ли это? Вольность и своеволие.
Выведение власти закона**

Такое крайнее антигосударственничество, проходящее через многие высказывания и образы у Солженицына, привело одного критика к крайнему же заключению, что Солженицын — вообще анархист. Заостряя, можно сказать, что эта характеристика ближе к пониманию Солженицына, чем фальшивое приписывание ему авторитаризма и чрезмерного государственничества. Все-таки мне представляется, что для Солженицына разница между его либертарианизмом и настоящим анархизмом очень значительна. К слову, не менее значительна, чем для другого русского уника, Эйн Рэнд. (Это американская писательница русского происхождения, автор знаменитых и очень популярных философско-экономических романов 1930—1960 годов, сильно повлиявших на распространение либертарианских идей в Америке.) Солженицын многократно недвусмысленно отвергал анархизм как проявление насилия и произвола. Анархизм на деле — тоже ущемление свободы человека, как и государственничество, только способом ущемления является не государство, а голая групповая агрессия. Все равно в этом случае жизненные предпочтения одних людей навязываются другим, а цена навязываемого образа жизни для его жертв — списывается со счетов, как и при остальных идеологических подходах. В практической жизни анархизм представляет собой очередное проявление властолюбия специальных групповых интересов, обычно — интересов, не нашедших себя в устоявшемся обществе интеллектуалов. Анархизм так же наполнен антирыночным содержанием, как и остальные социалистические начинания. Его антигосударственничество — мнимое, так как устранение рыночного хозяйства из жизни заставит любых анархистов применять властьобразующее насилие, а это и есть государственничество.

В одной из своих статей в сборнике «Из-под глыб» Солженицын отвергает две симметричные концепции свободы: коллективистскую, социалистическую концепцию свободы как подчинения человека групповым или государственным целям — и анархическую концепцию свободы как произвола, бесплатного катанья за чужой счет. (Дополнение 1990 года: Сказанное не означает, что в целом сборник «Из-под глыб» выдержан в этом же кругу мысли. Мне кажется, что Солженицын уникален и одинок даже в этой, собранной им книге. Для меня в этом сборнике много отрицательного. <...>

Не близко мне (у самого Солженицына) и одобрение «Вех», в каковых пафос антинародничества легко переходит в высокомерную элитарную антинародность и государственничество. Еще и образ нации как личности: его можно повернуть и так и этак. Азбучно, что у каждой нации есть свои традиции, своя культура — можно сказать, свое историческое лицо. Так же как у отдельных личностей, у национальных групп существуют эгоистические национальные интересы, экономические и политические. Они по способам осуществления не отличаются от любых групповых интересов: классовых, профессиональных и т. д. — борются себе на политической арене, на политическом рынке за передел общественного пирога. Меня беспокоит иной поворот образа нации-личности: если буквально утверждается, что нация — не общность людей, а совокупная целостная групповая личность, идущий от немецких романтиков *Volkgeist*. Поскольку нация все-таки общность и физически не может говорить от своего единого имени, то ее политическая жизнь может развиваться двояко. Либо интересы этой общности выражаются представителями (выборными или произвольными), признающими нацию как общность и потому вынужденными считаться со всем конгломератом общности, включая несуразные меньшинства и выпадающих из образа отщепенцев. Либо нация объявляется единой целостной личностью, имеющей групповое сознание, воплощенное в тех или иных индивидуальных личностях. В этом случае автоматически возникают самоназначенные выразители этой национальной личности, говорящие от имени и по поручению. В лучшем случае, групповое сознание, определенное самозванными выразителями нации, навязывается остальным людям. В худшем случае, идет резня индивидуальных предателей и отщепенцев коллективной личности. Я ничего не имею против образа нации-личности как культурной идеи и возражаю против этого образа как политической и экономической идеи. Сказанное в этом примечании — выжимка моих статей, ходивших в 1974—75 годах по рукам в узком кругу (это называлось Самиздат); эти мои взгляды с тех пор не изменились. Заодно, может быть, это примечание

увеличит доверие русских читателей к моей статье, показав, что я не принадлежу ни к каким кругам или идейным группировкам.)

В тот же год, когда напечатаны статьи Солженицына, в сборнике «Из-под глыб», Джеймс Бьюкенен завершил свою важнейшую книгу, под характерным названием «Между Анархией и Левиафаном». Для Солженицына, как и для англосаксонской либеральной и либертарианской традиции, от Юма и Смита до Фридмана и Бьюкенена, свобода от ограничений на индивидуальные действия необходимо дополняется свободой от несения недобровольных и некомпенсируемых тягот, свободой от навязывания чужой воли. Свобода одного человека должна кончаться там, где при этом ущемляется свобода другого (прекрасный экономический анализ этого сделан Томасом Муром: Thomas G. Moore, «An Economic Analysis of the Concept of Freedom», *Journal of Political Economy*, vol. 77, no. 4, pt. 1, 1969, pp. 532—542). Последнее условие, конечно, лежит в самой основе права, власти закона, и является первым основанием для существования нормального правового государства.

Существует основополагающая разница между вольностью и своеволием. Это антиподы. Вольность — это независимость человека и от государства, и от своеволия остальных людей. Своеволие ущемляет свободу, а совокупность своеволий ведет к гражданской резне. Совокупность своеволий создает гоббсовскую «bella omnia contra omnes». Закон и основанное на законе государство ограничивают людские своеволия и тем обеспечивают личную свободу. <...>

Солженицын решает вопрос вольности и своеволия, настаивая на сочетании личных гражданских прав и общих гражданских прав (прав общества на основе личной ответственности). Социальные экспериментаторы, выразители групповых интересов интеллектуальной элиты, разумеется, отстаивают своеволие. И у них с Солженицыным, извините за выражение, классовый конфликт.

(Дополнение 1990 года В русском интеллигентском языке произошло характерное смещение, даже подмена понятий. Когда-то пользовались словами «гражданские свободы», «личные свободы», «гражданские права», но эти понятия не прижились. В новейшее время вошли в обиход «права человека». Казалось бы, это кальки с английского и французского, равноценные переводы одинаковых понятий. Присмотримся. В английском вообще нет понятия «права человека». Декларация Независимости, Американская Конституция, ее Билль о Правах и последующие решения Конгресса и Верховного Суда говорят о «человеческих правах», а не о «правах человека». Нигде не говорится о «правах индивидуума», зато есть «индивидуальные права», или «личные права». Также и «гражданские права», а не «права гражданина». Во французской Декларации «Права Человека и Гражданина» пишутся с заглавной и означают Человека вообще, человека как биологический вид, и Гражданина с определенным артиклем, то есть Гражданина как общественное состояние Человека. (Интересно, что когда Солженицын в 1970 году в заочной речи на Нобелевской церемонии положительно отметил «Права Человека», он писал их именно с заглавной, в изначальном франко-английском смысле.) Короче, ни в английском, ни во французском, нет прав и свобод человека как обособленной единицы, есть права и свободы человека как члена человеческого сообщества — то есть неделимые права всех людей. Языковая разница ощутима. Она отражает разницу мировоззренческих подходов и групповой интеллектуальный интерес именно в первенстве прав личности над правами людей. «Права человека» вместо «человеческих прав» или «Прав Человека» — это такая же подмена понятий, подходов и ценностей, как и в известном анекдоте о Л. И. Брежнев: «Мы говорим: все во имя человека все для блага человека, и вы видите этого человека». При этом ряд русских интеллектуалов очень обиделся на Солженицына за наблюдение, что «права человека» не гарантируют гражданской свободы и нуждаются в уравнивании. Эта обида — такая же классовая обида, как и предыдущие, хотя часто и подается как защита правовых начал. Однако правовые начала противоречат «правам человека», эти начала защищают «человеческие права». В этом и есть разница между, соответственно, своеволием и вольностью. И еще один характерный сдвиг. Часто с одобрением цитируют слова из русского перевода «Коммунистического Манифеста» что «свободное существование каждого является основой свободного существования всех». На самом деле это просто невозможно. Только свободное существование всех является основой свободного существования каждого. За математическое доказательство того, что невозможно хорошее мирное общество, основанное на свободе каждого, Кеннет Эрроу получил в 1972 году Нобелевскую премию по экономике. <...>)

Солженицын о естественном, обычном и общественном праве

Но более и сверх того — Солженицын хотел бы видеть государство и судебно-юридическую власть не только вторичными по отношению к свободе, но и вообще ненужными социальными изобретениями. Он принимает государство и закон как полезную необходимость, но не как основу существования. <...> В этом причина критики Солженицыным юридически заостренного мышления и существования Америки. Эта критика — не собственно правовая, а мировоззренческая — напоминание, что человек выше закона, и свобода — выше прав человека.

Закон необходим, потому что одни люди стремятся ограничить свободу других людей, но такое устройство общества на договорных ограничениях — не высшее с точки зрения естественной изродной свободы. Общественное и даже обычное право не достигают глубин естественного права изродной свободы человека.

Присмотримся. В свободном обществе люди вступают в добровольные, взаимовыгодные отношения. В то же время людям свойственно обжигать друг друга по ходу этих отношений и проезжаться за чужой счет везде, где это удастся. Люди все время вольно или невольно наносят ущерб другим людям. Соответственно, общественные контракты для того и существуют, чтобы пресекать такое антиобщественное поведение. Самыми общими контрактами являются, на первом месте, власть закона и конституционные правила-начала и, на втором месте, власть большинства в обществе, осуществляемая через выборные учреждения. При усложнении общества, обычное право переходит в общественное, государственное право.

Но, вклинивается Солженицын с неожиданным наблюдением, лучших результатов можно достигнуть без всего этого, простым естественным путем — самоограничением. Если свобода одного человека кончается там, где ущемляется свобода другого — так пусть люди сами, без принуждения, добровольно не ущемляют чужую свободу! Солженицыну явно настолько неприемлемо всякое принуждение, что он ищет, какое устройство человеческого общежития вообще вывело бы принуждение из общества. Не остается иного удовлетворительного ответа, чем добровольно доброе поведение, <...> то есть оберегающее чужие интересы, свободу и независимость. <...>

Может ли такое быть? Солженицын не говорит, что может, но уговаривает, что надо попытаться так жить. Экономисты тоже могут что-то сказать в этом контексте. Адам Смит решал — и решил — сходную проблему. Напомню, что Смит еще не назывался профессором политической экономии, это пришло позже. Смит был профессором моральной философии. Политическая экономия как раз и родилась из моральной философии — из стремления решить задачу о добром для человека обществе. Но Смит повернул вопрос боком. Он спросил, не — как создать доброе общество с добрыми людьми, а — какое из существующих, самосозданных обществ с нормальными, не обязательно добрыми, а может быть и совсем недобрыми людьми, может оказаться добрым обществом. Не как добрые люди сделают общество добрым, а как одно из обществ сделает сообщество недобрых людей добрым обществом. Как доброе общество может самосоздаться и существовать на основе добровольного, но не доброго поведения. Наверное, в истории человеческой мысли нет ничего парадоксальнее этого вопроса. Смит решил задачу, потому что он увидел, что основы такого общества уже существовали перед его глазами, в современных ему Англии и Шотландии.

В отличие от обществ охотников и собирателей, натурального крестьянского хозяйства, рабовладельческих плантаций, феодально-налогового хозяйства и различных государственных хозяйств, рыночное хозяйство свободных предпринимателей предполагает **непреднамеренное партнерство**. Каждый человек является либо продавцом, либо покупателем чего-то — товара, труда, услуг, денег, собственности, а обычно и продавцом, и покупателем по отношению к разным людям. Продавцы и покупатели непреднамеренно заинтересованы друг в друге. Они не хотят выбытия друг друга: чем больше продавцов, тем дешевле достанется товар (труд) покупателю; чем больше покупателей, тем дороже удастся сбыть товар (труд) продавцу. Они заинтересованы в экономическом процветании друг друга. Они стараются произвести как можно больше, предложить как можно лучший товар (труд), повысить количество, качество и производительность — а этим снижаются затраты и цены, и растет общее благосостояние. Так, **исходя исключительно из своего личного эгоистического интереса, совсем не добрые люди непреднамеренно творят общественное благо и благотворят ближнему —**

как если бы, дополняет Смит свой изумительный образ, они были движимы Невидимой Рукой!

Солженицын ищет нечто вроде такой же невидимой руки, объединяющей людей в доброе общество, но преднамеренно, то есть, чтобы люди сами себя вели по-доброму. Современная, послесмитовская экономическая теория во многом развивается в том же направлении, что и этот поиск Солженицына. Современная теория добавила Смитов динамическую, долгосрочную перспективу. Когда участники рыночных операций исходят из долгосрочных соображений, они заботятся о своей репутации, стараются основать длительные отношения с партнерами. Во времена худой конъюнктуры рынка они продают товар подешевле, стараются сохранить жизнеспособность партнера; предприниматели обычно не понижают зарплаты, несмотря на периоды деловых спадов (до недавнего времени этот феномен непонижения зарплаты при спадах был большой экономической загадкой), а рабочие не требуют повышения зарплаты в первоначальные периоды делового подъема, дают предпринимателям оправиться. Все это описано в трудах школы «имплицитного (непisanого) контракта» — в работах Мартина Бэйли, Костаса Азариадиса, Джозефа Стиглица и других. Артур Окунь, один из самых остроумных экономистов XX столетия, писал, что Невидимая Рука рынка дополняется Невидимым Рукопожатием человеческих участников рынка.

Солженицын хотел бы найти такое невидимое рукопожатие и за пределами экономических отношений, на политической арене, в общежитии вообще. Экономисты и другие циники считают, что там самоограничения нет, что там есть только ограничения своеволия законами и борьба групповых интересов за передел общего добра. Пока что идея самоограничения остается моральным призывом, Солженицын и не рассматривает ее иначе. Хочу повторить, что эта идея — производна от стремления к не-государственному, не-принудительному устройству общества, или параллельна такому стремлению.

Славянофилы, община, Февральская революция

Солженицын немало удивил и либералов, и консерваторов, когда он признался на встрече с японскими журналистами и исследователями в сентябре 1982 года, что никакой он не славянофил, никогда им не был, и никакого влияния славянофилов не испытал. <...> Тут еще надо сказать, что и славянофилы не так страшны, как их часто изображают, в русских экономических спорах XIX столетия они были «фритредерами», сторонниками свободной торговли, последователями Адама Смита и Давида Рикардо. <...> Славянофилы были, по своим временам, большими экономическими либералами и меньшими государственниками, чем западники. Солженицын разделяет со славянофилами другое — их прославление русской сельской поземельно-переделной общины.

Солженицын рассматривает общину как существенную форму зависимости крестьянина, не меньшую, чем крепостное право. Община означала экономическое господство государства, даже и не помещиков, не частных владельцев над крестьянами, — налогами облагалось сельское общество коллективно, а оттого логически отменялась крестьянская частная собственность на землю. Общество собирало налоги для государства, общество соответственно могло переделить землю, поравнявая с целью сбора налогов. Коллективистская система ограничивала улучшение землепользования и производительность, сковывала экономическое развитие и укореняла бедность.

На десятках страниц «Августа Четырнадцатого» Солженицын описывает, как правительство П. А. Столыпина в 1906—1910 годах работало над упразднением института общины и устанавливало частную земельную крестьянскую собственность в России — превращало крестьян в фермеров. Солженицын также описывает, как большинство политических партий новосозданного Российского парламента, одинаково и левые, и правые, и большинство интеллектуального общества, сопротивлялись этой главной рыночной реформе в русской истории. <...>

Здесь придется с огорчением сказать нечто очень неприличное и невежливое и обидеть американских любителей предреволюционной русской интеллигенции и представительных институтов. А именно: те, кого называют русскими либералами, не были таковыми в смысле англосаксонской традиции классического либерализма. У них не было ничего общего ни с Юмом, ни со Смитом, ни с Бёрком, ни с Мальтусом, ни с американскими конституционалистами. Солженицын в предисловии к книге В. В. Леон-

товича «История либерализма в России, 1762—1914» выделил мысль автора, что единственной либеральной силой, пусть и непоследовательной, было в современной русской истории царское правительство. Тогда как наиболее антилиберальной, антирыночной силой было интеллектуальное общество.

<...> На инвентарном листе доказательств антидемократизма Солженицына на самом верху записывается его отрицательное отношение к Февральской революции и той приказавшей долго жить русской демократии. Тут надо сказать, что послефевральские правительства не стремились ко всеобщей свободе и даже, как отмечено выше, ущемляли экономические и гражданские свободы по сравнению с царским правительством. Послефевральский режим достиг много, для чего и создавался: он обеспечил высшую степень исключительной свободы для интеллектуальной элиты за всю русскую историю — свободы для всех групп бороться за свой вариант социальных экспериментов на народной шкуре. (Дополнение 1990 года. И интеллектуальную элиту было бы уместно по-русски называть: знать.) Естественно, в такой борьбе победил сильнейший — большевики. Отмечу, что социализм с человеческим лицом может существовать и существовал в истории, известно несколько, пусть недолгих, случаев: меньшевистская Грузия в 1918—1921 годах, ранняя фашистская Италия в 1921—1926 годах, перонистская Аргентина. Россия между Февралем и Октябрем 1917 года представляет прекрасный пример такого рода достойный учебников. Было очень мало экономической свободы: запрещена частная торговля хлебом, затем были запрещены земельные сделки и фактически уничтожена частная собственность на землю и свобода распоряжаться как землей, так и урожаем, продуктами своего труда; большая часть цен контролировалась правительством; зерно фактически конфисковывали у производителей, продразверстка бушевала; страной управляли и над народом измывались борющиеся между собой различные самоназначенные комитеты из интеллектуалов и политиков; сохранялась обязательная прописка. <...> Зато была неограниченная политическая свобода для всех налево от центра (правым свобода была не положена). <...>

Самым значительным актом либерально-демократического Временного правительства был закон 28 июня 1917 года. В этот день правительство славянофила Львова в союзе с эсером Черновым приостановило действие столыпинской аграрной реформы. Были запрещены все земельные сделки в России, фактически отменены все предшествовавшие земельные контракты, то есть, по существу дела, была отменена частная крестьянская собственность, да и частное распоряжение землей. Великий социалистический эксперимент начался за несколько месяцев до того, как коммунисты захватили власть, и не удивительно, что Солженицын не очень нежен в отношении этой — не демократии, а элитократии. <...> Солженицын в одной из статей сборника «Из-под глыб» приводил слова Блаженного Августина, что государство без справедливости есть власть шайки разбойников. Это относится ко всякой власти защищающих групповые интересы интеллектуальных и политических элит, не только к одному коммунистическому режиму.

Демократия, конституционный порядок и государство

Критика Солженицыным демократии за защиту групповых интересов и за потерю всеобщего общественного служения поразила многих на Западе. Знакомство с современной западной экономической и конституционной литературой позволяет увидеть, что Солженицын не говорит ничего крамольного. Демократия, не ограниченная конституционными рамками, невозможна как общественное служение, она вырождается в игру групповых сил на политическом рынке, в борьбу за передел общественного пирога, в социально-перераспределительное государство. Об этом пишут нобелевские лауреаты по экономике Фридрих Хайек, Милтон Фридман, Джордж Стиглер и Джеймс Бьюкенен, будущие лауреаты Гэри Беккер, Гордон Тюллок, Оливер Уильямсон, теоретики права Эрон Дайректор, Роберт Борк, Ричард Познер, Р. Атаия, политолог Джон Фереджон и многие другие. Существует целая школа последователей Бьюкенена, издающая влиятельный научный журнал «Общественный выбор» («Public Choice»), в каждом номере которого разбираются эти вопросы. Тут дело не в Солженицыне, а в действительной исторической дилемме: политическая свобода, не ограниченная конституционными рамками общественного интереса, разрушает рыночную цивилизацию. (До-

полнение 1990 года: Как сейчас образно говорят в Советском Союзе, все тянут одеяло на себя. Но в этом и кроется природа политического рынка. На экономическом рынке — создают, на политическом рынке — делят, перераспределяют.) Поэтому Бьюкенен и выдвигает как общий принцип: максимизировать сферу работы экономических рынков, минимизировать сферу работы политических рынков. Это — изложенное на экономическом языке классическое требование основателей Американской Конституции — требование ограниченного государства с четким узаконением функций и государства, и граждан. <...>

Что такое национализм?

В открытом письме Президенту Рональду Рейгану Солженицын объясняет, что его часто и напрасно американские интеллектуалы называют националистом. Здесь я попытаюсь показать, что Солженицын не может быть националистом. Для этого надо, наконец, определить, что такое национализм. Джордж Стиглер недавно отметил, что экономической теории национализма пока нет, а она очень нужна. Пока мы ждем ее появления, я попытаюсь изложить один возможный подход, исходя из уже существующей литературы и моих собственных разработок.

Национализм и древен и современен. Как поведение, национализм представляет собой выражение претензий одного племени на богатство другого, при отсутствии или невыгодности рыночного обмена между племенами. Современный национализм как поведение и особенно как идеология — это реакция на рыночную цивилизацию. Рынки разрушили феодальные стены между классами и сословиями и открыли равные возможности для каждого человека конкурировать на рынках за социальную и экономическую мобильность, за улучшение социального положения своего и своих наследников и потомков. Между тем, старые стены и ограничения индивидуального продвижения часто строились по национально-племенному признаку. Многие люди, и особенно интеллигенция (численное предложение которой всегда превышает рыночный спрос! — и здесь ключ ко всей этой истории), хотели бы избежать слишком большой конкуренции. Этим людям трудно бороться на рынке за положение и влияние, или, даже достигнув успеха, они не удовлетворены размером своего влияния, размером своего рынка, и они хотят увеличить и навсегда закрепить свой успех, объехав рынок по кривой.

В многонациональных обществах удобно объехать рынок, собрав групповые силы по признаку единой племенной принадлежности. Определим национализм — это движение, которое перемещает общественные устои с рыночной конкуренции между личностями на внерыночную конкуренцию между племенными группами.

Из сказанного вытекает несколько следствий. Во-первых, наиболее эффективным образом действий для националистов является опора на государство против свободных рынков. Во-вторых, особые условия, которых националисты добиваются при помощи государства — это поощрение вертикального продвижения представителей своей группы в государственных учреждениях, во всех сферах образования и культуры, всевозможные привилегии в области сбыта (от цены на помидоры до тиражей книг), прямые и косвенные дотации, всевозможные формы монополизации наиболее богатых и престижных рынков, кадровые квоты, и особенно — ограничения, наложенные на конкурентообразующие формы деятельности других национальных групп. Так, мало кого беспокоит, что в Советском Союзе ассирийцы занимаются ремонтом и чисткой обуви — в эту сферу мало кто стремится. Иное дело — наука, государственный аппарат, литература и так далее — здесь острая групповая борьба.

Национализм — это форма государственничества. Националисты особенно борются за положение в государственном аппарате и связанных с ним идеологических структурах, за их монополизацию. Здесь — наибольшие возможности для интеллектуальных групп, поскольку большинству интеллектуалов всегда трудно на рынке. Отсюда вытекает третье важное следствие: национализм наиболее привлекателен для интеллигенции, национализм наиболее представлен среди интеллигенции, национализм является по преимуществу социальным движением интеллигенции.

Внутри бюрократии национализм создает долгосрочные структуры, гарантирующие коллективные привилегии и страхующие коллективный успех. Если назвать вещи своими именами, то национализм — это гангстерский рэкет, стремящийся перераспределить плоды рынка и цивилизации в пользу той или иной группы. Национализм начинается как самодельный рэкет, но стремится стать рэкетом при помощи государства.

Как антирыночное перераспределительное движение национализм образует альянсы с другими государственно-бюрократическими образованиями, первое всего с различными формами социализма. Социалистические устройства общества со всеобщим государственным проникновением чрезвычайно удобны для националистов. В социалистических государствах все националистические движения являются, в том или ином виде социалистическими движениями, той или иной разновидностью национал-социализма. Это лучший способ осуществить групповые интересы. Многонациональные социалистические государства превращаются, кроме всего прочего, в перманентную борьбу национализмов — не против общесоциалистического государства, а за обладание им и использование его против остальных групп. Нет национализма, который рано или поздно не заключил бы социалистический альянс и не стал бы национал-социализмом. Я не знаю исключений из этого правила.

Национализм и его социалистическое превращение — это всеобщее мировое явление. Националистические борения внутри общего многонационального и интернационального социализма тоже мировое явление. Поэтому неверно рассматривать различные национализмы и национал-социализмы в Советском Союзе как какое-то российское отклонение социалистического общества. Социализм как крайнее государственно-бюрократическое устройство везде создает наиболее привлекательное поле приложения сил для националистов. <...> Нет социализма, который не разбудил бы националистические движения. Нет национализма, который не воспользовался бы социализмом.

Для Солженицына привилегии общественного продвижения по групповому признаку ограничения и квоты, государственно-племенной гангстерский рэкет — неприемлемы как минимум по двум причинам. Во-первых, они угнетают различные национальные группы. Во-вторых они коррумпируют те группы, которые этим пользуются. Таков же взгляд самого крупного экономического исследователя этих вопросов, Томаса Соуэлла. Он показывает, что преследование и экономические ограничения китайцев в Малайзии и преимущественное продвижение малазийцев навредили малазийцам больше, чем китайцам. Последние получили дополнительный стимул налечь на труд и образование, а малазийцы — обленились, ушли с рынка, переориентировались на государственные службы, а это замедлило их экономическое развитие. Соуэлл приводит немало сходных историй по всему миру.

В случае с Солженицыным можно, как редко бывает в неточных науках, произвести настоящий лабораторный опыт. Что должен говорить националист и что говорит Солженицын? Русские националисты призывают русскую интеллигенцию и молодежь проникать в государственные и около-государственные структуры (образование, культуру, науку), завоевывать их, овладеть аппаратом, захватить львиную долю всех важнейших рынков. Это адекватная националистическая установка. А вот Солженицын, в статье «Образованщина» в сборнике «Из-под глыб», призывает интеллигенцию и молодежь всех национальных происхождений, полностью уйти из государственной системы, даже пожертвовав при этом не только карьерой, но и образованием, а для пропитания — работать на низших работах. Эта установка диаметрально противоположна национализму. Сторонник этой установки не может быть националистом — по определению. Что и требовалось доказать.

Патриотизм

В том же письме Президенту Рейгану Солженицын говорит о патриотизме как о противоположности национализма. Он считает себя русским патриотом в том смысле, в каком Рейган является американским патриотом.

В Америке обычное определение патриотизма очень точно, тогда как в Советском Союзе запутано. По американским понятиям, патриотизм — это готовность принести в жертву индивидуальные интересы, включая жизнь, ради интересов всех соо-

теснителей. Еще Адам Смит в 1759 году, в своей первой книге «Теория моральных сентиментов» определял естественную иерархию интересов человека как концентрические круги, где преданность зависит от дистанции: каждому ближе свои дети, чем чужие; дети ближе, чем дальние родственники; родственники и друзья — ближе, чем посторонние; соотечественники ближе, чем чужаки и так далее. Таковы же и концентрические круги у Солженицына в книге «В круге первом»: семья — нация — человечество. Солженицын отмечает, что человеку естественно защищать интересы ближайших кругов по сравнению с более отдаленными, но общество, то есть вся совокупность людей, заинтересовано в подходе, балансирующем интересы всех этих кругов.

Патриотизм балансирует интересы личности (и семьи) с интересами соотечественников. Если все будут защищать только личные интересы и никто не будет жертвовать, вся нация может погибнуть или потерять благосостояние в случае нападения чужаков. Если люди будут сочетать личные интересы и интересы сограждан, кто-то погибнет, но большинство, в том числе и семьи погибших, будут защищены. Поэтому патриотизм необходим, а, с экономической точки зрения, также и выгоден обществу в целом и каждому члену общества в отдельности. Такой экономический подход несколько не дегероизирует патриотизм, потому что жертвенность человека по отношению к согражданам остается. Остается и включение интересов сограждан в свои личные — семейные, и получается, что соотечественники это как бы большая семья. Еще большая семья — человечество, но такое сознание появляется лишь на поздней ступени развития цивилизации. Оно балансирует интересы личные, патриотические и общечеловеческие.

Государство остается совершенно в стороне от всего этого. Национализм и государство неотделимы. Патриотизм и государство находятся на разных плоскостях, на независимых друг от друга пластах бытия. Патриот может быть противником своего государства, желать ему поражения, считая, что это — в интересах соотечественников. Именно такой — личностный, человеческий, либертарианский, не-государственный подход к патриотизму у Солженицына.

В «Архипелаге ГУЛАГ» он приходит к изумительному заключению, что — как правило — интересы государства и интересы народа расходятся. Государству нужны военные победы, а люди выигрывают от военных поражений. Солженицын утверждает, что не просто благосостояние и свобода предпочтительнее военных побед и территориального расширения, но и вообще — поражения благодатны для национального благосостояния и развития в направлении к свободе. Он говорит, что победа России над Швецией в начале 18 столетия была несчастьем для России и удачей для Швеции. Для России эта победа вела к длинной эпохе захватов, разорительных войн, бедности и ограничений свободы. Солженицын отвергает русскую национальную гордость в победе над наполеоновской Францией: из-за этой победы отмена крепостного права задержалась на полстолетия. Тогда как поражение означало бы в худшем случае французскую оккупацию, которая долго бы не продержалась. Солженицын напоминает читателям, что поражение России в Крымской войне в 1855 году привело к отмене крепостного права и либеральным правовым реформам. Поражение России в войне с Японией в 1904 году приблизило освобождение крестьян от коллективистской общины и от налоговой и социальной власти государства через общину. С этой точки зрения для Солженицына советская победа во Второй мировой войне была разгромным поражением для русской свободы.

Солженицын проводит явное различие между страной как совокупностью граждан и государством. Его патриотизм направлен против засилия государства и совпадает с критерием народной свободы. Страдает ли свобода от внешнего врага или от внутреннего государства — уровень свободы, а не интересы государства первостепенны. Патриотизм Солженицына измеряется тем, что добро для страны и народа, а лучшее для страны и народа — не расширение страны, а сужение государства.

Мне кажется, этот подход значительно обогащает понимание патриотизма.

(Дополнение 1990 года: Три добавления. Первое. Патриотизм, в отличие от национализма, не является идеологией. Патриотизм — жертвенное поведение и защита интересов большой семьи (то есть сограждан) как своих собственных. Поэтому патриотизм конкретен. Нет общей, абстрактной патриотической позиции, говорящей на все времена, лучше ли демократия или иное устройство, лучше ли те или иные границы страны и так далее. Нет и не может быть «патриотического идейного направ-

ления». С точки зрения патриотизма, в каждом отдельном случае люди решают, что лучше для их сограждан. Патриотизм не имеет готовых ответов. Остается только взвешивать, какое решение лучше для какого случая. Патриотом был генерал Жуков и патриотом был генерал Власов, а их решения были противоположными. Поэтому не всякий личный патриотизм полезен для народа, потому что патриоты могут неверно рассчитать и занять пагубные позиции. Патриоты могут оказывать медвежьи услуги. Патриотизм — часто необходимое, но никогда не достаточное условие для решения задач в пользу народа. Поэтому еще нужно и знать, чего народ действительно хочет, а не жертвовать собой за то, от чего народу может быть хуже. Критерием не могут быть абстрактные интересы сограждан согласно чьим-то личным убеждениям о народном благе. Очень часто патриотизмом прикрывают защиту групповых интересов, интеллектуалов и национализм. Второе. Патриотизм может вступать в конфликт с общечеловеческими интересами, если с ними не сбалансирован. Оптимальное состояние в духе идей Солженицына — это баланс между индивидуализмом (включая интересы индивидуальной семьи), патриотизмом и общечеловеческим гуманизмом. Гуманизм является всеобъемлющим решением, но не должен быть навязан человеку, ищущему баланс интересов в их иерархии. Третье. Отделение интересов государства от интересов народа — для Солженицына общий принцип. В этом кругу мысли он преодолевает ошибку Апостола Павла, которая причинила столько внутренних трудностей мыслящим христианам. Видный австралийский и американский экономист, ученик Бьюкенена, Джеффри Бреннан считает, что Павел просто искажил Христа, заявив, что нет власти иначе как от Бога. Солженицын не спорил с Павлом напрямую, но, отвечая на вопрос о том, как быть с этим утверждением Павла, заявил, что с сатанинской властью надо бороться. (Разумеется, принцип «отдайте кесарю кесарево» вовсе не означает божественного признания всякого государства — да и никакого вообще, пусть самого наилучшего! «Отдайте кесарю кесарево» означает, что до тех пор пока человек получает из рук данного государства какие-то услуги, скажем, оборону, дороги и т. д., оплаченные налогами его сограждан, он должен вносить свою лепту, платить налоги. И все. Ни больше и ни меньше. Но это уже моя интерпретация.)

Цена идей и идеологий

До сих пор мы обсуждали легкие вопросы. Теперь вступаем в опасную зону. Есть особый круг вопросов, в котором Солженицын значительно обогатил современную общественную мысль. Это вопросы цены идей и первенства идеологий в ограничении свободы и дегуманизации человека.

Экономисты давно распознали ключевую роль, которую играют идеи и интеллектуалы, как производители и распространители идей, в урезании свободы. Экономисты Австрийской школы Людвиг фон Мизес и Фридрих А. Хайек много писали об этом. Томас Суэлл ярко и резко выразил в книге «Знание и решения»: «Деспотизмы... рассматривались как двигатели для наложения проектов интеллектуалов на общество в целом... Но свобода — это не просто право интеллектуалов распространять свои товары. Свобода — это прежде и выше всего право обычных людей найти место расправить плечи и освободиться от диких и разрушительных презумпций лучших людей».

Джон Мейнард Кейнс сформулировал свой знаменитый приговор: «Идеи экономистов и политических философов и тогда, когда они верны и когда они неверны, являют гораздо большую власть, чем это обычно понимается. На самом деле мало что, кроме идей, правит миром. Практические люди, которые верят, что они-то свободны от всяких интеллектуальных влияний, обычно являются рабами какого-нибудь издохшего экономиста. Вздвигнувшиеся представители власти, которые слышат голоса в пространстве, на деле извлекают свое помешательство из академических писак нескольких десятилетий давности».

(Дополнение 1990 года: С Кейнсом можно не соглашаться в интерпретации перво-причины. Идеи правят миром? — пусть так, но отчего? Что важнее: групповой, политический спрос на идеи или их предложение интеллектуалами? Просто ли появление любых общественных идей вызывает неожиданные и мощные, часто разрушительные общественные реакции? Или всяких мрачных идей — всегда навалом, предложение безразмерно, но идеи воплощаются, даже и возникают под воздействием потребности

в них, в результате общественного спроса со стороны групповых политических интересов? Экономисты придерживаются разных взглядов на эти вопросы. Милтон Фридман, вслед за Кейнсом, считает, что первичны идеи. Эрон Дайректор и Джордж Стиглер считают, что первичен общественный спрос групповых интересов на политическом рынке на те или иные идеи. Поэтому, продолжают Дайректор и Стиглер, интеллектуалы вообще не особенно важны в истории, они лишь послушные поставщики того взрывного товара, который требуют групповые интересы политического рынка. Я согласен с Дайректором и Стиглером, что первичен спрос, но при этом я считаю, что предложение и поставщики исключительно важны. Теории вызываются к жизни политическими интересами, но ведь затем эти политические интересы строят общество по теориям, а не вслепую. Если произошёл взрыв, важен и тот, кому этот взрыв понадобился и оказался выгоден, и тот, кто изобрёл взрывное устройство. Сами по себе идеи не убивают. Идеи служат инструментами убийства. Создатели и распространители соответствующих идей являются торговцами смертью, возбудителями смерти и должны рассматриваться как таковые.)

При таком подходе, экономисты разных школ будут на стороне Солженицына в его споре с большинством американских экспертов по Советскому Союзу по вопросу о происхождении коммунистического террора и ГУЛАГа. Солженицын подробно разработал идею и представил огромное количество доказательств, что главный источник массового террора и принудительного труда — сам принцип наложения идей на людей через идеологические государства. Книги Солженицына, и особенно «Архипелаг ГУЛАГ», именно об этом идео-обложении, о цене идеологий для людей. О том как схемы общественного устройства, выгодные интеллектуально-политическим групповым интересам, навязали целым народам. То, что при современном социализме идеологии предшествуют возникновению институтов власти и властвующим группам, лежит в основе суда Солженицына над марксизмом и другими социалистическими доктринами.

Воля групповых интересов к власти — их нормальное состояние, но конкретное устройство власти и подавления строится по идеологическим планам. Возникающее в итоге хозяйственное устройство складывается по ходу собственной естественной эволюции и может во многих отношениях отличаться от первоначального плана. Однако три основные установки заложены в идеологии и неизменно претворены в жизнь: абсолютное огосударствление человека и хозяйства, принудительный труд и террор.

В отличие от всевозможных докантилистических экономических систем и деспотических государств прошлого, современная социалистическая экономика построена на основе идеологии. Это воистину плановая экономика — не в том смысле, что ею управляют по плану (потому что ею скорее управляют, следуя ее естественной эволюции), а в том смысле, что она была изначально создана по плану и затем частично видоизменена жизнью. Исторические системы государственнического и социалистического типа, называемые марксистами «азиатским способом производства» и известные в западной литературе под именем «восточного деспотизма», отличаются от современного социализма по источнику происхождения. Эти старые системы регулировали уже существующие экономические устройства и жизненные порядки, не изобрели и не внедрили новых. Но когда Россия соскользнула в 1917 году с либерального социализма в коммунизм, экономика начала напрямую строиться по модели. Экономическим историкам известен тот факт, что на второй день революции Ленин вызвал любителя-экономиста Ю. Ларина, эксперта по германской экономической модели военного социализма, и велел ему применить и развить модель на России. Целенаправленными усилиями экономистов и политиков была построена система государственного производства и распределения, коллективных товарных обменов и конфискации. Эта система 1917—20 годов известна как военный коммунизм. Валовый национальный продукт упал до уровня меньше 20% дореволюционного. Голод начался в 1918 году, несмотря на хороший урожай 1917 года, и усиливался несколько лет пока не стал повальным в 1921—22 годах. В 1921 году военный коммунизм был вынужденно приостановлен до поры до времени. Официальные советские данные оценивают жертвы голода и иных событий 1921—22 годов (подавления крестьянских восстаний и т. д.) в размере 4,9—5,1 миллиона человек. Несколько лет назад я опубликовал мои предварительные расчеты, что до этого, между переписями августа 1917 и августа 1920 годов, то есть в период военного коммунизма, погибло около 15,6 миллиона человек. В сумме за пять лет — свыше 20 миллионов. Это были камбод-

жийские годы России, до сих пор практически не исследованные ни в СССР, ни на Западе.

Процесс социально-экономического воплощения идеологических моделей не останавливается на подавлении индивидуальных политических противников. Он требует массового уничтожения целых общественных классов и этнических групп, реакционных классов и реакционных наций, которые не вписываются в новую систему. Это хорошо сознавали еще классики марксизма. Предшествовавшие, не-идеологические деспотические государственно-идеологические системы накладывали множество дополнительных ограничений на человеческую и хозяйственную деятельность, но не пытались наложить на людей новую модель, требующую перестройки основ человеческого поведения.

Человеческое поведение, как считают экономисты, предопределяется стабильными основными человеческими предпочтениями (максимизация личной пользы и удовлетворения, любовь к семье, предпочтение настоящего будущему и т. п.), заложенными в самой человеческой природе. Ошибка Ленина, исправленная впоследствии недооцененным экономическим гением XX столетия Иосифом Сталиным, была в том, что оказалось невозможно немедленно изменить базовые исходные устои и мотивации человеческого поведения, немедленно заставить человека работать и жить по коммунистически. Сталин открыл, что сначала необходима культурная, то есть идеологическая революция, которая займется переделкой человеческих умов, способов жизнедеятельности, индивидуальных предпочтений и человеческой природы.

Если это не сделано, и пока это не сделано, осуществление идеологических проектов на человеческом подспытном материале сводится к отрицательной селекции — к массовому вырезыванию неподходящих групп человеческого сырья. Из опыта Ленина и Пол Пота мы знаем, что чем больше идеологи спешат, тем больше они убивают людей. В эпоху разрядки 1970-х годов, когда СССР, Румыния, Польша и Восточная Германия начали обменивать своих подданных на западные субсидии, вместо того, чтобы убивать этих подданных, пришло негласное либерально-консервативное согласие, что работоторговая экономическая модель является прогрессивной по сравнению с неподкупным идеалистическим коммунизмом.

(Дополнение 1990 года: Однако, когда Солженицын или кто другой выражает это наблюдение открыто, большинство западных и советских интеллектуалов очень обижаются. Даже и в 1990 году. Это опять нарушение табу, покушение на классово-профессиональную честь интеллектуального слоя. Почему-то идеализм, искренность, самозабвенность, преданность идее считаются всеоправдывающими качествами. То есть, иными словами, одержимость, бесноватость, отсутствие самостоятельной точки зрения. Здесь соединяются аристократический элитарный взгляд (интеллектуалам можно, чего нельзя быду) и группово-профессиональная иерархия ценностей: преданность идее ценится превыше всего. Ибо только так своя познаша, и интеллектуалы могут рекрутировать друг друга. Ведь не объединишься же на идейной основе с такими циниками, как я, всюду подозревающими групповой интерес (и даже считающими, что большинство интеллектуалов верит в то, во что им выгодно верить, будь то интернационал-социализм или национал-социализм, кристальная душа Дзержинского или масонский заговор).

Поэтому-то общепринятый метод исторических аналогий коммунизма с различными деспотическими режимами прошлого, хоть в России, хоть где еще, приносит столь поверхностные интеллектуальные достижения. Сравнят там Сталина с Иваном и Чойбалсаном с Чингисханом, а дальше что? <...> Коммунисты и национал-социалисты могут по видимости мало отличаться от тиранов и государственников прошлого, да даже и от чикагских гангстеров 1930-х годов, но наблюдение сходства ничего не дает для понимания кричащей разницы, впрочем, игнорируемой теоретиками исторической преемственности. А именно: бизнес деспотов — это грабеж, а не убийство. Последнее есть только средство для того, чтобы гарантировать подчинение следующих на очереди быть ограбленными. Грабеж, превращенный в институт деспотического государства есть не что иное, как стремящееся к максимуму налогообложение. Как хорошие бизнесмены, деспоты прошлого предпринимали все для того, чтобы их доходы от грабежа превышали их расходы на содержание грабительских сил и на подавление. Соответственно им выгодно было убивать в массовом масштабе они не хотели разбазаривать своих налогоплательщиков.

Идеологи, спешащие построить новую экономическую систему, совершают массовые убийства, даже если это разрушает их источники грабежа. Им важнее пересоздать общество и человека и тем обеспечить долгое будущее для власти своей интеллектуальной группы. Это особая самоотбравшаяся группа людей. Им не так важно, что расходы могут превысить доходы, и подавленная страна вторгается в террор, голод и мор, и много с нее не возьмешь — пусть так, если того требуют интересы установления нового долговременного строя. Дело в том, что их главные доходы не-вещественны и не-денежны. Их бизнес — власть над головами и лишь затем над телами. Власть над головами позволит властвовать над телами всерьез и надолго. Их бизнес поэтому — идео-обложение, а не просто налогообложение. В отличие от большинства консерваторов, не говоря уже о либералах, Солженицын настаивает, что цель коммунизма — не простое стремление к политической власти. Политическая власть для коммунистов есть только средство для наложения идеологий на людей. Это обеспечивает гораздо более всеобъемлющую и долговременную групповую власть.

(Дополнение 1990 года: Стоит, однако, упомянуть, что история обычно играет мрачную шутку над первым поколением коммунистов и иных революционеров. Революции имеют особенность быть украдываемыми. Революции делает интеллигенция, а затем их уворовывает бюрократия — вполне идеологически выдержанная, и служащая тем же целям, но эстетически неприятная. Несколько иной класс. Поэтому интеллектуалы всего мира так любят новые, молодые революции (как поэт любит свои новые стихи больше старых, а женолюб любит новые победы, пренебрегая прошлыми), Китай, потом Кубу, потом Никарагуа, в романтическом расчете, что интеллигенция удержится у власти, и идеалы не погрязнут в бюрократизме и коррупции.)

Неразглашаемый секрет идеологического государственничества и социалистических экономик в том, что старые деспотические режимы не могли содержать большую интеллектуальную элиту. Деспоты грабили бедных крестьян в бедных крестьянских странах и содержали небольшую группу придворных писателей, вот и все. Нужно экономически развитое, хотя бы умеренно развитое государство с высоким уровнем урбанизации и образования, с широкой сетью приложения интеллектуальных возможностей, и вот в таком государстве, а не в деревенской стране, хочет интеллектуальная элита собирать с населения в пользу государства колоссальный налог. Это и есть современный промышленный социализм. Он не возникает сам. Он строится по заранее намеченным рецептам. Для того, чтобы его построить, нужна идеологизация населения, наложение идей на людей, которые построят индустриальное общество, а его плоды отдадут государству, которое, в свою очередь, предоставит высокое положение идеологическому классу. Идеологическая власть — всеобъемлющая власть, гораздо крупнее и гораздо прибыльнее политической власти.

Солженицын лишает интеллектуалов законности их группового профессионального прикрытия. Они берут кровавые и разрушительные результаты воплощения идеологий в жизнь и привычно списывают их на различные деспотические истоки и жестокости прецеденты, которые они легко находят в истории любой страны. Тогда получается, что социалистическая идеология принесла России или Камбодже свободу, равенство и братство, а миллионы погибших и повальная нищета — это сохранившиеся в почве пережитки проклятого прошлого. Зачем нужно это групповое интеллектуальное прикрытия? А для того, чтобы можно было списать со счетов исторический опыт и попробовать где-нибудь еще. Солженицын раздражает тем, что покушается на это право и разоблачает ловкое списывание преступлений одной группы (идеологов) на другую (прошлых деспотов).

Подчеркивая идеологическое происхождение самых зверских режимов новейшего времени, Солженицын нашел аргументы, убийственные для претензий социалистической и иной интеллектуальной элиты на будущее экспериментирование. Он показал, что, во-первых, результаты можно прямо вывести из идеологических планов, что социалистическая экономическая система, включая принудительный труд и террор, в основе построена по классическим социалистическим текстам. И что, во-вторых, исторической преемственности нет потому, что коммунистическому режиму в России предшествовал не исторический деспотизм, а рыночная экономика и конституционная ограниченная автократия.

Именно в этом контексте общего спрятанного за десятками табу разговора о претензиях, правах и ответственности интеллектуальных групп становится понятно, почему на Солженицына так обрушились за его разыскания в истории дореволюци-

онной России. Наивно предполагать, что многих интеллектуалов на Западе волнуют детали русской истории, и они ломают копья ради ее интерпретации. Важно, что вытекает из этой истории, поданной Солженицыным. Если вытекает, что Россия была свободной по тем временам страной, а коммунизм с террором и принудительным трудом создан по идеологическим проектам — то это война. Классовая война, если воспользоваться утрированным языком. Война за групповые интересы, говоря точнее.

Между тем, мысль Солженицына о предреволюционной России как свободной стране хорошо согласуется с подходом современной экономической литературы. Солженицын считает, что измерять степень свободы в стране нужно не по уровню политических свобод для интеллигенции, а прежде всего по уровню экономического развития в сочетании с уровнем экономических и гражданских свобод для всего населения. Как и ведущие неоклассические и либертарианские экономисты, Солженицын разъясняет первичность экономической свободы над остальными. Интересно сравнить две удивительно сходные по выводам, одновременно написанные независимо друг от друга короткие статьи: предисловие Солженицына к книге В. В. Леонтовича «История либерализма в России» и статью (тогда еще не) Нобелевского лауреата по экономике Джорджа Стиглера «Богатство и, возможно, свобода».

Из трудов Солженицына следует, что ученые и идеологи, которые игнорируют факты истории русской свободной рыночной экономики, сталинские реформы, а также разрушение экономической свободы при либерально-социалистическомременном правительстве, и выводят коммунизм из царизма и разных русских репрессивных учреждений, на самом деле просто ищут козла отпущения. Можно сказать в полшутку, но и всерьез, что им нужно реабилитировать своих братьев по классу — тех, кто подготовил и устроил 1917 год, от Февраля до Октября, и все что потом. Реабилитировать не ради их доброго имени, а ради своей свободы рук на будущее и ради общей групповой профессиональной репутации.

В интересах группы охранить общее гражданское право интеллектуальной элиты налагать свои идеи и проекты на людей. За это право они борются, утверждая, что оно является необходимой частью человеческих прав, частью свободы интеллектуального выражения. В этой подмене свободы выражения свободой интеллектуального навязывания — сердцевина вопроса. Интеллектуалы списывают со счетов цену идеологии для людей, цену наложения социальных проектов. Говоря экономическим языком, они подменяют свободу предложения правом на сбыт. Пусть все идеи имеют право на существование, но не все идеи имеют право на воплощение.

Интеллектуальная элита вполне искренне воспринимает солженицынское выступление против идеологии, против социализма и марксизма как общее нападение на интеллектуальную свободу. Ведь если начать считать человеческие убытки от интеллектуальной деятельности, как делает Солженицын, интеллектуальный рынок вдруг быстро сужается — не в том смысле, что идеи преследуют, а в том смысле, что их взвешивают. То, что идеи могут быть взвешены и оценены, как любые другие товары, и идеи, наносящие человеческий ущерб, могут быть объявлены таковыми, ставит всех интеллектуалов, не только социалистов и марксистов, в непредсказуемое, уязвимое и даже угрожающее положение.

Интеллектуальное занятие перестает быть безответственной синекурой, где, в отличие от производства остальных товаров, есть безграничные права, а спроса за ущерб нет. Как великолепно выразил это угрожающее групповое ощущение Ричард Пайпс, это ужасающая идея, что можно выволочь из гроба немецкого писателя, умершего сто лет назад в Лондоне, и предъявить ему счет за то, что случилось с Россией много лет спустя после его смерти. Групповой интерес интеллектуалов не может такого допустить и должен обрушиться на Солженицына, покусившегося на самое дорогое (во всех смыслах последнего слова).

Что говорить, интеллектуальные и свободные профессии стали нынче очень рискованными. Врачи запуганы растущей эпидемией судебных исков за ошибки в диагностике и лечении. Журналисты запуганы судебными делами о клевете и скандальными разоблачениями недобросовестных публикаций. Теперь в ходу нанимать адвокатов для того, чтобы предъявлять гражданский иск адвокатам, которые вели то или иное дело и провалили его. И вот, если бы всего этого ужаса было недостаточно, откуда-то вылезает Александр Солженицын и вроде как предъявляет общий иск интеллектуальному сословию за подстрекательство к массовым убийствам!

Естественно, что вся интеллектуальная профессиональная корпорация, независимо от правых, левых, или каких-либо политических взглядов чувствует угрозу своему существованию. Как отдельные индивидуумы, многие интеллектуалы продолжают восхищаться Солженицыным. Нынешняя волна враждебности к нему — это не только чьи-то личные взгляды, а общая сословная, корпоративная реакция. И это правильная реакция, естественная реакция, потому что Солженицын действительно покушается на корпоративную власть идей над людьми, то есть на роль идеологий в обществе.

Идеи как товары. Идеологии и государство

Солженицын поднял вопрос, до сих пор не разобранный экономистами, о скрытой цене идей как товара для людей. Попытаюсь изложить, как я это понимаю, и вывести отсюда главную мысль Солженицына.

С экономической точки зрения, идеи — это товары с двумя уникальными особенностями. Во-первых, это одновременно частные товары, потому что их можно запатентовать, и общие (публичные) товары, потому что каждый член общества может использовать их бесплатно. Поэтому те или иные благотворные идеи могут облагодетельствовать всех людей без всякой дискриминации и на много поколений. Такие идеи содержат колоссальную скрытую прибыль для миллиардов людей, прибыль, которая выявляется только со временем (например, идеи финансовых рынков, холодной ядерной реакции и т. д.). Но в силу бесплатности, идеи могут стать предметом злоупотребления теми или иными людьми, без затрат с их стороны и с огромными скрытыми и будущими затратами и убытками для миллиардов людей (скажем, идеи государственного хозяйства, бактериологического оружия и т. д.). Таким образом, идеи как публичные товары могут быть публичным добром и публичным злом. Никогда нельзя сказать заранее, чем обернется для людей та или иная идея. Поэтому идеи это бомбы замедленного действия.

Во-вторых, производство идей не является только производством. Как производство детей, производство идей является также и потреблением. Люди, производящие идеи, делают это не только ради заработка но и потому, что получают от этого потребительское наслаждение. Поэтому идеи производятся не только в ответ на рыночный спрос, но и в ответ на внутренний спрос самих производителей. Производители идей распространяют свои товары даже и без рыночного спроса на них. Поскольку предложение идей весьма значительно превышает спрос на них, производители заинтересованы стимулировать спрос, навязать идеи потребителям, народу. Особенно производители заведомо малопродажных идей (например, что порка хороша для народной нравственности или что коллективное сельское хозяйство приятнее для души и тела, чем частное). В то же время производители идей отдают себе отчет, что, как отмечено в предыдущем пункте, их товар может содержать скрытые потенциальные убытки для потребителей. И продавцы идей пребывают в постоянной опасности, что цена публичного товара — добра или зла — может быть им предъявлена и придется платить по счетам. Исторические примеры бесконечны, когда интеллектуалы жестоко платили за свои идеи. Итак, второй пункт об идеях как товарах: низкий спрос, превышение предложения над спросом и опасность самим платить цену за эффект претворения своих идей.

Некоторые мастера и творцы слова, производители и продавцы идей, включая автора этих строк, готовы спокойно принять как должное столь грустные особенности рынка на идеи. Но большинство мастеров и продавцов имеют естественную сословно-профессиональную тенденцию как-то побороть эти особенности рынка, как-то обкрутить рынок и обойти покупателей. Чтобы это осуществить, они объединяют, инкорпорируют пачки идей в гибкие, политически округлые пакеты, в которых на все есть простой, заранее предсказуемый ответ и которые отвечают экономическим интересам тех или иных групп людей. Эти пакеты, эти социальные уловки, ухищрения, социальные изобретения — есть идеологии. Идеология — это подобранный пакет идей, удовлетворяющий тот или иной групповой интерес. <...> Идеологии создают коллективное поведение соответственно групповым интересам и ценностям и этим заменяют личные взгляды и личное поведение. Вот здесь критическая точка для Солженицына: старые деспотизмы только налагали ограничения, а современные идеологиче-

ские системы пытаются изменить человеческое видение, индивидуальные предпочтения, саму природу человека.

И именно для того, чтобы наложить себя на людей и подчинить их, сгруппированные идеи группового интереса интеллектуалов нуждаются в государстве. Через государство идеологи могут успешно навязать свои пакеты идей. Естественно, идеологи стараются создать свои идеологические государства.

Нет другого пути для господства идеологий. Добровольно большого числа последователей не наберешь, только свою группу. Государство как проводник идеологий — незаменимо. Поэтому все идеологии — государственноческие.

Интеллектуалы, если они хотят навязать свои идеи, должны государственночить. Это объясняет огромную иронию истории, почему интеллектуалы, которым как отдельным личностям свобода нужна, как воздух, готовы урезать свободу и строить общество подавления свободы, когда они действуют как часть группового целого с его государственноческой идеологией. Поэтому в XX столетии многие свободолюбивые философы поддерживали самые ярые государственноческие тирании.

Когда в обществе групповое, коллективное поведение насаждается вместо личностного поведения, ценность человеческой жизни падает соответственно. Идеологические государства и их человеческие носители не ограничены ценой человеческих жизней. Как только идеологии начинают работать в качестве коллективных социальных изобретений и направляют собой коллективное поведение, они переносят на свой счет ту цену, которую индивидуумы должны были бы платить за свои действия. Переносится ответственность с личности на коллектив, а идеология служит оправданием. Ради идеи можно сделать такое, что просто так или ради наживы не сделаешь. (Да еще найдутся сквозь десятилетия толпы добровольных адвокатов.) <...>

Поэтому такое озверение, такая бесчеловечность в идеологических государствах и в любых коллективистских образованиях. На партсобрании. В националистической толпе. В идеологическом журнале. Можно убивать за идеи. К тому же убийства обычно оправдываются, когда совершены во имя идеи. Идеологии, настаивает Солженицын, создают природную среду для массовых истреблений и любых преступлений против человечности. Люди превращаются в подопытных животных и в палачей.

Идеологии несут в себе и создают для своих носителей самое оправдание рабства и неограниченного зверства. Солженицын говорит, что это относится к любым идеологиям и к любым идеям, исходно добрым или злым, если они превращены в идеологии, в групповое мышление. Это может быть марксизм, иной социализм, национализм, христианство, западничество, идеи свободы, равенства и братства.

Любые идеи могут быть превращены в идеологии, и любые идеологии убивают. Солженицын приходит к главному выводу, что основной источник крупномасштабного зла на Земле — это само существование идеологий. Это очень неприятный вывод для всех интеллектуалов как профессиональной группы. Гораздо более неприятный, чем критика роли интеллектуалов в обществе, содержащаяся в экономической литературе. Солженицынский вывод как бы закрывает будущий рынок для всей интеллектуальной продукции за исключением той, которая предлагается на добровольных и индивидуальных началах от человека к человеку. Это сколько же лучших умов выметается с рынка!

Производители и продавцы идей не хотят нести индивидуальную ответственность за свои непредсказуемые и опасные товары и в то же время не хотят оставить товары невостребованными, нераспроданными. <...> Они жалуются, что Солженицын угрожает им расплатой. На самом деле Солженицын угрожает им рынком. А рынок угрожает части из них моральной расплатой, а другой части — свалкой истории.

Вот это главное у Солженицына. Это, может быть, его самый значительный вывод и самое значительное общественное предложение прозвучавшее в мировой мысли со времен Смита и основателей американской Конституции. Этот вывод в самом прямом виде выражен в его не понятом публикой «Письме вождям Советского Союза»: необходимо отделение идеологии от государства.

Производители и продавцы идей жалуются, что Солженицын против интеллектуальной свободы, а, значит, и против свободы как таковой. Но Солженицын только против свободы катания интеллектуалов на народных спинах.

Анатолий Стреляный

Кино про Украину

Политическое путешествие

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

«Кино про Украину» я слушал весной или летом минувшего года по радио «Свобода». Стреляный принес рукопись в редакцию в октябре. К тому времени судьба Советского Союза, как и судьба Украины, была предрешена. Не думаю, что повествование от этого стало менее интересным. Чуть было не сказал: менее актуальным, но как можно говорить об актуальности хроники? А «Кино про Украину», как ни кинь, хроника. Картинки с натуры, запись живой речи, отражение бегущих событий. В этом, на мой взгляд, достоинство работы. Ведь о том, к чему шло дело, мы гадали, и к чему оно пришло, знаем без подсказок. А вот для того, чтобы воочию представить, как в том или другом месте развивались события, о чем при этом думали, говорили, чем руководствовались в своих поступках люди — для того, чтобы увидеть, запомнить и отразить

все это, нужно было поехать снимать кино про Украину. Что Анатолий Стреляный и сделал.

Кино он приезжал снимать из Австрии. Как и некоторые фильмы до этого. Наведавшись зимой в Москву, уехал в небольшой австрийский городок, где сейчас живет и работает. Не зная, когда и при каких обстоятельствах мы встретимся следующий раз, я уговорил его побеседовать по диктофон о некоторых проблемах, оставшихся за рамками повествования. Ведь нас, читателей и зрителей, всегда подмывает заглянуть за краешек экрана после того, как он погаснет, и спросить автора: а что произойдет дальше?

Предлагаю в качестве предисловия к хронике запись нашей беседы.

Хотя, как мне кажется, по смыслу она больше подходит для послесловия.

Ю. АПЕНЧЕНКО

Ю. А. Сколько времени ты постоянно живешь за границей?

А. С. Я не живу там постоянно. Я езжу туда-сюда. Перемещение за границу для меня чисто физическое. Я не включаюсь в ту жизнь, никак не включаюсь, даже телевизор там почти не смотрю.

Ю. А. Не включаешься в жизнь, тем не менее — живешь.

А. С. Я пользуюсь материальными благами той жизни — на уровне тамошнего безработного.

Ю. А. Ну, хорошо. Скажем так: ты все-таки оторван от нашей жизни.

А. С. Не могу сказать, что оторван.

Ю. А. Тогда вопрос такой: переменялся ли твой взгляд на жизнь, от которой ты не оторван, от туда? Или он остался таким же, как был?

А. С. Какое это имеет отношение к «Кино про Украину»?

Ю. А. Такое же, как и ко всему прочему. Я спрашиваю о перемене взгляда. Или о его неизменности.

А. С. Давай сперва все-таки про кино. Это кино делается с иностранцами про Советский Союз. Достаточно интересно уже то, что наш человек делает с иностранцами кино в первую очередь для иностранцев. И поскольку он один из авторов, его образ мыслей, его личность, его знания, его нация сказываются на фильме. Такое сочетание еще недавно было немыслимо. Естественно, наши длительные поездки — по месяцу и больше неоднократно — дают много: впечатлений набирается больше, чем за иные годы сидения в Москве. Скажем, когда мы с моими друзьями австрийцами, делали первый фильм, путешествовали по советским деревням. Казахстан, Россия, Северный Кавказ... В те первые наши поездки в нашем маленьком автобусе было довольно много теоретических дискуссий. Элизабет, наш редактор, недавно напомнила

мне, как я кричал и обзывал их коммунистами. Она, как и большинство западных интеллигентов, еще три года назад была очень хорошо настроена к социализму и, соответственно, плохо к капитализму. Уже к концу первого путешествия они поняли, почему я так орал на них и почему слово «коммунист»¹ звучало как ругательство.

После этой первой поездки мне пришлось для работы с ними надолго осесть на Западе. Последние два года живу там почти постоянно, если не считать, что несколько раз выезжал сюда — на месяц, на два. Ты спрашиваешь, изменился ли мой взгляд на свою страну. Скажу так. Я там иногда слушаю московское радио, чаще всего радио для иностранцев. Так вот, ничего более отвратительного представить себе невозможно. Аживы уже голоса дикторов. Они подделываются под тон западных голосов. Не понимают, что тон определяется прежде всего языком. Если ты сообщаешь на русском языке новость английским тоном, это выглядит неуместным, манерным, фальшивым. Неестественность коммунистической пропаганды сменилась неестественностью посткоммунистических голосов — не рискую пока назвать их демократическими. Возможно, я говорю не о самом существенном. Но я простой человек, а для простого человека форма неотрывна от содержания. И когда форма неестественна, ты не можешь верить и содержанию. Это первое.

Второе. Наша жизнь представляется там страшнее, чем она есть на самом деле. Когда я возвращаюсь сюда после нескольких месяцев отсутствия, то через час-полтора говорю сам себе: «Боже! Да здесь еще можно жить!» Причем одновременно испытываю чувство, что жить-то здесь, в общем, нельзя. Ведь уже в самолете, в поездке ты заранее переживаешь ужас, заранее страдаешь от неестественности этой жизни. Но за час к ней привыкаешь. И неестественность ее воспринимаешь даже более спокойно, чем друзья, не выезжавшие отсюда. Я здесь уже больше месяца, и куда ни приеду меня спрашивают: «А что ты ешь?» Все спрашивают про еду. А я отвечаю: «Хлеб-то печеный еще есть. А что мне еще надо? Нормально. Если есть хлеб — голода еще нет». Может быть, я так спокойно отношусь к этому потому, что в первые годы перестройки меня считали специалистом по аграрным делам и спрашивали: «А как будет с едой?» Я отвечал: «Не волнуйтесь, печеного хлеба в ближайшие три-четыре года будет хватать». В некоторых компаниях это воспринимали как шутку, в других — как рисовку и только в немногих понимали, о чем я говорю...

Помню, каким идиотом я выглядел в восемьдесят шестом, если память не изменяет, году, когда журнал «Дружба народов» устраивал «круглый стол» по сельскому хозяйству в Тбилиси. Славный знаменитый Мгеладзе угощал нас в правительственной резиденции, где круглые сутки был накрыт стол — и черная икра стояла, и боржом, да... Так вот, был прощальный ужин. Каждый должен был произнести тост. И я, помню, сказал вот о чем. В какое время мы живем? Что происходит? А то происходит, что с этого стола, который мы видим перед собой, может даже завтра вдруг все исчезнуть в один момент. И, возможно, мы прочувствуем то, что когда-то прочувствовала Марина Цветаева, встав перед выбором, которую из двух дочерей отдать голодной смерти, чтобы выжила другая. Я сказал, что в любой момент мы должны быть к этому готовы. Я знал, что это должно случиться, я ведь понимаю неотвратимость экономических законов. В глубине души все-таки надеялся: может, пронесет, может, эти законы не сработают. Не пронесло. Не могло пронести. К сожалению...

Ю. А. Да, Стол исчез. Но можно ли было предположить тогда, что он исчезнет вместе с советской Грузией?

А. С. Друг мой! Я вспоминаю разговоры двадцатилетней давности. Еще до Амальрика, до его книжки «Просуществует ли Советский Союз до 1984 года», еще в те времена, когда я работал в «Комсомольской правде», а ты был совершенно искренним коммунистом. Обсуждая тогда варианты нашего будущего мы пытались понять, почему эта власть такая тупая, что не идет на реформы. Конечно, говорили мы, Брежнев, может быть, не идет на реформы, потому что он дурак, но допустим все-таки, что он не дурак. Тогда он не делает их потому, что понимает, а если не понимает, то чувствует: как только он отпустит вожжи, республика разбежится мгновенно. Реформы, конечно, необходимы, но они означают, что Советский Союз исчезнет.

Последние горбачевские годы как раз и показали то, что мы предвидели сто лет назад. Они показали, во-первых, для чего существовала советская власть, в чем заключалась функция социализма в этой стране. Функция его была: держать Советский Союз, держать империю. Если бы империя эта могла существовать без насилия —

красного или белого, это не имеет значения, — она и существовала бы. Но насилие ведь не от глупости. Оно, если хочешь, от необходимости. Всякий, кто хотел держать империю, должен был держать ее силой. Может быть, единственный человек этого не понимал. Горбачев. Он думал, что, дав свободу, удержит Союз. Что если нет возможности удержать его силой, то он его удержит добром. Это было величайшее его заблуждение. Лигачев это понимал с самого начала и был абсолютно прав. То есть, повторю, распад Советского Союза в результате демократических реформ предвидели все: и Ленин, и Сталин, и Хрущев, и Брежнев, и Андропов, и мы, грешные, вместе с ними. Это было неизбежно...

Помнишь, в 86-м, в 87-м годах говорили: «Эх! Если бы Горбачев благородно их всех отпустил, тогда бы они и удержались вместе — демократически». Ничего подобного! Даже если бы Горбачев поехал на торжества провозглашения независимости каждой республикой, поздравил бы и Литву, и Грузию, и всех — все равно вместе бы они не остались. Без насилия, повторю.

Ю. А. Каков же твой прогноз?

А. С. Вот ведь особенность нашего сознания! Людей почему-то интересуют рассуждения, концепции, мнения... Впрочем, и такой крен естественен. Все мы вырабатываем новое мировоззрение. Хотя с прогнозом трудно. Легче сказать о гальнем будущем, чем о завтрашнем дне. В гальнем будущем ясно: в России — российский капитализм, на Украине — украинский капитализм... Другое дело: сколько за это придется заплатить...

Думаю, в разговорах о том, что нам только вместе можно избежать катастрофы, присутствует большая доля лукавства. Как и в том, что нам трудно разделиться, что мы обречены быть вместе. В этом или непонимание сути дела, или попытка выдать желаемое за действительное, или пропаганда. Да, Европа идет к союзу, к тому, чтобы превратиться в единое не только экономическое, но и политическое пространство. Да, в сущности, по нашим меркам, она уже такое пространство и представляет. Везде примерно одинаковая демократия, свободный въезд-выезд и так далее. Но! Ведь когда мы хотим того же самого для себя, то опять намереваемся перепрыгнуть целый исторический этап. На пути к нынешнему объединению Европа, между прочим, прошла долгую полосу страшных взрывов национализма. Первая мировая война, что это такое, как не столкновение европейских национализмов. Что привело ко второй мировой войне? Дикий национализм немцев, которые в ослеплении крайнего патриотизма выдвинули Гитлера с его идеей мирового господства. В опыте Европы национализм запечатлен очень глубоко. И это, кстати, привило стойкий к нему иммунитет.

А ты посмотри, что происходит у нас. Из-за стычек вокруг такси в Москве вдруг разгорается кампания за расовую чистоту. И что же? «Московская трибуна» не собралась, Верховный Совет продолжает заседать, как ни в чем не бывало, студенты и не думают собираться на демонстрацию против расистов. Когда что-то такое намечалось в Германии, общественное мнение поднялось мгновенно. ЧП! Скандал!

Я много встречаюсь с западной интеллигенцией. Особенно в Германии. И вот отмечаю, например: как только европейские интеллигенты почувствовали, что в прибалтийских «народных фронтах» запахло национализмом, отношение к ним резко переменялось. Как только немец видит, что перед ним националист, ему, во-первых, становится скучно, во-вторых, неприятно, и он лишает националиста сперва симпатии, а потом поддержки. И в той или иной форме дает понять: ребятки, вы нас с кем-то путаете, вы у нас не найдете сочувствия.

К чему это говорю? К сожалению, жизнь так устроена, что пока мы не натерпимся от наших национализмов, к единству не придем. Желание перепрыгнуть через этот страшный этап понятно и естественно. Но попытка это сделать обречена. И думать — с самого начала — надо было о благородном разводе. Это гораздо практичнее, чем уповать на объединение. Украинская пословица есть: не надо мне твоего хорошего, оставь мне мое плохое. Этот глас раздается сейчас от каждой нации, даже маленькой. К сожалению. Я жалею об этом, потому что я все-таки... все-таки космополит.

Ю. А. Ты хотел избежать слова «интернационалист»?

А. С. Можно сказать — интернационалист. Слова одинаково непонятные. Во мне, видимо, сильнее чувство принадлежности к европейской культурной общности, чем к нации. Может быть, потому, что я человек двух культур, двух языков — русского и украинского.

По всей видимости, нам предстоит пережить достаточно длительный период существования по национальным квартирам. Вот созреем, поумнеем, разовьемся — тогда опять объединимся. Или еще раз придется пройти через победу белых. Белые, как известно, поднялись за единую и неделимую империю. Они испугались, что большевики ее распустят. У большевиков этого и в мыслях не было, но белые поверили их словам, поднялись и потерпели поражение. Однако, как писал Шульгин, белое движение все равно победило, пусть и руками красных. Красные сделали то, на что не было сил у прежнего строя — спасли империю. Так вот, возможно, нам придется увидеть, как народ кинется собирать империю. Я писал об этом в «Литературной газете». Нельзя исключать серьезнейшей попытки снова собрать империю. Это можно сделать только силой, страшным террором...

Повторяю: придется пережить этап национализмов. Тут гагать не стоит, надо смотреть на то, что есть. Уже есть. Вот есть независимая Украина, лучшие люди которой говорят: Украина — не национальное украинское, а многонациональное государство, где украинец — всякий там живущий. Рух, я считаю, с самого начала продемонстрировал большую зрелость — и не только политическую, а и нравственную, — не выставив лозунга национального государства. Украинцы показали свою цивилизованность, принадлежность к Европе. Вот, скажем, один путь. Теперь посмотрим, что сделал, например, Гамсахурдия. Он выдвинул лозунг национального государства. Самостоятельный лозунг. Когда его выбрали президентом, я сказал: это — расплата за всех тех, кто получал дипломы за взятки. Расплата за падение культуры. Грузии еще предстоят большие страдания. (Напоминаю: мы беседовали в декабре. — Ю. А.) Вот еще один путь. А Россия... Россия... если все пойдет нормально... может использовать свою экономическую силу, чтобы поддержать... нормальные явления в жизни своих соседей и... пресекать ненормальные...

Ю. А. Что-то ты очень неуверенно подбираешь слова.

А. С. Да. Надо быть осторожным. И в словах тоже. России нужно быть очень осторожной. Слишком много русских живут в бывших республиках. Пока ясно одно. В принципиальном, в философском плане русскому сознанию предстоят величайшие испытания. Русское национальное сознание по самой своей природе — сознание имперское. Каким будет не имперское русское сознание? Если доживу, мне будет интересно посмотреть.

Ю. А. Помню, года два назад ты говорил: мы, пока до упора, до нулевой отметки, до дна не дойдем, подниматься не начнем...

А. С. Я что имел в виду? Решения, которые предстояло принимать, такие страшные, что по доброй воле, по расчету никто их принять не решится. Только страшная нужда может заставить это сделать. Выполнение ельцинской программы сопряжено с огромным риском. Поэтому никто такую программу до него и не принимал. Страшный риск!..

Ю. А. Значит, достигли все-таки предела?

А. С. Думаю, нет. Еще вода течет по трубам. Свет еще горит.

Ю. А. Полагаешь, может и погаснуть?

А. С. Вполне.

Ю. А. Веселый у нас, однако, получился разговор...

А. С. Такова жизнь.

Бдительные

Не так давно я провел месяц в путешествии по Украине. С моими друзьями-австрийцами мы делаем о ней кино. В прошлом году и позапрошлом ездили летом, а в этом спохватились: где же у нас снег? Если он бывает в украинской природе, то должен быть и на экране.

День проводов зимы снимали в моем родном селе между Харьковом и Полтавой. Было десять градусов мороза, лежал снег, показывалось зимнее солнце. Это — девятого марта. На площади, возле клуба, был вкопан высокий свежеструганый столб. Кто влезет, того ждет награда. От гладкого желтого ствола несло стужей. Жутко было смотреть на удалцов, которые карабкались вверх и слетали вниз, скользя голыми животами по обжигающей поверхности.

Кино — дело не только увлекательное, но и нервное. Снимаете десять человек, чтобы показать одного, говорите с ним час, чтобы выбрать несколько секунд. Полдня ожидаете солнца или ищите подходящую точку, а когда все готово, обязательно пойдет дождь, заревет неведь откуда взявшееся стадо или подойдет человек и станет спрашивать, не поляки ли вы и нет ли у вас чего на продажу. Это один вариант. А второй — есть ли у вас разрешение на съемку.

В Дрогобыче мы снимали во дворе педагогического института, где недавно начались раскопки тайных захоронений. В этом здании перед войной и долго после войны размещался НКВД. Сюда свозили «врагов народа». Кого из них убивали, тех закапывали прямо во дворе НКВД, сбрасывали в колодезь. Среди раскопанных скелетов с пулевыми отверстиями в черепах есть и скелеты школьников младших классов — десяти лет, восьми.

Здесь к нам пристал старик в потропанном синем халате, какие носят в учреждениях люди, имеющие отношение к ключам. «Кто вас пустил во двор снимать?» — допытывался он. — Перед этим зданием висит табличка, призывающая прохожего остановиться и вспомнить тех, кто был здесь замучен. — «Вот мы и есть прохожие, — сказал я, — вот мы и остановились». — «Нет, вы не прохожие!». Глаза его сквозь железные очки смотрели недобро, упрямо, но уже не затравленно. Сейчас он пойдет к своему руководству и обо всем доложит, сказал с угрозой. Я спросил, зачем ему это надо — бегать, человеку уже немолодому, из-за нас по этажам, беспокоить руководство, ведь никто его не заставляет. «Табличка повешена неизвестно кем!» — сказал он с ненавистью. В этом городе у власти демократы.

В Хмельницкой области в одном селе мы увидели голову вождя. Интересная была голова: большая, желтая. Причем, лежала на постаменте в сквере, а не валялась на хозяйственных задворках, как уже во многих других селах и особенно в городах. Пока мы снимали сквер, возле нас были только мальчишки. Стоило же взяться за вождя, как появилась запыхавшаяся женщина в наброшенном на плечи платке. Кто мы такие? Что здесь делаем? Имеем ли разрешение?

— А вы кто такая?

— Не имеет значения!

Это тоже общее правило. Не было случая, чтобы подошедший к вам человек сначала назвал себя, а потом уже интересовался вами. А когда вы хотите с ним честь по чести познакомиться, страшно сердится, будто продавец, когда у него требуют жалобную книгу.

— А все же: кто вы такая?

— Председатель сельпо, вон моя контора. Увидела вас из окна.

Чутье этих людей иногда казалось сверхъестественным.

В день референдума 17 марта мы были в Одессе. Решили заглянуть на несколько участков; в одном задержались поснимать. Это было в рабочем районе, рядом с большим заводом. Люди шли голосовать охотно. На участке торговали продтоварами.

— Что купили? — спрашиваю женщину на выходе.

— Все купила! Сыр колбасный. Сладкий сырок купила, кефирчик. Водички сладкой купила!

Пожилая, краснощекая, счастливая.

— А голосовали как, если не секрет?

— Хорошо проголосовала! За Союз, за Украину нашу, за референдум, — она отмахивала рукой. — Все должны быть вместе, тогда будет хорошо. Очень будет хорошо. Пройдет два года — увидите, как будет хорошо!

— Что ж там было написано — в бюллетене-то? — спросил я.

— Я уже забыла. Читала и забыла.

— Ну, ничего. Может, еще вспомните.

— А если и не вспомню, мы и так знаем, что будет хорошо. Союз наш должен быть крепкий!

От нас не отходил молодой человек в скромном костюме, коротко стриженный, ответственного вида. Звали его Петей, он был с ближнего завода, член избирательной комиссии, член партии. С какой целью мы снимаем референдум? Есть ли у нас общая идея — и что это за идея? Вон того гражданина снимать — он не советует — не то скажет...

— Как вы можете знать, кто что скажет? — удивился я его способностям. — И что значит: то, не то?

- Вы не думайте, что все рабочие недовольны. Просто вы не слушаете довольных.
- Откуда вам известно, кого мы слушаем, Петя? Вот вы довольны?
- Доволен.
- Всем? Советской властью, партией и комсомолом, профсоюзами? Снабжением?
- Доволен.
- Я же вас слушаю, такого всем довольного?
- Не любите вы критику, не любите,— вздыхал он.
- Но в чем же ваша критика, Петя?! Объясните. Что мы не так делаем?
- С людьми беседуете по выбору.
- Конечно, по выбору. А как надо?
- Вот она сказала, что забыла, какой вопрос в бюллетене, а вы ее сразу на пленку взяли.

- А почему мы должны были ее не брать?
- Не все же подряд брать. По выбору надо!

В моих родных местах мы запускали воздушный шар, снимали с него зимние виды Украины. Радости мальчишек, толкам взрослых не было конца. Нас охотно принимали за инопланетян. Самое удивительное было то, что как только шар повисал над землей, его сразу же обнаруживали. Честно говоря, я не ожидал, что так много моих земляков поднимают головы к небу...

В одном селе нас чуть не побили. Окружила толпа. От ее имени в нас вгрызался малый лет тридцати пяти. Мы, оказывается, должны были спрашивать у них, жителей села, что можно снимать, а что — нельзя.

- Собрать и спросить! — малый аж захлебывался в демократическом кураже.
- Где ж вас для этого собирать? — спрашивал я.
- А в клубе!

— А в клубе будет то же, что и здесь, на улице. Все будут молчать, а цензуру вершить будете вы один. Это всегда так при народном-то контроле над словом.

Наша беднота

На советско-венгерской границе мы подобрали демобилизованного офицера-танкиста и довезли его до Мукачева. У него случилась незадача: перед самой границей сломалась «Волга», которую он гнал из Венгрии. Он был в забрызганной спецовке, небритый, измученный, но не злой. Родом из Барнаула, во Львове когда-то заканчивал политехнический институт. Всю дорогу обсуждали с ним национальный вопрос. Рассказал, как обижаются солдаты нерусских советских национальностей, когда слышат выражение «русская армия», которое кое-кто хотел бы опять ввести в обиход. Они шли служить не в русскую армию, а в советскую. Офицеры к выражению «русская армия» относятся терпимее, некоторым оно и нравится, ведь подавляющее большинство из них русские, а остальные знают, что когда-то была традиция принимать на русскую службу, в том числе военную, иностранцев.

— Основная нация у нас — это русские, украинцы и белорусы,— просвещал танкист моих друзей, полагая, что они об СССР ничего не знают. — Три ветки от одного ствола. Но с этим не все украинцы согласны. Больше всего несогласных здесь, в Западной Украине. Они считают украинцев отдельной нацией. Когда я приехал во Львов учиться, меня называли «москаль», это как бы обидная кличка. Но вот он называет меня «москалем» или «кацапом», я его в ответ дразню «хохлою», но вижу ясно: как бы он ни отделил себя от меня, оба мы из одной люльки, единая нация. Мы равноценны по своему трудолюбию. Отношение к работе у нас не всегда бывает хорошее, надо сказать прямо.

В связи с этим похвально отозвался о прибалтах, тоже не деля их на разновидности.

— По своему развитию они выше нас. Это такая же нация, как немецкая. Спокойные, нордические люди. Порядочные и трудолюбивые, но — мстительные. Как они нам мстили после войны, как мстили! Себя не жалели. Вырезали целые семьи наших. А мы их высылали в Сибирь. Я там одно время жил с ними бок о бок. Страшные труженики, страшные! Но замкнутые. И про выпивку не думают, а думают о том, как сделать лучше, как сделать больше, как устроить семью.

Отпускать из Советского Союза надо всех, кто желает уйти, считает он. Но размежеваться строго, как положено. В Белоруссию вернуть то, что отдавали литовцам. Пусть все уходят, ничего страшного.

— Мы ведь Финляндию отпустили? Отпустили. Польшу отпустили в свое время? Отпустили. Тех же прибалтов отпускали, потом за каким-то хреном опять взяли. Даже Грузию отпустили, потом взяли. Надо отпустить всех окончательно.

Он дал иностранцам несколько времени, чтобы они как следует оценили его широту, потом сказал:

— А будут проситься назад — посмотреть, принимать ли. Внимательно посмотреть! Чтобы прочувствовали свою ошибку. И, конечно, принять.

Проситься назад, по его мнению, будут все, кроме прибалтов.

— С прибалтами будет все в порядке. У них есть чувство ответственности. А остальные — это такие народы, что кто-то должен ими руководить, подстраховывать, кто-то должен что-то важное за них делать. Я же знаю это, я с ними со всеми и работал, и служил. Грузины, конечно, высокоразвитые, никто не спорит, армяне тоже. Армянин — он все сделает и подделает, даже золото, руки у них хорошие. Но насчет ответственности — слабовато и у них. Русские, они тоже норовят схалтурить, особенно в учении — не в бою, пока их не разогреешь кнутом как следует. Разогрел — тогда все будет, как надо. А любого прочего что разогревай, что не разогревай, он все равно спокойный и беспечный.

Австрийцам было весело его слушать. Раньше наши люди с иностранцами так не разговаривали. Перед самым Мукачевым они спросили его, понимает ли он, что его речи — это речи великодержавника, несмотря на его добродушие. Он не согласился, но то, что сразу после этого заговорил об американцах, было, видимо, не случайно.

— Вот кому хорошо. Такой нации, как американцы, нет, а народ американский есть. Он со всего света собрался и живет. Если бы и у нас были не республики, а штаты, мы бы горя не знали.

— А за что же вы будете голосовать на референдуме? — спросил я его возле главпочтамта, куда мы его подвезли.

— За Союз. Мне иначе нельзя, — сказал он.

В Каменец-Подольском взяли на автобусной остановке человека, чтобы показал нам дорогу до гостиницы. Он заговорил с нами по-русски. На западе Украины это не то что редкость, но и не совсем обычная вещь. На вид ему было лет сорок, невидный из себя, вс с уверенной, отрывистой речью. От него пахло не только водкой и машинным маслом, но и еще чем-то, чего обычно не присутствует в автобусах, какими бы переполненными они ни были — чем-то гниловатым. В руках у него была авоська, в ней — что-то мягкое, завернутое в газету. На мой вопрос, как будет голосовать, сказал:

— За Россию. Я всегда за Россию.

— В бюллетене такого вопроса нет, — сказал я.

— Будет. Это с тобой поляки? — спросил он довольно равнодушно.

— Австрийцы, — сказал я.

Он полез в свою авоську, пошуршал газетой и протянул мне большой кусок мясной мякоти. Непривычный запах стал сильнее.

— Шашлык им сделаешь, — сказал он. — Промоешь водой, насадишь на прут.

Я решительно отказался. Он положил мясо назад в авоську, пнул ее ногой дальше под сиденье и потребовал тряпку, чтобы вытереть руки.

В эти места он приехал лет пятнадцать назад с Дальнего Востока, русский. Я спросил, где еще ему приходилось бывать.

— Где я бывал, ты там не будешь, — сказал он.

Я спросил, сколько ему было дадено. Он покосился на меня и поднял растопыренную пятерню. Я спросил, за что. Поломавшись, как это принято у многих сидевших не за политику людей, он назвал статью. Не политических статей я не знаю.

— С милиционером беседовал, с сержантом, — сказал он.

— Пять лет за беседу с милиционером? — удивился я.

— Пять, — сказал он отрывисто. — У него глаз вытек. Возьми мясо — немцев накормишь, — снова полез он в авоську.

Это мясо сегодня было вынесено с мясocomбината. Его заводик там рядом, торговля налажена давно, цена соседская — четыре рубля килограмм.

— Считаешь, конечно, что пять лет — это было чересчур, — сказал я. — Дело прошлое: сколько бы ты сам себе дал? По справедливости.

Он показал мне два пальца.

— Два года за милицкий глаз? — удивился я.

— Он сам напросился. Я шел с работы. Выпивший, правда. Никого не трогаю. Он начал приставать. Я говорю: иди. Я иду, и ты иди. Я, допустим, выпивший, а ты трезвый, но я — с работы, а ты — на работе. Ну, и иди.

— А он не прислушался к твоему совету. Чем ударил-то ты его?

Он показал кулак — небольшой, с наколкой.

— Это ж как надо было звездануть, чтобы глаз вытек?

— Да уж, как пришлось. Как просил. Возьмешь мяса?

Срок он отбывал на Севере, вернулся год с небольшим назад. За это время покалеченный им сержант стал лейтенантом. Мне было интересно, не сталкивались ли они после этого на улице.

— Почему на улице? — сказал он. — Домой ко мне приходил. Я, говорит, был неправ. Бутылку распили.

Когда он выходил из машины, я переспросил его насчет референдума.

— За Россию, — сказал он отрывисто. — В лагерях все за Россию.

— Во всяком случае, большинство, — согласился я, вспомнив некоторые другие встречи.

— Все! — настоял он на своем слове.

В Сумской области подвозили сельского учителя биологии. Он возвращался с рыбалки: увлекается подледным ловом. На нем были большие валенки, старый полушубок, на спине тащил ящик с принадлежностями.

— Все будет, как было до сих пор, — говорил он. — Никто от Союза не отделится, никто не присоединится, хоть сейчас и бушуют. Потому что Союз — это одно целое. Ни одна часть не может обойтись без другой.

Он наполовину русский, наполовину украинец, в школе говорит по-украински, вне школы — как придется, называл себя суржой.

— Что, думаете, Украина, отделившись, будет такая вольная, как хотят националисты? Не будет она вольная, а будет такая, какая есть.

Он повторил это несколько раз. Так ему не хочется, чтобы что-то изменилось...

— До сих пор люди жили в куче и примерно одинаково. Если разойдутся, то одни нации станут богатыми, другие бедными, и начнется вражда на этой почве.

Я спросил, какая сила, по его мнению, может удержать эту кучу.

— Ну, сила... Откуда я знаю, какая. Какая сила сейчас всех держит? Та и будет держать.

— До сих пор держала все верхушка партии, в руках которой была госбезопасность, армия, управленческий аппарат.

— Пожалуй, правильно, — согласился он.

— Сейчас партия отходит.

— Ну, будет другая партия, другой аппарат. Будет существовать государство — будут и руководители. Без этого ничего не будет. Кто-то все равно должен управлять, настраивать, принуждать.

— Говорят: одно дело, когда аппарат назначает сам себя, другое — когда его избирает народ.

— Вы думаете, народ лучше решит, кто годится в управляющие? А второе — из кого он будет их выбирать, народ? Из себя же, из людей. А вы что, не знаете, что за существо — человек? Не знаете, что с ним делает власть, даже со святым? Как было, так и будет. Ничего не изменится.

— Все на свете меняется, — сказал я вяло.

— Совершенно правильно. Все! Но соль остается. Меняться должно одно, если уж меняться: люди, их отношение к работе. Надо, чтобы каждый человек честно делал свое дело. Не обманывал ближнего, не завидовал... Так и философ Скворода, наш земляк, учил.

— Только как же этого добиться? — спросил я.

— Вот в этом весь вопрос. Нет у нас еще такого аппарата, который бы заставлял человека работать, раз у него самого сознания нету.

Он резко отозвался о городах: процентов сорок городского населения бездельничает, а потреблять всяк старается по полной норме. Недобрым словом упомянул тех, кто болтает о свободе.

— Что, мы разве не свободны? Или я не свободный, или вы? Или украинцы не свободная нация? Вот при капитализме было действительно так, не свободно. Люди работали — капиталист наживался. Он только и был свободен со своими деньгами. А социализм пришел — такого не стало, и такое больше не вернется, вот увидите!

Мне показалось, что он боится, что такое вернется, почти уверен, что вернется, но ему неприятно об этом думать. Он ведь знает, что творили бедные с богатыми, а заодно и друг с другом в революцию, в коллективизацию, он может легко представить себе, что за беднота у нас опять будет, какие вожаки из нее выделятся... Все разнесут, сжечь все!

Красочно, особенно на востоке Украины, высказывались инвалиды войны.

— Что Украина, что Россия — один черт, — стучал один по своей деревяшке. — Пусть они живут, как хотят: вместе, раздельно, поочередно. Лишь бы людям было хорошо: было бы что кушать, пить, курить. Как при Брежнев. Все пили, ели, гуляли, и сам он тоже: везде ездил, и в Индию, как король, и всюду, и сытый, и пьяный, облеваный по самую задницу!

Вот так говорил, а за что будет голосовать, сообщить в присутствии иностранцев отказался.

— Боюсь. Кто вас знает, откуда вы.

— Раз боитесь, могли бы сказать, что вы «за», а так ведь все равно видно, что вы «против», — сказал я.

— Правда — видно? Нет, я «за», я — обязательно.

Людей, которые боятся советской власти, как огня, еще очень много — я думаю, куда больше, чем могут показать самые тонкие социологические исследования. Судя по тому, что пришлось слышать в дороге, чуть ли не каждый простой человек уверен, что даже по птичке, поставленной им в бюллетене, ОНИ могут его разыскать и сделать ему пакость: отобрать, например, пенсию.

У нас было два микроавтобуса — что-то наподобие рафиков, но не рафики: немецкий «фольксваген» и японская «мицубиси». «Мицубиси» была новой марки, ее дали нам для испытания на украинских дорогах. Испытания выдержала хорошо, ничего не ломалось и не барахлило. Правда, проехали мы немного, меньше восьми тысяч километров. Как следует застряла один раз, так что не могли вытащить и «фольксвагеном» — только порвали трос. Это было в мокром затравеневшем песке на берегу лимана перед Николаевом. Недалеке была молочная ферма, доносился гул вечерней дойки. Я побежал туда. Скотник-тракторист уже слял воду и собирался домой. Пока запускали двигатель, стемнело. Трактор проваливался в ямы, опрокидывался, выбираясь из них, меня носило по гремющей кабине. Я сказал, что не мешало бы включить свет.

— Включил бы, да нет его, — сказал тракторист, сверкнув в темноте зубами.

— Как же мы доедем? — кричал я.

— Как-нибудь!

Чтобы мы не застряли еще раз, он дотащил нас до самого шоссе на Николаев. Мы отблагодарили его пивом. Он радовался, что после работы не уехал на своем тракторе домой и смог нам помочь. Всю зиму уезжал, прихватывая клрк сена или мешок силоса для своей коровы, а к концу зимы прихватывать стало нечего.

— Так теперь, может, и свет начнет включаться? — сказал я.

Он засмеялся. Приятное это было приключение, хорошая встреча, все как будто не в приморье Украины, разбитном и расчетливом, а в каком-нибудь полесском захолустье с его старинным доброжелательством. Ничего не испортило и то, что, когда мы с трактористом неплотно прикрыли за собою ворота коровника, нас догнала, хлопая сапогами, худенькая доярка и обложила таким длинным и причудливым матом, какого я не слышал с лета, — материлась она совершенно беззлобно.

Ее я не решился спросить, за Союз она или за независимую Украину, а его спросил.

— Кто нас когда слушал? — махнул он рукой.

— А голосовать-то пойдете?

— Пойду. Трактор меня кормит пока ихний.

Моиx друзей поразили его трудности с коровой. Корову иметь можно, а корма купить нельзя — как это понимать? Зато их можно воровать, защищал я наш колхозный строй.

И не только я. Есть немало простых людей, которым нужен колхоз и для которых судьба Союза — это судьба колхоза. Для многих не простых, для председателей-героев в первую очередь, это давно само собой разумеется, только они не высказываются так прямо, как Варвара Евдокимовна Севидова в селе Добрянском на стыке Сумской и Белгородской областей.

— Что сейчас на Украине делается, Варвара Евдокимовна? — спросил я ее.

Это была старая женщина, стирала в проруби на пруду посреди села — в валенках с глубокими калошами.

— Безобразие делается. Грызутся день и ночь. Полгода сидят-заседают — ничего не высидят. Не хотим мы отделяться! За Союз. Не хочу я одиночества. Кто мне, старой, будет сеять и пахать? В колхозе все заодно. Пашется, сеется. В колхозе мы привыкли. На кусочки делиться! Что это за жизнь, если на кусочки делиться будем? Кто нас накормит? Те, что берутся единолично обрабатывать землю? Эти, что якают: я-я, я — фермер, я обработаю. Они видели, как единолично работают? Один в поле не воин.

— Что ж, понятно, — говорю я.

— Поздно кинулись. Мы уже привыкли заодно. Надо было в самом начале так не делать, как сделали. Я помню то время, мне девять-десять лет было. Люди падали от голода. Теперь — все. Теперь будем за общее.

За ворота вышла цветущего вида женщина в рваной телогрейке. Телогрейка женщине тесновата, и кажется, что именно от этого она лопнула во многих местах, и торчат из нее клочки ваты.

— Здравствуйте, как вас зовут?

— Севидова Елена Антоновна.

— Варвара Евдокимовна не ваша родственница?

— Нет, у нас много Севидовых. Как курица курчат навела: Севидовых да Думчиновых.

— Что можно сказать про Украину, Елена Антоновна? Что она сейчас собой представляет?

— Разбитое корыто. Порядка нет. Осталась она, как голый при дороге. Брали с нее, тянули, теперь ничего нет. Пойдешь в магазин, аж страшно. Хотя бы уж мыши висели на стенах, а то голые стены.

— Почему ж так стало? Как вы думаете?

— Мы это не знаем, темные мы. В газете что-то напечатают, а то правда или брехня, мы не знаем.

Начало беспорядка Елена Антоновна усматривает в том, что поделились. Стал выяснять, какое разделение она имеет в виду. Из одних ее слов получалось, что поделились Украина и Россия, из других — что высшее начальство разделилось на разные компании, из третьих — что поделились все и вся, всюду и везде.

— Хто зна, зачем поделились. Общо жили — всего хватало. А теперь кухфайки не могу купить, хожу, как арестант.

Говоря, она все время жизнерадостно смеялась.

— Голосовать за что будете? Голосовать-то часто теперь придется.

— За Украину... А что — за Союз надо? Мы, сами не знаем, за что голосовать. В телевизор посмотришь — ничего не понять. Как цыгане в куче — тот себе тянет, тот себе. А нам к кому пристать, неизвестно. И сами жить не умеем.

— Может, есть все-таки хоть один человек, которому вы верите? — спросил я. — Вот из тех, кого по телевизору видите.

— Депутатов там много — можно б и выбрать, да они сами себе не верят. Браются и все. Тот говорит так, тот говорит: нет, не так. А чей верх будет, кто знает? Кто угадает? Чья будет сила, того будет и воля.

Слушал я с большим интересом, еще интереснее было смотреть в синие, веселые, спокойные глаза женщины. Быть ли Союзу и быть ли Украине под крылом Москвы, это для нее разные вопросы, и твердых ответов у нее нет. Быть в Союзе скорее не хочется, чем хочется, а насчет Москвы...

— Я этого не выскажу, — смеется она, и телогрейка на ней трещит по всем швам. — Если бы я побывала в Москве, поглядела, что то за Москва, я бы вам сказала, посоюзилась бы я с нею или нет. Что в нашем колхозе есть, то я знаю. Хлеб был в этом году. И государству дали, и нам дали, даже пенсионерам дали — спасибо. А если я поеду в Москву, я там не знаю ничего, и никто мне там не скажет, что то за люди.

Ух, Елена Антоновна!

— Чувствуете-то вы себя украинкой или русской?

— На Украине живу — украинка и есть. А разговариваем — кто как может.

Телеграмма в Киев

До недавнего времени в пределах Украины невозможно было отправить телеграмму на украинском языке. За попытку, если она бывала настойчивой, можно было поплатиться карьерой, а если продолжать упорствовать, то и попасть в сумасшедший дом или в тюрьму — обычно по совокупности с другими преступлениями против дружбы народов. Могли даже уступить, принять телеграмму на украинском, но к адресату — в пределах, повторяю, Украины — она приходила все равно на русском.

На моих глазах знакомая украинская журналистка однажды давала телеграмму мужу в Киев. Дело было в селе, где она жила с детьми у его родителей. Он собирался приехать к ним. Она написала: «Перед тым як-іхати, відвідай — то есть, проведай — Ганну Ілвіну». Речь шла о знакомой их семьи. Заведующая почтой сказала: «Перепишите по-русски. Район по-украински не примет». Клиентка оказалась с норовом, стала ее стыдить: «Из-за таких, как вы, украинский язык и в загоне, из-за таких и мы все — как люди второго сорта!» Заведующая почтой, сама чистая украинка, селючка из селючек, покраснела и телеграмму взяла.

Муж Татьяны Чуприны — так звали журналистку, тоже журналист Михаил Скорик получил телеграмму в переводе. Написано было так: «Перед отъездом отведай¹ Анну Ильиничну». А той Анне Ильиничне было 75 лет, по каковому случаю он и должен был ее проведать.

В марте этого года мы вспоминали с ними этот случай, ставший у них семейным анекдотом. Я спросил Татьяну, что она тогда чувствовала.

— Это всегда оскорбление, — сказала она. — Ты раздавлен, унижен, чувствуешь себя не человеком. Украинцу на Украине ты должен доказывать, что твой родной язык украинский и что они обязаны, я не говорю: уважать, но — принимать это как должное...

Эта семья живет в Днепропетровске. В ней пятеро детей. Квартира в центре, а единственный на весь миллионный город украинский детский сад был на окраине. Их друзья и знакомые — журналисты и писатели, художники и артисты — все отдавали своих детей в русские сады и школы. На Скорика и Чуприну смотрели, как на чудаков. На той окраине, где был украинский детсад, жили истовые украинцы, козаки, потомки днепровских лощманов. Они тоже удивлялись: «Зачем вам украинский язык?» — «Затем что мы украинцы и хотим, чтобы украинцами были наши дети, — в объяснения чаще вступала Татьяна. — Мы считаем, что если на нашей семье закончится украинство, то оно погибнет вообще». Потомки лощманов слушали уважительно и вроде бы все понимали, но проходило время, и люди добрые, участливые опять спрашивали: «Зачем вам украинский язык, если его нигде не используешь? Вон дочка Мыкыты Шевченка была в украинской школе отличница, а сдавала в медицинский — получила двойку, потому что принимали на русском языке».

Михаил и Татьяна работали в молодежной газете, Татьяна — в школьном отделе. В обкомах — партии и комсомола — их отчитывали: «Вы неправильно воспитываете своих детей — демонстративно возите их через весь город в украинский детсад». Дамы жалели их детей, вынужденных вставать на час раньше других.

С первого класса дети из этой семьи попадали под надзор КГБ — практически гласный. Директор школы Бурчак Василий Герасимович рассказывал Михаилу, что к нему приходили товарищи из органов: «Присматривайтесь к этим детям, Матвею и Марфе. Это дети националистов». Кончив (отличницей) восемь классов, Марфа поступила в ПТУ на каменщицу. На нее подействовали рассуждения деда, старого солдата, о том,

¹ Вниманию переводчика! «Отведать» здесь значит «переспать».

как счастлив человек, имеющий про запас хоть одну простую серьезную специальность. «Получи специальность, а потом шагай хоть в академики!» Когда он был в плену, его спасло то, что он умел молотить цепом. Матвей, шедший двумя классами ниже Марфы, решил кончать все десять. Власти не могли этого допустить. Учительницу заставили сделать на него донос. Будто бы во время урока он задал националистический вопрос. Тема урока будто бы была такая: «Русский язык — язык межнационального общения народов СССР». «А почему не украинский?» — так будто бы звучал националистический вопрос Матвея. Было предпринято расследование. Заседало бюро обкома, заседали суды. Михаил сумел доказать (это не составляло труда), что такой темы, при всей ее важности, в школе вообще не проходили. Все равно: его выгнали с работы, сына не пустили в девятый класс, школу перевели на русский язык.

— Труднее всего было выступать, — говорит Михаил. — Ты не мог знать, за что тебе завтра турнют, где и что упадет тебе на голову. Мне прямо говорили высокопоставленные люди: «Вы не занимайтесь вопросами культуры. Лучше пейте водку». На тебе клеймо: «А, Скорик? Это националист!» Что значит «националист»? Это человек, который говорит по-украински. Носит вышитую рубашку. Усы! Усы — характернейший признак. Говорит по-украински и носит усы — это отпетый. Всю жизнь меня бреют: «Зачем вам усы? Такой молодой, красивый — оно как-то не смотрится».

Однажды Михаил через суд пытался получить официальное толкование, что такое национализм и кого считать националистом. Суд не принял иска.

Супруги работали в украинской газете, но им не давали писать в ней на подлинном украинском языке. Подлинный украинский язык русскому человеку почти так же непонятен, как чешский или польский. Но есть язык вроде бы украинский. В нем масса калек и просто русских слов, произносимых на украинский манер. Вот на этом языке и приказывалось писать.

Как к ним относились окружающие? По-советски, говорит Татьяна. Одни опасались их — и старались держаться подальше, другие опасались за них — и вели себя так же. Свадьбу они играли в родном селе Михаила. За столом был его дядя — учитель, фронтовик, член партии. Его вызвали в область, в КГБ, там он написал отчет о свадьбе. Родственники и сейчас считают, что с Михаилом не все в порядке. Все, приезжая из города, говорят по-русски, он имеющий, к тому же, высшее образование, говорит по-украински, причем чисто.

Наблюдая за тем, что происходит в последние год-два на Украине, отдаешь должное советской власти, говорит Михаил. Она знала, что делала, когда главными своими противниками на Украине считала людей, сознающих себя украинцами. Везде, во всех городах, движение против нее начинается с того, что создается общество украинского языка. Всего-навсего. Никакой политики. В первое время в него входит пять—десять человек — литераторы, актеры, бородатый художник. Располагается оно нигде или в каком-нибудь закутке редакции, библиотеки, издательства, как в Днепропетровске. Неделю-другую на него не обращают внимания. Но вот из этого закутка начинают выползать листовки, где-нибудь на заборе вывешиваются дацзыбао, возле них начинает толпиться народ. И пошло!..

Михаил с Татьяной не думали дожить до закона, признающего, пусть и половинчато, украинский язык государственным, до того, что можно будет свободно объявлять себя украинцем, обсуждать украинскую историю, создавать всякие общества, даже партии. Разрешение партий на многих подействовало меньше, чем разрешение украинства. Ходят слухи, что на Украине уже есть украинец генерал, говорящий по-украински. Украинство зашевелилось там, где, казалось, его и след давно простыл. Одна из причин как раз в том, что люди не ожидали таких перемен. Момент неожиданности их потрясает, некоторых — до основания.

У стрелцов

Прошлым летом возле штаб-квартиры львовского Руха; в толпе людей, собравшихся в Запорожье на празднование 500-летия Сечи, мы увидели трех парней в форме сечевых стрелцов. В глаза бросались высокие ярко-синие кашкеты с длинными козырьками и кожарами в виде трезубцев. В руках одного был сине-желтый штандарт. Когда мы их снимали, людям хотелось оказаться рядом с ними, как возле достопримечательности. Человек в такой форме, особенно если он юный, стройный, с пушком над губой,

не выглядит военным. От него за версту несет доверчивостью и благожелательностью, и ничего с этим, видимо, не поделать: это в самих колерах старинного украинского флага — небо и пшеничное поле.

Нам не сразу пришло в голову, что снятые нами на виду у всего города «стрельцы» имеют какое-то отношение к тем военизированным формированиям буржуазных националистов, о появлении которых докладывал (если не ошибаюсь, союзному Верховному Совету) председатель КГБ Крючков. Через полгода мы опять приехали во Львов продолжать съемки нашего фильма про Украину. В планах было во что бы то ни стало добраться хотя бы до одного из этих загадочных формирований. Начали осторожно наводить справки. «А-а!» — сразу же сказали люди из лагеря демократов. — Это он, наверное, имел в виду нашу «Сечь». Ничего другого, что можно было бы выдать за новую УПА, у нас нет».

(УПА — это Украинская повстанческая армия. Она действовала в западных областях Украины во время второй мировой войны то против немцев, то против красных. За руководство этой армией шла борьба в верхах украинского освободительного движения. Основными соперниками были Степан Бандера и Андрей Мельник. Победили сторонники Бандеры.)

Организация под названием «Сечь», которую раскрыли люди Крючкова, оказывается, ни от кого не пряталась, она зарегистрирована властями, имеет печать и банковские реквизиты. Штаб ее во Львове, ячейки — почти по всей Украине. Это молодежное военно-спортивное и просветительское общество — что-то наподобие ДОСААФа, только не под красным, а под желто-голубым флагом и, следовательно, по-настоящему добровольное. В нем допризывники готовятся к службе в армии. Среди наставников есть профессиональные военные, это офицеры-украинцы, от капитана до полковника, не только отставники. Никто не скрывает ни ближних прицелов, ни главного дальнего. Ближние — помочь молодому человеку прийти в армию способным постоять там за себя. Укрепить его патриотическое чувство перед длительным испытанием в жесткой русскоязычной среде. Чтобы он, улучшив там свой русский язык, не забыл родного, для чего должен знать свою Украину вдоль и поперек, во времени и пространстве. И чтобы верил, наконец, не в коммунизм, а в Бога. Так «Сечь» представляет себе свое участие в строительстве вооруженных сил независимой Украины. Это — дальний прицел, он закреплен в официальном названии Комитета, при котором существует «Сечь» — Комитет возрождения украинской национальной армии.

Воскресным туманным днем мы ехали в город Яворив знакомиться с тамошним районным подразделением «Сечи». Сопровождал нас сам Сергей Родюк — председатель упомянутого Львовского областного комитета, обладатель удостоверения за номером один. Ему 29 лет, выпускник Львовского университета, преподает историю в техникуме. Худой, подтянутый, очень сдержанный. По дороге рассказывал моим друзьям-австрийцам о том, что украинские военные традиции уходят в глубь столетий — по крайней мере, пяти, что географическое положение Украины, сочетание других природных особенностей исключительно благоприятно, вот и сотворилась тут особая человеческая порода. Под этим углом зрения можно взглянуть на украинскую певучесть. Это отнюдь не декоративный мазок. Украинская песня заставляет организм работать в таких режимах, которые недоступны или, осторожно говоря, не приняты даже у некоторых близкородственных украинскому народов.

В такие моменты я, как учит нас Валентин Распутин, начинаю очень гордиться, что я украинец, причем беспримесный, и сочувствую разным метисам, которым не дано четких указаний: должна ли, например, поmess бурята с русским гордиться бурятской частью своего состава или русской? И, конечно, забываю, что сам совсем не умею петь.

Яворивская «Сечь» дислоцировалась в бывшем, кажется, досаафовском тире: его приспособили под спортивный зал, в углу даже выгородили командирский кабинетик. Нас встретил командир Степан Вус — невысокий быстрый человек. Недавно он ворочал делами в торговле. В «Сечи» получает копейки, зато, говорит, пользы Украине от него тут на rubли. Уже мало только произносить приветствие: «Слава Украине!» На его столе высилась стопа Библий, на стене над ним голубел трезубец.

Сначала нам показали маленькое парадное шествие отделения стрельцов с хорутью, потом строевые упражнения под открытым небом. Личный состав был одет в знакомую нам форму. Отделением командовал сотник Петро Иванец, он же председатель Немиривского поселкового совета и депутат Львовского областного совета. Бю мундир

был с портупеей. Он хмурил брови, шевелил подковой пшеничных усов, резко подавал украинские военные команды. «Шикуйсь!» означало «Стройся!». Судя по его виду, он мог бы командовать и полком, но для такого числа стрелцов еще не было напшто обмундирования. Можно, конечно, упражняться и в спортивных костюмах, но это будет не то, а командование «Сечи» хочет, чтобы с самого начала все было ТО. Без формы — спорт, в форме — служба, объяснил нам наблюдавший за боевой учебкой полковник Лазоркин из Львова. Служба государству, которому принадлежит мундир — независимой Украине. Полковник был в солидном штатском пальто.

Немногочисленные зрители зябли на рыхлом снегу на валу, ограждавшем плац. Это были невесты стрелцов и мальчишки. Сырой туман напылав из ближнего леса.

После строевой подготовки стрелцы перешли в помещение. Мы посмотрели занятие по искусству рукопашного боя. Вел занятие Богдан Петрий, тренер из Львова. пожилой приземистый человек с широким ремнем на животе борца. Он учил ребят, как с голыми руками стоять против автоматчика. Во время короткого перерыва я спросил его, что будут делать эти ребята, если на них, как в Вильнюсе 13 января, двинутся танки. Он сказал, что на Украине такого не будет. Их линия — людей армии не обижать, не отталкивать от народных движений, а всячески привлекать к ним, и всякий активист дисциплинированно проводит эту линию в жизнь.

— Как мы можем обижать эту армию, если она такая же несчастная, как и мы? В ней служат наши дети, мы уже почти добились, чтобы украинцы, по их желанию, могли служить только на Украине. Вот это она и будет, украинская армия, она уже собственно, есть: ее составляют те части, что стоят сейчас на Украине. Мы только ее постепенно, ни для кого не обидно и не ущербно, обновим и сократим.

— Ну, а если все-таки случится такое, как в Вильнюсе? — настаивал я.

Петрий вытер пот со лба и сказал:

— Мы пойдем без оружия под танки и погибнем. У нас другого пути нет. И мы не хотим другого.

Это официальная идеология украинского национального возрождения. Важнейшее ее положение — культ героизма и самопожертвования. Преодолеть украинскую чувствительность и мечтательность!

— Я далек от идеологий, — сказал тренер хмуро. — Говорю, что знаю про себя и своих ребят.

После тренировки нам была показана — силами тех же стрелцов — живая картина в стихах на лобу дня. В образе миловидного парубка выступал украинский народ. В образе черта с рогами, похожего на пса-рыцаря — советский империализм. В действии принимал участие чекист-provokator. Он всячески втирался в доверие к простодушному парубку, произносил пылкие антисоветские речи, наконец, призвал его резать коммунистов. Тут-то украинец и раскусил гада. За спиной provokatora стоял его шеф — пузан в кожаном пальто с красными буквами «КПСС» на спине. Когда их разоблачили, пузан схватился за красную телефонную трубку, стал требовать к себе старуху с косой и в саване. Она явилась, но только затем, чтобы сказать, что больше она ему не слуга. Сколько можно косить людей ради того, чтобы он все больше жирел!

В заключение стрелцы исполнили несколько песен Украинской повстанческой армии. В одной говорилось о том, как, теснимые красной силой, уходят из села партизаны и у каждого на лице — боль и печаль.

Это как раз о том, в чем до сих пор упрекают мельниковцы высший комсостав Степана Бандеры. Как можно было призывать к оружию тысячи не обученных военному делу молодых людей перед приходом силы, что разгромила лучшую армию в Европе?

К разговору об этом мне хотелось подвести командиров львовской «Сечи».

Полковника Лазуткина я спросил, зачем Украине своя армия.

— Чтобы можно было защищать, если потребуется. Декларацию о суверенитете, — сказал он. — Если государство не имеет армии, оно не государство.

Сотника Иванца я спросил про образ врага. После второй мировой войны советский солдат знал, что его главный возможный враг — американец, под конец брежневской эры прибавился китаец. Как будет с этим в украинской армии?

— Это идеология российской коммунистической империи создавала образы врагов. Мы этого делать не будем. «Сечь», — добавил он, — это возрождение одноименной молодежной организации, существовавшей в Западной Украине до прихода красных в 1939

году. В ячейках той «Сечи» были наши отцы. Это наша история. Мы хотим вспомнить себя.

Возможного главкома будущей украинской армии Сергея Родюка («Не исключено, — улыбнулся полковник. — Хотя выбор будет большой») я расспрашивал, на какой героине и на каких традициях он собирается воспитывать свою армию. Он назвал традиции козатчины, из героев времен второй мировой войны — генерала Украинской повстанческой армии Шухевича.

— Мы с вами сейчас как раз на его земле. Рядом, в Дрогобычском районе, родина другого генерала УПА — Грицяя.

— Для вас Шухевич генерал и герой, а для многих ваших сверстников на востоке Украины он — группенфюрер СС, начинавший командиром созданного в Мюнхене батальона «Нахтигаль», — сказал я. — И вот теперь сыновья людей, убивавших друг друга, должны вместе создавать армию Украины...

— Это действительно проблема, — сказал Родюк. — Хотя противопоставление западных и восточных украинцев во многом искусственно. В рядах УПА было немало людей из Восточной Украины. Это были, в основном, командиры-политработники. Они хорошо знали голодомор тридцатых годов, они рассказывали нашим бойцам, какие порядки были при сталинщине. Это придавало духу нашей армии. Есть проблема. Часть моих родственников боролась в рядах УПА против сталинщины, но мой дед по матери погиб под Берлином в Советской Армии.

— Для парня из моей Сумщины герои — Ковпак и Руднев, а Бандера и Шухевич — бандиты. Для вашего стрельца наоборот. Как вы все-таки совладаете с этой проблемой?

— Мы боролись против общих врагов, против тоталитарных режимов — и восточного, и западного.

Желая как-то разрядить атмосферу, я заговорил о постороннем и сказал, между прочим, что строю у себя в селе на востоке Украины хату, в которой хотелось бы провести остаток жизни. До поездки в Западную Украину я не видел в этом ничего особенного. Здесь мне объяснили, что этим строительством я проявляю лучшую сторону украинского национального характера. Я обнаружил, что этот недостроенный дом возле церкви, на заросшем берегу Ворсклы, может служить ключом к сердцу западного украинца. Человек преобразается: взгляд сразу теплеет, следует перемена всего тона, я узнаю такие вещи, о которых минуту назад никто не собирался мне рассказывать.

Поддействовало и на сей раз. Сам собой возник разговор о русских, которые испокон веков вели неоседлую жизнь и об украинцах, которые всегда были домовиты, укоренены в родной почве, не зарились на чужое. Ну, и о наций хлебопашеской наивности, доверчивости, простодушии.

Лев Троцкий когда-то сказал, что именно из-за доверчивости и наивности Украина не обрела государственности и теряла свои земли. Эти слова слышишь сейчас на каждом шагу по Украине; многие, не подозревая о действительном авторе, считают их последней коллективной мудростью, наконец-то повзрослевших украинцев.

От моей хаты на берегу Ворсклы можно было возвращаться на скользкий лед нашего недавнего прошлого и желанного будущего. Украине будет достаточно, вместо нынешних почти полутора миллионов союзного войска на ее территории, иметь двести тысяч хорошо обученных и оплачиваемых профессионалов при самом современном оружии. Офицер этой армии будет поднят на такую высоту, на какой он никогда не стоял. Социально не защищенный офицер — это не офицер, а раб своего командования и правительства, говорил полковник.

— У нас он будет защищен. Мы дадим офицеру землю.

— Землю?! — удивился я.

— Да, землю! Чтобы он не боялся уйти в отставку. Чтобы спокойно служил, зная, что у него есть земля, на ней — дом!

— Маенток? Поместье?

— Да, если хотите!

Я вспомнил описанного Лесковым чиновника Российской имперской администрации в Польше с его гениальным проектом усмирения юго-западного края. Он предлагал нарезать 25 тысяч кусков земли и раздать их офицерам. Когда у русского офицера будет дом с балконом, на котором он поставит самовар и будет пить чай, поглядывая на свои зеленя, никто этот край не взбунтует и не отнимет.

Лесков подлил масла в огонь. Нет и нет! — заговорили мои собеседники. — Пусть внешне заведомо безнадежная, пусть трагически двусмысленная, западноукраинская партизанщина против советской власти и ее армии здесь все-таки не была напрасной. Западная Украина укрепилась внутренне, сохранила свой антибольшевистский иммунитет. Кто-то привел некрасовскую строку: дело прочно, когда под ним струится кровь. Восточная Украина только сейчас вместе со всей империей начинает прозревать, у Западной же глаза были открыты всегда. Это работала память о жертвах той борьбы.

Был тот случай, когда просто невозможно ограничиться вопросами, ничего не сказать самому.

Я мало знаю о споре Бандеры и Мельника, сказал я. Об этом споре героизма и умеренности, как некоторые рискуют его называть... Еще меньше известно мне про политические маневры Бандеры и его сторонников, о которых не без документов в руках говорят мельниковцы. Но я знаком с идеологией украинского национализма. Одного-единственного положения этого учения, без всякого участия обычных вождистских слабостей и пороков, хватило бы, чтобы удел УПА был таким, каким он был, и не другим. Это учение сложилось в головах литераторов, но корни его, наверное, глубже. Я это почувствовал сегодня на уроке, который давал юным яворивским сечевикам пан Петрий из Львова. Надолго запомню и тему этого урока: как голыми руками действовать против автоматчика, и решимость учителя повести их, если потребуются, безоружными под танки. Неизвестное ему учение гласит, что культурная миссия Украины — в создании нового типа европейца. Это будет, как полагают, Фауст и облагороженный конкистадор в одном лице — тип мудрого и мужественного добытчика. Осуществится ли эта возможность и задача, покажет будущее, сказано в писании.

Пан Петрий на эти мои слова только крикнул, а сотник решительно сказал:

— Я думаю, мы как-нибудь объяснимся между собою, западники и восточники. Лишь бы никто не вмешивался в наш разговор — ни из Москвы, ни из Варшавы. Мы сами разберемся, кто был Ковпак, кто был Бандера и кем должны быть мы.

Мы пожелали друг другу выдержки в этом только-только начинающемся разговоре, потому что история украинского национально-освободительного движения с семнадцатого года — действительно не для слабонервных.

Дома я перечитал тот очерк Лескова. Я помнил его хорошо, но забыл, оказывается, одну, теперь поразившую меня подробность. Этот прожектёр, пишет Лесков, был из малороссов.

Враг моего врага

На киевской улице, где мы брали интервью у прохожих, человек лет шестидесяти, в толстых очках, сказал в ответ на вопрос об украинцах:

— Больше всего изменников и полицейев было среди них. Больше всего в Союзе. А вы говорите, что надо делать Украину отдельной республикой.

— Мы вам ничего не говорим, — сказал я.

— Ну, такие, как вы. А я только за то, чтобы было единое государство. Как и до сих пор. Никаких разделов не должно быть. Украинцы полиция убивали все нации. Потому что они завистливые люди и националисты

Довольный, что каждое его слово было записано на пленку, он сказал: «Вот так вот!» — и ушел, размахивая авоськой с хлебом.

...Я уже рассказывал о недавних раскопках во дворе бывшего Дрогобычского НКВД. Первые раскопки были сделаны еще в 1941 году как только в город вошли немцы. Жители кинулись к этому зданию искать останки близких. Больше всех видели городские мальчишки, некоторые из них только сейчас заговорили о том, что им там открылось. Они видели мертвых людей, у которых рты были забиты толченым стеклом, защиты колючей проволокой, на головах — венцы из железной колючки, священников узнавали по вырезанным крестам на плечах и груди. Сверху в ямах были еще свежие трупы. Людей убивали, жалея патроны. В яму бросали гранату, и люди там свивались, как змеи, рассказывал нам человек, которому тогда было девять лет. Одна женщина увидела со второго этажа своего сына в этой яме. Она прыгнула туда из окна, переломала себе ноги, потом долго ходила калекой, потерявшей рассудок.

Часть найденного во время последних раскопок была выставлена там же для всеобщего обозрения. Под длинным навесом на досках, составивших казавшийся бесконечным стол, лежали рядами скелеты. Шли люди, ставили свечи. Когда мы приехали, скелетов уже не было — мы нашли их потом в гулком складском помещении одного завода; уложенные в гробы, они находились там в ожидании погребения; гора непривычно узких гробов. На досках под навесом оставались еще холмики сплпшихся комков кожи, одежды, волос, взгляд приковывали рыжие прядки. На столбах болтались, бряцая на ветру, таблички, снятые с домов после недавнего переименования площадей и улиц Дрогобыча. «Площадь Ленина», «улица Дзержинского»... Валялись мемориальные доски со зданий, в которых жили, трудились или останавливались видные люди партии и государства — Сабуров, например, зверь был, говорят те, кто помнит, как по его приказам пытали здесь людей; во дворе гудел специальный двигатель, заглушавший крики и выстрелы. Сентябрь тридцать девятого года, когда Дрогобыч был занят Красной Армией и советская власть приступила к террору, пропаганда называла золотым сентябрем. Во всю длину навеса был натянут уже потрепанный транспарант с надписью по-украински, напоминавшей об этом. Красная жатва золотого сентября тридцать девятого...

— Снимаете? — остановился возле нас пожилой прохожий.

— Снимаем, отец, снимаем. Вы знаете это здание?

— Еще бы. Я здесь сидел.

— Сколько вам было тогда?

— Пятнадцать лет.

— За что же вас?

— Не знаю. Наверное, за то, что в буржуазной школе учился. Отца убили, мать сослали. Меня немцы отсюда выпустили в сорок первом году.

— И куда же вы потом?

— В дивизию СС «Галичина». За Украину воевать.

Тут я должен был немного помолчать — обдумать слова, какими продолжать его спрашивать. Мой отец все-таки погиб на другой стороне.

— Вы понимали, что с немцами вам красных не победить?

— Как не понимать! В сорок четвертом году последний бой давали — все уже было видно, чем кончится. Как сейчас видно, что этой власти конец, так и тогда...

— Зачем же шли в бой?

— А чтобы показать, что мы — украинцы.

— Неужели вы, мальчишка, так это все понимали, чувствовали? Свою обреченность, свою миссию...

— Понимал. Меня большевики вот в этом подвале научили. Мы знали: то, что мы воюем за Украину, а не за Германию, люди когда-нибудь узнают.

После войны его приговорили к расстрелу. несколько недель он ждал исполнения приговора, потом отправили на Колыму — на 25 лет. В пятьдесят шестом выпустили, но возвращаться на родину запретили. Десять лет мыкался по стране. По его виду я мог бы сказать, что это секретарь райкома на пенсии — крупный, с белым лицом, важной повадкой. Что-то его вылепило и сохранило таким! Он показал нам местную газету, в которой его разоблачали, воевал в такой дивизии, а туда же — демократ, активист Руха! Он гордится этой статейкой, дал нам ее насовсем: «У меня еще есть». Теперь все знают, как он служил Украине.

— Ну, а что Гитлер — бандит, вы тогда понимали? — спросил я.

— Да как же мы могли этого не понимать, если половина его солдат это понимали!

Мне хотелось знать, как он смотрит на разницу между собой и моим отцом, погибшим в Советской Армии.

— В то время ваш отец скорее всего считал меня изменником. Но я не был изменником. Я был его противником на поле боя — это факт. Но я не принадлежал к советской родине вашего отца, не присягал ей.

— Вы, наверное считали так: враг моего врага — мой друг, хоть он и Гитлер?

— Про Гитлера мы все-таки вначале мало знали. А что такое Сталин, уже на своей шкуре испытали. Как бы то ни было, отсидеться мы все равно не могли. Что было бы, если бы мы все пошли со Сталиным, как ваш отец? Получилось бы, что сталинскому террору и русификации никто здесь не сопротивлялся. Западная Украина была бы сейчас, как Донбасс. Сейчас на Украине хоть три города есть, где в магазине вас не шпыняют за украинский язык, а тогда не было бы ни одного.

— Кругом еще полно людей, которые не понимают, что сажать на 25 лет человека за то, что был солдатом побежденной армии — зверство, — сказал я. — Вам они попадаются? Как вы с ними разговариваете?

— Я с ними разговариваю очень спокойно и сначала коротко. Допустим, человек мне говорит: «Ваш Бандера, Мельник, Шухевич — все вы сотрудничали с немцами». Ага, отвечаю, а ваш Сталин, Молотов, Берия не сотрудничали. Они без сотрудничества с немцами захватили Прибалтику, Западную Украину, Западную Белоруссию и так далее. Это не они устраивали совместный парад сталинских и гитлеровских войск в Бресте. Или он, допустим, говорит мне: «Вы, бандеровцы, невинных людей мучили и убивали!» Я отвечаю: ага, а вы, ленинцы-сталинцы, невинных людей не мучили и не убивали! И все. Если человек замолчит на минуту, задумается, я буду продолжать разговор с ним. Нет — до свидания, Бог с вами.

Статьи в московской и местной коммунистической прессе, в которых разоблачается бандеровщина, делают свое дело. Они вызывают поток ответов, которого раньше не могло быть. Поднимаются документы, находятся свидетели, предпринимаются раскопки — такие, как в Дрогобыче. Все это печатается, показывается по местному телевидению. Наутро после очередной передачи вам на любой автобусной остановке прочитают лекцию по истории Украины.

Перед второй мировой войной Украина, расскажут, была разодрана на четыре части. Самой большей частью владела Москва, остальными — Польша, Чехословакия, Румыния. Всюду проводилась политика разукраинивания Украины. Особенно сильным было ополячивание. Еще чуть-чуть — и от украинства здесь ничего не осталось бы. Тут на сцене появляется Бандера. Бешенству колонизации он противопоставляет неистовство украинства. В тридцать девятом году приходят советские русские. Начинается террор, русификация и советизация. Кто боролся против поляков, почему не должен был повернуть против русских? Западная Украина одинаково не хотела никаких хозяев над собою: ни поляков, ни русских, ни немцев. Вас спросят: каким способом могла она сдерживать лавину русских и осовеченных соплеменников, хлынувших на нее с востока? Только смириться или... развязать террор. Попытаться запугать пришельцев. Пусть один из двадцати распределенных сюда выпускников Харьковского политехнического или Воронежского сельскохозяйственного испугается, не явится по назначению, увильнет — и то польза! Террором закрепить в сознании всех, и западников, и восточников, что здесь — Украина, здесь вам не что-то неопределенное, размазанное, размытое.

Те, кого называют бандеровцами, не боятся никаких обвинений. Они соглашались с коммунистической газетой: да, девушка-учительница из-под Киева, которую убили в селе под Львовом, куда она была прислана после педучилища, ни в чем не виновата. Но ведь и это село, говорят они, тоже не виновато, что вместе с грамотой она должна была нести его детям коммунистическую заразу! Для нее тот мальчишка, который ее убил — бандит. Но ведь и для него она... подумайте: кто? Винтик той машины, которая гудела во дворе Дрогобычского НКВД, когда там зашивали рты колючей проволокой и вбивали железные штыри в голову кому? Мальчишкам и девочкам, виноватым только в том, что они были западные украинцы... Преступление защищающегося может быть равным преступлению нападающего, но разница между ними есть. Одно — следствие, другое — причина.

Споры нынешних «бандеровцев» с коммунистами — это зрелище очень серьезное. Он хотел продать Украину немцам, говорят коммунисты, под именем Бандеры под-разумевая всех: и Мельника, и Шухевича, и Бульбу. «Понимаю, — отвечает «бандеровец». — Вы в это верите. Верили же вы, что Бухарин хотел продать Россию — и тоже немцам. Согласен с вами: Западная Украина вместе с Бандерой пошла продаваться немцам. Только я вас спрошу: а что, было бы лучше, если бы мы решили продаться вам, советским русским? Вы что, были лучше немцев? Вы бы нас меньше перебили? Почему мы должны были продаваться не немцам, а вам, которые своих уничтожили больше, чем чужих?!»

На это один человек сказал (закричал, весь дрожа, если по правде...) так:

— А американцы? Англичане? Они ведь были вместе с нами!

«Бандеровец» усмехнулся:

— Добрый пане! Дак ведь на англичан немцы напали раньше, чем на вас. Вы еще врасос целовались с Гитлером, а англичан он уже бомбил. Англичане, американцы

действовали по правилу: враг моего врага — мой союзник. Не друг, нет — какой из Сталина друг! Союзник...

Как тут не понять мужиков из обкомов и райкомов — почему сидят они тихо по своим кабинетам, перебирают бумажки, не спешат выходить из окопов. Из окопов выходят только их газеты. В схватки лицом к лицу с идейным противником вступают разве что ветераны войны и партии. Им невыносимо слышать, что война, которую вела с ними Западная Украина — это была национально-освободительная война, что в этой войне, одновременно и гражданской, Западная Украина со своими вождями — не святыми и не гениями, не генералиссимусами, но каких уж дал Господь, потерпела поражение и попала в советское рабство. «Кто так обращается с побежденными, как обращались вы? — спрашивают этих стариков и старух, иные из которых сами хлебнули того же. — Одних из нас вы загнали в лагеря смерти, других с семьями вывезли в Сибирь...»

Самое большее, что могут принародно сказать ветераны в ответ: партия сама осудила искривления и преступления. И тут же слышат: «Неужели? Ваша партия их только сейчас осудила, а мы — тогда. Мы уже в то время хорошо знали то, о чем вы старались не знать до сегодняшнего дня: и про тридцать третий год, и про лагеря по всей стране. И мы против этой власти, против ваших оккупационных войск, вашей милиции, вашей администрации, против наших людей, служивших вам, боролись как могли!»

Во Львовской областной типографии, под грохот допотопных печатных машин, мы снимали стоявших рядом, плечом к плечу, политических противников — русского коммуниста и украинского националиста. Коммунист — цеховой инженер, националист — рабочий (стереотипер), активный член местной организации Украинской республиканской партии. Коммунист был не совсем обычный: в партию вступил недавно, два года назад, когда увидел, что ей нужны свежие силы, чтобы сохранить Союз. Русского коммуниста я расспрашивал по-русски, украинского националиста — по-украински, старательно следя, чтобы у меня не перепутывались адреса. Моя щепетильность была излишней хотя бы потому, что русский, как выяснилось, свободно владеет украинским

Первого я спросил русского: с каким чувством он, молодой член компартии, выпускает антикоммунистические газеты? В типографии печатается продукция всех партий.

— Мне все равно, какие газеты выпускать, — сказал Владимир. — Мы производственники. Все зависит от системы оплаты. Есть газеты для нас более выгодные, есть — менее. А политическое направление меня не интересует.

Олег, его противник, на этот же вопрос ответил иначе:

— Ясно, что мы производственники. Но хотел бы подчеркнуть, что рабочие больше стараются, когда печатают газеты независимые.

Личные их отношения более чем нормальные — дружеские. И тот, и другой считают, что это связано не только с особенностями их характеров.

— При всей разности наших политических взглядов, мы принадлежим фактически к одной прослойке общества, — говорил Владимир. — У нас одинаковый средний доход, одинаковые житейские проблемы, мы видим друг друга в работе.

По словам обоих, важно также то, что во Львове, как и повсюду на Украине, нет трений между украинцами и русскими.

— Ничего не изменится и тогда, когда Украина станет независимой, — сказал Олег. — Как работали бок о бок, так и будем. Мы ведь идем к своим целям конституционным, законным путем. Тут и закладывается фундамент наших добрых отношений на будущее.

— Но политические разногласия бывают острее межнациональной розни, — сказал я. — А вы вот стоите и дружелюбно разговариваете

— А вы предлагаете нам взять автоматы и начать перестрелку? — перебил меня Владимир.

— Боже упаси! Мне просто хочется лучше понять природу вашего взаимного доброжелательства.

Олег на все мои вопросы отвечал языком политических заявлений, как и положено руководящему лицу партии.

— У нас с русскими на Украине нет коренного разделения. Возможно, какая-то часть русскоязычного населения немножко опасается за свое будущее в независимом государстве. Но это скоро пройдет. Наше государство будет правовым. У нас ведь не просто национальное возрождение, а национально-демократическое. Значит,

все нации в наших границах будут иметь право на свое возрождение, на свою полнокровную национальную жизнь. Мы говорим: на Украине и русская нация понесла большие потери. Она не имеет своей национальной русской культуры. Она есть просто «русскоязычная». А в демократической Украине, если захочет, она станет настоящей русской, как наша — настоящая украинская. Мы будем равны, никто не будет ущемлен.

Владимир — русский, родившийся в Галичине. Он считает ее своей родиной, любит ее, но четко сознает, что он не украинец — многое из того, что было в истории этого народа, ему не близко. Он тянется, естественно, к России. От него я услышал интересное объяснение, почему все-таки русским так жалко расставаться с Украиной.

— Многим внушили, что мы кого-то облагодетельствовали, что мы только то и делали в своей истории, что кого-то спасали, одаривали, отмывали, возвышали до себя и так далее. Смотрите, как переживают сейчас отставники, которых турнули из Чехословакии. «Как? Мы же их освободили один раз, освободили второй раз, а они нас турнули. Как же так? Мы же к ним шли с добром!» Не задумываются: какое это было добро? Было ли оно добром для того народа, к которому мы пришли? А если и было, то что нам там делать, после того как совершили добро? Многие русские свято убеждены: Украину мы облагодетельствовали, мы ее присоединили. А украинцы, которые тут живут, вовсе так не считают. Они считают, что без нас они обошлись бы намного лучше. Что ж, тоже вполне возможно.

— И вот что поразительно,— сказал Олег.— Многие русские готовы об этом спорить. Не понимают, что им-то вести этот спор должно быть неудобно.

Владимир согласился:

— Насильно мил не будешь. Это же наша, русская пословица.

Естественно, обоих я попросил высказаться о Бандере. Коммунист отказался:

— Это сложный вопрос.

Республиканец согласился:

— Я считаю, что Бандера — выдающаяся фигура украинского народа. Нужно учитывать: Украина была зажата между двух огромных империй — фашистской и большевистской. Чтобы поднимать народ на борьбу в таких условиях, зная, какой кровопролитной она будет, надо было быть выдающейся фигурой. Он не дал народу покориться. Украинская повстанческая армия насчитывала где-то сто сорок тысяч человек. Это была определенная поддержка его идеологии.

Это заставило высказаться и Владимира.

— Я в принципе согласен с Олегом. Бандера — действительно деятель национально-освободительного движения, которым можно в какой-то степени гордиться. Мне только не нравятся деятели, способные для достижения своих целей залить страну кровью. Что отчасти и сделал Бандера. Цели были высокие, я не спорю с этим. Но методы — извините. Действительно, на бандеровцев наша пропаганда вешала все, что только можно было: убийства, пытки, грабежи. Но ведь многое из этого правда! Для меня человек, у которого руки по локоть в крови — не герой. Как, допустим, и Ленин. Может быть, цели у него были благие, но страну залили кровью — это факт.

В столкновениях с «бандеровцами» лучше всего тем из ветеранов, которые отрицают какие бы то ни было преступления социализма, кто по-прежнему хотя бы за Ленина, если не за обоих. Но трудно и им, потому что их никто открыто поддерживать не может — ни Политбюро, ни КГБ, ни Генштаб. Тайную поддержку они ощущают, но ее мало, и они считают себя оставленными, преданными. Некоторым, правда, это придает энергии, они чувствуют себя героями, в сражении на последнем рубеже. (Благо, что ничем не рискуют. Пенсия идет, из квартиры не выгонят. Во Львове за ними — лучшие квартиры.)

Мы снимали одну очень пожилую, награжденную многими орденами, деятельницу общественного комитета защиты Ленина. Я спросил, за что у нее сейчас больше всего болит душа.

— За мою родину, за мое отечество,— сказала она.— Я коммунист уже пятьдесят два года. Мне не было 19 лет, когда я вступила в партию, и это был самый счастливый день в моей жизни. Я никогда не изменю коммунистическим идеям! Я глубоко возмущена тем, что сейчас происходит, и я буду бороться. Пока бьется

мое сердце в груди, я буду бороться за наше отечество, за партию. За Союз Советских Социалистических Республик.

Самое горькое ее воспоминание последних лет — 13 сентября прошлого года.

— Был организован митинг коммунистической партий, всех советских людей. Мы пришли с цветами к Ленину, чтобы защитить его, не дать уничтожить. В первом ряду шли женщины, участницы Отечественной войны. Нас встретили молодчики. Они собрались с утра, окружили памятник и не допустили нас к нему. Они обливали нас краской, били палками, вырывали у нас цветы. Я даже сейчас волнуюсь, вспоминая эту фашистскую акцию.

Я спросил ее, что были за люди, откуда они, по ее мнению, взялись на нашей земле с этим настроением.

— Они всегда были, но прятались. А теперь полезли, как тараканы из щелей! — сказала она.

— Это молодые люди, — сказал я. — Почему у этих молодых людей такое чувство к Ленину?

— Они не знают Ленина. Они его никогда не читали. Они вырывают отдельные цитаты и неправильно их интерпретируют.

С этой женщиной приятно было разговаривать. Маленькая, рыженькая, насколько не злая, скорее довольная, что кончилась брежневская скука, кипит жизнь, борьба.

Свидетельство о рождении

Я как-то написал заметку под названием «Язык-победитель». Главное, чего пока добилась демократия на Украине — вынудила высшее чиновничество заговорить по-украински. Центральное телевидение недавно даже высмеяло за это Леонида Кравчука. Приехав с официальным визитом в Германию, он продолжал говорить на родном языке. Немцы были к этому не готовы, у них возникли некоторые проблемы с переводом. Вернувшись в Киев, Кравчук громко возмущался людьми Кравченко (руководителя Центрального телевидения), по старой цековской привычке требовал оргвыводов — гнать корреспондента, будто в нем все дело. Негодование председателя Верховного Совета Украины понять, конечно, можно. Этим людям в Москве ничего никогда нельзя объяснить! До сих пор он был готов говорить хоть по-китайски, если партия прикажет. Но время изменилось. Он уже не может не говорить по-украински ни дома, ни за границей. Если бы он сейчас заговорил в Германии по-русски, он мог бы не возвращаться на Украину.

На начальника смотрит маленький человек, вся хитрость которого — как-нибудь не пропасть. До сих пор он знал, что с родным языком можно пропасть.

Всюду — во Львове, Тернополе, Киеве, вам подробно расскажут, чем занимается госбезопасность. Знают всех состоящих у нее на тайной службе священников и активистов национальных движений. Раньше важнейшим делом было — присматривать за людьми, хорошо и с вызовом говорящими по-украински. Теперь прибавилось кое-что другое. В Киеве однажды наделал шуму человек, который стал кричать возле магазина, что его побили националисты за то, что не смог, по их требованию, чисто выговорить какое-то украинское слово или фразу: «Маленьке сиреньке телятко». Выглядел подходяще: синяки, рваная рубашка Правда, был и запах перегара. Руховцы решили за ним проследить, узнали, где живет, явились с распросом. Выяснилось, в КГБ человек работает — то ли кочегаром, то ли слесарем. «Не там ли вам сначала и синяки для убедительности поставили? Или только на водку дали, а остальное она сама сделала?» — спрашивают его. Отвечает, что у него дети и кому-то из них куда-то надо поступать.

И все-таки сделано на Украине по этой линии мало, куда меньше, чем в Прибалтике. Конечно, настроения ущемлять русских гут не было и не появляется. Но трудно, что ли, организовать пару ущемлений? Может, и не очень трудно, говорили нам, да у Москвы пока нет острой нужды. У власти ведь здесь стоят еще коммунисты. А с другой стороны, не так это и легко. Чтобы выстроить хотя бы хиленький интерфронт на Украине, Москве нужно быть железно уверенной в местных кадрах, в тех же украинских чекистах. А этой уверенности уже нет. Знаменитый своей угодливостью украинский чиновник, всегда готовый творить на родной земле, что скажет Москва и сверх того, почему-то замялся. Может быть, что-то до него стало дохо-

дуть? Или просто чувствуют другое направление ветра и угадывают его силу? Дует он не из Москвы, это явление природы — домашнего происхождения.

В селе под Гадячем мы разговаривали с девушкой 16 лет. Кончила восьмилетку, поехала учиться в город, в техникум. Восьмилетка была украинская, какой техникум — трудно сказать, он и не украинский, и не русский — бухгалтерский. Дома, в селе, она говорила на украинском, сейчас, через год, говорит на гремучей смеси. От этого ей неприятно, как будто плохо одета. Живя в селе, о политике, говорит, не думала — теперь задумалась, и мысль ее такая: Украина должна быть независимой, потому что, когда она в одной стране с Россией, портится ее язык.

Услышать это на востоке Украины от 16-летней девушки было для меня событием. Она сказала то, что я понял не так уж давно: под одной крышей с Россией Украине может быть как угодно хорошо, но если они будут и дальше под одной крышей, Украина как Украина исчезнет, окончательно растворится в России...

В Гадячском уезде был хутор Вареньки, на которой чуть не женился чеховский Беликов — человек в футляре. На именинах у директора гимназии Варенька пела украинские романсы, среди них «Виють витры», всех очаровала, даже Беликова, он подсел к ней и сказал, сладко улыбаясь, что малороссийский язык своею нежностью и звучностью напоминает ему его любимый древнегреческий.

Из Одессы мы собирались ехать прямо на Черновцы, но пришлось сделать 300-километровый крюк. В одной газете я прочитал заметку про человека, который сорок лет был немым, а тут заговорил. Сотворил это чудо психиатр сельской районной больницы. Теперь исцеленный человек будто бы никак не может на радостях наговориться.

У меня тут, признаюсь, мелькнула идея художественная. Украина ведь тоже столько лет молчала — и лишь сейчас произносит первые слова.

Сколько раз уже себе внушал: не верь газетам. Никаким! Ни советским, ни антисоветским.

Сидел тихий, смущенно улыбающийся человек, перед которым мы сразу почувствовали себя виноватыми. Двух лет он испугался налетевшего на него петуха, после чего не смог научиться внятно говорить. Немым он никогда не был — мать его все-таки понимала, все в порядке было и со слухом. Ему действительно помогли несколько сеансов гипноза... Но больше всего этому человеку пока что хочется продолжать молчать.

Зато хорошо пообщались с психиатром — чернобородым человеком с быстрыми руками. Рассказывал нам про украинцев — как понимает этих людей, живя среди них в глубинке. Народ сильный, душевный, чувствительный, но тяготы жизни делают сейчас людей мрачными, раздраженными, раздражительными.

Мы посмотрели, как он усыпляет своих пациентов. Завучала спокойная музыка и пошли обычные в таких случаях слова. Он настойчиво внушал, что человек лечит сам себя — своей верой, призывал верить — в исцеление, в добро, в него, врача, в Бога... Что-то было не совсем обычное; я не сразу разобрался, что именно. Врач говорил по-украински. Я привык думать, и это близко к правде, что на всю Украину есть семеро врачей, говорящих по-украински — ну, а психиатра среди них не было, нет и долго еще не будет. А тут вот он!

Оказывается, он тоже всегда говорил по-русски, все шестнадцать лет, что работает после института. Все эти годы его не покидало чувство неудобства перед его сельскими пациентами, перед этими тетками с их мовой. В октябре прошлого года, 17-го числа, что-то с ним произошло. Сработал кем-то заведенный на эту дату часовой механизм. «Я даже сам не сразу понял, что произошло. Слышу, больные, женщины из сел, благодарят меня за то, что я их сегодня на ихнем языке лечил. С тех пор и пошло».

В путешествиях по Западной Украине я специально прислушивался к тому языку, о котором так недружелюбно отозвался (в «Посильных соображениях») Соляницын: искаженный, мол, не народный, выращен был-де при австрийской под-

травке, напшигован немецкими и польскими словами. Это, конечно, не тот язык, который мне родной, не полтавско-киевский, но понимал я его со всеми оттенками, это было интересно и радостно. Слушал песни на этом языке, записывал пословицы и поговорки. Все, что угодно, Александр Исаевич, только — не «искаженный»! А если бы так, ведь у этих людей нет другого, как нет у человека другой матери, другого отца, не одно поколение слышало на нем колыбельные.

Язык старых людей получше, молодых — похуже, это во всех землях Украины, где была австрийская подтравка и где ее не было, у многих — просто ужасен. После того, как мой сельский сосед тракторист Иван Иосифович года три назад на мой вопрос, кто испортил его прежде такой чистый, красивый украинский язык, сказал: «А то ты не знаешь кто! Москали», я задавал этот вопрос и здесь, в Галичине. Это было мое маленькое социологическое исследование. Как встречаю человека с плохой мовой, обязательно спрашиваю, почему она у него такая. Ни один не обиделся. Если это бывало в толпе, то наступала тишина, и человек начинал обстоятельно объяснять, что Украина лежит в аккурат на дороге из Азии в Европу, и кто ее только не топтал и с Востока, и с Запада; налетали монголы — вот уже порча языка, налетали поляки... австрийки... немцы... русские — тоже порча, народ не успевал утвердиться на своем родном слове. О монгольском нашествии всюду в Западной Украине говорят так, будто оно было в тех же временах, что и остальные. Не обижались на мой вопрос о языке, но не колебались и в ответе на другой, тоже намеренно провокационный вопрос: какая из советских наций на сегодняшний день самая развитая. Одним словом: «украинская» не отвечали, а говорили, как в школе: «На сегодняшний день самая развитая в Советском Союзе нация — украинская». Никто из случавшихся при этом евреев не возражал.

Солженицын пишет, что сегодня отделять Украину — значит, резать по живому, то же и Горбачев повторяет. Конечно, нелегкое дело — раздел, говорили нам многие украинцы, хотя не очень понятно, почему он обязательно должен быть таким болезненным. Все ведь останутся на своих местах — и Украина, и Россия, а не воздвигать стену вдоль границы, не затруднять связи, чтобы они были такими, как в Европе — все это в руках народов.

Может быть, раздела никогда и не будет, кто ж это знает, но тогда, повторяю, в конце концов не будет и Украины, это я знаю точно.

До сих пор ненасильственного единства не было. Москва выжигала украинство каленым железом. Почему вы думаете, что теперь все станет по-другому? Готовя свои «Посильные соображения», Солженицын предвидел этот вопрос украинца «Да больно и позорно вспоминать указы времен Александра II (1863, 1876) о запрете украинского языка в публицистике, а затем и в литературе. — но это не продержалось долго и это было из тех умопомрачных окостенений и в управительной и в церковной политике, которые подготавливали падение российского государственного строя». Так Александр Исаевич объясняет хохлу тутодуму историю.

«Умопомрачное окостенение» — значит, глупость, маразм. Но был ли император Александр II таким уж маразматиком? Был ли умопомрачен великий Столыпин — последний из гонителей украинства времен монархии? Солженицын не упоминает любимца — это было бы еще большее бесстрашный человек дрогнул. Сказать, что на самом деле стояло за теми и последующими указами, значило бы перечеркнуть много дорогих строк в «Посильных соображениях». Если бы Россия не подавляла украинства Российской империя перестала бы существовать в то же царствование в какое и образовалась.

Украину не давить нельзя. Это понимали все цари и все вожди. Это вам и Горбачев скажет из своего опыта. Он ослабил давление, и видите, что получается, видите, какое сегодня украинское настроение набирает силу? Создать свою державу, зажить так же вольно и богато, как Франция, и людей, говорят, у нас не меньше, и с образованием не хуже, и с трудолюбием, и на земле все растет, и в недрах не пусто. Какие сроки при этом называются, какие речи произносятся!

— Лучших людей нашей нации веками уничтожали, изгоняли, завлекали в эмиграцию. Поле этой эмиграции бескрайнее — от Ламанша до Аляски только на одном материке. В диаспоре из нашего генофонда выносило самый ценный материал, мы это знаем и признаем. Мы гордимся своими людьми в культурах России, Германии, Америки. Теперь бегству приходит конец. Мы соберем весь генофонд нации,

распыленный по миру. Независимая Украина со своими ресурсами и талантами, со своей демократией через 3—5 лет займет достойное место в мире!

Как вы, не прибегая к цензуре (беру только один этот вид насилия), заставите замолчать этого оратора — рыжебородого, голубоглазого, под два метра, шахтера из Галичины, явившегося митинговать в Киев?

Или вот из речи на студенческом митинге:

— Удивительно не то, что мы до сих пор не обрели свободу. Удивительно то, что, при таком страшном многовековом давлении, мы оказываемся способными вдруг очнуться, встать. В конце прошлого века в Киеве жило только несколько семей, говоривших по-украински. А через два десятка лет возникает Украинское государство. Что это за феномен? Существует нечто большее, чем язык!..

Может быть, и существует. На эту мысль наталкивали встречи с людьми перед референдумом. Мой вопрос: «Как будете голосовать?» часто понимали так, что я просто интересуюсь настроениями, и многие, в том числе не говорящие по-украински, отвечали: «За Украину!»

В Житомире демократический городской совет постановил водрузить над своим зданием желто-голубой флаг, и он там висел больше полугода. Потом собрался областной. вышестоящий, совет и своим подавляющим коммунистическим большинством постановил этот флаг снять. Та же история повторилась в Сумах и еще в нескольких городах.

Существенно здесь то, что городские советы — за древний национальный флаг, областные — против. В областных большинство депутатов — красные, вернее, серые. Избраны они в сельской местности, там многие и работают, это хозяева глубинки. Они знают, что, при их отвычке от труда, им хоть помирай, если советская власть сменится демократической. Темная деревня победила город — вот что произошло и в Житомире, и в Сумах — да почти повсюду на Украине. Это не удивительно. Удивительно и очень важно другое: украинство на Украину начинает идти из городов. Это — ценнейший залог...

Хотя — ничего не надо преувеличивать. На центральной площади Житомира, с одной стороны которой здание городского совета, а с другой — областного, мы оставались прохожих, заговаривали об истории с флагами. Одна женщина сказала:

— Я когда-то не разбирала, что за флаг — красный, что за флаг — желто-синий. А теперь люди разбирают. Что ж, пусть разбирают, кому охота.

Другая высказалась так:

— Флаг ничего не дает, если в магазинах пусто.

А преуменьшать — все-таки, пожалуй, хуже, можно проглядеть новое и важное. Во Львове мы видели очередь за паспортами той Украины — Украинской народной республики, которая была провозглашена в 1918 году. Когда число взявших эти паспорта достигнет двадцати пяти, если не ошибаюсь, миллионов, это будет означать, что Украина проголосовала за полную самостоятельность. Допускается двойное гражданство; где живешь, не имеет значения. (Взял и я. Номер моего паспорта — 88 528.) В Киеве познакомились с человеком, который распространяет эти паспорта. Это известный человек, в Афганистане потерял ногу, перенес 13 операций, врачи думали, из него не будет толку, а он поднялся, женился, народил детей, говорит с ними по-украински — это приходится подчеркивать, для столицы Украины это ведь все еще диковина. Однажды к нему подошел некто, живущий с ним в одном доме. «Я вас попрошу. Вы как хотите, а детей-то своих пожайлосте, не говорите с ними по-украински. Сами должны понимать, что с ними будет, если станут на вашу дорогу». Это было года четыре назад. А недавно этот добрый человек побеспокоил упрямого националиста еще раз: попросил и ему выдать паспорт с трезубцем.

В Одессе, в толпе на Дерибасовской, мы интересовались, кто что помнит из Тараса Шевченко. Один человек сделал нам выговор — не совсем, по-моему, по делу выговор, но интересный. Не надо, мол, культивировать украинство по крови, это против украинских традиций и против того будущего, к которому ведут ее цивилизованные украинские патриоты.

Они не собираются строить государство, которое будет проводить политику преобладания коренной нации. Нас достаточно много и мы достаточно цивилизованы, говорят они, — у нас не будет пятой графы. В паспорте будет стоять: гражданин Украины — и все.

Москва и Москва

Гоголь и Шевченко — два чистокровных украинца, один из которых ушел в русскую культуру, другой создал отечественную. Без этой, многих обжигающей, темы не обходятся украинские разговоры. Недобро отзываются о напечатанной недавно в Союзе Набоковской книге о Гоголе. То, что до сих пор знали десятки украинцев, стало известно тысячам — как Набоков благодарил судьбу, не удержавшую Гоголя в украинстве. Украинiec всегда будет вздыхать: как было бы хорошо, если бы оба они творили на одном, на их родном языке! Всегда будет раздумывать, почему случилось иначе. Обстоятельства жизни Шевченко тоже сильно способствовали переходу его в русскую культуру. Он был рабом русского господина, отбывал в России солдатчину, вращался в русском кругу после ссылки, даже пробовал писать по-русски, вел по-русски дневник — это было не что иное, как ежедневные упражнения в русском языке. Гадают: может быть, дело в их разном происхождении? Шевченко — из крепостных, Гоголь — из старшины. Украинская старшина, украинское панство — особая порода. «Рабы, подстилка, грязь Москвы, варшавский мусор ваши паны, ясносельможные гетманы!» Так отзывался о ней Шевченко. Но он же мешает националистам строго судить Гоголя: называл его своим великим другом. «Ты смеешься, а я плачу...»

Их много, фигур русской культуры, науки, политики, о которых украинiec думает с гордостью и болью. Его гордость ущербна, потому что это украинцы только по крови, а боль — безмерна. Потому же... Когда свалили Киевскую Русь, это и началось, говорит он. Лучшие шли из дому — служить России, защищать Россию, завоевывать для России, развлекать Россию. Все для соседа, ничего для себя — потому что нет своей государственности.

В русскую жизнь уходили тем охотнее, что в нее никого не тянули, а явившегося не приветствовали. Русский не говорил украинцу: чувствуй себя как дома. Тогда обрусение не подвигалось бы так быстро и естественно. Все было гораздо проще. Русский не подозревал, что украинiec — это что-то особое, отличное от него. Когда все внимание сосредоточено на отличиях, это ужасно. Но ужасно и другое — когда не признают никаких отличий. Мы специально проехали по русским селам на Украине. Одни резко говорили, что они хотят, чтобы Украина была полностью независимым государством некоторые даже называли себя украинцами: мы украинцы потому, что живем на Украине. Другие с напористой безмятежностью восклицали: «А какая разница? Какая разница, что я русский, а кто-то украинiec?»

«Они нас или не замечают, как воздух, которым дышат, или, заметив, восхищаются нами — тоже как воздухом: ах, какой в этой степи замечательный воздух!» — приходилось слышать от образованных украинцев о русских — причем, о благороднейших русских, таких, как, например, посланный Лениным на Запад в группе деятелей культуры Федор Степун. Описывая несколько своих случайных поездок на Украину перед первой мировой войной, он объясняется в своей любви к ней в следующих словах: «Живого представления об Украине как об особом лице России я не имел».

Наше внимание обращали на нынешнюю московскую, петербургскую, сибирскую печать — и передовую демократическую, и отсталую коммунистическую. Много ли интересуется она Украиной как Украиной? Меньше, чем солидная западноевропейская... Одни об этом великодержавном безразличии говорят с обидой и желчью, другие стараются обоим отбиться на себя, вспоминают, что говорил один из отцов-основателей не состоявшейся Украинской державы Грушевский: мы, украинцы, всегда хорошо пели, но не всегда хорошо боролись за свою свободу.

В Киеве, Львове, Черновцах приходилось слышать много нареканий на теорию общего корня — таких горячих нареканий, как будто она появилась только что. Злощастная, хотя и не такая уж исключительная судьба: обыкновенная научная идея, вместо того, чтобы жить или умереть в науке, перешла в идеологию. Раз мы, русские, украинцы, белорусы, были когда-то одно, а разделились не по своей воле, то нам не миновать слиться. Эта идея стоила многих русских армий, говорили нам. Одних она увлекала, другим помогала оправдываться, третьих ублаживала. Карамзина за эту идею некоторые проклинают так, будто он наш современник. Не пишут, что он, допустим, ошибался, нет — шел навстречу желаниям самодержцев. Не скажут, что в его схеме украинский народ исключается из истории, предположим, неправо-

мерно, нет — беспардонно. Особенно вредничают молодежные газеты, так и норовят задеть великоросса, сказать что-то такое, от чего бы он поежился. Поэтому было непривычно слушать одного студента, который о Карамзине сказал только то, что некоторые абзацы почтенного историка ему тяжело читать, что для него более убедительна другая теория, согласно которой уже в девятом веке существовали прообразы нынешних русского, украинского и белорусского языков.

По Хортице, которая, наконец, превращается в полноценный заповедник, нас водил один из местных археологов. Этот человек недавно раскопал подлинный лагерь запорожцев — его предшественники указывали ложное место. Судя по предметам, которые он нашел, казаки были изряднейшие азиаты, их жизненные привычки были более дикие, чем хотелось бы думать. Вскрыл, например, отхожее место, представлявшее собою яму, через которую была перекинута плаха. В яме полно костей животных. Натурально думать, что их сбрасывали сюда после пиршеств, но воображение рисует и другое: сидят рядом на плахе на корточках, один догладывает баранью ногу, другой — сайгачью лопатку, гогочут. В украинских ученых собраниях он о своих раскопках докладывает сухо и осторожно и все равно — отпор получает поистине козацкий. Тому, кто любит Украину, никакие раскопки не могут рассказывать вещей, бросающих тень на ее прошлое, намекают ему. Он с этим соглашается: да, тому, кто любит Украину, и больше ничего. А он, археолог-профессионал, кроме Украины любит факты. Я спросил его, не призывал ли он в союзники Гоголя. Раскопками Николай Васильевич не занимался, но это ему принадлежат слова о казаках, как о народе совершенно азиатском по образу жизни, обычаям и костюму, в своих неистовых пиршествах и бражничестве позабывавшем весь мир. Нет, сказал археолог, зачем? Это в конце концов естественное явление. До сих пор свободно говорить о запорожцах не давали коммунисты, потому, что боялись возбуждать украинский патриотизм, теперь то же пытаются делать они, патриоты.

В общем, не были, никак не были редкими встречи с людьми, которые горячее, чем следовало бы, рассказывали об известных достоинствах, заслугах и превосходствах Украины, через которую в Россию шло все: и религия, и европейские начала организации государства, и образование, о том, что Россия и Украина — это что-то вроде Рима и Греции: как Рим высасывал из Греции культуру и называл ее своею, так и Россия — из Украины «Присвоено даже наше имя. Мы, а не они, на самом деле русские, русины! В Закарпатье и сегодня говорят: русин, руснак. Мы есть Русь, а они — Московия, как на старых картах». И опять, и опять: «Что осталось бы от русской культуры, если бы мы попросили вернуть из нее наше — наших Гоголей, Березовских, Репиных? Все воровалось! Все воруетя...» — «Но каким талантливым вором надо быть!» — сказал я в одном таком разговоре «Нужно признать, — было отвечено мне. — Нужно признать. Зло всегда воинственно, но оно работает на короткое расстояние. Награбленное приходится возвращать». Говорилось об особой миссии возложенной на нас Богом: «Она отличается от предназначений других народов. Наша миссия есть миссия добра». Когда я замечал, что так может сказать о себе любой народ, мне возражали: «Нет, не каждый может и не каждый говорит. Как утверждают ученые, именно Украина является тем местом на Земле, где возможен новый цивилизационный взрыв. Он поднимет человечество к новым свершениям. Мы верим в это, исходя из нашего опыта. Мы никогда не были разрушителями. Мы всегда были теми, кто создал».

— К ним едешь, а от них летишь — летишь на крыльях национальной гордости, — сказал я о западных украинцах моим друзьям в Днепропетровске Татьяне Чуприне и Михаилу Скориху.

Они не поддержали шутки.

— Западникам надо до земли поклониться за то, что они просто есть на свете. Это дрожжи, на которых поднимается украинское тесто, — сказал Михаил.

Что касается русских...

— Их мы держим за тех, кто они и есть, — сказала Татьяна. — Такие же они замороченные, обманутые и ободранные, как и мы. Но если сравнивать украинцев с их младшими братьями русскими (наше старшинство не от гонора, а от более раннего происхождения), то одно превосходство украинцев есть. Щедрая, богатая пригожая Украина, в отличие от России, никогда ничего не хапала чужого, а только обороняла свое. Не знаю, какой еще из больших по численности европейских народов может так честно посмотреть всем другим в глаза, как украинский.

И добавила, что за эту-то добродетель она, Украина, и была всегда поругана, унижена, распята, а теперь еще и чернобыльским прахом присыпана.

А точку Татьяна поставила не здесь. Вернулась к моей шутке.

— Только здоровый, сильный может сказать про себя, что он равный другому. Приниженный обязательно должен говорить, что он выше. Подняться во что бы то ни стало — хотя бы в своем сознании, самомнении. Это ущербность наша.

Лесь Танюк закончил режиссерский факультет на Украине и начал там работать. Он поставил 8 спектаклей, 6 из них были запрещены. Власть требовала ставить только тогда еще живого классика украинской драматургии Александра Евдокимовича Корнейчука, Лесь был президентом Киевского клуба творческой молодежи. Клуб был разогнан, начались аресты, Танюк уехал в Москву и прожил там 23 года. Мне нравились его спектакли. Они отличались исключительной чистотой работы. Сейчас он опять в Киеве, парламентарий, председатель комиссии по культуре Верховного Совета Украины. В ней двенадцать человек, все — демократы. Единственная комиссия, в которую не рвались коммунисты. Мы встретились с ним в парламенте в перерыве между заседаниями.

— Кто будет вместо тебя играть на театре? — спросил я. — Кто будет делать постановки?

— Левко Лукьяненко, — сказал Танюк.

Отсидевший 25 лет Левко Лукьяненко — заклятый друг парламентариев-коммунистов, лидер Украинской республиканской партии, борющейся за полную государственную независимость Украины.

— Ну, как тебе тут опять? — поинтересовался я у Лесья. — Ты уже понял, что принадлежишь к лучшей нации в мире? Тебе объяснили?

— Это я давно понял, — засмеялся он. — С этого когда-то начинал. Потом понял, что нужно отойти от категорий целостных: весь народ, вся нация. Я отбрасываю социализм только потому, что он против личности.

Мы вспоминали Москву, которой столько достается в украинских разговорах.

— Москва — это не только имперское начало, — говорил Танюк. — В 60—70-е годы это было особое место. Это не был русский город в обычном понимании. Это был неофициальный, во многом подпольный полис демократии и культуры. Туда были вынуждены бежать мы, украинцы, прибалты, белорусы, молдаване. Только в Москве они находили поддержку, и потом то, что они создавали там, возвращалось в их республики. В Москве была хорошая конкуренция. Каждая республика изгоняла ведь не последних людей туда. И многие из них возвращались совсем уже испорченными требовательностью к себе, демократизмом и духовностью Москвы. Москва Сахарова поддерживала правозащитные движения во всех республиках. Без центра, каким был Сахаров, им приходилось бы намного труднее. Через Сахарова они выходили на мир.

И Лесь Танюк, и Татьяна Чуприна — это люди шестидесятых годов. Иначе говорил Олесь Доний, племя совсем младое, человек, организовавший прошлым летом студенческие выступления в Киеве. Не «беспорядки» (слово, которое часто ставится рядом со словом «студенческие»), а такое продуманное, неодолимое в своей решительности и взвешенности выступление, будто оно было не первым в истории советской Украины, а сотым. Рослый красивый парень, историк-пятикурсник, спокойный, как премьер Павлов, на чем, к чести Дония, пока и кончается сходство.

— Я думаю, — сказал он, — что какое-то мессианство должно быть свойственно каждой нации. Читая книги бытия украинского народа, мы ощущаем это чувство у их авторов, и я отношусь к нему с пониманием и уважением. Известные слова у Костомарова о краеугольном камне — что Украине уготовано быть краеугольным камнем в славянском мире и в Европе, написаны с участием Тараса Шевченко. Я считаю, что это нужно — так высоко держать себя, хотя, разумеется, каждый народ вносит свою лепту в мировую цивилизацию. Нужно внести эту лепту и не меньше. а это иногда очень трудно, тут и помогает мессианство.

Не раз хотелось добавить: и чувство юмора не может помешать.

Сама себя предложила

На площади перед ратушей в Дрогобыче мы застали толпу. Она окружала трактор, который подчищал остатки постаментов, где недавно стоял памятник Ленину.

Мы вошли в толпу, и я спросил первого оказавшегося перед нашей камерой человека, о чем он думает, глядя на это разрушение.

— То не есть разрушение,— сказал он.— То просто метла метет. Надо уборку сделать на дороге, порядок навести, чтобы не было того, чего не должно быть.

Я спросил стоявших вокруг людей, кому что вспоминается в эту минуту, вообще — кому что хочется сказать.

Какой-то старый человек вспомнил шестое августа 1944 года, когда тут хоронили русского генерала Васильева, убитого в горах.

— Привезли с гор и похоронили на площади, хотя было и кладбище, и можно было похоронить там.

Я спросил его, почему именно это вспомнилось ему сейчас.

— Такие места, как эта площадь, как ратуша, есть места народные,— сказал он.— И что должно быть на этой площади, в этом здании, должен решать народ. Мы сказали, чтобы из ратуши убрали партократию. Ратуша — место для государственной власти.

Слово «партократия» в Западной Украине знают и употребляют все — от мала до велика, и, признаться, бывало иной раз странно слышать его из уст неграмотной старой женщины, где-нибудь в горной деревушке.

Раз произнесена «партократия», жди, что будет произнесена и «Москва».

— Москва — это империя. Наш хлеб, мясо, сахар, хлеб из Казахстана, хлопок от узбеков — все идет в Москву, а она уже решает, сколько кому дать и больше оставляет, конечно, себе.

— Они...

Они — это Москва, партия, государство.

— ...очень боятся частной собственности. Общая собственность есть ничья. Значит, ихняя. Они не хотят, чтобы каждый человек имел свое определение. А каждый человек должен иметь свое определение, свою собственность, свое ремесло или что-то другое. Он будет что-то изготавливать, продавать, платить налог, и это будет жизнь, как у всех людей.

— Больше года уже нет носков в продаже, нет обыкновенных башмаков, приходится носить старые кирзовые сапоги. Вот до чего дохозяйствовалась Москва. Украина хочет независимости потому, что надеется, что сама как-нибудь обеспечит себя хотя бы самым необходимым.

Против Москвы высказывались все, но не с одинаковой резкостью. Один даже допускал ее руководство.

— Народам дружить надо, без этого не будет мира. Можно и под Москвой быть, только бы не платить ей за это денег, только бы наше добро ей не шло, была бы торговля, займы с отдачей, лишь бы нас не грабили.

С ним не согласились. спросили, как он себе представляет это бесплатное московское руководство — зачем Москве этот хомут на шею, если она с этого ничего не будет иметь?

В те дни свежей была новость об открытии богатого месторождения золота в Карпатах. В толпе ее обсуждали. Она всколыхнула и толки о гетманском кладе, хранящемся в Лондоне. Слышались голоса приунывших: «Теперь-то Москва ни за что нас не отпустит!» И здесь, на площади, и повсюду заметно было давнее увлеченное преувеличение веса, важности золота. Людям кажется, что тонна — это страшно много, а сотней тысячью тонн можно озолотить всю страну. Они не представляют себе, как много его надо, если нет ничего другого.

Какой-то человек вспоминал:

— Ходили мы за золотом и по золоту, а с голоду умирали. Один наш прииск давал две-три тонны в год а таких приисков были десятки на Колыме. Я не знаю, почему мы такие бедные, куда они подевали это богатство...

В Западной Украине на каждом шагу встречаешь человека, который сидел или был выслан — сам или, по малолетству, заодно с родителями. Буквально на каждом шагу! Я несколько раз становился, где-нибудь на углу, и опрашивал всех подряд. И бывало, что пять человек подряд отвечали: да, сидел, да была выслана, да, должен был уехать с отцом... Отец был священником, или учителем, или бухгалтером. Или был никем, но был в лесу, или сочувствовал тем, кто в лесу, или не имел о них никакого понятия, да советская власть решила, что имел и помогал. Такое впечатление, что за Уралом побывал весь этот народ, что не очень далеко от истины.

С человеком, который удивлялся, куда девалось колымское золото, мы познакомились. Это Слюсар Иван Степанович, житель Дрогобыча, 1928 года рождения. Он провел свою молодость на Колыме. В 20 лет весил там 38 килограммов. Рассказывал:

— Родился я в бедной семье, отец был безграмотный батрак, мать тоже батрачка. Когда мне было семь-восемь лет, я пошел в школу. Школы тогда были у нас польские. Нас, украинцев, сильно обижали. Обижали и дети-поляки, и учителя. Однажды я задал отцу вопрос: почему этих детей не обижают, хотя они учатся хуже чем мы, а нас обижают? Отец мне объяснил, что они поляки, а мы украинцы, что в восемнадцатом году была у нас своя страна, называлась Украина, мой дед и дядя за нее воевали, но Украину разбили и ее не стало, и мы порабощены и должны терпеть, а когда придет время и момент, то опять подниматься на борьбу.

Я имею представление об истории Украины, и то для меня такие биографии звучали, как из глубины неведомого времени. Что же говорить о большинстве жителей Восточной Украины, об их бригадирах, председателях, директорах, секретарях райкомов, которые ничего этого никогда не слышали? Девяносто девять из ста, не скажи им, что это биография человека девятьсот двадцать восьмого года рождения, будут уверены, что дело происходило во времена Богдана Хмельницкого, перед Переяславской Радой.

Да много ли им скажет и продолжение этой биографии?

Сорок второй год был очень голодный, этот человек — ему, значит, было тринадцать лет — должен был наняться к хозяину погонять волов.

— Потом поднялось украинское движение, ребята из нашего села тоже воевали с немцами, и они взяли меня к себе. Мы пошли в Карпаты. Но в Карпаты мы не попали, а попали в Польшу, под Краков. Оттуда мы, галичане, решили возвращаться через фронт на Украину. Никто не думал, что будет так тяжело, думали, что будет какое-то восстание, что мы будем воевать за Украину, что будет Украина.

Его поймали — и в Сибирь, потом на Колыму.

— У меня там не было ни фамилии, ни имени, только номер: Г I 656, статья 54, 1а Украинского Кодекса. Это означает, что я изменил Родине, а какой Родине я изменил, я до сих пор не знаю, потому что ни в какой армии я не служил, никакой власти присяги не давал.

У нас был с ним разговор об украинцах в лагерях.

— Считается, что мы не дружный народ. Я и на себе не раз чувствовал это мнение, — рассказывал он. — Но вот взять мой лагерь. Нас, галичан, там было много. У нас существовала своя негласная организация. Разбиты были на тройки. Никто, конечно, не думал оттуда выйти. Все время мучил голод. Под праздники — пасху, рождество снились сны. Как ни бедно было дома, а в эти дни что-то вкусное появлялось на столе. И одеты бывали чисто; мать, отец, братья, сестры, все за столом... Я хотел бы, чтобы и сейчас мне приснился такой сон. О жизни в лагере кто-то из наших сочинил стих. Его пустили по тройкам. Записывали на крошечных клочках бумаги, заучивали. Никто не донес!

Иван Степанович прочитал нам это стихотворение — о том, как горько лечь в могилу на чужой земле, о Колыме, где кровь человека не льется по капле, а высыхает — ее высушивает и голод, и холод, и тоска по родине... Последняя строфа такая:

Ніхто ще не зміряв, не звів
по скільки за золота грам
ми крові своєї віддали
проклятим червоним катам.

— За этот стих никто не пострадал! — еще раз подчеркнул Иван Степанович.

Восточные украинцы, после трехсот лет приручения, легко переставали быть украинцами и у себя дома, и, тем более, в других землях: в Сибири, Казахстане, на Севере. Легко приживались там. Западные не поддавались. Отбывая свои сроки, они из всех сил стремились назад, к месту преступления. Им всячески препятствовали. Их не прописывали даже в селах, не давали работы. Вплоть до последнего времени, еще и в начале горбачевского правления, проводилась политика неуклонного выживания западных украинцев из Западной Украины — выталкивания, выдавливания их на восток. Им мешали учиться, продвигаться по службе. Их вытесняли русскими и благонадежными — обрусевшими — украинцами из восточных областей Украины, которые получа-

ли сюда направления после вузов, прибывали в составе бесчисленных офицерских семей.

Львов, главный город Западной Украины, заставили военными заводами. На них занято больше 120 тысяч человек. Это сотня тысяч семей, благополучие которых прямо связано с производством оружия. Значит, с Москвой. И все-таки Львов держался, оставался языковой столицей Украины. Звучавшая на улицах этого города украинская речь делала его в глазах Москвы и Киева городом мятежа, не имевшего начала и не обещавшего конца. Этот город страшно не любили чекисты: много работы. Теперь они его и боятся. Один мне признавался, что чувствует себя в нем, как в террариуме. Из каждой подворотни торчит змеиная голова и провожает его спокойным взглядом.

Изгнанные возвращаются до сих пор, многие уже в зрелых летах, с дипломами русских вузов, с большим стажем жизни и работы среди русских... Сбрасывают с себя все чужое, как казенную одежду, и вступают в украинскую жизнь. Некоторые объясняют это особой биологией западников. Их так долго давили со всех сторон, что сохранить себя могли только лица с повышенной устойчивостью. Из них и вывелась порода, которая за год с небольшим взбаламутила, как говорят низовые партийные начальники, всю Украину.

Кое-что для проникновения в эту биологию дало мне знакомство с Верой Антоновой Мельник. Познакомились мы с нею случайно, на улице. Снимали одно из довоенных зданий Дрогобыча, страшно запущенный, только в общем очерке сохранивший память о прошлом своем облик особняк. В нем когда-то жил кто-то из нефтепромышленников, теперь располагалась больница. Дорогу переходила стройная женщина в белом халате, с озабоченным красивым лицом. Сначала отказывалась говорить с нами: «У меня дети». Ее дед выслали в Хабаровский край по доносу: он будто бы помогал Украинской повстанческой армии. С ним отправилась вся его семья — четверо детей, двое уже были женаты. В шестидесятых годах ее отец вернулся с семьей в Дрогобыч. Не прописали. Пришлось возвращаться на Восток, оттуда слать письмо за письмом в Москву и Киев, чтобы разрешили поселиться на родине. Вере было восемь лет, когда ее привезли в село под Дрогобычем. Отдали во второй класс. В школу пришел участковый: ей тут учиться нельзя, она должна покинуть село, срок — 24 часа.

Она заканчивала Куйбышевский мединститут, начинала там практиковать. Как не обрусела, подобно миллионам? С нею, говорит Вера Антоновна, всегда было чувство, что она украинка; это чувство было приятное — оно шло из детства, от матушки с батюшкой. Еще понятнее мне стал этот редкий случай из практики, когда я услышал, как она объясняла свое отношение к русским — уважительное.

— Я поехала учиться в Россию. Меня там никто не спросил: «Почему ты сюда приехала?»

Для меня ее объяснение было важным открытием. Значит, когда она ехала, она сознавала, что едет не к своим! Приехав, чувствовала себя на Волге пришельцей. Вот откуда ее благодарность за доброе отношение к ней. Тут и ответ на вопрос: как не обрусела?

Я попробовал представить себе живущего в Киргизии русского, который бы с такой же признательностью отзывался о киргизах, не спросивших его, зачем он к ним приехал — и не мог. Он везде дома, везде хозяин.

— Что ж, такие они люди, — сказала Вера Антоновна.

Во Львове побывали в униатском монастыре. Для этого пришлось поехать по городу, потому что монастырь разбросан по квартирам и общежитиям. Монахи и монахини живут в миру, только в положенное время собираются для молений, сдают в монастырскую кассу свои заработки уборщиц, шоферов, санитарок. Такой вид монастыря принял после того, как его разогнали в 1946 году. Мы были в квартире, где живут три старые монахини, четвертая недавно умерла. Две маленькие комнаты и закуток-кухня. Взбираться надо на второй этаж по узкой крутой лестнице. По ней они носят ведра с водой. Была еще одна комнатка, но ее самовольно захватил сосед, верно рассчитавший, что власть будет на его стороне. В эту квартиру сорок лет монахи и монахини собирались со всего города на службу Божью. И сорок лет врывалась милиция, разгоняла молящихся, угрожала выселением прописанных. Игуменью после запрещения монастыря отправили в Сибирь, в лагерях и ссылке она провела двадцать лет. Вернувшись, продолжала свою службу монастырю. Почтительность, с какой старые монахини рассказывают о матери-игуменье, теперь покойной, беспредельна.

Были в монастырской школе. Она в зеленом, замкнутом со всех сторон дворе. Обычная коммунальная квартира, населенная монашками. В одной из комнат устроен класс, он похож на игровую детского сада. За длинным столом сидели девочки и мальчики семи-восьми лет, с ними занималась пожилая женщина в очках. Темой занятия была жизнь Христа. Во дворе на лавке ждали окончания урока родители. Я задал в этом классе один вопрос: кому какая история или картина из жизни Христа больше всего понравилась. Отвечали дети радостно и бойко, не перебивали друг друга. Одна девочка сказала:

— Мне больше всего понравилось, как Иисус едет на ослике, а люди бросают перед ним цветы.

Познакомились с молодым монашкой, звали его Васильком. В слове «монашек» есть не совсем уважительный оттенок, но Василька я так называю просто потому, что он маленький, худенький, белое лицо светится сквозь черноту еще не отросшей бороды. Василько из села, в сельде кроме него восьмеро детей, старшие на хорошем счету у власти, был и он таким. Василько воевал в Афганистане, воевал хорошо — так хорошо, что под конец почувствовал себя очень плохо. Монастырь он выбрал греко-католический, только выходящий из подполья, в которое его загнали после второй мировой войны. Монахи еще живут кто где, Василько, например, в рабочем общежитии, работает шофером автобуса.

Василько не один такой. На востоке Украины увидели на куполе сельской церкви молодого человека. Он бесстрашно, не привязанный красил крест. Внизу стоял батюшка и по-отечески приказывал ему быть осторожным — береженого Бог бережет. Звали молодого человека Сашей, рослый, широкоплечий, со строгим лицом. К церкви пристал тоже после Афганистана, десантник. На войну шел из Харькова; пока воевал, родители обеспечили его отдельной квартирой. Он оставил эту квартиру, прописку, нашел себе для жительства село с требующей ремонта церковью.

У сильно верующих простых людей к Москве особый счет, это явно даже в моем селе, православном, признающем ее третьим Римом. В разговоре с одной старой женщиной я попробовал заметить ей, что не следует, видимо, так уж нападать на Москву как на Москву.

— Бросьте! — сказала она. — Коммунизм вместо рая — это откуда? Ругать Христа по-матерному, в церквях конюшни устраивать — это откуда? Из-за моря? Нет, из Москвы!

— Может, все-таки не совсем прямо из Москвы, а через Москву? — сказал я. — От какой-то злой силы, от дьявола, что ли... В конце концов вам лучше знать это!

— Бросьте, — повторила она. — Дьявол — он всюду, как и Бог. С чего бы это дьявол стал специально выбирать Москву для своих дел? Сама себя ему предложила.

Сколько сел ни проезжали, ни об одном нельзя было сказать, посмотрев на него мельком или как угодно внимательно, что оно украинское. Никаких национальных примет, ровным счетом никаких! Бывали в точно таких в Казахстане, в Грузии, на Северном Кавказе. Чем богаче населенный пункт, тем меньше в нем своеобразия. В Западной Европе чуть ли не через каждые полсотни километров меняется не только местность, но и весь пошиб жилищ и селений. У нас отмеряешь тысячу за тысячей — и перед глазами все та же архитектура — архитектура ГУЛАГа. Начальник лагеря (председатель колхоза, директор совхоза...) — царь и Бог, и архитектор. Он решал, как должны выглядеть култьчасть и санчасть, штаб и вахта, пищеблок и склад ГСМ.

В сотне километров от Киева видели новую православную церковь. Она была похожа на большую трансформаторную будку с оцинкованной крышей, из которой торчал крест. Кто бы мог подумать даже пять лет назад, что оно будет таким — последнее явление лагерной архитектуры! Разрешили — и начальник построил. Точно так же, как до этого строил култьчасть и санчасть, штаб и вахту — по своему вкусу...

Год роста

Левко Лукьяненко сидел за то, что пытался отделить Украину от Союза — мирным, естественно, путем, используя 17 статью Конституции. Написал программу партии, которая называлась «Украинский рабоче-крестьянский союз» и начал ее создавать.

Его присудили к расстрелу, потом приговор изменили и дали 15 лет. Он отсидел их от звонка до звонка. В семьдесят седьмом прибавили еще десять и пять — ссылки. Десять отсидел от звонка до звонка, из пяти лет ссылки отбыл один. Цели нынешней его партии те же, но он пока на свободе. Мы встречались с ним в Верховном Совете Украины (он депутат), в перерыве между заседаниями.

Когда украинская судьба обсуждается на языке его партии, для русского уха это звучит непривычно.

— 300-летняя русская оккупация, — говорил он нам, — отличалась и от польской и от кратковременной немецкой тем, что русские пытались усыпить нашу национальную бдительность. Отрицая нашу отдельность, они хотели сделать нас подобными себе. Империя, конечно, имела огромные возможности для этого. Выкачивание наших сил на русскую службу. Запрещение вольного украинского слова. Расправа с теми, кто не желал забывать себя.

Слова «предательство», «янычарство» украинские республиканцы употребляют без кавычек. В лучшем случае добавляют с напускной бесстрастностью: если на Украину все время набегали, разрывали ее на части и покоряли, то кто-то защищался, а кто-то и не мог, ладил с захватчиками, хотел хорошо жить. Перед глазами нынешнего, сознающего себя украинца, как живая, стоит презренная фигура Кирилла Разумовского, бывшего воплощением принципа: где хорошо, там и Отечество. Назывался малороссийским гетманом, а Украину не знал и не жалел.

«В нашей колонии, каковой, до сих пор является безгосударственная Украина, интерфронт официально не оформился. Однако он существует. Неофициально. И центром его является юго-восточная часть Украины, где преобладает русскоязычное население, так называемые малороссы. Слагаются они из деукраинизированных украинцев и большого отряда манкуртов да янычар разных национальностей. Одним словом, из тех, кого окрестили «советским народом», для которого наличие бутылки «чернил» и колбасы «Маруся отравилась» — признак благополучия и полного счастья».

Это язык не самых активных людей Украинской республиканской партии.

«Если в ближайшее время, на наш взгляд, до конца 1991 года, бумажный суверенитет Украины не превратится в реальный, то дальнейшее течение событий трудно предвидеть. Трагедии, вероятнее всего, не избежать».

Это — из их прогнозов.

Вреднейшим для украинского дела человеческим качеством считается политическая умеренность: «Если некоторых молодых руховцев каким-то образом запугали кагебисты, то других не нужно было и запугивать — они родились со страхом в генах». Республиканской партии такие, естественно, не нужны. Она должна, как пишут ее деятели, для расширения своих рядов «искать не только работающих, национально сознательных и разумных людей, но и, что не менее важно, смелых и отчаянных патриотов. Тех, кто способен и готов не когда-то, а именно сегодня рисковать собою, переносить физические и психологические репрессии. Это особенно важные черты для тех членов УРП, — подчеркивает председатель ее Бердянского прохода Петр Соколов, — которые работают в районах юго-восточной Украины, где борьба за власть обещает быть затяжной, изнурительной и жестокой».

Этот язык хорошо понимают чекисты. Петр Соколов в статье, которую я нашел во Львове в газете «Независимость», цитирует своего опекуна — начальника горотдела КГБ М. Дорученко: «Как только к власти придет другая партия (скажем, Украинская республиканская партия), ни одного коммуниста в руководящих кадрах не останется. Придут ихние партийцы. Значит, нам нужно защищать кадры и работать с ними». Соколов это толкует так: «Нет сомнения, что «дорученки» будут защищать свои кадры до последнего вздоха и патрона, пока у них будет оставаться хоть один оппонент». И поэтому среди основных задач считает организацию военно-спортивных патриотических молодежных формирований и комитетов по созданию национальной армии.

Полагают, что нынешний год будет годом роста рядов Республиканской партии. Перед референдумом Украина была засыпана самодельными листовками. Когда мне в одна тысяча двадцать седьмой раз сообщили в какой-то деревне, что Украина богаче России, что на Украине даже нефти больше, чем во всем мире, когда у меня в глазах заребрило от таблицы Менделеева, которая накладывается на карту Украины будто бы тютелька в тютельку, я понял, что эти листовки были писаны гениальными пропагандистами. Такими были большевики. Большевики, собственно, и сейчас такие, только им уже не верят, а этим — поверила вся Украина.

Что нас ждет?

В кулуарах украинского Верховного Совета мы слышали предсказание, что в девяносто третьем году Украина будет полностью независимым государством, это-то и будет означать конец Российской империи, потому что именно Украина всегда придавала этой империи огромную силу. Но там же мы слышали и сомнения в этом прогнозе. Помешать, мол, могут не только правящие коммунисты, помешать может украинский характер. В натуре украинца много доброты и наивности, он верит слову, договору, бумажке. Богдан Хмельницкий поверил Москве и заключил с нею договор, который не лишил Украину самостоятельности. Фактически создавалась русско-украинская конфедерация. Через пять лет Москва перечеркнула этот договор. Все преемники Богдана пытались отстаивать украинские права и тоже, мол, проигрывали, потому что думали: раз русские одной с нами веры, целуют тот же крест, то их обещания чего-то стоят. И так вплоть до Винниченка, до Грушевского, которые тоже всерьез читали ленинские декларации как иные нынешние национальные деятели читают горбачевские. Слепым надо быть, чтобы не видеть, что делает сейчас Москва. Она разбивает большие республики на кусочки, и тех, которые хотят быть с нею, натравливает на тех, которые не хотят. Ближится очередь Украины. Задача Москвы — разбить ее хотя бы надвое. Церковь уже разбита. О церковных расприх, особенно о «нарушении церковного мира» бывшим Житомирским епископом Иоанном, со скорбью говорит клир моего села: священник отец Сергей и псаломщик Юра. Отцу Сергию сорок лет, псаломщику за двадцать.

— Этот Иоанн самочинно образовал автокефалию, так называемую украинскую церковь, вроде бы имея благословение от Константинопольского патриарха. Но все это сущий обман, — порицает его Сергей. — Наша церковь и так уже семьдесят лет как больна, а тут еще этот раскол. Автокефалия не имеет исторических корней. А церковь без исторического бытия — что это за церковь?

В тоне отца Сергия нет приправленного елеем враждебного раздражения, но в речах многих других священников — и униатских, и православных — его достаточно.

Сергий — русский, псаломщик Юра — украинец.

— Некогда я был неумеренным ревнителем своих отечественных преданий, — кается Юра. — Был украинцем и телом, и душой. Но потом, когда стал осмысленным членом русской церкви, поубавил это свое украинское рвение. Русская церковь — только она, занимающая пятое место в диптихе православных церквей с XI века, несет всю полноту евангельской истины!

Советский Союз он считает империей, не будет жалеть, если он перестанет существовать.

— Россия станет именно Россией, Узбекистан будет именно Узбекистан, Литва будет именно Литва — и так все остальные.

— Украина будет именно Украина, — пробую я продолжить перечень.

— Я против этого! — говорит Юра. — Все-таки Украина, Россия, Белоруссия имеют общий корень.

Отец Сергий как русский человек такой резкости избегает, предпочитает больше говорить о церковных делах.

— Существовала Киевская Русь, но отдельной украинской церкви не было. Украинский государственный суверенитет я, как гражданин, приемаю, но богослужения на украинском языке не приемаю. Служебный церковный язык — не русский, не украинский, а церковно-славянский.

Мы разговаривали в храме. Сначала не было никого, потом подошли прихожанки. Отец Сергий приосанился:

— Как ни пытались большевики уничтожить церковь, как ни пытались распять ее на кресте, но, как сказал Господь: «На сием камне созижду церковь мою, и врата ада не одолеют ее!» И перегрызлись они между собой, поубивали друг друга, разрушили многие храмы и обители, но саму церковь не уничтожили, потому что это установление не человеческое, а Божие!

Западноукраинские священники (униатские) заканчивали так же, но в середине говорили во многом иначе, особенно когда доходило, а доходило всегда. До самого большого — до судьбы храмов. До сорока шестого года они были униатскими, потом их сделали православными, теперь вышедшее из подполья униатство хочет их вернуть, а православная сторона...

— Православная сторона хочет уладить все простым дележом, — говорили нам. — Мы на это не пойдем. Нашу церковь надо сначала реабилитировать и легализовать, то

есть признать равной другим церквям. Это значит — вернуть нам то, что у нас было отнято. Все храмы, все имущество и святыни. А после этого мы посмотрим и тем, чем будет возможно, поделимся с вами.

Многие униатские священники одинаково низкого мнения и о русской православной, и об украинской автокефальной, говорят, что они управляются государством. В среде западноукраинской христианской интеллигенции о русской не любят вспоминать, что касается автокефальной, то ее некоторые горячо приветствуют, ссору этих двух украинских церквей — греко-католической и автокефальной — называют бессмысленной, в основе ее видят недоразумение и незнание. Эти церкви должны быть сестринскими, говорят интеллигенты, развиваться в соответствии с общими традициями, идущими от Святого Владимира, одна для другой должна служить резервом на случай какой-нибудь аварии.

— Что нас ждет, как вы думаете? — спрашиваю одну женщину в Дрогобыче.

— Ой, не знаю. Должно быть добро, раз люди возвращаются к Богу. Только какая-то сила не дает нам дойти до доброго...

— Что ж это за сила?

— Ой, не знаю.. Сатана не спит — и сила у него большая. Еще долго будет воевать с нами, но хочется надеяться на лучшее. Мы еще и не начинали жить так, как надо, мы еще не почувствовали себя людьми. Работали, как роботы.

Вспомнила какой-то коммунистический митинг, который видела по телевизору.

— Смотрю и думаю: это ведь дети того же самого народа. Выступает один... Твердит свое, опять про свою идеологию. Неужели он не понимает, что дурно так жить, как мы жили, нужно иначе жить? Ну, какая ж тебя мать родила? Почему ты не видишь, что надо как-то переродиться?

— Не дойдет до большого скандала, как вы думаете? Между правым берегом Днепра и левым?

— Мы на своем берегу люди религиозные, мы себе не позволим дойти до этого.

— Ну, спасибо за душевный разговор.

— Спасибо и вам, люди добрые!.. Забываем, что есть око, которое все видит. Есть кто-то, кто записывает на свою пленку всю нашу жизнь, и потом нам воздается. За все мы отвечаем.

— Как вас зовут-то? Кто вы такая?

— Возняк Ганна Ивановна, бухгалтером всегда работала.

Глубокого, со светлым лицом, старика, выходявшего из церкви в Стрие, я спросил, как помогала ему его вера в жизни.

— Я с детства пошел в люди, и был всю жизнь тяжело занятый. Некогда мне было о таком думать. Притом человек малограмотный.

— Во время войны бывало — вспоминали Бога?

— Для того не было места! Если тут рвет и тут летит — голова не варила совсем. Вперед, на Запад!

— Сейчас вроде посвободнее стало... О чем вы молитесь? О чем просите Бога?

— Лучшей жизни, лучшей жизни... Чтобы лучше жилось и мне, и всем людям, которые несли такой груз, как я нес. Мне никто и ногтя не подарил. Я все должен был с честью выполнить, еще и доложить. Вперед, на Запад!

Пожалуй, это был самый правдивый человек из всех, что встречались нам в этом путешествии.

Февраль — март 1991 года.

А. Казанская

Наши и мы

Иногда я действительно ощущаю себя человеком другого поколения. Это бывает случайно. Непроизвольные поступки, особенные слова, которым придается странный для меня смысл. Ошибки, опiski, оговорки, объяснимые по Фрейдю.

У Чехова, например, не указана причина опечатки «хохороны во вторник». Можно все свалить на некую издевательскую силу: дернул черт за рукав, и телеграфистка ошиблась. Дернул черт изнутри. В жизни предположения об этих причинах обычно вызывают протест (по Фрейдю, «сопротивление»). Да я не мог иметь этого в виду. Само сказалось. Не придирайся к словам.

Не будем переходить на личности. Возьмем молодежные жаргоны разных поколений. Малоупотребимые сейчас слова «стиляга», «как ты стильно одета». Насмешка, угроза (проработка на собрании) или комплимент, но подтекст один и тот же: «Ты дотягиваешь до стандартов». Стиль — это униформа. Ностальгия по армии. Хочется быть «одним из...». Лет десять — пятнадцать назад, когда мое поколение было молодежью в узком смысле, уже не бытовало слово «стиляга», но влечение к стилю было:

— А кто это — Саша?

— А вон тот чувак в левисах.

Мы ждем команды. Или — обратная сторона медали — командовать буду я, я в левисах,

Сейчас, казалось бы, одеваются кто во что горазд, ценится разнообразие, выпендраж. Но меня спрашивает английский психотерапевт:

— А мода на панков до вас дошла?

Смеется и показывает, как они прокалывают уши, ноздри, щеки, как они связывают себе ноги в коленях и так ходят, страшно неудобно.

— Они танцуют и плюют друг в друга. Какой-то садо-мазохизм, — говорит он с неожиданной грустью.

— А почему?

— Что?

— Почему они так?

— Я не знаю.

Я не знаю — в смысле — я так не хочу. Есть более привлекательные взаимоотношения. Так что же различия между поколениями только во внешности?

Выдающийся советский психолог Л. С. Выготский экспериментально продемонстрировал, что люди могут на операциональном уровне понимать друг друга, имея при этом в виду разное. Понятийное мышление формируется не сразу. Вначале ребенок мыслит «комплексами». Обычно в бытовых ситуациях это не заметно. Он употребляет те же слова, что и взрослый, и лишь иногда выступает наружу то, что значения слов он понимает по-своему, по-детски.

Например, ребенок лет трех спрашивает: «А машина — это все-таки домик?» Взрослый, подросток способен сформулировать, почему машина не домик. Бывают передвижные дома — фургоны, вагоны, но их везут. То, что движется само — это средство передвижения — машина, поезд и т. п. Ребенок еще не учитывает все необходимые признаки понятия, ему кажется, что там, где есть четыре стены и крыша, и где, в принципе, можно жить — это уже дом. *

Но вот я разговариваю с человеком, которому за пятьдесят. Он спрашивает меня:

— Ну, ты на курсах учишься для себя?

Я немножко обижаясь. Если честно, то для себя. Мне нравится предмет, который там преподают. Но в его словах мне слышится упрек, что я транжирю время и деньги на себя, как бы на «булавки», в ущерб прямым обязанностям, семье. Я не поняла смысла вопроса. Оказалось, мой собеседник имел в виду: «Ты сама приняла это решение или тебя направили с работы?» Тогда в моем понимании «сама» — отнюдь не упрек в эгоизме и иждивенчестве. Наоборот — трачу свободное время, плачу из своего кармана. Почему он употребил выражение «для себя»?

Когда подтекст выясняется, я спрашиваю:

— А вы разве работаете не для себя?

— Да, в общем-то хотелось бы для себя, — откровенно соглашается он, — но пока не очень-то получается.

То есть, пока не в таких чинах, пока — при такой системе.

Мы не сразу поняли друг друга, потому что ему само собой разумеющимся кажется противопоставление личное — общественное, а мне: я — ближние. Я утверждаю что это характерно не для возрастов, а для поколений, хотя предвижу, что они (их поколение) могут не согласиться: «От меня люди зависят. Будут у тебя подчиненные — поймешь».

Понятие «дом» — юрта, изба, дворец, стадион — медленно поступательно развивается в веках. Поэтому ребенок, усвоив его наконец, усваивает его раз и навсегда.

Понятие «эгоизм» передвигается по области конкретных значений — по семантическому дифференциалу — быстрее и, может быть, вращательно (или по спирали, как нас всегда учили?).

Я замечаю, что мое представление об эгоизме меняется даже на протяжении моей жизни. Причем я все больше удаляюсь в этом от поколения моих родителей, поэтому я и осмеливаюсь утверждать, что это характерно не для возраста, а для поколения.

Конечно, взгляды ровесников моих родителей тоже меняются. Слово «общественное» утерало былой смысл, оно сильно запятнано. Прилагательное «личное» нашло себе другие существительные — личное достоинство, личное мнение. Раньше первенствовали другие ассоциации: «...счастья в работе и успехов в личной жизни...». «Личное дело» составляется другими людьми, причем совсем посторонними. Личное требовало защиты, переходящей в нападение: «Это мое личное дело!» Только в экстраординарных обстоятельствах, когда не до шуток, не до каламбуров, личному было дозволено сиять нетленным золотом: «За личное мужество, проявленное...».

Все это, скорее, приметы времени, чем поколений. Но поколения выражают свое время. Все мы во многом и навсегда принадлежим своей молодости. У Фрейда была даже более полярная модель — мы принадлежим детству.

К слову сказать, моя личная статистика пополняется. Одна женщина спросила мою ровесницу в августе:

— Ты ходила на митинг ночью? Тебя от работы послали?

А, между прочим, нелепый в моем понимании вопрос был взят не с потолка. Г. Х. Попов в интервью сказал, что в дни переворота коммунальные службы Москвы, кроме метрополитена, работали против путчиков. Кого-то посылали и с работы. Это я вдвойне наивна — молодая и интеллигентка. (Этой женщине за пятьдесят, и у нее брат — шофер.)

Но все-таки у меня было впечатление — наивное или нет — что в толпах народа во время переворота не было никого, кто пришел бы не по своей воле. В отличие от праздничных манифестаций времен застоя.

Может быть, не совсем понятно заглавие — «Наши и мы».

Мы — потому что я пишу не о себе лично, обособленно, а пытаюсь определить к какому «мы» я принадлежу в историческом и географическом смысле. Во времени и в пространстве. Поэтому я пишу о других поколениях и об иностранцах — людях и авторах.

Что такие наши? Потому ли мы называем их «наши», что чувствуем с ними внутреннее единство, или только лишь потому, что они «даны нам в ощущениях как объективная реальность»? Что общего у нас с чужими? Действительно ли мы от них сильно отличаемся?

В устах диктаторов и дикторов на экранах телевизоров слова «достоинство советского человека», «наш народ» звучали устрашающе. Можно утешаться только тем, что они, скорее всего, вымысел, как и все остальное, что говорилось тогда.

Не будем гадать. Лучше обратимся туда, где уж точно правда. Эмоции всегда искренни, или это не эмоции.

Фрейд квалифицировал слезы, гнев, смех как способы разрядки напряжения. Мы смеемся, когда видим несоответствие, нарушение привычной системы взглядов. Оказывается, она была под напряжением, нам стоило усилий удерживать вместе ее элементы. Когда она рушится под действием естественных, как в природе, сил, нам весело, мы испытываем облегчение.

В связи с перестройкой юмор сильно изменился. В какой-то момент по телевизору был объявлен кризис юмора. Уже не смешно то, над чем все время смеялись. Можно даже серьезно говорить все, что хочешь. Системы напряжений, трещины в которой дали бы облегчающий эффект, уже нет.

Создается новая система напряжений. На уровне материальном она ощутима и понятна. С духовным уровнем еложнее.

Я ощущаю эти перемены на себе. Раньше мне иногда виделось на транспарантах: «Москвичи и гости столицы! Выполним и перевыполним исторические решения ХХХХХХХХ съезда КПСС!» Или вывеску над прилавком я читала: «Тревожные изделия» (свежие ли?). Теперь я туда просто не смотрю — знаю, что там ничего нет. Магазин МОЛОКО выглядит, как МОРОКА. То одно, что есть, продают в центре торгового зала, и народу — тьма. А вот недавно я купила мед и читаю на этикетке: «Забот-быт-база главного управления забастовок» (на самом деле «заготсбыт» и «заготовок»).

А вот шутка, над которой мог смеяться кто-то из старшего поколения. На моей памяти это уже, конечно, не было смешно — только трогательно.

А. Вертинский (вероятно, пятидесятые годы): «Песня, написанная мной на слова нашего молодого советского поэта Сергея Смирнова. «Откровенный разговор».

В полночь постепенно затихая,
Город все огни свои зажег.
Дворникам пощады не давая,
Неустанно падает снежок...
На глазах у милиционера
Он в трамвай садится на ходу.

Я по незатоптанному скверу
Со своей единственной иду.

Ой, а можно ли по незатоптанному скверу? Нет, ничего, не по клумбе же! Но снежок! Сейчас милиционер его схватит за шиворот и доставит в отделение!

Смешно? Система дает трещину. Оказывается, явления природы не подчиняются государственным органам.

А, между тем, это не такая уж банальная и безопасная мысль. Существовало же такое понятие, приложимое к наукам о природе, как «буржуазная наука». Буржуазные идеалистические генетика и кибернетика.

Явления природы? Нам все под силу. Мы даже можем повернуть реки вспять. До сих пор помню из учебника природоведения, как стихи: «Мелеет, высыхает Каспийское море. Но советский человек...»

Не получится? Смешное часто рядом с опасным. Нарушение запрета. Есть «запрещенные» для электронов уровни. Есть запрещенное людьми без объяснения причин. Руководство знает.

«Мы будем петь и смеяться, как дети». Мне родители запретили. Запретили и все. Рискнем? Как здорово, как весело нарушить запрет!

Но продолжим «Откровенный разговор»:

А она сердито мнет перчатки
И упреки сыплет то и знай:
Мол, примчался чуть ли не с Камчатки
И опять готов хоть на Дунай!

Дескать, я семьи не уважаю
И теряю к дому интерес...

.....

Потрясающая песенка! Хочется цитировать ее целиком, но без музыки, без интонаций Вертинского в этом нет смысла.

Конфликт общественного и личного. Но он не может иначе. Наверное, он хочет делать добро, приносить пользу не только своей семье, но обществу, многим людям. Нет, об этом он не говорит. Он просто не может иначе:

Чем ворчать и омрачать свиданье,
Улыбнись и выслушай меня!
Человек без нового задания
Все равно, что печка без огня!

Вот это да! А где же внутренний неугасимый пламень любви?

И давай запомним, друг мой милый:
Нынче мало Родину любить, —
Надо,
 чтоб она тебя любила,
Ну, а это надо... заслужить!

Многоточие не мое, многоточие — в интонации Вертинского. Он как бы думает, подбирая слово.

Смешно? Корыстная любовь? Да, потому что, если Родина тебя не будет любить — это страшно.

В нашем классе одна девочка умела гадать по руке и предсказала другой девочке «любовь по расчету». Мы тогда удивлялись, нам тогда казалось, что это несовместимые понятия. Брак по расчету — это понятно, но любовь?

В тоталитарной системе напряжений это понятия совместимые. Наоборот, бескорыстная, безответная любовь близка к умупомешательству. Некоторые любили Родину без надежды на взаимность, и их за это объявляли сумасшедшими.

Эта система вообще зиждится на примирении реальных противоречий. Закон (природы), что дышло, куда повернешь, туда и вышло. «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью». Например, в педагогике, в педологии, генетика была разгромлена еще до разгрома самой генетики. Она ставила препоны на пути воспитания нового человека. Она несла на себе отпечаток пессимистического фатализма. Человека можно превратить во что угодно — в талант, в гражданина новой социалистической формации. Если кого-то нельзя превратить, то это сумасшедший. Вот это фатально. И весь род его запятнан. За границу не пускать — неустойчивая психика. В психиатрии это зерно фатализма давно созрело. Генетика цвела, еще не смея назвать свое настоящее имя.

Брак по расчету — это понятно. Человек осознанно делает не то, что ему хочется. Любовь по расчету — это когда человек действительно любит или считает, что любит, что одно и то же. По Фромму — это бегство от свободы. По-нашему — бегство от (не из) тюрьмы. Что одно и то же.

Приятно видеть реальность такой, как хочется. Легко быть под гипнозом, хорошо быть, как все, и не задумываться о том, прав ли ты в своих размышлениях.

А. Швейцер: «Если среди наших современников встречается так мало людей с верным человеческим и нравственным чутьем, то объясняется это не в последнюю очередь тем, что мы беспрестанно приносим свою личную нравственность на алтарь отечества, вместо того, чтобы оставаться в оппозиции к обществу и быть силой, побуждающей его стремиться к совершенству».

А вот слова, которые как бы ничего не доказывают, как музыка, но убеждают, околдовывая, как музыка:

И хотелось бы тут же вселиться, пойми,
В долговечный Урал, населенный людьми,

И хотелось бы эту безумную гладь
В долгополой шинели беречь, охранять.

О. Мандельштам. 1935 год

Беречь покой. «Безумную гладь». Безумную — потому что в жизни не всегда все гладко.

Иногда реальность заставляет обратить на себя внимание. Нам говорили, что революционная ситуация складывается тогда, когда верхи не могут, а низы не хотят. Но перестройка началась сверху. Верхи уже не могли, а низы, значит, все еще хотели.

Теперь, через несколько лет, низы показали, что уже не хотят. Низы? Массы?

Большинство? Как это определить в такой огромной стране, в стране, привыкшей не высказываться прямо?

«Достоинство советского человека», «наш народ» — вымышленные ли это понятия? Любовь по расчету — вымышленное ли это понятие?

Но — вымышленные или реальные — эти идеи имеют над нами власть.

Прошлое владеет нами (или нашими?). Можем ли мы избавиться от того, что нами владеет и от того, чем владеем мы, и существовать свободно? И в каких пределах? Об этом книга Э. Фромма «Иметь или быть?».

У нас была даже более полярная модель:

«Отречемся от старого мира,
Отряхнем его прах с наших ног...»

«Весь мир насилия мы разрушим
До основания, а затем...»

Почему же мы не стали свободными?

«Москвичи и гости столицы» — не более обидно, чем «всяк сверчок знай свой шесток». «Дамы и господа» — совсем не обидно. Если я, предположим, недоволен тем, что я женщина, я никак не могу обижаться за это на людей. Трогательно и уважительно звучало в устах Сталина: «Партизаны и партизанки!»

«Москвичи и гости столицы». С детства я помню большую рекламу на крыше дома: «В командировку и в отпуск летайте самолетами!» Третьего не было дано. Путешествовать вообще казалось, видимо, бессмысленной абстракцией. И размышлять о смысле путешествий для человека вообще или для меня лично не приходится. Путешествовать можно по работе или чтобы отдохнуть. Либо для людей, либо для себя. В такой системе категорий место прописки и служебная должность — положение в структуре государства — является более существенной характеристикой человека, чем пол и возраст.

А на Западе, скажете вы, кошелек. Да, и на это обращают много внимания, в частности, психологи.

Фрейд анализировал личность как бы в «микроконтексте» интимных отношений. Его последователи стали изучать и «макроконтекст» — человека в обществе.

В книге «Иметь или быть?» Эрих Фромм анализирует два способа существования — бытие и обладание.

Иметь или быть? — это не гамлетовский вопрос.

«Альтернатива «обладание или бытие» противоречит здравому смыслу. Обладание представляется нормальной функцией нашей жизни: чтобы жить, мы должны обладать вещами. Более того, мы должны обладать вещами, чтобы получать от них удовольствие. Да и как может возникнуть такая альтернатива в обществе, высшей целью которого является иметь — и иметь как можно больше — и в котором один человек может сказать о другом: «Он стоит миллион долларов?»» (Э. Фромм).

Это не альтернатива — дело лишь в пропорции. Фромм ратует за модус бытия, потому что маятник качнулся (давно, примерно, в эпоху Возрождения) и застыл в положении направо. Это по ту сторону бывшего железного занавеса. А у меня такое ощущение, что мне с детства внушали, что у нас маятник прочно удерживается в положении налево. Поэтому, хотя бы в силу свойственной человеческой природе тяги к противоречию, читая Фромма, я все время испытываю желание высказаться в защиту «иметь».

Во всех языках слово «быть» древнее слова «иметь». Появление термина «иметь» приурочивается к возникновению частной собственности. До этого существовала косвенная форма «это относится ко мне». До сих пор в некоторых языках нет специального термина «иметь». В русском языке, кстати, чаще употребляется «у меня есть» — косвенная форма. Это отпечаток модуса бытия: ЕСТЬ в некотором отношении ко мне. «Имею» — более официально и звучит, порой, как не очень квалифицированный перевод.

Частная собственность разрастается, наступает и начинает сама распоряжаться действиями людей и еще больше изменять их язык. В разделе «Современное словопользование» Фромм приводит слова пациента: «Доктор, у меня есть проблема. У

меня бессонница. Хотя я имею прекрасный дом, чудесных детей и у меня счастливый брак, я испытываю беспокойство».

«Несколько десятилетий назад, — пишет Фромм, — вместо «у меня есть проблема» этот пациент, вероятно, сказал бы «я обеспокоен», вместо «у меня бессонница» — «я не могу заснуть», а вместо «у меня счастливый брак» — «я счастлив в браке».

Как-то я участвовала в учебной психотерапевтической группе, где «пациентами» были профессионалы, так как овладеть психоаналитическими методами лечения можно только испробовав их на себе. Мне действительно «бросился в уши» неживой, суженный профессиональный язык, на котором многие говорили. Часто слышалось: «У меня есть проблема». Это значило, что человек уже до какой-то степени проанализировал и обозначил свои трудности и собирается заняться лечением именно этой части души, как современный врач-специалист лечит часть тела, а не весь организм.

Проблема — объект, с которым можно производить операции. Проблема — объект внутри. Я обеспокоен тем-то и тем-то. Значит, операции надо производить с объектом снаружи? Нет, мы сейчас лечим себя, а не внешний мир. С тем, что мне принадлежит я могу делать то, что мне вздумается. Удобная терминология, но она имеет и обратную сторону, как и узкая специализация врачей.

«Если я говорю «у меня бессонница» вместо «я не могу уснуть», то я, таким образом, обнаруживаю свое желание избавиться от ощущения тревоги, беспокойства и напряжения, которые не дают мне уснуть, и бороться с явлением психического порядка так, как если бы это был симптом физического состояния». (Фромм)

Да, это подмена, это симптоматическое лечение вместо радикального.

Но мне хочется замолвить слово в пользу обладания. Иногда выражение «иметь» оказывается гораздо уместнее и полнее.

«...можно также и к своему телу относиться по принципу бытия, воспринимая его как живое, что находит свое выражение, когда говорят: «Я — это мое тело», а не «У меня есть тело» (Фромм).

«Я — это мое тело» — это очень вульгарный материализм. Это гораздо сильнее, чем «сознание есть свойство высокоорганизованной материи». То, что тело бrenно, очевидно. То, что душа не бессмертна, недоказуемо. Все же, скорее, я — это моя душа, и у меня есть тело. Или, если угодно, часть моей души, если согласиться с тем, что некоторые области души вне моей власти, там непонятен язык моих распоряжений.

Быть — жить, расти, угасать — меняться. Я превращаюсь — быть. Я остаюсь — иметь. Меняет контуры только область, которой я обладаю. В реальности, конечно, меняется и то, и другое. Быть или иметь — что-то вроде частных случаев физического закона, если по очереди принимать одну из переменных за константу.

В модусе обладания не обязательно присутствует что-то вульгарное. Иногда — наоборот. Я что-то теряю и приобретаю, но на протяжении всей моей жизни Я остаюсь. Если не сойду с ума и не стану чайником.

Может быть, кто-то помнит песенку Битлз:

Will you still need me,
Will you still feed me
When I'm 64?

(Нужен ли я буду тебе, будешь ли ты кормить меня, когда мне будет шестьдесят четыре?)

Только змеи сбрасывают кожи,
Чтоб душа старела и росла,
Мы, увы, со змеями не схожи.
Мы меняем души, не тела.

Н. Гумилев

Грустные строки, хотя грусть не выражается прямо (кроме «увы»). А вот совсем грустные, именно потому, что грусть вовсе отрицается и нет не только хода назад, но даже и сожаления, которое могло бы подтолкнуть к возврату.

Мне снилось: мы умерли оба,
Лежим с успокоенным взглядом,

Два белые, белые гроба
Поставлены рядом.

Когда мы сказали «Довольно»?
Давно ли, и что это значит?
Но странно, что сердцу не больно,
Что сердце не плачет.

Бессильные чувства так странны,
Застывшие мысли так ясны,
И губы твои не желанны,
Хоть вечно прекрасны...

Н. Гумилев

К счастью, так не бывает:

— Вы занимали у меня деньги.

— Тогда это был не я. Я уже не тот.

Кажется, тридцать лет — срок ответственности за совершенное преступление. Перед людьми человек считается оправданным тридцатью годами добропорядочной жизни. А перед самим собой, говоря на языке поколения, которому за пятьдесят?

Модус обладания по Фромму: вы глотаете детектив. Еще один сюжет укладывается в заранее готовую ячейку, покупка — в карман.

Модус бытия: вы изменились после прочтения книги. Вы поняли ее «иногда даже глубже, чем это способен сделать сам автор, которому кажется важным все им написанное».

Мне хочется обелить и возвысить слово «иметь». У Фромма «быть» определяется через «иметь»! «Быть» в индоевропейских языках представлено корнем — *es*, имеющим значение «иметь существование, принадлежать действительности».

Фромм: «Разница между уровнями образования от средней школы до аспирантуры состоит, в основном, в величине приобретаемой культурной собственности, которая примерно соответствует количеству той материальной собственности, владельцами которой станут в будущем эти студенты».

Нам много лет твердили, что это они там имеют, у них деньги — все, а мы живем. У нас дело было не столько в деньгах, но значит ли это, что мы были ориентированы на модус бытия? Мы тоже приобретали знания, глотали их, как детектив, но очень скучный, особенно по некоторым предметам. Чтобы не вылететь из института, чтобы приобрести место в системе.

Я хочу сказать слово в защиту «иметь». Может быть, мое заступничество не столь существенно, но я знаю, что не могу быть, не имея. Кроме прочего, тепла, внимания, поддержки.

Мне дана жизнь. У меня есть жизнь. Она мне дана не в «вечное пользование», как земля колхозам. Земля не была собственностью колхозов, т. е. ее нельзя было продать, ее нельзя было лишиться. Даже отдельный человек не мог ее лишиться, когда у колхозников не было паспортов. Похоже на то, как у заключенных отбирают острые предметы и вместе с ними — жизнь. Они не владельцы своей жизни. Она предоставлена им «во временное пользование».

В мире, где жил Фромм, терминология яснее. Иметь — частная собственность. Или государственная. Там проще принять «иметь» за константу, как температуру, она сольется с коэффициентом, ее можно не принимать во внимание, и закон $PV/T = \text{const}$ превратится в частный случай $PV = \text{const}$. При постоянном тепле.

Но с деньгами не шутят. Они — власть. У них свой мир и свои законы. «Он стоит миллион долларов». Неважно, красив ли он, умен ли, неважно само по себе имя, «порода», как в средние века.

У них свой мир, и он повсюду. Приобрести, положить в стандартную ячейку. Отель «Хилтон» везде одинаков. В нем вы будете на краю света чувствовать себя, как дома, в Нью-Йорке или Лондоне.

Но другой мир существует. Если человек его не видит, это особого рода дальтонизм. Он излечим.

Мне каждый звук терзает слух,
И каждый луч глазам несносен.
Прорезываться начал дух,
Как зуб из-под припущих десен.

Прорежется — и сбросит прочь
Изношенную оболочку.
Тысячеокий — канет в ночь,
Не в эту серенькую ночку.

А я останусь тут лежать —
Банкир, заколотый апашем,—
Руками рану зажимать,
Кричать и биться в мире вашем.

В. Хогасевич

У нас имущий — не банкир, но он тоже болен сужением поля зрения.

Однажды мне случилось временно работать переводчиком в одном из крупных промышленных министерств.

Сначала нужно было созваниваться. Дело было спешное. Приезжал представитель крупной международной корпорации. Мне давали разные телефоны, по которым я должна была срочно ловить ответственных лиц. Уже тогда мне показалось, что я кояжусь за ними по какому-то обособленному замкнутому лабиринту. Мне давали по отдельности имена-отчества и фамилии, которые, как потом оказывалось, принадлежали одним и тем же людям. Чувствовалось, что говорящим со мной трудно вообразить, что я не в курсе того, что Иван Иванович и Петров — одно и то же лицо, что фамилия Сидоров принадлежит Петру Петровичу, а фамилия Иванов — Сидору Сидоровичу. И ребенок знает, кто такой Семен Семенович и как его ласково зовет народ — Семеныч.

Мирок оказался внушительным. Огромное современное, но не «пластмассовое», не легковесное, не наскоро сбитое здание. Лифт не пожелал ехать на пятый этаж, но согласился отвезти меня на шестой. Выяснилось, что этот лифт возит только на четные этажи. Надо было знать. Но это я уже шучу и утрирую. Наверное, я не заметила табличку.

Здание стояло прочно, но только оно. Когда я спрашивала, а как вообще в министерстве дела, мне признавались, что дела неважные, особенно забастовка шахтеров спутала все карты. Но об этом говорить явно не хотелось. Больше говорили о личном: о питании за границей, об украинских блюдах, о том, что простой народ не уважает интеллигенцию, тех «кто как-то пробился, благодаря своим качествам».

Беседа с иностранцем не клеилась. Больше разговаривала с ним я, пытаюсь иногда навести мост для деловой или неофициальной беседы. Но разговор повисал в воздухе. На иностранный язык мне было переводить значительно труднее: я не всегда понимала, что хотят и чего не хотят сказать по-русски. Осторожные, уклончивые выражения пугали возможным присутствием подтекста. Специальной терминологии было немного, но от меня ускользал общий смысл. Декоративный стиль с тяжеловесными старогазетными узорами.

Наши немножко похожи были на бояр с обритыми бородами и отрезанными рукавами. Деловой заинтересованности не ощущалось.

Предварительно сделав словесный реверанс в мою сторону, иностранец заметил, что трудно вести живой разговор через переводчика. У них общесеропейская фирма и все — итальянцы, французы, испанцы — говорят по-английски.

Ему ответили, что у нас тоже лет через пять сформируется поколение не гуманитариев — экономистов, инженеров — говорящих по-английски. Наши были не старше иностранца. Около пятидесяти. Молодость бизнесменов и политиков. Неужели наши готовы были «доживать»?

За ужином иностранец попросил простой воды, сказав, что перенес операцию и ему нельзя газировки. Когда вечером расставались в гостинице, меня попросили перенести, что хотя, к сожалению, горячей воды в номере нет, зато в холодильнике стоит

холодная газированная вода. На это иностранец возразил, что холодильник отключен и открыт.

— Довольны ли вы тем, как вас поселили?

— Гостиница не соответствует нашим стандартам. Скорее, колледж. Простыни не постелены.

— А это и есть общежитие! Чтобы нашим инженерам было дешевле. А простыни не постелены, потому что жарко. Может быть, вы не захотите спать под одеялом. Что ж это газировки не могли поставить!

Взаимная беседа не клеилась.

— Какой-то он застенчивый! — делились наши впечатлениями со мной.

Мне так не показалось. Мне показалось, что он корректен и тверд. Вел себя, как безошибочный компьютер — прямо по Карнеги. Он сразу запомнил все русские фамилии, а я — нет.

Я люблю рассматривать в музеях карты русских земель и городов, сделанные иностранными путешественниками до XVIII века. Несколько лет назад один автомобилист показывал мне выпущенную за границей карту Москвы, где все расстояния были воспроизведены в правильном масштабе. У нас выпускали тогда только приблизительные планы. Чтобы труднее было бомбить, если что.

Модус обладания: наши проглотили иностранца, как книгу, уложили, несколько деформировав, в свой реестр, как в прокрустово ложе. Они сами не изменились и даже почти ничего не приобрели. Что-то им навязали в нагрузку к командировкам в Европу и впечатлениям о западной кухне.

Чтобы иметь и производить полезные операции с предметами обладания, нужно быть. Неужели наши настроились на доживание? Но они еще что-то имеют.

А чтобы быть, надо иметь. Тепло и пишу. Даже если вы любите безответно, вы имеете тепло. Хотя бы только свое. Почему Фромм пишет: «...выражение «У меня огромная любовь к вам» бессмысленно. Любовь — это не вещь, которой можно обладать, а процесс...»?

Фромм цитирует Маркса: «Если ты любишь, не вызывая взаимности, т. е. если твоя любовь как любовь не порождает ответной любви, если ты своим жизненным проявлением в качестве любящего человека не делаешь себя человеком любимым, то твоя любовь бессильна, и она несчастье».

Несчастье — да, но почему бессильна?

Одна веселая мать дразнила своего пятилетнего сына:

— Это не мой мальчик. Мой мальчик ест аккуратно. Мой мальчик руками не хватает. Это какой-то чужой, невоспитанный мальчик. Мой мальчик послушный...

— Это я! — говорил сын. — Посмотри, я — твой мальчик!

— Нет, это не ты! Разве мой мальчик пьет воду прямо из-под крана? Нет, он наливает из графина в чашечку.

Мальчик, уверенный, что он уже учел все замечания, засмеялся от неожиданности, а потом рассердился, топнул ножкой и закричал:

— А кто говорит: «Я тебя люблю» — тот твой!!!

Наши и мы. Потому ли они наши, что даны нам в обладание, нравится это нам, или нет, или они наши, потому что мы — часть их? А, может быть, они для нас не наши, и мы не хотим иметь с ними ничего общего?

Можно трояко относиться вообще к тому, что происходит: поддерживать и участвовать; осуждать и противодействовать; отстраниться.

«Наши перешли в атаку.. иии.. гол!!!»

«Наши — как медведи в гостинной».

Это не наши. Это не мы. Это не я произнесла слово «наши» в телерепортаже из Литвы.

Наши... Толпы на улицах и площадях 19—21 августа? Сколько их?

Или те, кто незримо стоял позади телеэкранов, когда видны были только диктаторы, которые диктуют, и дикторы, которые читают под диктовку и потому так часто запинаятся? Может быть, «их тьмы, и тьмы, и тьмы»? Кто они?

Надо еще определить, кто такие мы. Почему мы такие? Потому, что так сложилось, или потому, что мы сами хотели быть такими?

Пользуемся ли мы деньгами и делаем ли их сами, производя ценности, путе-

шестую, воюя? Или деньги владеют нами и заставляют нас работать, ездить, воевать?

Условно говоря, деньги. Деньги как эквивалент благ. Не обязательно всеобщий эквивалент — у нас он был лишь частичным.

Когда мы как-то поступаем, владеем ли мы собой или побуждение владеет нами? Зачем ты так сделал? Или — что тебя толкнуло?

Бывает и так, и так. Иногда мы принимаем сознательные решения, иногда имеем смутное представление или обманываемся насчет причин своих действий.

Цель современной психотерапии, в самом общем виде, заключается в том, чтобы помочь вам понять «почему», и тогда вы станете способны принимать решения сами.

Иначе вы можете ошибаться. Например, вы думаете, что это для ближнего, а если разобраться, то это для себя. За справедливым гневом стоит стремление отнять. За беспокойством о других стоит жажда власти. За опасением помешать стоит равнодушие.

Три типа отношения к происходящему могут быть обусловлены либо нашим волевым, осознанным, не под предлогом, а по причине желания добра принятым решением, либо неосознанной покорностью обстоятельствам, привычкам, эгоизму, страху.

Следовательно, шесть типов возможного отношения к событиям и их участникам можно описать так:

— наказать, лишить и отдать имеющему право — либо подчинить, отобрать и взять себе;

— понять и помочь — либо угодить и заслужить;

— уйти, «умыть руки» — либо опустить руки, убежать.

В истории нашего государства найдется много примеров отношения по типу «наказать и конфисковать», только для этого нужно гораздо более совершенное судопроизводство. «Подчинить и взять себе» не так сложно. Много прецедентов типа «уйти» и «убежать». И, конечно, очень много «заслужить», говоря словами «нашего молодого советского поэта Сергея Смирнова».

Понять и помочь было труднее. Это не позволялось, это опасно. Последствия этого непредсказуемы. Понять реальность? А вдруг она окажется не совсем такой, как нам удобно?

Врачи к власти предрежащим не допускались. Допускались только маги. Например, Лысенко с его сказочной научной теорией, обещающей волшебную палочку и скатерть-самобранку. Старая шутка о теории Лысенко: «Если голубь родился в конюшне, значит он лошадь». Мы можем легко производить миллионы лошадей в ме...не...де...день!

«Дело врачей» надо было бы назвать «делом колдунов». Они виновны в том, что посмели оборвать вечную жизнь. Не могла же она оборваться сама!

В сборнике эссе «Меньше единицы» И. Бродский приводит анекдот, который финны рассказывают о завещании их пожизненного президента Урхо Кекконена, начинавшемся словами «Если я умру»...

Наши и мы. Идем ли мы в одном направлении? Движемся ли мы в разных направлениях, все больше отдаляясь друг от друга? Идем ли мы навстречу? Когда и на какой скорости столкнутся поезда?

Жестокая реальность прорывает страницы школьных учебников. Задачи решать нашим детям, нам, нашим родителям.

Мы имеем их. Что именно мы имеем?

Они имеют нас. Кто мы, собственно, такие?

Наталья Иванова

Светлый чердак для подвальной литературы

Критика

Вот мы и отменили праздники, что семьдесят с лишним лет отмечались в стране, которой тоже больше нет. Но мы и из похорон умудрились создать хоть какой-никакой, а праздник. «Поминки по советской литературе» были справлены с разгорающейся со стороны «покойников» попыткой скандала, — но до главного покойника, героя с четырех больших букв, было, казалось, еще очень далеко. Однако с помощью августа одолели и эту ступень, а теперь мучительно думаем — в какой стране мы живем? О какой советской литературе может идти речь теперь, когда и Советского Союза более не существует? Все сказанное никак не относится к писателям, чьи произведения останутся, называя их хоть советскими, хоть антисоветскими. Точнее всего было бы назвать их а-советскими. Они навсегда принадлежат той литературе — русской ли, украинской, белорусской, грузинской — судьбу и язык которой они разделили. О других же хочется сказать, перефразируя ушедший в небытие гимн. «Союз графоманов сплотился навеки...»

Если отвлечься от черно-белой заидеологизированности нашего сознания, то надо признать, что советская действительность породила многослойную литературную жизнь. Например, уникальный тип писателя, пишущего и думающего по-русски, но сохранившего почти без потерь свой национальный менталитет. Для Анатолия Кима, Тимура Пулатова, Тимура Зулфикарова, Юрия Рытхзу поминки по советской литературе не несут в себе только освобождающий пафос. Но судьба этих «имперских» по происхождению литераторов-маргиналов — тема особого разговора.

Много говорится — и пишется ныне — не только о конце советской литературы, но о конце литературы как таковой.

Все эти заявления о «гибели богов» подаются на фоне гибели всерьез.

Ежедневно приходят сводки о погибших в межнациональных (и — внутринациональ-

ных) столкновениях. Об этом проза — не публицистика, а именно проза — до сих пор молчала, страшась подходить близко — но вот в «Знамени» (№ 10. 1991) появилась повесть Бориса Горзева (первая публикация нового автора) «Перевал», посвященная войне в Закавказье. Горзев не «приписывает» своих героев к какой-либо реальной национальности, а исследует ужас, абсурд, бессмысленность межнациональной войны в принципе. Война увидена глазами доктора, врача; тут и М. Булгаков, и доктор Юрий Живаго приходят на память, — неумирающая толстовская традиция русской литературы, сострадавшей «малому», да и любому народу, гибнущему в войне опять ожила в этой маленькой повести.

«Горячая» литература живет в зазоре «между жанрами» прозы и публицистики, но «подсобной», «откликантской» я бы называть ее остерегалась. Экзистенциальных высот она не достигает — но на них и не претендует.

Очевидная слабость «горячей» литературы как раз в ее силе и заключается — в невероятной степени приближенности к действительности. В неизбежности смыкания с реальностью. Собственно, на саму себя (как на словесность) ей не хватает энергии. Вернее, ей стыдно быть словесностью. Она не только не страдает комплексом нарциссизма, чем отличаются иные из отечественных «арьергардистов» — ей, кажется, не то что отредактировать себя, даже обернуться, в зеркало взглянуть некогда. Допускаю, что впечатление это обманчиво, что я преувеличиваю степень непроработанности «горячей» литературы, вероятно, вполне сознательную. Впрочем, и в такой, почти по газетному следу написанной литературе существуют замечательные образцы жанра — и у Достоевского, и у Чехова мы их найдем. Чехов не мог не поехать на Сахалин — у нас в Нагорный Карабах не отправился никто из пировавших в гейдар-алиевском застолье в честь «дружбы» многона-

циональных литератур (любопытных отсылаю к отчету о литторжествах в Баку, к журналу «Вопросы литературы» начала 80-х).

Гибнут не только люди, гибнет человек, гаснет на свалке жизни его «одиноким голос». Именно об этом повесть А. Терехова «Зимний день начала новой жизни» («Знамя» № 5. 1991), рассказ С. Воропаева «Фальстарт» («Соло» № 5. 1991). Герою А. Терехова кажется, что его преследуют крысы; жизнь, пропитанная крысиным визгом, омерзительна, а спасением, выходом может быть только самоубийство, иначе не освободиться от мерзости всего окружающего. Растоптана культура, в зловонную помойку превращается университет. Солдатик С. Воропаева, в отличие от тереховского Грачева, не образован, но и он по ночам читает с ощущением счастья случайно попавший в казарму том Шекспира, однако Шекспира гогочущая, солдатня раздирает на подтирку.

С новым литературным поколением происходило то же самое, что и с его героями: попытка умерщвлением самого жизнеспособного. Ольга Седакова в «Заметках и воспоминаниях... а также Похвале поэзии» («Волга» № 6. 1991) пишет: «Нашу литературную жизнь заживо зарыли в самом ее начале. Я не знаю, как сравнить эту попытку с трагедиями старшего поколения: она бескровнее, зато уничтожает не человека, а творчество». Под заметками О. Седаковой стоит дата: 1982. Изменялось ли что-нибудь к 1992-му?

Польский писатель Виктор Ворошильский, тот, что учился в середине 50-х в Литинституте вместе с Геннадием Айги, Фазилом Искандером и Владимиром Соколовым, перу которого принадлежат книги-эссе о Салтыкове-Щедрине, Маяковском, Есенине, был в числе интернированных ночью 13 декабря 1981 года — в момент введения Ярузельским чрезвычайного положения. Интернирован был и Анджей Дравич — автор подпольной монографии о М. Булгакове, множества статей о русской литературе. Ну и, конечно, Адам Михник. Никто из них не то что не растоптал в себе любви к русской литературе — она даже окрепла. Русистикой занимались тайно, подпольно, издавали свои сочинения о русской литературе в «там-» и «самиздате». Виктор Ворошильский назвал подпольную русистику «теневого».

А у нас развивалась теневая литература. Определений у нее уже несколько — «другая», «альтернативная», «вторая». Ее твор-

цы располагались если не в реальном подвале — то в котельной, как в настоящей, так и в интеллектуальной («котельной» могла оказаться и служба в каком-нибудь НИИ). Редактор альманаха «Вестник новой литературы» Михаил Берг пишет: «ВК (вторая культура. — Н. И.) возникла как уникальная и непредвиденная реакция на существование общества с мнимыми ценностями, с нарушенной ценностной ориентацией. ВК представляет собой способ выжить в условиях, когда жить, казалось, невозможно».

Стало уже банальным говорить о том, что традиционные толстые журналы испытывают серьезный кризис. Но кризис этот вызван не только высокими ценами на бумагу или вялой работой типографий в условиях никак не возникающего рынка и разрушенных прежних структур. Журналы почти исчерпали заявленную ими самими формулу и пока не предлагают новой. Этот кризис совпал по времени и с завершением публикаций корпуса текстов А. И. Солженицына в «Новом мире» и А. Д. Сахарова в «Знамени». Солженицынско-сахаровский «период периодики» закончился.

Журнальный бум, то бишь необыкновенный взрыв читательского интереса, многократное увеличение тиражей были обеспечены прежде всего опубликованием запретного. Литература «из столов» и архивов («...волна воскресших мертвецов пошла на фантастическую прибыль» — В. Кривулин), а также эмигрантская (всех трех «волн») составила главное содержание журналов последних лет. Зло, но лишь отчасти справедливо оценил ситуацию Андрей Битов: «Расцвет толстых журналов в начале перестройки оказался недолгим — все они конкурировали в одном и том же направлении, воруя друг у друга одни и те же вещи, и, в результате одинаково лопнули, как пузыри».

Лопнуть не лопнули, в этом Битов не прав, но заявленную концепцию во многом исчерпали. Тем более, что пафос работы толстых журналов в принципе одинаков, несмотря на различия между «Невой» и «Октябрем», «Знаменем» и «Звездой», «Новым миром» и «Дружбой народов». Толстые журналы (за исключением, быть может, «Нового мира») начали «новую жизнь» на дрожжах шестидесятиничества. Все они — родом оттуда — и либерал-демократический комплекс идей, и своя собственная «номенклатура», своя «партийность». Особенно наглядны и очевидны блеск и нищета шестидесятиничества через взлет и падение интереса к еженедельникам — пример «Огонь-

ка» и «Московских новостей» показателен; кризис этих изданий совпал с кризисом всей перестройки в ее шестидесятилетнем варианте.

С изменением общественной и политической ситуации стало ясно, что и в названиях журналов, ранее привлекавших читателя «маркой» узнаваемости, заключен не просто внеидеологический знак, как нам хотелось бы думать, а злой ген идеологии. «Знамя» — чего? «Октябрь» — 17-го? «Дружба народов» — или их вражда? «Новый мир» — «мы наш, мы новый мир построим», клише из «Интернационала»?

Дело, конечно, не в названиях, — представим на мгновение, что их изменили; сущность не изменится, а журналы потеряются в море новых, ежечасно возникающих. Однако имя — это уже судьба. Кстати, новые ежемесячные периодические литературные издания, выбирающие идеологически нейтральные названия (например, «Согласие»), пока идут по стопам предшественников, репродуцируют все ту же привычную толстожурнальную формулу, в том числе — и в эстетике. С явной ориентацией на традиционно шестидесятилетнюю поэтику.

Толстые журналы наряду с запретной ранее (по идеологическим мотивам) литературой отдают предпочтение тому же литературному истеблишменту.

Да, «Нева» напечатала и «Большой террор» Р. Конквеста, и «Слепящую тьму» А. Кестлера. Верхом смелости стала публикация в 1987 году «Белых одежд» В. Дудинцева, которые сейчас вряд ли кто отважится перечитывать — а какие громы и молнии полетели на голову Аллы Марченко, «осмелившейся» подвергнуть сомнению высоту художественного урвня этого произведения, опровергавшего социалистическую идею при помощи ее же подсобных инструментов. В 1989-м один номер (девятый) почти целиком был отдан редакцией тем, кого поэт-эмигрант Дмитрий Бобышев позже назовет «котельными юношами»: «Шли в коچهгары, почные сторожа, наладчики очистных сооружений... В порядке самоиронии они, вероятно, и выдумали название для всего этого слоя, довольно многочисленного: люмпен-интеллигенция». В том номере «Невы» были напечатаны проза Б. Иванова (редактора самиздатского журнала «Часы»), работавшего коچهгаром Бориса Дышленко, служавшего ВОХРа (так его отрекомендовала тогда «Нева») Игоря Доляняка, бывшего пожарника В. Аксенова (не путать с В. Аксеновым московско-вашигтонским), математика А. Бартова, обитающего ныне в Швейцарии Ю. Гальперина, не дожившего

до наших дней Бориса Вахтина; стихи В. Кривулина, Е. Пудовкиной, Е. Игнатовой, Е. Шварц, С. Стратановского.

Однако номер так и остался «номером». «Котельные юноши» лишь изредка появлялись на страницах «Невы». В застойные времена иные из толстых журналов тоже раз в год устраивали своего рода «площадку молодняка», выпускали «целевые молодежные номера»... Аналогия вещь опасная, но ведь существует. Тем более, что полуподвал настойчиво помещается на страницах толстых журналов рядом с либеральным истеблишментом, рядом с Е. Евтушенко, А. Вознесенским, Д. Граниным, А. Злобиным — а в «Неве» в 1991 году активно печатаются Г. Горбовский, Л. Ку克林, Иван Виноградов, С. Ботвинник, Ю. Слепухин, Н. Коняев и даже... Е. Шевелева.

Вкусы либерального шестидесятилетия в основном до сих пор формируют не только идеи, но и эстетику толстых журналов. В шестидесятилетний коктейль обязательно войдут Окуджава с Искандером, и Вознесенский с Евтушенко, и Слуцкий с Расадиным — что же до подвала или полуподвала... Ну, скажем, Б. Чичибабин сюда «пройдет» (ибо близок по поэтике), а вот с И. Холиным или О. Григорьевым (не говоря о Г. Айги) будут большие сложности. Правда, замечу, что если бы Айги уехал в свое время в Париж, то сложностей было бы гораздо меньше. Да ведь Айги — классик, что же прикажете делать А. Бартову?

Публикации «котельных юношей» в официальных толстых журналах чаще всего выполнены так, что авторы «теневой» литературы выглядят бедными родственниками, милостиво приглашенными за роскошный стол. «Спертым воздухом свободы как дышать, когда еще вчера было так просто, пусто и знакомо?» Неуютно, сперто, а поговорить... языки-то разные: на одном Гранин со Злобиным разговаривают, и совсем на другом — В. Кривулин с Е. Шварц. В конечном счете раздражены обе стороны, недалеко и до взрыва, свидетельствами которого мы были: схватка между В. Малухиным и В. Кривулиным на страницах газетной периодики. Позиция В. Малухина, уподобившего отечественный постмодернизм «эстетическому беспределу» и обрушившего на него через миллионнотиражную прессу («Известия») целый поток обвинений («метафизический бунт посредственности», «мелкое жульничество на культурной ниве», «экзистенциальный невроз», «упразднение эстетических ценностей и иерархий», «отсасывание чужой, энергии») — голос нового либерала-моралиста...

во многом унаследовавшего комплекс шестидесятических идей и соответствующие эстетические стереотипы.

Раздраженно прозвучал и «голос из артергарда» Ст. Рассадина («Знамя» № 11. 1991), дополнившего малухинский ряд своей инвективной лексикой, из которой на меня самое большое впечатление произвел литературно-критический приговор: «собачья старость». Именно ею, «собачьей старостью», увенчались менее грозные и уже привычные для неофициального слуха аналитические обороты вроде «беспредел», «абсолютная безграничность», «отказ от приличий», «эстетическая расхлябанность», «безвкусица», «вторичность литературная, полуплагаторская», «огорчительная второсортность», «ставка на безличность».

Сличив тексты редакционного «самотека» с творчеством Д. А. Пригова, Вс. Некрасова и М. Айзенберга, Ст. Рассадина уподобил «постмодернистов» графоманам, помянув и незабвенного графа Хвостова в качестве положительного примера. Не очень понятен был источник, происхождение резкого раздражения, безапелляционных оценок и скоростных выводов, в которых эффектным образом объединялись (за урон, нанесенный отечественной словесности) Ю. Бондарев с Вик. Ерофеевым, П. Проскурин с В. Кривулиным. Реакция была явно не адекватной раздражителю: ведь равным счетом ничего «ужасного», за исключением одной (!) конференции в Литературном институте, более похожей на тусовку, нежели на академическое собрание, не произошло. Ну, еще выпустили два-три новых тоненьких сборничка на плохой бумаге, пару альманахов — с превеликими трудностями. Вот и все. Казалось бы, у В. Малухина, Ст. Рассадина — кто еще? — в руках такие возможности, как тиражи «Известий», «Октября», «Знамени» (предусмотрительно напечатавшего, правда, в одном номере со статьей Ст. Рассадина подборку стихов М. Айзенберга, как свидетельство идейно-эстетической широты).

Неадекватная реакция последовала не на прозу и поэзию концептуалистов и метафористов. Постулаты постмодернизма не анализировались. До текстов практически не дошло — они лишь осмеивались наряду с графоманскими (что проще всего; именно осмеянию-осуждению подвергались в свое время и тексты Л. Добычина, Обзирова, Пастернака, Мандельштама). Раздражили критику (причем, заметьте, не «наш-современниковскую», не «молодогвардейскую»!) заявления, статьи, манифесты — в общем, открытое слово «другой» литерату-

ры, в котором не то что не было почтительности по отношению к «предыдущему» поколению, в отличие от новых, «отстаивающему» традиционные гуманистические ценности» (как ему, этому поколению, представляется), а было заявлено неприятие конформизма, логики лукавого рабства, эзопова языка предшественников. Вопрос стоял не о запретных темах (тематика как таковая, синдром проблемности вообще не волнует «вторую» литературу), а о языке, о поэтике. «Дело в языке, в ракурсе взгляда, — настойчиво растолковывает редакция «Вестника новой литературы». — Наши авторы хотят не уязвлять, открывая все новое и новые проявления окружающей нас действительности (камешек, еще один, в сторону «бога правды жизни», которому — единственному! — молятся позитивные либералы-шестидесятники. — Н. И.), а объяснить, понять причины происходящего».

И язык, и поведение — другие. Они были «не пущаемы», «не замечаемы», выкинуты в подвал, на обочину, на чердак, — отсюда и их замкнутость, избранность, их метаязык, понимание друг друга с полувзвуха, с полуслога, своя иерархия, свой спектр ценностей. Раньше социокультурная ситуация жестко маркировала места: у одних — журналы, выставочные залы, сцены, издательства, у других — квартиры, подвалы, машинописные рукописи. Д. А. Пригов вспоминает, что появление «неофициальных» художников или поэтов в «официальных» местах всегда носило характер скандала или травестики — дабы не позволить идентифицироваться с «официозом», дистанцироваться от него. Вынужденность, а потом и культ домашности — вот что отличало их от «общественников»-шестидесятников. Культурным событием была домашняя беседа, а не вечер в ЦДЛ. Апелляция к узкому кругу «своих» по судьбе была несравненно значительнее апелляции к «толстожурнальной» или «литгазетовской» критике, к окололитературному быту и нравам. «Не группа, не манифест, а дело житейское», — вспоминает о «лианозовцах» Г. Сапгир. «Лианозовская группа состоит из моей жены Оли, моей дочки Вали, моего сына Льва, внучки Кати, внука Саши и моего зятя Оскара Рабина» (Евгений Кропивницкий).

Сегодня рушится оппозиция «официоза» и «неофициоза», размываются границы между двумя культурами, а иные не из «неофициальных» поэтов и прозаиков становятся чуть ли не мэтрами литпроцесса, наперебой зазываемыми на ново-офици-

альные мероприятия. У «неофициальной» литературы и культуры в «целом» отнимается ореол гонимости, непризнанности, теряется «авансированный гандикап доверия» (Д. А. Пригов). Перекраиваются границы, образуя новую социокультурную «сетку», изменяется этика культурного поведения, появляются новые пограничные, «межеумочные» образования.

Процесс этот болезнен для обеих сторон. Подполья, бывшего для многих чуть ли не символом света, более не существует — или оно может длить свое существование только искусственно. Свобода, достигнутая в подполье, распадается на свету. «Наступает и время освобождения не из подполья, а от подполья — обретение культуры» (А. Битов).

«Наплыв» вчерашних гостей в качестве неожиданных хозяев на свою, на «нашу» (!) территорию, да еще и хозяев шумных, молодых и свободных (?), модных (?), естественно, раздражает вчерашних хозяев положения.

«Промежуточная элита» (определение Д. Бобышева) предприняла попытку интегрировать «неофициальных» литераторов на свою территорию (с ограниченным допуском), в свои структуры. На одном из собраний обновленного СП списком были приняты в вождельный Союз литераторы «подвала» — среди прочих и Г. Айги. Но с его стороны последовала мгновенная реакция — неприятия дарующего привилегии жеста, и в газету «Россия» полетело письмо Г. Айги, от предоставленной чести быть членом СП СССР отказывающегося.

В чем же дело?

А дело, как мне представляется, в том, что «промежуточная элита» за счет интеграции полуподвальной, неофициальной, «теневого» литературы желала — вольно или невольно — присвоить себе задним числом ореол гонимости. Плюс — с сохранением высоты своего привычного положения духовных вождей, учителей и просветителей. Е. Евтушенко написал эмоциональное предисловие к сборнику стихов Б. Чичибабина, вышедшему через четверть века после сборника предыдущего (Чичибабин был исключен из СП в 1968 году; для сравнения — за тот же период у Евтушенко вышло более 60 книг), где все же не преминул употребить как бы ненароком, почти случайно, словечко «графоман»; а когда Е. Рейну все же удалось выпустить в 1981 году свой сборник «Имена мостов», отозвался на него с явным высокомерием «старшины по пеху».

Старая система, хотя и по-новому либе-

ралами наполняемая, продолжает отторгать неофициальную литературу — если не прямо, то исподволь: то отставленным локтем, то даже неожиданным ударом. Литераторы разных поколений, сидевшие в «подвале» — от Б. Крячко до В. Кривулина, от О. Седаковой до З. Гареева, от Т. Кибирова до Д. Добродеева — как бы опять ни при чем. В лучшем случае, им уготована участь экзотической приправы — или своего рода знака, заявителя эстетической широты солидных изданий. Хотя от сочетания В. Белова с З. Гареевым рождается, по-моему, гремучая смесь — наши лучшие толстые журналы настойчиво продолжают рекомендовать их вместе (впрочем, эстетика стала методом журнальной работы: Марина Тарасова — с Чеславом Милошем, Георгий Семенов — с Иосифом Бродским («Новый мир»), Надежда Полякова — с Александром Солженицыным («Звезда»), Иван Виноградов — с Фридрихом Горенштейном («Нева»). Толстые журналы явно работают по принципу китча.

Но приглашенный все равно остается приглашенным, а «пирамида» журнала определяется эстетическими вкусами приглашенных. В следующий раз, кстати, могут и не пригласить.

Чаше всего так и получается, и «обида» В. Кривулина симптоматична — это голос литературы допущенной, но не услышанной. Ибо приглашают — скрепя свое эстетическое сердце, принадлежащее все-таки не З. Гарееву и не Т. Кибирову, а, в лучшем случае, С. Каледину, М. Палей, А. Терехову, О. Ермакову. Как же сделаться им — не допущенными к столу, а — равноправными? Через издания, отданные целиком и полностью тем, кто сам расскажет о себе — «коллективной воле неангажированных художников, учитывающей прежде всего принцип независимости искусства по отношению к идеологическим, социальным, моралистическим и иным общественным институтам» (А. Степанов — «ВНЛ» № 1. 1990).

Почему М. Палей, О. Ермаков, С. Каледин и А. Терехов «вписываются» в эстетику толстого журнала, а Т. Кибиров и З. Гареев — нет? Проза Палей или Ермакова в эстетическом плане не противостоит традиционно исповедуемому толстыми журналами критическому реализму: лишь раздвинулись сложившиеся тематические рамки, включив и «смирненное кладбище», и «стройбат» и ленинградскую «кабирию», и «Афган», приоткрыв ужаснувшемуся взору читателя взаимоотношения в казарме, живописав быт и нравы современных мо-

гильщиков, подчеркнув при этом, что и «на дне» чувствовать умеют. Проза М. Палей и А. Терехова — прежде всего нравоописательная, открывающая новый материал, но не новый метод. Эта проза вгоняет в шок неприглядными подробностями, от которых совковая литература брезгливо отстранялась: крысы, тараканы, мухи, бутылки, освещенные туши, блевотина, презервативы. Ее любимое место действия: психбольница, изолятор, казарма, общага (как модель нашего социума). Но весь этот масированный десант подробностей омерзительного быта, ставшего образом жизни, никак не покушается на литературный, подчеркиваю, метод, канон. Вызов С. Каледина и А. Терехова, их «провокация» носит прежде всего тематически проблемный, но не эстетический характер. В эстетическом плане все остается по-прежнему: беллетристический сюжет, портрет, диалог, монолог, пейзаж. Психология. Описание.

Я думаю, что А. Терехов, например, и сам это ощущает и в целях эстетического допинга достаточно хладнокровно перегружает свою прозу избыточными метафорами, сравнениями, дабы если не обновить, то заштриховать литературную вторичность.

Нонконформизм позиции сбив узнаваемостью эстетики 60-х — если не отечественного разлива, то «сэлинджеровского» (что и было отмечено язвительным Б. Кузьминским).

А. Битов в своих заметках «От «солиста» шестидесятых», открывающих четвертый выпуск «Соло», отделяет поколение, которое он называет «брошенным», от тех, кто так или иначе обладал возможностью публиковаться. «Немое поколение» — как оно может заговорить? — «Только с помощью своих писателей».

«Солисты» осваивают энергию приватности, и главное для них — супервыраженность в слове.

Мне, однако, представляется, что говорить о «поколении» в связи с эстетикой «супервыраженности в слове» не совсем справедливо — из разных поколений шел (и продолжает идти) целенаправленный отбор в это эстетическое направление (?), представленное авторами разных поколений, не затребованными официальной печатью. Да и направление ли — если решающим является «одиноким голос человека», если каждый автор идет самостоятельно, если независимость каждого заявлена как эстетический принцип? Может, не направление — событие, что ли... Или — со-бытий-ность... Со-суще-

ствование (если бы слово это не было так запачкано идеологией). Отвержение к идеологии — вот принцип, объединяющий тех, кто ни с кем не хочет объединяться и кого объединила почти стилизованно-самиздатовская обложка «Соло» или «ВНЛ». Не навязшее в зубах «равенство», но — равноправие.

«Вестник новой литературы» и «Соло» строятся по совершенно иному принципу, чем толстые журналы. Здесь нет заявленной иерархии. В «Соло» нет главного редактора (Битов — первый, но не по алфавиту ли?), есть редакционная коллегия; нет установки на исполнение заказа и ожидания читателя, на его воспитание и просвещение, на формирование общественного мнения (чем десятилетиями дышали и дышат как либеральные, так и антилиберальные толстые журналы), скорее наоборот: установка на элитарного читателя-исследователя, читателя-писателя, литературомана. Складывающийся как он литературен по своей сути (недаром Пригов заканчивает эссе традиционным постмодернистским тостом: «Литература останется литературой»).

В июньском номере «Дружбы народов» (1991) напечатана статья Б. Славного «Новые варвары», в которой он пишет о противостоянии тоталитарного и гражданского сознания как о центральном конфликте нашего общества. Тоталитарность сильна (даже подсознательно) и в культурных моделях, унаследованных нами. Если толстые журналы так или иначе, но обязательно выстраивают лестницу родов и жанров, что видно даже по наборным шрифтам («главное», набранное крупно — проза и поэзия, затем средней величины шрифт — для публицистики, а потом уже мелким шрифтом набрана критика, петитом — рецензии), то в «ВНЛ» или «Соло» одинаков беспристрастный шрифт и для эссе, и для стихов, и для прозы (публицистику и критику «Соло», в отличие от «ВНЛ», вообще не печатает). Таким образом, даже в имидже — не то что отвержение, а подчеркнутое равнодушие к литературному истеблишменту. За проявленное к ним равнодушие «солисты» платят своим равнодушием — к гражданским страстям, которые кипят на страницах толстых журналов. И каждый «солист» или «новый литератор», даже из тех, кого уже напечатали, «опробовали» «Знамя» или «Юность», «Октябрь» или «Новый мир», выглядит здесь, у себя, уместнее, домашнее, без позы, эпатажа, возникавшего преднамеренно в других изданиях за счет традиционалистского контекста. Здесь весь

контекст состоит из «своих», таких же равноправных «солистов».

Прозу их невозможно — да и незачем — пересказывать (для сравнения — прозу «шестидесятников» и «семидесятников» постоянно пересказывают с комментариями литературные критики разных направлений, очевидный пример из последних — статья Л. Аннинского «Чаемая печаль. Повести застойного времени». «ДН» № 6, 1991). Авторы работают не с сюжетом, а с фразой, их тексты скорее тяготеют к произнесению. Сюжет может быть подсобно-пародийным: например, «Рос и я» Ф. Эрскина («ВНЛ» № 1), пародия на жеззэловскую биографию. «История гвардейского офицера Николая Ивановича Симинькова, которую я сейчас намерен рассказать, в свое время вряд ли имела какой-либо резонанс в высших кругах кадровой элиты ракетных войск, однако сейчас, по прошествии лет, представляется мне весьма поучительной и печальной» — так начинается маленькая повесть владимирского прозаика Анатолия Гаврилова «История майора Симинькова» («Соло» № 1). Крайне нелепый, абсурдный сюжет выписан фразами, настойчиво ударяющими по болевым точкам русской словесности, ассоциативно вызывающими в памяти прозу Лермонтова и Гоголя (и пародиями-сюжетами тоже: один из рассказов так и называется: «Тамань»; сюжет рассказа А. Бартова явно перекликается со «Старосветскими помещиками»). Иронический блеск стилизованной фразы, отточенность слова, отягощенность культурной памятью внезапно переkreщиваются с анекдотическим сюжетом о картофелечистке, из-за потери которой и упал на социальное дно майор. (Разве не гоголевский опять-таки — по происхождению — сюжет?).

«Солисты» и «новаторы» очевидно и подчеркнуто демонстрируют свое литературное воспитание, постмодернистски играют цитатами и культурно-историческими реминисценциями, травестируют убиваемую учеными культуру — и тем самым пытаются инъецировать ее дух в собственные тексты. Д. Добродеев стилизует свои рассказы («Русский пирог», «Ключ забвения», «Луна-парк») под прозу 20-х годов, и даже те из рассказов, в которых действие происходит в 30-х, 40-х, 70-х, написаны с подкислением к потерянному традициям; вдруг «пахнёт» и Добычинным, и Пантелеймоном Романовым. Если для прозы А. Терехова, скажем, характерны намеренно захлебывающаяся фраза, стилевая сбивчивость и надрыв, если он намеренно «забывает» о культуре и работает как бы на го-

лом, обезображенном пространстве, то Д. Добродеев, А. Гаврилов, А. Бартов, И. Клех всматриваются в жизнь сквозь призму культуры — за игрой в домино И. Клех провидит чуть ли не сокровенную синтетическую национальную религию, весело демонстрируя на выбор следы и христианства (рыба), и античности (забивание козла), карлические цепи, астрологию, спиритизм, «Ицзин», комбинаторику, догадки Гессе и правила дорожного движения («Соло» № 2).

В принципе так называемые постмодернисты (критика, не разбираясь в оттенках, объединяет под этим растяжимым определением и авангардистов, и концептуалистов, и метаметафористов), на мой взгляд, относятся скорее всего к архаистам, а не к новаторам. Новаторы на нашей отечественной почве — это соцреалисты и их эпигоны, вольные или невольные последователи, творящие «жизнь в формах жизни», работающие скорее в целях идеологии, чем в целях литературы. Архаисты же, или традиционалисты — именно те, кому не о чем спорить с официальной, незачем ее опровергать или поддерживать. У них совсем иная, не общественно-идеологическая, а литературная задача. «Парадоксальным образом ключ к этой новизне — традиционность», — замечает во втором выпуске «ВНЛ» О. Седакова, оговаривая, что под традиционностью не имеет в виду ничего похожего на академичность и реставраторство. Даже движение контркультуры в новой лирике (концептуализм) неизмеримо реальнее связано с традицией, чем внешне классицизирующие поэты соцреализма: отрицание есть связь и это, несомненно, культурная вменяемость — в отличие от слепой эклектики, которая ничего не отрицает, ничего не развивает и, главное, ни с чем себя не сравнивает». Эта культурная контрреволюция отменяет «культурную революцию» 30-х, наращивает мост через провал, отыскивает связь с общечеловеческой, потерянной в условиях самоизоляции традицией.

Да, конечно, можно сказать, что их лирика и проза тоже противостояли «глухому времени», тоже были общественно значимы — но совершенно иначе, чем «диссидентская» литература.

И именно поэтому в среде неофициальной, «подвальной» выработался иной тип писателя — не общественного деятеля, учителя, пророка и моралиста (этот тип вызывает у них лишь чувство отталкивания как свидетельство дурного вкуса), а литератора по преимуществу («Поэзия стала делом сло-

весных людей... а не самородков вроде булгаковского Иванушки Бездомного, детей бесконечного «рабочего призыва в литературу», которые могут иметь любые проблемы и таланты, кроме собственно художественных, любые познания — кроме гуманитарных», — это я опять привожу слова из статьи О. Седаковой «Музыка глухого времени»).

Нравственная критика под лозунгом «правды жизни» (или — традиционных ценностей исповедуемых, по Ст. Рассалину, преимущественно шестидесятниками) порицала их за «книжность» и «вторичность», воспринимая формальную сознательность за нарочитое, самодостаточное формотворчество и за смертный по «твардовским» понятиям грех — равнодушие к жизни. Попытка возрождения «человека культурного», профессионала-домоседа, отнюдь не «общественного трибуна» (ничего более несовместимого с ними быть не может) встречается с настороженностью и недоверием, если не враждебностью.

«ВНЛ» и «Соло» заняли эстетическую нишу, оставленную журналами, осуществляющими в лучшем случае политику эстетического компромисса по формуле 11+1 (исходя из наличия двенадцати номеров в год), но в принципе крайне неохотно печатающими тексты, предназначенные для гурманов. «Читатель ведь и должен в конце концов получать от литературы не инфаркт, а удовольствие», — пишет редактор «Соло», открывая третий выпуск, но здесь он неправ: от прозы и поэзии посттоталитарного альманаха отнюдь не удовольствие получаешь, нет, неточное это слово... скорее энергию независимости. За удовольствием читатель потянется все же к Хейли, Чейзу и Стауту, и именно от коммерческой массовой литературы он и получает то, на что рассчитывает, выкладывая за примитивно переведенный детектив в мягкой обложке свой кровный червонец, а то и два.

«ВНЛ», «Соло» и подобные им издания не рассчитаны на читателя, чей вкус десятилетиями воспитывался в лучшем случае «Новым миром», ожидающего от литературы того, о чем сказано: «Давай нам смелые уроки, а мы послушаем тебя». В отличие от «Согласия» и иных изданий «Соло» представляет авторов, заявивших стилистически о своем отказе от периода «дикой» литературы и переходе к периоду «цивилизованному». «Соло» и «ВНЛ» — антисалон, и именно поэтому тексты его авторов не вписываются в «приличную» атмосферу толстых журналов.

И поэтому именно в «Соло» Битов печает

со своими краткими мемуар-вступлениями ленинградскую (петербургскую?) школу, мимо которой прошел полустизблишмент 60—80-х: В. Уфлянда, З. Голявкина, С. Вольфа, О. Григорьева, И. Петкевич, Г. Шефа, Р. Грачева. В тот период (1956—1964) на фоне славы «московских» Евтушенко, Вознесенского, Аксенова их творчество не обсуждалось, не замечалось; печатались какие-то детские их рассказы и стихи, «случайная» проза. Судьбы зависели подчас от способности (или — неспособности) к здоровому конформизму; так, А. Битов согласился в 1962 году на предложенную издательством композицию своей книги, а Рид Грачев, которого, как пишет А. Битов считали, самым талантливым — нет. В результате первая книга Р. Грачева — но в том самом, неуступленном варианте — выходит только сейчас.

В годы шестидесятые они еще собирали свои рукописные сборники («Петрополь»), потом поразошлись. Им так и не удалось взорвать литературную ситуацию — но они предсказали следующее. Это — утраченное направление литературы. Не только потому, что «умерли, сошли с ума, уехали», но и потому, что исчез их контекст. Вот где поминки-то настоящие, а не фарсовые. И отдавая им дань, Битов как бы заранее исправляет возможную ошибку будущих литературоведов, могущих пройти мимо подлинной истории, не закрепленной в публикациях и документах: он был «легендой для меня» (о В. Уфлянде). «Гений. Он и сам так считал. И мы так считали» (о В. Голявкине, чей рассказ «Юбилейная речь», напечатанный в «Авроре» к 75-летию Брежнева, выбыл из редакций нескольких сотрудников); «Сергея Вольф первым из нас стал писать «серьезную прозу», был благословен Юрием Олешей как замечательный талант», «Везущий прозаик начала 60-х. Лидер» (о Р. Грачеве).

Итак, «теневая литература» перешла на чердак — светлый. Но все-таки чердак. Пройдет еще немного времени, и не займет ли она целиком освобождающееся здание советской литературы? Впрочем, эта литература по натуре — не экспроприатор. Она предпочитает строить свое. Например, «Соло». Или «Новую литературу». В момент культурно-стилевого слома, переживаемого нами, она способна творить и из обломков, перекомпоновывая, любовно перебирая их. Отказавшись от принципа насилия — не только соцреалистического, чья уродливость обладает своей эстетикой, ею можно «с отвращением любоваться» — но и морального, вернее, моралистического комплекса

шестидесятничества, пафоса учительства, «просвещенчества». «Социалисты» и «новаторы» и есть архаисты, а также археологи, спокойно раскапывающие слой за слоем грандиозного культурного слома (или — в наших условиях — помойки). «Я Тютчева спрошу...» — так начинал В. Кривулин. «И может быть, еще настанет миг — мы кровью хлынем из остывших книг», — так он продолжает сегодня. Это ли не прямое включение в традицию русской, да и мировой литературы, чьи страницы действительно пропитаны кровью, и не только жертвенной? «Клади в фанерный чемоданчик клифт и велюровую шляпу», — обращается в «домашнем» трактате-послании, описывающем нынешнюю социокультурную ситуацию, Т. Кибиров к «Серее Гандлевскому» («Новый мир» № 9. 1991). Что же в этом «фанерном чемоданчике», что в наследстве?

...Ракушку с надписью «На память
о самом синем «Черном море»,
с кружком бордовым от «Агдама»
роман «Прощание с Матерой».

И со стены сними портретик
Есенина среди березок,
цветные фотки наших деток,
и грамоту за сдачу кросса,

и «Неизвестную» Крамского,
чеканку, купленную в Сочи...

Перебирая ностальгически эту домашнюю свалку осовеченной культуры, Т. Кибиров подвергает ее не осмеянию, нет — он и оплакивает ее, это надгробное рыдание и над самим собой, над своим поколением, сумевшим эстетизировать «советскость» и вырваться к подлинной культуре.

Ведь мы же как-никак питомцы
с тобой не только обшепита,
мы ж, ексель-моксель, дети солнца,
ведь с нами музы и хариты,

Феб светозарный, песнь Орфея —
они нас воспитали тоже!

Каждый волен понять и оценить, отобрать или отринуть — свое. Для меня, например, принципиально различие между Вик. Ерофеевым и Вен. Ерофеевым; между Т. Щербиной и Д. А. Приговым. Разница — огромнейшая, и вовсе не каждый, примыкающий к ассоциации «Новая литература» или играющий в цитаты достоин интереса. Но альтернативная «другая» «теневая» литература существует; конечно, несправедливо с ее стороны считать все остальное, что ею не является, официозом (даже А. Битов, например, числен Г. Сапгиром к «вполне официальным», — с другой стороны, Б. Окуджава назван Вс. Некрасовым «великим русским лириком» («Вопросы литературы» № 3. 1991). Однако говорить после двух, а у них — и трех десятилетий «подвала» — его обитателям «тень, знай свое место», паатить высокомерием, а то и яростным «разоблачительством» за предпринятую ими попытку создания целокупного и самодостаточного культурного пространства, отсылать их если не в тот же подвал, то в крайнем случае на чердак — справедливо ли? Да и не стыдно ли — перед лицом тех потерь, которые в «неофициальной» культуре произошли за несколько десятилетий? «Мы были вместе не потому, что были одинаковые, мы были очень разные, но вокруг нас уж слишком было все враждебно, и мы как-то вместе всему этому противостояли», — вспоминает Г. Сапгир. Не уподобиться бы нам тем, кто возводил этот бастион враждебности. При всей нашей эстетической утонченности и переборчивости не стоит объявлять свой вкус — единственно верным, свои страсти — непогрешимыми. Конечно, до хрущевского крика «пидарасы!» нашим шестидесятиникам далеко, но не с той же ли яростью Хрущев топал ногами на «мазил», как иные из нас на «графоманов»? Не учить, но понимать... впрочем, именно на это, как всегда на нашей родине, нас не хватает. А жаль.

Нина Габриэлян

Магический кристалл

Создатель, окажи мне милость:
Дай мне постичь, как

получилось,

Что от единственной четы
Двунадесять племен родилось?

Теперь пестра юдоль земная,
И что ни местность — речь
иная,

И все людские племена
Враждуют, устали не зная.

.....

Всем племенам язык подарен,
Но грека не поймет татарин,
Грек — славянина, гунна —
перс,

Латинянина — внук Агари.

.....
.....

И как наречья, вера тоже
У множества племен несхожа.
Фрик. «Жалобы», XIII — XIV вв.

Перевод
с армянского Н. Гребнева

Современная астрономия выдвинула гипотезу о происхождении Вселенной из одной точки. В том или ином виде эта же мысль прослеживается в большинстве религий и мифов мира: создание Вселенной из ила, пены, из «яйца мирового», из двустворчатой раковины, из саюны, из частей тела бога или животного, из первозданных вод — то есть так или иначе из единого материала. Человечество существует всего несколько миллионов лет. Миг, краткое мгновение по сравнению с возрастом Вселенной, по сравнению с тем гигантским периодом времени, на протяжении которого были мы — вместе с деревьями, животными, звездами и планетами — единым первородным материалом, еще не расщепленным на особи, виды, индивидуальности, системы... И эта гораздо более долговременная память о первородной целостности дремлет на дне нашего сознания, лишь приглушенная кратким опытом индивидуального бытия, время от времени просачиваясь на поверхность и сублимируясь, маскируясь под влечение мужчины к женщине, под любовь к предкам или потомкам, мифологизируясь в легенды об изгнании из Эдема или о гибели Атлантиды, побуждая лингвистов к поискам мирового пра-

языка и провоцируя философов на создание многообразных теорий перводвигателя.

«Вычленившись» из первородного материала, став отдельным и особым, любое «я» — будь то конкретный человек, этнос (нация как космическая индивидуальность), человечество и т. д. — стремится к самопознанию и утверждению своей индивидуальности, уникальности и неповторимости. И тут начинают происходить странные вещи. Выясняется, что практически невозможно провести четкую границу между «я» и «не я», например, между собой и предками, физические и психические черты которых ты унаследовал, между твоим собственным миропониманием и чужими концепциями, так или иначе на него повлиявшими, между желанием, которое ты считал своим и которое на проверку может оказаться результатом сложного стечения внешних обстоятельств, между особенностями национального менталитета одного народа и другого, между человеком и животным, животным и растением, планетой и атомом и так до бесконечности «Я» оказывается узлом переплетения великого множества «не я», действующих во времени, пространстве и структуре, и ускользает от определения. Попытка отсечь

от себя «чужое», если такое «отсечение» проводить последовательно, может привести к полному исчезновению самого понятия «я». Вместе с тем, «я» не является механической суммой отдельных признаков множества «не я», как и узел, образовавшийся в результате переплетения множества нитей, не является суммой этих нитей, а представляет собой нечто качественно новое, ни формой, ни размерами на нити не похожее. Но если мы начнем эти нити из узла выдергивать, то узел исчезнет.

Стремясь к самопознанию и познанию окружающего мира, любое «я» сталкивается с проблемой перевода, то есть с проблемой дешифровки сложнейшей знаковой системы, коей является Вселенная. В этом смысле к области перевода относятся большая часть теоретических наук и все виды искусства (перевод на язык математических символов, химических формул, диагностика как дешифровка симптомов, перевод на язык цвета и ритмов в живописи, на язык форм — в скульптуре, на язык звуков — в музыке и так далее). Особое место среди всех этих разновидностей перевода занимает перевод художественной литературы. По всей видимости, в его основе лежат два импульса, на первый взгляд, противоположных друг другу: попытка возврата этно-культурологического «я» к первородному единству с космосом, из которого оно некогда вычленилось, то есть стремление к растворению в мировом целом — через слияние с мировой культурой — и одновременно стремление того же этно-культурологического «я» к самосохранению за счет «подпитки» его другими этно-культурами. И этот сложный баланс вроде бы взаимоисключающих стремлений и обеспечивает жизнеспособность национальной культуры, не давая ей исчезнуть ни в чрезмерном расширении, ни в чрезмерном сужении, ведущих разными путями к единому результату — небытию. Но сколько же «чужого» может вобрать в себя «я»? Думаю, что нисколько. «Я» может вобрать в себя только то, что ему соприродно. А соприродна ему Вселенная. Но зачем же тогда этому самодостаточному «супер-я» — Вселенной (по всей видимости, существующей потому, что существует, и для того, чтобы существовать, множество подструктурных «я» — особей, видов, индивидуальностей, систем?) Возможно, множественность частных «я» (конкретный человек, этнос, человечество, животный мир, планета, атом...) есть форма существования «супер-я». И это «су-

пер-я» само «заботится» о том, чтобы частные «я» сохранялись на протяжении достаточно долгого времени. И потому взаимодействие «я» и «не я» выражается в том, что «я», вбирая в себя «чужое», перерождает это «чужое» в свое, переплавляя его до состояния усвояемости. Но это возможно лишь потому, что отдельность и особость «чужого» — лишь мнимость, оболочка, которой замаскировано родное. Одновременно, если бы родное не имело видимости «чужого», то «я», «догадавшись» о том, что «чужое» на самом деле таковым не является, возможно, утратило бы интерес к нему, перестало бы вершить нелегкий труд по преодолению и усвоению, атрофировалось бы и утеряло жизнеспособность. Феномен художественного перевода есть разновидность космического феномена взаимодействия «я» и «не я» во времени, пространстве и структуре, энергетического обмена между «я» и мнимым «чужим» ради самосохранения Вселенной.

Если мы вслушаемся в мировую поэзию, то услышим тихую странную переключку:

Опустошил я горный скат —
Камнями защитил свой сад,
Собрал колючки для оград —
И слышу: встань, покинь свой сад!

.....

.....

В моем саду цветет гранат,
Лоз виноградных полон сад,
Льнет к зреющим плодам мой взгляд.
И слышу: встань, покинь свой сад! —

ропщет из глубины средневековья армянский поэт Григорис Ахтамарци («Песнь об одном епископе», XV—XVI вв., перевод с армянского В. Брюсова). А сквозь время и пространство горестно откликается ему из XIX века алжирский поэт Си Моханд:

За узорною оградой —
Гроздь винограда.
Этот сад взрастил я сам.

Рдели розы, глаз услада.
Было сераде радо.
Пчелы льнули к лепесткам.

За труды мои в награду
Изгнан я из сада.
И другой садовник там.

Перевод с кабилского Н. Габриэлян

«Поэт! не дорожи любовью народной...» — восклицает Пушкин. «Восторжен-

ной хвале толпы// Не верь — то лести!» — добавляет Абай (XIX в., перевод с казахского Л. Руст). А Саят-Нова разворачивает эту же мысль в несколько иное русло: «Не всем мои писанья чтить: особый смысл у слов моих» (XVIII в., перевод с армянского В. Брюсова). И как бы в ответ ему из XIV века доносится возражение корейского поэта Ли Джоно: «Нет истины в словах...» (перевод А. Жовтиса). «Мысль изреченная есть ложь» — соглашается с Ли Джоно Тютчев.

Через толщу времен подают друг другу тайные знаки поэты разных национальностей и вероисповеданий, го соглашаясь друг с другом:

Друзья мои пируют
со мной средь луга.
Нет никого на свете
дороже друга!

Абу Нувас. VIII — IX вв.
Перевод с арабского М. Курганцева

Мир лишь луч от лика друга, все иное
тень его!

Николай Гумилев. «Пьяный дервиш».

то расходясь во взглядах на весьма существенные вещи, например, на взаимоотношения с отечеством:

Если крикнет рать святая:
«Кинь ты Русь, живи в раю!» —
Я скажу: «Не надо рая,
Дайте родину мою».

Сергей Есенин

Страна разбойничьих законов!
Клянусь, что в обществе драконов
Я был бы счастливей, чем здесь.

Иоганн Христиан Гюнтер «К отечеству»
XVIII в. Перевод с немецкого Л. Гинзбурга

то и вовсе одергивая один другого:

Стройтесь, зданья!

Высьтесь, города!

Так иди

бесчисленным велемьем

и движенья силу

передай

выросшим на смену

поколениям.

Николай Асеев. «Десятый Октябрь»

Ты, что строишь дворцы и высокие
башни,
хочешь неба ладонью коснуться.
бесстрашный,—
ты игрушка в руках бессердечного рока.
Он велит — и приходит гибель до
до срока,
и дворцы твоей славы руинами станут,
и дела твоей жизни в забвение канут.

Абу-ль-Атахия. VIII — IX вв.
Перевод с арабского М. Курганцева

Произведения писателя не есть нечто раз и навсегда свершившееся, законченное, застывшее. Они обладают свойством вступать в совершенно непредсказуемое взаимодействие с настоящим, прошлым, будущим, подчиняясь не физическим законам, а каким-то иным, еще не изученным, следуя не математической логике, но, быть может, тайной логике наития, сновидения... «Я получил блаженное наследство — // Чужих певцов блуждающие сны...» (Осип Мандельштам). Поэтические строки совершенно разных поэтов, удаленных друг от друга во времени и пространстве, перетекают одна в другую, то совпадая по смыслу или эмоции чуть ли не буквально, то вступая между собой в резко антагонистические отношения. Порой один поэт уточняет другого, порой поворачивает мысль своего собрата по перу неожиданной гранью или наполняет ее новым объемом.

Касыды, сонеты, рубайяты, верлибры, белые стихи... Гневный протест и смиренное покаяние, бьющая через край чувственность и надмирная отрешенность, восторг и ужас, ярость и нежность, метафорическая щедрость и аскетизм средств, многозначность и лаконизм.. Все это вместе образует некий магический кристалл с огромным количеством граней, которые взаимоотражаются, преломляются друг в друге, отбрасывают друг на друга блики, вступают между собой в какие-то неожиданные сочетания, порождая все новые и новые изображения. Это какая-то сложная пространственно-временная модель, которая мерцает, пульсирует и постоянно источает, эманурует некую суть не поддающуюся определению. Как будто бы некто тщится выразить что-то настолько важное, что не находит для этого достаточных слов и форм ни в одном языке мира и потому вынужден говорить сразу на всех языках и наречиях, на которые распалось то Слово, которое было вначале. Но, по всей видимости, в процессе нисхождения в материал, то есть в язык и его структуры (лексическую, грамматиче-

скую, синтаксическую и т. д.) то важное, что пытается быть явленным миру, неизбежно обедняется и искажается, попадая в ловушку формы, оказываясь вынужденным подчиняться законам той частной формы, в которую оно воплотилось, и бесконечно дробясь на нюансы, оттенки, фрагменты смысла, взаимодополняющие или противоречащие друг другу, ибо ни одна частная форма не способна вместить в себя то целое, что жаждет быть воплощенным. И в этом смысле, художественный перевод являет собой попытку вызволить целое из западни частной формы, преодолеть «чуждость» иноязычной оболочки, исказившей первоначальный замысел. Но вызволить целое из частного можно только единственным путем — перевоплотить это целое в другое частное, то есть обогатив это «искаженное» целое возможностями новой формы и лишив его преимуществ старой, иными словами, опять-таки исказив. Так зачем же тогда он нужен, этот художественный перевод, этот сизифов труд, эти танталовы муки, если Сизиф все равно не может вкатить камень на вершину горы, а Тантал — утолить свою жажду? Если истина все равно ускользает от нас, позволяя нам время от времени лишь подсмотреть какие-то из бесчисленных нечетких отражений ее единственного лика? Зачем это блуждание в зеркальном лабиринте, где зеркало смотрится в зеркало, одна культура отражается в другой, а человек смотрит на человека сквозь сложную призму зеркал, сам являясь для другого таким же зеркалом или даже системой зеркал? И тогда возникает искушение разбить зеркала и увидеть мир таковым какой он есть на самом деле, а не его дробные отражения. «Дозвольте говорить мне прямо с Богом // Без двуязычных ваших словарей» (Н. Григорьева). Но этот порыв — к Богу без посредников — характерный для многих художников и мыслителей, уже содержит в себе элемент богоборчества, ибо в этом случае стремящийся к Богу хочет узреть его вне тех форм, в которых Бог явлен, то есть не желает узреть его там, где он есть. Зримый бог — бытие, писал в XV веке Николай Кузанский. Добавим, что бытие это многоформно, многолико, многоструктурно. И вместе с тем, богоборчество есть сильнейшее стремление к Богу и, по всей видимости, входит в общий вселенский замысел, где частное «я», пытаясь слиться с первоначальным целым, оказывается вынужденным вершить огромный труд по преодолению мнимого чуждого, препятствующего своей внешней чуждостью слиянию этого частного «я» с Вселенским

целым. Стремясь «к Богу без посредников», частное «я» вырабатывает огромное количество энергии, циркуляция которой внутри Вселенского целого обеспечивает жизнеспособность этого целого и одновременно не дает атрофироваться частному «я». Уничтожить зеркала, по всей видимости, невозможно, ибо разбить зеркало — означает лишь одно: увеличить количество зеркал (каждый осколок тоже зеркало). «Никто не может утолить хоть раз // Святую жажду поломать преграды» (Вахтанг Харчилава, перевод с грузинского Л. Фоменко). Но можно не смотреть в зеркало, то есть — в нашем случае — перестать заниматься художественным переводом. Именно эта тенденция — к резкому сокращению выпуска переводных книг и даже упразднению переводческих редакций в издательствах — наблюдается сегодня и в России и во многих других республиках бывшего Советского Союза. И первой жертвой подобной тенденции оказались поэтические книги, то есть то, что труднее всего поддается переводу. Наверное, эта тенденция не случайна. Пытаясь вырваться, а в некоторых случаях уже почти что вырвавшись из-под гнета «добровольно-принудительного» сожительства, выразившегося, в частности, в насильственной деформации национальных культур, народы бывшего СССР развили в себе огромную силу отталкивания от всего «чуждого». Вне всякого сомнения, это антиреакция на противоестественное многолетнее втискивание самобытных культур в прокрустово ложе умозрительной схемы путем отсекающей от этих культур всего того, что в эту схему никак не втискивалось. А не втискивалось слишком многое и, как правило, наиболее жизнеспособное. Оказалось, что воплощению идеи (хорошей или плохой — это тема отдельного разговора) мешает некая малость — тот самый материал, в котором эта идея должна была быть воплощена: идея счастья человечества мешает сам человек, с его непредсказуемостью, отдельностью и особостью, с какими-то своими собственными желаниями, индивидуальными склонностями, воззрениями, привычками; идея ускоренной реализации дружбы народов мешает наличие этих самых народов, досадно не похожих друг на друга (хорошо бы, чтобы дружба была, а народов не было); идея слияния культур мешает то, что эти культуры какие-то все разные, плохо поддающиеся регулировке, одна куда развивается, другая — сюда, третья — вообще не пойми не разбери куда... То есть внедрению идеи в жизнь мешает сама эта жизнь. Ведь живое всегда неудоб-

но, непредсказуемо, несводимо к некоему знаменателю и посему чревато сопротивлением к внедрению в него чего бы то ни было. Приходилось все чаще прибегать к хирургическому методу. Вся страна превратилась в гигантскую операционную палату, где вдохновенные экспериментаторы то что-то вырезали, то занимались кровопусканием, то напротив — вливанием... Вычищалась генетическая память народов, вырезались куски истории, ампутировались целые культурные пласты... И явно близилось уже то время, когда «народы, распри позабыв», установят царствие Божие на земле, по крайней мере, на одной шестой части этой земли, как вдруг...

Конечно же, это случилось не вдруг. Но анализ политических, экономических и социальных причин нынешней ситуации увел бы нас слишком далеко от темы данной статьи. И потому вернемся к художественному переводу и попытаемся разобраться, чем, кроме дефицита бумаги, инфляции денег и резкого подорожания полиграфических услуг, обусловлено исчезновение из издательских планов переводной поэзии. По всей видимости, в несколько упрощенно-схематическом виде это можно представить так. Вырвавшись, или почти что вырвавшись на волю из операционной палаты, народы бывшего СССР занялись восстановлением своих национальных культур, подвергшихся вивисекции: реабилитацией репрессированных книг, заживлением ткани национальной истории, в которой зияли аккуратнo и не очень аккуратнo вырезанные дыры, заживлением и регенерацией искореженных генетических корней и т. д., иными словами покалеченные национальные организмы, стремясь к самовосстановлению, сосредоточили свои усилия на сугубо внутренних процессах, не только во многом утратив интерес к «чужому», но и развив в себе определенную силу отталкивания от этого «чужого», перестав различать за его оболочкой космическое, то есть родное. Маятник, слишком долго удерживаемый в одной точке, резко качнулся в другую сторону и, на большой скорости миновав срединное положение, перескочил за ту грань, за которой «чужое» уже зачастую воспринимается как персонафикация отрицательного. Более того, в ряде регионов бывшей империи перейдена и та грань, за которой происходит то, о чем в ужасе писал несколько десятилетий назад конголезский поэт Максим Ндебек:

Неужели во мне проснется
каннибальская древняя жажда —

желание пить из жилы
живую кровь чужака?

Перевод с французского М. Курганцева

Наверное, в этом месте следовало бы задать риторический вопрос: «Разве в такой ситуации до переводов?» — и поставить на этом точку. Ибо говорить о национальных культурах и употреблять сам термин «культура» в ситуации, когда, по словам С. Парнок поднял взгляд нечеловечий на человека человек крайне трудно. И все же попытаемся. И рассмотрим еще один аспект.

Как мы уже говорили, любое «я» представляет собой узел переплетения множества «не я» и через эти «не я» входит в различные системы. Так, например, конкретный человек (индивидуум) входит одновременно в несколько систем: семейную, родовую, национальную, половую, классовую, профессиональную, религиозную и т. д. Осмелюсь предположить, что «нормальным» является то состояние человеческого «я», когда в его сознании все эти системы сбалансированы. Но бывают состояния, когда баланс нарушается и происходит экспансия одной из систем. Так, после 1917 года мы имели в нашей стране экспансию классовой системы в сознании многих людей. Сегодня наблюдаем экспансию в их сознании национальной системы. Если провести аналогию с физиологическими процессами, то скорее всего подобный психологический перекос может быть уподоблен гипертрофии одного какого-нибудь органа, паразитирующего на других органах, вытягивающего из них соки, то есть переразвившегося за счет истощения всех остальных. Вряд ли подобный «диктат» одного органа над всем остальным организмом можно считать нормальным. Вырвавшись из-под духовного гнета одной системы, человеческое «я» попало во власть другой и рискует снова оказаться материалом для осуществления уже не коммунистической доктрины, но национальной, может быть, на чей-то вкус и более естественной, более «природной», чем коммунистическая, но опять-таки ограниченной и ограничивающей, пытающейся подменить собой всю полноту связей человека с космосом или, по крайней мере, направить эти связи по строго определенным каналам. При этом обедняется и искажается не только конкретное человеческое «я», но и этнокультура, ибо экспансия любой системы (в данном случае этнической) парадоксальным образом ведет к сужению и усыханию самой этой системы. И не только потому,

что она лишается «подпитки» другими этнокультурами, но и потому, что перестав заглядывать в зеркало мнимого «чужого», этно-культурное «я» перестает различать космическое не только в «чужом», но — как неизбежное следствие — и в самом себе. Тот, кто не хочет зреть Бога там, где он явлен (а он явлен во всех формах и системах, то есть в многообразии), а желает зреть его только в какой-то определенной форме (или системе), узрит не его, а лишь его частное проявление, ограниченное и искаженное особенностями отдельной формы. Художественный перевод, с одной стороны, являя собой попытку вызволить Вселенское целое из западни частной формы, как уже было сказано, обречен на недостижение этой цели, ибо снова перевоплощает это целое в другую частную форму. (Такова природа художественного перевода, но такова же природа и любого перевода, то есть любой попытки дешифровать знаковую систему Вселенной.) С другой стороны, художественный перевод, являя собой разновидность энергетического обмена между «я» и «не я» (то есть между «я» и мнимым чужим) во времени, пространстве и структуре, препятствует атрофии индивидуального человеческого «я», этнического «я» (включая этнокультурное «я»), видового «я» (человечества) и тем самым — и прямым и косвенным образом — обеспечивает

то многообразие частных «я», которое является формой существования Вселенского целого.

А пока на одной шестой части нашей планеты все тише и тише становится переключка голосов, удаленных друг от друга во времени и пространстве, и строка одного поэта, уже не «подсвеченная» строками других, как-то неуловимо обедняется, замыкается в самой себе, не давая нам больше обнаружить ее глубин. Из магического пространственно-временного кристалла выпадают зеркальные грани, не желающие отражать и отражаться, становясь «самими собой», то есть плоскостью, а не объемом. И сам кристалл мерцает все тусклее, пульсирует все незаметнее — и все слабее источает ту суть, которая не поддается определению, но которая есть суть Вселенной. Наверное, все это «естественно». Как естественно и то, что ни одно состояние духовной жизни народа или народов не может оставаться неизменным, максимум — оно может быть затяжным (10 лет, 100 лет, 3 года...). Не вечна и нынешняя ситуация. И потому хотелось бы закончить статью строками Осипа Мандельштама:

И ни одно сокровище, быть может,
Минуя внуков, к правнукам уйдет,
И снова скальда чужую песню сложит
И как свою ее произнесет.

«И литература сделалась мне противна»

ЭХО

Рубрику ведет ЛЕВ АННИНСКИЙ

Испытавший такое чувство человек (всю жизнь писал о литературе и всю жизнь пытался преодолеть этот соблазн) под конец жизни подытожил: мы на Руси, в сущности, играли в литературу «Так хорошо написал». И все дело было в том, что «хорошо написал», а ЧТО написал — до этого никому дела не было. (В. Розанов. «Апокалипсис нашего времени».)

Я вспомнил о Розанове не ради него самого. А из-за Горького. «Наш Буревестник» удостоился персонального портрета, который в еженедельнике «Столица» (№ 43) исполнил один из самых блестящих литераторов поколения Гласности Вячеслав Пьецух. Прежде чем комментировать это сочинение, постараюсь воспроизвести его «рельеф»; тональность же, надеюсь, видна из иронического оборота «наш Буревестник», да и из заглавия: статья называется «Горький Горький»

Все у него нечаянно, — пишет Пьецух. — Вряд ли любил политику, однако всю жизнь воевал с царем, а потом делал фронду большевикам. Опекал юные дарования, однако ввел в литературу множество бестолковых людей, затерших самое литературу. Нечаянно встал во главе Союза писателей. Нечаянно воспедал Беломорканал и ОГПУ. Нечаянно дал слепить с себя соцреализм. Боролся, сопротивлялся, протестовал и что же? А ничего. «Был по призванию беспокойным правдоискателем, нервным идеалистом, Солженицыным своего времени, только что чувствительным и незлым, то есть он свачала был протестант, а потом художник».

Выразительный портрет и весьма точный. Зачем исполнен? А вот ради этого последнего: «ПОТОМ художник». Отсюда и ирония. И дарование у «нашего Буревестника» — во многом книжное, вычитанное, поверенное рассудком и помноженное на исключительную работоспособность». И «небывалая его популярность, скоропалительная слава всероссийская, европейская, а потом и всемирная» свалилась на него «бог весть по какой причине». И «слава не по таланту», и «кумир сотворен из ничего», и вкус — как у «прилежного ремесленника-эпигона».

Финал:

«Был он нормальный русский идеалист, склонный додумывать жизнь в радостном направлении, начиная с того момента, где она принимает нежелательные черты. Вот как бывают горькие пьяницы, нарочно затуманивающие око своей души, так и Горький был горьким художником, бурным общественным деятелем, беззаветно преданным отечественной культуре, заманчивым собеседником, верным товарищем, милым, добродушным, взбалмошным мужиком то есть он был хороший человек, да только литературе-то от этого не холодно и не жарко».

Далась же нам «литература». Все бы хорошо, но вот «писал слабо», особенно к концу жизни. Очерки — «самого газетного свойства», стилистика — на уровне «райкомовского звена», где попадают и «передовые единицы трудящихся масс», и «глухость — чаще всего результат классового насилия буржуазии». И Клим Самгин — «нуднейший», и «сценические отклики на политические процессы» в деле имеются.

Так. «Самгина» оставим Пьецуху скучно читать «Жизнь Клима Самгина», мне скучно читать «Жизнь Арсеньева». Это уж кто как настроится. «Политические процессы» у каждого времени свои. Развенчание Горького — один из «политических процессов» нашего времени, включая сюда обратное переименование города, улицы и станции метро. Так что если В. Пьецух откликается на эти процессы — это в порядке вещей. Я думаю также, что в порядке вещей и то, что писатель говорит на языке своего времени. «Передовые единицы» и «классовое насилие» — стандартный язык 30-х годов. Художественный эффект достигается внутри этого языка системой неожиданных отступлений. Как верно замечено у Пьецуха, Горький называет наше дореволюционное отечество не «Советский Союз», а «Союз Советов». Пьецух интересуется: не имеет ли Горький в виду также и советы поселковые?

Интересный случай, разберем его. Нет, поселковые советы Горький в виду не имеет. А имеет он в виду то положение, когда человек, зажатый до полной невозможности, может разве что поворотом слова обозначить теплящееся достоинство, остаток свободы. Так что из-под этого «Союза Советов», как из-под сдвинутого камня на мостовой официоза, тоже пробивались ростки будущей стилистической воли, способствовавшие, в конце концов, появлению и самого Пьецуха. Который блестяще работает, кстати, именно на сдвигании ходовых штампов: в эпоху чаемой приватизации земель, воссоздания Крестьянской партии и реабилитации кулачества как класса пристать к Горькому именно с «поселковыми» советами. Или назвать его «мужиком», что особенно пикантно, если вспомнить вечный страх Горького перед мужицкой Россией — такое наложение теперешнего жаргона («не губите, мужики, не губите!») на тогдашнюю драму есть в известной мере тоже использование стилистики «райкомовского звена», но в пересчете на эпоху, когда насаждаются в бывшей мужицкой стране «мэрии» и «префектуры».

Портрет Горького в исполнении Пьецуха перекликается с новейшими материалами, появляющимися в нашей вольной печати: с очерком Маргариты Волиной о «первой любви» Горького (напечатано в той же «Столице»); с Борисом Зайцевым, очерк которого (в «Столице» же) выдает нам, как крутился автор «Несвоевременных мыслей» в водовороте политических и прочих спекуляций того времени; с воспоминаниями Юрия Чиркова о поездке Горького на Соловки под почетным чекистским эскортом («стоял и тихо плакал» — читайте в альманахе «Апрель»). Так что в последнее время мы очень много нового узнали о Горьком. Пьецух новых фактов не сообщает, но он суммирует наши новые знания. И оценивает все это. Чем рельефнее у Пьецуха фигура «милого и взбалмошного мужика», тем отчетливее чувствуешь замысел... такое, знаете, пожатье плеч: это же плохая литература!

Господи, да откуда можно знать, что она такое. «литература»? И чем она будет в наступающем времени? И чем она вообще может быть, если изъять из нее все то, что в нее не лезет, в том числе дурной вкус, райкомовскую лексику и посланные размышления (Солженицыну от Пьецуха тоже попутно достается, и за то же самое: нехорошо пишет).

Да что останется от «хорошего писанья» еще через два-три поколения, когда очередной раз сменится мода и сдвинется вкус? Горького-то будут помнить. Потому что прожил яркую, горькую жизнь, полную трудов, соблазнов разочарования, иллюзий и слез. И это видно из написанного им. Потому и Пьецуху эта фигура интересна. А вне всего этого — что с «литературой»-то делать? «Хорошо написал», «плохо написал».. Кто это все перечитывать будет?

Неисправимы Свихнулись на «литературе» Самогипноз какой-то.

«То есть, он был хороший человек, да голько литературе-то от этого ни холодно ни жарко».

Ну правильно. И от «литературы» простите, ни холодно и ни жарко. А претензии огромны. Поневоле повторишь за Розановым то самое, что я вынес в заглавие.

Проделки цыган

О ЮМОРЕ ЦЫГАН

Скажем прямо, в мире найдется не так уж много людей, способных порассуждать на эту тему. И дело не только в том, что собиранием цыганского фольклора занимаются считанные единицы. Если собрать весь записанный цыганский фольклор, то материала юмористических жанров наберется на тонюсенькую книжечку. Во всяком случае так было до совсем недавних пор. Так, в самом представительном своде прозаического фольклора цыган, четырехтомнике Х. Моде и М. Хюбшманновой «Цыганские сказки из всего мира», можно отыскать менее десятка такого рода произведений, среди которых нет ни одного «чистого» анекдота.

Примерно та же картина и в двухтомнике венгерского цыганолога Йожефа Вежерди. А ведь он — труд всей его жизни. Конечно, можно предположить, что цыганские фольклористы не уделяли должного внимания народному юмору, как жанру «несерьезному». Возможно. В известной мере этой «болезнью» страдали и мы в наших первых публикациях. Что ж, пришла пора отгать читателям свои долги.

Своего рода раздражителем послужила для нас книжка югославского цыганолога, цыгана по национальности Райко Джурича «Цыганске приче» («Рач». Белград. 1985), которая по сей день является единственной в мире книгой, полностью посвященной цыганскому анекдоту. Переводы из нее вошли и в эту подборку. Прочитав эту книгу, мы как фольклористы почувствовали себя обездоленными и немедленно рванулись восполнять пробелы.

А теперь поговорим по существу. Довольно частым персонажем фольклора многих народов мира является цыган — плут, обманщик, пройдоха, мошенник и ловкий воришка. Интересно, что отношение к такому, казалось бы не очень привлекательному с точки зрения нравственности персонажу в таких сказках имеет отчетливо позитивный характер. Это не случайно, ибо драматургия этих произведений строится на том, что с помощью малого греха ярко обозначаются, а затем в лучшем случае подвергаются осмеянию, а в худшем — жестоко наказываются самые гнусные человеческие пороки. Отрицательными персонажами в таких сказках всегда являются нецыгане. А поскольку для цыган род человеческий делится на две неравные части — на цыган и нецыган, причем последние в бытовом понимании воспринимаются как что-то нехорошее, цыганский фольклор с удовольствием вобрал в себя сказки такого рода. Объяснение этому можно найти и в самой цыганской жизни, где хитрость и изворотливость всегда слыли за добродетель, если они направлены из цыганского общества в «остальной мир».

И все же в цыганских сказках такого рода имеются некоторые малозаметные особенности, отличающие их от, скажем, русского фольклора. Например, в них нет сатиры с социальной направленностью, которая пронизывает русскую сатирическую сказку. Редчайший случай, когда объектом цыганской сатиры является служитель культа. Если вдруг высмеивается жадный поп, то осмеянию подвергается лишь его порок, а на его месте вполне мог бы быть любой представитель начальствующей иерархии.

Два слова скажем о цыганском анекдоте. Значительное большинство их обыгрывают чисто бытовые темы. Лишь ярко выраженная национальная специфика отличает их от аналогичных по тематике анекдотов других народов мира. Заметно обилие анекдотов на криминальную тему, в частности, про тюрьму и казнь. Как видим, цыгане склонны пронизировать и на эту тему.

Из подборки цыганских анекдотов особо хотим выделить ряд произведений, стилистику которых можно назвать уникальной. В фольклоре других народов таких анекдотов либо нет вообще, либо они встречаются чрезвычайно редко. Мы имеем в виду анекдоты, построенные на двуязычном каламбуре, где слово, скажем на русском языке по-цыгански имеет абсолютно иное значение, а вся фраза, понятая по-русско-цыгански, приобретает парадоксальный смысл.

В приложении к нашему журналу за этот год выходит книга «Хижина солнца» — сказки цыган мира. (Прим. ред.).

Ничто так не сближает людей, как юмор, добрая шутка. Посмейтесь вместе с цыганами, и тогда, быть может, вы лучше поймете этот народ.

ЕФИМ ДРУЦ, АЛЕКСЕЙ ГЕССЛЕР

Как цыган дураков искал

Жила-была на свете старуха-цыганка, и был у нее единственный сын. И вот настало время идти этому парню в солдаты. Забрали цыгана. Проходит год, проходит другой. Как-то раз появился в таборе незнакомый цыган, одетый в солдатскую форму. Подходит он к старухе-цыганке и говорит:

— Здравствуй, бабушка, я от твоего сына пришел. Мы с ним вместе службу несем. Меня в отпуск отпустили. Кланялся он тебе и просил выполнить одну его просьбу.

Обрадовалась цыганка:

— Ай, спасибо, сынок, что добрую весточку принес. Скажи, что он просил, я все для своего сына сделаю.

— Житье у нас там, бабушка, неважное, кормят нас плохо, а одевают и того хуже. Гляди, как я поизносился!

Смотрит цыганка: и впрямь — форма у солдата совсем ветхая.

— Вот и просил твой сын, чтобы ты ему одежды побольше прислала, обувки разной и еды не пожалела...

Пошла цыганка в палатку, выгребла оттуда все, что у нее было и что могло сыну пригодиться, завязала в узел и отдала незнакомому цыгану.

— Возьми, дорогой, передай сыну да поклонись ему от меня.

Ушел цыган, а старуха даже имени его не спросила, кто он, что он — так и не узнала.

Проходит время, возвращается сын из армии. Обрадовалась мать:

— Ой, сынок, вернулся, наконец-то! А я-то тебя ждала, ждала, глаз не смыкала. Тут без тебя товарищ твой приходил, весть от тебя передал, я ему для тебя еду да одежду передала, всю, что была.

— Какой товарищ? — удивился парень. — Откуда?

— Да не знаю, сынок. Я не спросила.

— Эх, мать, что же ты так? Ну и глупая же ты! Не узнала, кто и откуда, а взяла и отдала добро первому встречному. Ну ладно, я сделаю так: пойду по белу свету искать и если найду человека глупее тебя, все будет хорошо, я тебя прощу, но если не отыщу — домой не вернусь. Мне такая глупая мать не нужна.

И пошел цыган по белу свету искать человека, который был бы глупее его матери. Долго ли, коротко ли — подходит он к барскому дому. Видит цыган: перед самым домом гуляет свинья с маленькими поросятами. Снимает цыган шляпу, падает на колени в грязь и начинает свинье поклоны бить. В это время на крыльцо барыня выходит, смотрит на цыгана и удивляется:

— Что это вы, милый мой, свинье кланяетесь?

А цыган ей отвечает:

— Дорогая барыня, у нашей свиньи свадьба, наша свинья замуж выходит, вот я и приглашаю свиней со всей округи на свадьбу нашей свиньи.

И цыган снова поклонился, приговаривая:

— Милая свинья, уж вы не откажите, приходите к нам.

— Да перестаньте вы ей кланяться и уговаривать, — говорит барыня. — Невелика особа, чтобы ей кланяться в ножки. Да заберите ее силой вместе с поросятами, и делу конец!

Забирает цыган свинью с поросятами, кладет в мешок и спрашивает у барыни:

— А в чем же я их на свадьбу повезу?

— Тоже мне беда, — говорит барыня, — забирайте мою карету и поезжайте на свадьбу.

Заложил цыгану карету, потрусили в нее свинью с поросятами, и поехал он себе дальше. Едет и думает: «Оказывается, на земле есть люди еще глупее моей матери...»

Вот навстречу цыгану скачет барин на красивой лошади. Выскочил цыган из кареты, снял шляпу и быстренько надел на нень, что торчал возле дороги. Подъезжает барин и спрашивает:

— Ты что, цыган, делаешь?

— Да вот — жар-птицу поймал. Боюсь, как бы она не улетела. Мне надо срочно домой заехать, у бабки-гадалки книгу волшебную взять, чтобы молитву прочитать. А то без этой молитвы ее не возьмешь.

— Слушай, цыган, — говорит барин, — давай я покараулю жар-птицу, а ты садись в карету и поезжай за волшебной книжкой.

— Эх, барин, слаба моя лошада, плохо карету тянет. Боюсь, пока туда доеду да обратно вернусь, улетит жар-птица.

— А ты возьми мою лошада, впряги ее в свою упряжку — быстрее дело будет. А я пока твою птицу покараулю.

Припрат цыган второго коня, повернул карету и помчался восвояси. А барин сидел над шляпой, ждал, ждал цыгана, а того нет и нет.

— Что такое? — пробормотал барин. — Куда это он запропастился? Ну-ка я на жар-птицу посмотрю!

Поднял барин шляпу и увидел пень. Плюнул он с досады и поплеял пешком к себе в усадьбу.

А цыган приехал в табор в карете, запряженной парой отличных лошадей, да и свинью с поросятами с собой приволок. Выбегает к нему мать, а он ей говорит:

— Ну что ж, мать, поездил я по свету, людей повидал. Есть, оказывается, на земле люди, что глупее тебя во сто раз. Остаюсь жить с тобой, прощаю тебя. По доброте да по простоте своей ты глупость сделала. А они — от рождения дураки!

Проделки цыгана

Жил цыган. Был он очень беден. А семья большая — жена, куча детей. Как такую ораву прокормить?

Сидит цыган возле шатра и большую думу думает: «Что делать мне, бедняге?» И тут видит, что к нему барин направляется. «Как бы мне барина провести?» — думает цыган. А на костерке у него каша варилась. Кипит вода, булькает. Схватил цыган миску с кипящей кашей и в песок поставил. Сидит он над миской и бормочет слова непонятные. Подходит барин поближе. Что за чудо? На песке миска стоит, огня нет, а каша кипит ключом.

— Что ты делаешь, цыган? — спрашивает барин.

— Как это делаю? Разве не видишь — кашу варю.

— Как это так? Какую кашу? Огня-то нет! Разве можно без огня кашу варить?

— Вот так и варю. Миска-то у меня не простая — волшебная. Скажу я свое заветное цыганское слово, и каша сама варится.

— Слушай, цыган, продай мне эту волшебную миску, я тебе хорошо заплачу. Сколько ты за нее хочешь?

— Дорого тебе, барин, это обойдется. Да и мне не больно охота с волшебной миской расставаться.

— Да что ты, цыган! Если ты знаешь волшебное слово, так таких мисок сколько угодно сделаешь. Я-то не знаю. Продай!

— Продать-то продам, да только одна миска не варит. Видишь палочку у меня в руках? Я ею кашу перемешиваю. Без этой палочки ничего у тебя не сварится. Так что покупай и палочку в придачу.

— Хорошо, — согласился барин, — говори свою цену.

— Плати двести рублей и иди с Богом.

Отсчитал барин деньги, взял миску палочку и побежал скорей. А цыган тоже долго не мешкал. Собрал он свои пожитки, посадил жену, детей на повозку и поехал подальше от того места, где только что барина обманул. «Узнает барин про мой обман, — подумал цыган, — да снарядит погоню. Тогда мне несдобровать!»

А лошада у цыгана дряхлая, с грузом возок тянет. Еле-еле добрался цыган до ближайшей деревни. Накупил он там всякой всячины, лошада хорошую купил, шатер новый, детшек приодел да накормил досыта. Снова стоит себе в поле и думает-размышляет: «А ведь найдет меня барин, видит Бог, найдет!» Только подумал, глядь — а барин тут как тут. А у цыгана в руках — кнут. Шепнул он своей жене два слова на ухо и — давай ее кнутом охаживать. Вроде бы и по ней бьет, а сам все рядом да рядом.

Жена криком кричит, по земле, как змея, извивается, ползает. Как увидел барин цыгана, закричал:

— Ах ты, такой-сякой! Как посмел ты меня обмануть?

Опустил цыган кнут, подошел к барину.

— А что случилось, в чем мой обман?

— Поставил я миску на песок, стал воду палочкой помешивать, а она как была холодной, так и осталась.

— А ты слово цыганское сказал?

— Какое слово?

— Вот видишь! Про слово меня не спросил, а теперь кричишь.

— Скажи мне, цыган, какое оно — слово цыганское?

— Подожди, барин, дай мне свое дело закончить, а потом уже и разговор вести будем, — сказал цыган, взялся за кнут и снова принялся жену охаживать.

— Что ты делаешь, цыган? Ведь ты ее так до смерти забьешь!

— Видишь ли, барин. Досталась мне непослушная жена. Надо бы ее поучить немного. Вот сейчас побью ее, а потом как ударю кнутом поперек — она встанет живехонька и здоровехонька. И будет слушаться меня как собачка.

Сказал так цыган, потом ударил жену поперек. Та тут же с земли вскочила, обняла цыгана и спрашивает:

— Муж мой любимый, скажи, что мне делать? Я все сделаю, о чем бы ты меня ни попросил.

— Пойди костер разложи, обед приготовь, детей накорми, спать уложи, потом сядь у костра и пой мне песни до рассвета.

— Все сделаю, муж мой дорогой, как ты приказал, — сказала цыганка и пошла в лес за хворостом.

А барин думает: «Вот бы и мне такой кнут — жену свою проучить. А то совсем она от рук отбилась».

— Слушай, цыган, продай мне свой кнут.

— Продать-то продам, да только дорого он тебе встанет.

— Ничего. Назначай любую цену.

— Давай триста рублей и иди с Богом.

Отсчитал барин деньги, взял кнут и только хотел отправиться, как тут же повернулся.

— Э, нет, цыган, теперь ты меня не проведешь. Ну-ка, говори волшебное слово!

Сказал цыган барину на ухо два слова, и тот пошел своей дорогой. А цыган запряг лошадь и опять на новое место переехал, чтоб от барина подальше быть. Купил он себе пару лошадей, совсем богатым человеком стал.

А барин, пока ехал домой, все цыганские слова повторял. Повторял, повторял и — забыл. «Не беда, — думает, — кнут и без волшебных слов жену выучит». Приехал барин домой и сразу к жене. Схватил кнут и давай ее охаживать! Она, бедная, криком кричит, а барин не унимается.

— Не бойся, хозяйка! Вот сейчас тебя поперек кнутом опояшу, и встанешь ты жива-невредима да мужу покорна.

Как ударил барин жену поперек живота, она и дух испустила. Барин за голову схватился. Пустился он цыгана обманщика искать. Два года искал — нашел.

Увидел цыган барина и думает: «Конец мне друиш! Что делать?». А стояла зима. Мороз лютый. Забежал цыган в шатер, разделся догола, взял в руки рубашку, выбежал наружу и — давай по снегу босиком бегать да рубашкой обмахиваться.

— Ой, — кричит, — жара-то какая!

Тут и барин.

— Ну, попался, цыган! Конец тебе настал! Больше ты уже никого не обманешь.

— Подожди, барин, смертью грозить, дай хоть перед смертью попариться. Ой, жарко, мне, ой жарко!

Что за чудо? Мороз лютует, барину и в лисьей шубе холодно, а цыган, в чем мать родила, бегаёт да еще рубашечкой обмахивается.

— С чего это тебе так жарко? — спрашивает барин.

— Видишь ли, эта рубашка не простая, а волшебная. С ней мне никакой мороз не страшен. Мне и сейчас жарко, а как ее надену — совсем немогогу.

— Слушай, цыган, продай мне свою рубашку.

Просит барин, а сам думает: «Чем дорогие меха покупать да одежду теплую, куплю-ка я у цыгана эту рубашку. В ней и тепло, и легко».

— Продать-то я ее продам, да только она тебе дорого встанет.

— Проси любую цену.

— Ладно, давай тысячу рублей и иди с Богом!

Отсчитал барин деньги, схватил рубашку и — домой! Приезжает к себе в поместье, народ созывает и — давай хвастать:

— Смотрите, люди, какую я себе волшебную рубашку купил. Мне в ней любой мороз нипочем.

Снял барин дорогую шубу, одежду всю снял и принялся в чем мать родила по двору бегать да рубашкой обмахиваться. Народ дивится:

— Ты, барин, никак саурел! На носу Рождество, а ты голышом шеголяешь.

Стыдно барину признаться, что цыган опять его надул, вот и не подает виду.

— Ой, жарко мне! — кричит. — Ой, не могу, какая жара!

Кричал, кричал, кричал, кричал, да так и замерз.

А цыган на те деньги, что у барина взял, всю жизнь жил со своей семьей припеваючи.

Как цыган попа одурачил

У одного цыгана было много детей. Не мог он свою семью прокормить. Что ему делать, бедному? Ну, и ходит по деревням милостыню просит. Услыхал цыган, что в одной деревне есть глупый поп. Стал он за ним присматривать. Видит: поп в харчевню идет. Цыган за ним со своими детьми. А их у цыгана — пятнадцать душ. Посадил цыган детей за стол, а сам пошел к хозяину. Говорит ему:

— Делай все, что бы я ни попросил, а я за это тебя не обижу, хорошие деньги дам.

— Смотри, цыган, — говорит хозяин харчевни, — я тебя ловлю на слове.

Вернулся цыган к своим детям, сам сел, на стол шапку положил и ждет. А поп знает, что цыган беден, и говорит:

— Эй, цыган, уходи, тебе же расплачиваться нечем.

А цыган, не говоря ни слова — раз! — как ударит кнутом по шапке и кричит:

— Хозяин, подавай на стол, мы есть хотим!

Хозяин бежит, всякую еду цыгану подает, детям его прислуживает. Поели они, поняли, а потом цыган опять — раз! — ударил кнутом по шапке и кричит:

— Рассчитался! — и прочь из харчевни.

На следующий день все повторилось на третий день — все то же самое. Поп все видит и думает: «Вот цыган проказник, надо у него эту шапку выторговать». Подходит и говорит:

— Слушай, цыган, продай мне свою шапку, я тебе много денег дам.

Цыган только руками замахал.

— Да нет, — говорит, — ты что? Если я тебе шапку уступаю, мои дети от голода умрут.

— Да ты постой, цыган, — не отстает поп, — я тебе к деньгам еще пару коней дам и бричку. А шапка — смотри какая грязная!

Короче говоря, поломался цыган, поломался и махнул рукой:

— Ладно, бери!

Взял цыган деньги, рассчитался с хозяином харчевни, посадил в бричку детей, хлестнул коней и — скорее из этой деревни.

На следующее утро пришел поп в харчевню, положил араную шапку этого цыгана на стол и кричит:

— Хозяин, есть хочу!

Тот смотрит на него:

— Хорошо батюшка.

Принес он ему всякой еды. Тот поел, — еще просит. Думает — все равно задаром. Так наелся и напился поп, что еле из-за стола встал. Взмахнул поп кнутом и — раз! — как ударит по шапке:

— Рассчитался! — кричит. И хочет из харчевни уйти. А хозяин его не пускает.

— Слушай, поп, ты поел, попил, а теперь деньги давай!

Поп думает, что его не поняли, снова — раз! — кнутом по шапке и кричит:

— Рассчитался!

Чем же все дело кончилось? Выхватил хозяин у попа кнут и — давай его этим кнутом охаживать.

Так и остался поп с цыганской шапкой.

Как цыганенок мужика надул

По длинной и пыльной дороге шел цыганский табор. По вечерам цыгане жгли костры, пели, плясали. Но только тогда табор можно назвать табором, когда цыгане не только дружно пляшут и поют, но и во всех делах вместе — один сказал, а все его поддерживают. А если не так, то дорога разводила цыган по разные стороны света.

Вот так получилось в одной семье: ушли они из табора. И теперь по вечерам возле одинокой кибитки никто песен не поет, никто не пляшет, только одинокий костер горит посреди степи.

Но не в этом дело. Важно то, что уже третий день у этих цыган во рту не было ни крошки хлеба. Уж сколько цыганки ни ходили по деревне гадать и просить — никто им ничего не дал. То ли в деревне была своя гадалка, то ли другой табор опередил этих цыган, то ли год был неурожайный и сами крестьяне голодали.

И вот один цыганенок лет двенадцати — он был самым прытким из всех — вызвался накормить семью. Вскочил он на самого лучшего коня и помчался в село. Подъезжает он к самому первому дому, стоявшему на краю села, и — давай голосить:

— Ой, умирает, ой, умирает!

Повыскакивали хозяева дома и тут же со страху разбежались кто куда — тот цыганенок был похож на черта, только без рожек: волосы лохматые, сам весь черный от пыли, тело такое грязное, что от него солнце отражается. Да к тому же кричит, как резаный:

— Ой, пропадает, ой, умирает!

Долго еще так кричал цыганенок, пока к нему не вышел дед старый. Спрашивает дед:

— Что случилось, бисово отродье?

Спрыгнул цыганенок с коня и как начал причитать:

— Дед у меня старенький умирает в степи. Помогите, люди добрые, вовек доброты вашей не забуду.

— Чем я тебе помогу? — спрашивает дед. — Я-то, поди, не лекарь.

— Да ты, дедушка, дай мне кусок сала и хлеб, я сам своего деда вылечу. А как вылечу — сразу же верну тебе и сало, и хлеб.

Удивился старик, думает, как же это цыганенок будет салом и хлебом лечить.

— Ой, обманываешь ты меня. Ни деда ты не вылечишь, ни сала с хлебом не вернешь.

— Да чтоб мне деда родного не видать! Хорошо, раз ты мне не веришь, я тебе в залог коня своего оставляю. Когда сало с хлебом верну, тогда коня обратно возьму.

Сжалился старик над цыганенком, стало ему жалко его деда. Пошел он, отрезал большой кусок сала и взял только что испеченный каравай хлеба. Поблагодарил цыганенок деда и помчался в табор. Долго еще за ним пыль столбом стояла. Ждет цыганенка дед, а того все нет и нет. Вот снова показалось облако пыли — это цыганенок возвращается. Забегает он во двор и — к деду.

— Вот спасибо, — говорит, — вот помог! Выздоровел дед, поклон тебе передает.

Мужик устал интересно, он спрашивает:

— А как же ты его лечил?

Отвечает цыганенок:

— Да есть у нас в таборе одна старая собака, не сегодня, так завтра подохнет. Дал я твое сало этой собаке, чтоб она его немного размяла. Все равно у ней зубов нет, она сало съесть не может. Так вот, размяла собака сало, взял я его и стал деду тело растирать. Два часа тер, хорошенько натер деда салом, а потом взял каравай и начал сало с деда стирать. Как стер, так дед и выздоровел.

Едва услышал старик такие слова, закричал на цыганенка:

— Ах ты, такой-сякой! Что ж я теперь с этим салом делать буду? А ну, чтоб глаза мои тебя не видели! Чтоб духу твоего здесь не было!

Вскочил цыганенок на коня и — поминай, как звали!

Вот так цыганенок старого мужика надул.

Как цыган с мужиком деньги сажали

Пришел цыган к мужику и спрашивает:

— Хочешь стать богатым?

— А кто же не хочет? — отвечает мужик. — Да только я не знаю, как это сделать.

— А я тебя научу. Пойдем на поле, возьмем с собой золотых монет и в землю посадим. На следующий день там, глядишь, и урожай снять можно.

Обрадовался мужик. Достал он из потайного места золотые монеты и отправился с цыганом в поле. Закопали они монеты. На другой день приходят, глядят: там их вдвое больше стало.

— Ну и диво! — воскликнул мужик. — Ай, спасибо, цыган, что научил меня. Теперь мы с тобой будем богатыми.

— Да разве это богатство, мужик? Давай, сажай еще, пока хорошие дни стоят.

Посадил мужик еще раз все монеты, которые у него были. Приходит на следующий день, а их снова вдвое больше стало. Мужик аж прыгает от радости.

— Ой, цыган, быть мне скоро барином! Смотри, сколько золота выросло!

— Да ты что, мужик? Чтобы барином стать, надо денег в сто раз больше иметь. Нет, так дело не пойдет. Иди-ка ты в дом и собери все золото и все серебро, что у тебя есть. Вот тогда и привар будет что надо.

Побежал мужик в дом, все вверх дном перевернул, все деньги забрал, вернулся на поле и стал вместе с цыганом закапывать.

Наутро пришел мужик на поле раньше цыгана, очень уж не терпелось ему посмотреть, какой на этот раз урожай будет. Стал он рыть, но ни одной монеты так и не откопал. А тут цыган по полю идет. Мужик бегом к нему.

— Ай, горе, цыган, пропали мои денежки!

— А чему ты удивляешься? — спросил цыган. — Со вчерашнего дня на землю ни капельки не упало. Видишь, какая сухота? Вот все наши семена и погибли...

Побрел мужик домой, а цыган с полными карманами денег отправился в табор.

Цыган и поп

Летом, под самый сенокос, пришел цыган к попу в работники наниматься.

— Я, батюшка, — пообещал цыган, — столько сена тебе накошу, что на всю зиму хватит.

— Хорошо, — согласился поп. — Есть у меня большое поле, трава на нем по пояса уродилась. Скосишь его — получишь денег десять рублей. Согласен?

— Согласен, батюшка, согласен. Да только дело это небыстрое. Ты уж мне поесть, попить снаряди, чтобы я там с голоду не помер.

Ну да ладно. Собрались поп и цыган на луг идти. Взял поп косу для цыгана, собрал еды всякой — мяса, сала, хлеба, бутылку водки взял, чтобы тот не замерз ночью. Все это поп в мешок положил, и они пошли. Привел поп цыгана на луг, а там трава высокая, густая, встанешь — не видно тебя.

— Как покосишь траву, цыган, так приходи ко мне за расчетом, — сказал поп и ушел.

Разбил цыган палаточку, разложил костерок и давай поповскую еду уплетать. Сварил мясо, сало на углях поджарил. Наелся, напился и лег спать. Два дня цыган поповские запасы поедал, а как не стало ничего — подался к поповскому дому.

— Ну что, батюшка, давай рассчитываться.

— А все ли скосил, цыган? — спрашивает поп.

— Все, батюшка, все, ни одной травинки не осталось.

Отдает поп цыгану десять рублей, а тот не уходит.

— Слушай, батюшка, набрось сверху еще пять целковых. Уж больно трава высокая выросла, тяжело было ее косить. Кабы знал, за такую плату работать не согласился.

— Э, нет, цыган, уж раз мы договорились, так пусть все будет по уговору. Бери деньги и иди с Богом.

— Значит, не будешь платить, батюшка?

— Нет, цыган, я и так на тебя порастратился.

— Ах так? Ну, тогда встань трава по-старому, как стояла! — воскликнул цыган, хлопнул дверью и вышел вон.

Побежал поп на луг, видит: трава как стояла, так и стоит выше роста. «Эх,— подумал поп,— надо было мне не скупиться, а дать прибавки цыгану. А теперь, выходит, снова людей нанимать да траву косить...»

Как цыган на мужике прокатился

Шли цыган и мужик по дороге. День большой — утомились они, сели отдыхать. Вот цыган и говорит мужику:

— Слушай, а что если мы так сделаем: сначала я тебя повезу, а потом ты меня повезешь? Если по очереди отдыхать будем, скорее в город на базар придем.

— Это ты хорошо придумал, цыган,— согласился мужик.— Только сколько времени один будет другого везти?

— А давай так: ты сядешь на меня и будешь песню петь, а как кончится песня, я на тебя сяду и свою затяну. Вот так мы и станем меняться, пока к месту не подойдем. А с песней и идти легче.

Согласился мужик. Сел он на плечи к цыгану и запел песню. Идут. Кончилась песня мужика. Цыган спрашивает:

— Допел?

— Допел.

— Ну, теперь слезай, я свою песню начну.

Забрался цыган к мужику на плечи, и пошли они дальше по дороге. Час идут, другой, а цыган все поет и поет.

— Что за песня у тебя такая? Что это она никак не кончается? О чем хоть ты поешь? А то ведь я не знаю вашего языка.

Отвечает цыган:

— Как это о чем пою? О дороге, о деревне, которую мы сейчас проходим, о тебе пою, раз ты меня везешь...

Делать нечего. Пошел мужик дальше. Так и провез он на себе цыгана до самого города.

Медвежий вожатый и «волшебная» коряга

Мой дед говорил о том, что его дед слышал, будто его дед то ли видел, то ли нет...

Будто бы шел по свету один цыган. Сам нищий, его медведь неделю еды не видал, а обезьянка сидит на плече и от голода аж трясется. На базаре один купец-скорняк предложил ему за медведя два тумана и за обезьянку — два абазы. По нашим временам — двадцать рублей и сорок копеек. Что делать цыгану? Жаль зверей, но есть-то надо! Продавать их не продал, а отдал в заклад за двадцать пять абазов. Накупил он еды, выбрал хорошее местечко, разложил костер и стал варить себе похлебку. А сам тем временем достал бутылку водки и отхлебнул глоток, размышляя, что ждет его впереди. Глядит бедняга: одна коряга никак не разгорается. Взял он и плеснул на нее водкой. Это заметил шедший поблизости мулла. Он спросил:

— Эй, ты! Что ты делаешь? Водку пьешь, гяурский сынок?

А тот в шутку отвечает:

— Нет, это я мою водкой мою волшебную корягу, может, она даст мне еще немного серебра.

Зависть заела муллу.

— Иди сюда,— кричит,— и покажи, что она тебе дала.

А что цыган? Вытащил он украдкой пять-шесть абазов и показал мулле.

— Ты должен отдать корягу в жертву мечети,— сказал мулла, но цыган наотрез отказался. Тогда мулла говорит: — Хорошо, отдавать не хочешь, в таком случае продай за хорошие деньги.

— Увы,— отвечает бедный цыган,— почтенный мулла, коряга кормила еще моего отца. Как же мне без нее?

Рассердился мулла и говорит:

— Тогда я скажу, что ты украл ее у меня. Как ты думаешь — кому поверят стражники?

Делать нечего, пришлось цыгану смириться. Со слезами сменял он корягу на полную сумку денег. Забрал цыган назад своих зверей и пошел своей дорогой.

Ну, а тот дурак мулла, видно, до сих пор корягу водкой моет.

Помоги ему, Аллах!

Как цыгане деревенских «очистили»

Бывало так у сибирских цыган, что выходили они на цыганские дела — то лошадей украдут, а то и в дом заберутся. И вот была такая цыганская семья — четыре брата. Славилась она среди цыган, как ловкие воры. А у кого воровали цыгане? У бедного воровать не будешь у них нет ничего. Вот и грабили они купцов и богатеев.

В одной деревне жила зажиточная семья. Раньше богатые как жили? В одной ограде у них несколько домов — три-четыре больших дома. В одном, к примеру, отец с матерью живут, в другом один сын, в третьем второй, а в четвертом — зять с дочерью. Так и жили богатые семьи.

Вот и решили цыгане ограбить один такой дом. Только куда лезть? Известное дело, надо идти в дом, где отец с матерью, они ведь побогаче. Вот один из них тайком залез днем в этот дом.

А раньше в Сибири старались в домах большие иконы держать. Другая икона в человеческий рост была. Такие иконы ценились выше среди сибиряков. Вот младший брат залез в дом и забрался за икону, чтобы ночью, когда в доме улягутся спать, он открыл бы двери и ворота братьям.

В старое время перед сном люди всегда Богу молились, чтобы он им грехи отпустил, душу очистил. Вот старуха мать встала на колени перед иконой и молится:

— О, Отец наш, отпусти нам грехи, очисти меня и моего мужа!

Вдруг слышит бабка — икона заговорила.

— Очищу матушку, очищу!

— Ой, — обрадовалась бабка, — тогда и сына моего очисти!

А икона говорит:

— Хорошо, и сына твоего очищу!

— Так ты и второго сына и сноху мою очисти!

— Как же, и их очищу!

— Ой, ну что тебе стоит! Ты уж тогда и доченьку мою младшую с зятем очисти!

— А где она живет? Далеко?

— Да нет, с нами, в одной ограде!

— Ну, если свет не застанет то и ее очищу!

И «очистил» — всех до нитки.

Наложу денег!

Добрый вечер, ребята! Расскажу вам сказку, которую рассказывали давным-давно. Может это было, а может, не было. Жил старик-крестьянин с женой, и было у него двенадцать человек детей. Этот старик был так беден, что к рукам и ногам его присохла четырехдневная, четырехнедельная, девятимесячная и двухлетняя грязь. Он был так беден, что каждый день ел только лишь одну кукурузную похлебку и просо — вот и все. А жена его была стара и больна, ей было шестьдесят пять лет. Каждый день старик ходил в лес за дровами, продавал их, и тем самым ему с трудом удавалось прокормить семью.

Совсем не осталось сил у старика. И вот однажды он решил, что пойдет в лес в последний раз. Идет он по лесу, и перед ним является наш дорогой Господь Бог. Говорит он старику:

— Да поможет тебе Бог, старик!

— Спасибо тебе, человек! — говорит крестьянин. — Но скажи мне, кто ты?

— Ну как тебе сказать? Я — тот, кто заботится о бедняках. Я дам тебе, человек, эту белую лошадь. Ведь я слышал, что ты очень беден. Если ты скажешь лошади: «Наложу денег!» — она тотчас отвалит кучу денег.

Вот так сказал Бог крестьянину. Неплохо бы, ребята, и нам с вами иметь такую лошадку! А? Ну, слушайте дальше. Старик, как услышал такие слова, спросил Бога:

— Так я сейчас же скажу лошади, чтобы она дала мне денег!

— Нет,— говорит Бог,— сейчас этого говорить не надо. А куда ты положишь деньги? В чем ты их будешь везти? Ведь денег будет много.

— Ну, раз не надо, так не надо.

Вернулся бедняк домой. Только он заехал во двор, как сразу же приказал лошади:

— Наложь денег!

И лошадь наложила ему посреди двора, целую кучу наложила, но не навоза, а золотых талеров. Жаль, ребята, что нас с вами там не было!

Поехал старик в город, купил там все, что глаза увидели. Теперь он стал богатым человеком, купил себе земли, дети его теперь живут, как графы — ходят в город на балы, ездят во все стороны света.

Однажды старик подумал: «Что-то давненько я не пил! Пойду-ка я в корчму». Заходит туда.

— Здравствуйте!

— Здравствуйте!

— Дайте-ка мне паленки.

Ну, дают ему. Старик выпил, и тут у него так скрутило живот, что он захотел по нужде отлучиться. А перед этим подошел он к корчмарю и говорит:

— Только не вздумайте сказать моей лошади: «Наложь денег!» Если скажете такое — беду наживете.

Не иначе, как из ума выжил этот старик. Пошел он куда надо и просидел полчаса. А в это время корчмарь взял большой ящик, поставил его под зад лошади и приказал:

— Наложь денег!

Ящик сразу наполнился монетами. А старик тот в уборной сидит и ничего не ведает. Побей Господь, этого дурака! Корчмарь спрятал деньги и побежал к соседу. Взял он его белую лошадь и подменил лошадь старика.

Выходит старик, видит белую лошадь и думает, что она его. Допивает он свою паленку и возвращается домой.

Проходит день, другой, третий, и деньги кончились. Детей у крестьянина много, они пьют и едят, а за это платить надо. Идет старик к лошади и приказывает:

— Наложь денег!

А та — ничего! Чтоб я хлеба не ел — ничего! Говорит он жене своей:

— Ну что ж жена. Бог дал. Бог и взял! Нет больше денег.

И опять стали они жить бедно, как и раньше. И вскоре рот у старика стал сухим от голода. Взял он лошадь, убил ее и бросил в реку.

Проходит день, другой, третий, один месяц проходит, другой. В доме у старика пусто. Пришлось ему снова в лес идти. Опять он рубит лес, продает в деревне и так сводит концы с концами.

Однажды, когда старик был в лесу, снова Господь Бог явился перед ним и спрашивает.

— Ну что, старик? Почему ты снова обнищал? Что с тобой случилось? Ведь я дал тебе так много, что ты мог бы прожить всю свою жизнь на такие деньги.

— Ах, человек, ничего я понять не могу. Я сказал лошади, чтобы она наложила денег, но она ничего не сделала. Потому я убил ее и бросил в реку.

Говорит Бог:

— Бедный человек, дам я тебе эти две палки. Если скажешь: «Роточка-боточка»¹ — с конца на конец», — они побьют любого, кого достанут.

Ну, такова Божья воля. Приходит старик домой и говорит жене:

— Смотри, жена, что я принес! Я ставлю эти две палки в угол. Только никогда не говори этим палкам: «Роточка-боточка — с конца на конец!» Они убьют тебя и причинят нашим детям беду.

— Нет, я не буду так говорить,— сказала жена.

¹ Роточка-боточка — с венгерского на русский приблизительно можно перевести как «палочка-выручалочка».

Пошел старик в деревню продавать дрова. Он выручил за них немного муки, чтобы испечь хлеб. Пока его не было дома, жена подошла к палкам и говорит:

— Роточка-боточка — с конца на конец!

И палки стали бить всех, кого ни попадя. Когда старик пришел домой, палки уже убили троих его детей и жену забили чуть не до смерти. Он увидел это и закричал:

— Стойте!

И палки остановились.

— Я же сказал тебе, жена, чтобы ты не говорила: «Роточка-боточка — с конца на конец!»

Что делать? Закопал старик своих убитых сыновей в навозе. У него их и без того много осталось.

Взял старик и пошел в корчму. У него была одна монета. Дает он эту монету и говорит:

— Налейте мне паленки на эти деньги.

Ему дают стакан водки. А тут опять понадобилось ему пойти по нужде. Говорит он корчмарю:

— Корчмарь, не говори моим палкам: «Роточка-боточка — с конца на конец!» Скажешь так — с тобой случится большая беда.

— Что ты, я никогда так не скажу!

Только старик вышел, а корчмарь подходит к палкам и говорит:

— Роточка-боточка — с конца на конец!

И тут, друзья, как бросились палки на корчмаря! Все, кто там был, наружу повывагали, не знают, что делать. Из корчмаря уже кровь хлещет. Выходит старик, а корчмарь кричит ему:

— Скажи им, чтобы прекратили. Я верну тебе твою белую лошадь. Ведь это я ее украл.

— Черт бы побрал твою мать! Так это ты сделал меня бедняком? Это ты забрал мою белую лошадь? Где она? Пока не скажешь, палки будут тебя бить.

— Я вею привести ее тебе, только прикажи палкам остановиться!

Тогда бедняк кричит:

— Стойте!

Отдали ему белую лошадь, привел он ее домой и говорит:

— Наложите денег!

И снова стал этот старик богатым человеком.

Если он не умер, то все еще жив. И вам я желаю здоровья и удачи. Живите долго и хорошо!

Цыган и царь

Один цыган, узнав, что царю требуется конюх, напросился к нему на службу.

— Коня — моя величайшая любовь! — сказал он.

— А сколько ты потребуешь в год за работу? — спросил царь.

— Не надо мне никаких наград. Ты объяви по всему царству, что каждый, кто боится своей жены, должен будет дать мне ровно две монеты.

Царю понравилось такое условие, и цыган начал работать.

Через некоторое время прибегает цыган к царю и кричит на весь дворец:

— Благородный царь, я привел тебе самую красивую девочку, какую знает мир! Даже фея не сравнится с ней!

— Тише, тише! — прошептал царь. — Если услышит жена, нам с тобой несдобровать!

Цыган только этого и ждал.

— Давай две монеты, царь! Царское слово твердое!

Царь, цыганка и лисица

Одна цыганка оповестила всех, что она — самая лучшая ворожея на свете. Царь этой страны велел позвать ее и, показав мешок, в котором была спрятана лисица, сказал:

— Если угадаешь, что в этом мешке, тогда я поверю, что ты — лучшая ворожея на свете. Но если не угадаешь — я тебя казню.

Цыганка вздохнула и сказала:

— Ну, лиса, конец тебе пришел!

— Правильно! — воскликнул царь. — То лисица и есть!

Так и отпустил ее.

Как цыган учил коня голодать

Один цыган надумал отучить своего коня от пищи. Три дня он не давал ему есть, и через три дня конь от голода помер. Заплакал цыган:

— Надо же такому несчастью случиться, чтобы он именно сегодня умер, когда я уже почти отучил его от еды!

Домик для черта

Как-то перед самой зимой один цыган с семьей приезжает в деревню и просится, чтобы мужики уступили ему на зиму какую-нибудь пустую избу.

— Мы бы тебя пустили, — говорят деревенские, — да нам самим зимовать тесно. Есть, правда, у нас одна изба, да только в ней черти завелись. Коли хочешь — живи в ней. Но мы не советуем.

— Ладно, — говорят цыган, — буду жить там. Я знаю, как с чертями ладить.

В первую ночь остался он ночевать один. Взял цыган долото, выдолбил в стенах избы дырки, заготовил паклю и ждет. Ровно в полночь из всех углов и щелей выскочили черти и — к цыгану. Тот им говорит:

— Нехорошо вы, черти, живете! Разбрелись по щелям да по углам! Ничего, теперь у каждого из вас будет по собственному домику. А ну, залезайте!

Полезли черти в дырки, а цыган взял паклю и каждую дырку как следует законопатил. Не стало в избе чертей. Только один, самый маленький черт спасся, убежал и затаился до поры. «Ну, смотри, цыган, — думает черт, — я тебе отомщу!»

Привел цыган в избу семью, живут они себе потихонечку.

Вот как-то ночью прокрался черт в дом, чтобы свести с цыганом счеты. А цыган как раз в это время с женой тепился. Смотрит черт на все это и говорит сам себе:

— Ну и хитер же ты, цыган! Для меня домик долбишь! Хочешь меня в нем законопатить! Не будет по-твоему!

И — наутек! Только его и видели.

Чубучко

Жили на свете три брата — двое умных, а один дурак. Дурака звали Чубучко. Как-то раз старший брат говорит дураку:

— Иди на мельницу, отведи туда барана. Там живет мужик, он хотел его купить. Даст тебе мужик за него десять рублей. Только смотри у меня, не потеряй деньги, а то убью!

Взял Чубучко барана и пошел. А дорога через лес ведет. Страшно идти! Привязал Чубучко барана к сухому дубу, а сам сел передохнуть. И тут показалось дураку, что кто-то идет. Он закричал:

— Кто здесь?

А баран:

— Мэ-э-э! ¹

Разозлился дурак:

— Да побей тебя судьба! Я вижу, что это ты, дуб. Может, кто-нибудь еще здесь есть?! — закричал Чубучко, а эхо в ответ:

— Есть!..

¹ Мэ — я (цыг.).

— А что ты хочешь съесть? Барана?

— Барана!..

— Тогда гони десять рублей, а то я его на мельницу угоню!

— Гоню!..

— А когда деньги отдашь — сегодня или завтра?

— Завтра!..

— Дай слово! Если не принесешь, я тебя прокляну!

— Клянусь!.. — повторило эхо. а дураку послышалось: «Клянусь».

Оставил дурак барана в лесу, а сам — домой да на печку.

Пришли братья, стали деньги требовать. Тут он им все и рассказал. Снял старший брат ремень и крепко всыпал дураку. А потом говорит:

— Иди сейчас же и приведи барана обратно!

А уже вечер на дворе. Страшно Чубучко в лес идти. Забрался он в сено и проспал до утра. А утром пошел за бараном. Пришел, а от того только голова с рогами осталась. Должно быть, волки съели барана. Говорит дурак:

— Что такое? Голова здесь, а куда задница убежала? Что я теперь братьям скажу?

Стал он плакать, с досады головой о дуб биться. А там был спрятан клад. Как посыпалось на землю золото, серебро, бриллианты! Придурак совсем с ума сошел. Как это богатство домой отнести? Снял он штаны, штанины узлами завязал и весь клад — туда. Потом перекинул штаны через плечо и домой идет.

Навстречу ему — мужик с мельницы.

— Что это ты с голым задом идешь? Почему барана мне не привел? А что это у тебя там за спиной?

Только он руки протянул, а Чубучко ему — раз! — и по лбу врезал. Дело на берегу реки происходило. Упал мужик в воду и утонул. Пришел дурак домой — полуголый, весь в слезах. Братья его спрашивают:

— Ты что это, брат, в таком виде? Может, в штаны наделал? С чего это ты без штанов? А баран где?

— Нет барана! А я мужика убил, потому что он хотел у меня штаны отнять.

— Ах, несчастная твоя рожа! Зачем мужику твои обделанные штаны?

— Для кого обделанные, а для меня так: справа — серебро, слева — золото, а посередине — бриллианты!

Братья собрались было посмеяться над Чубучко, побить его как следует. А он — как высыпет все на стол! У них аж языки поотвалились. Ну, припрятали они это богатство и решили подобру из деревни бежать. Да не успели. Приехали следователи и стали мужика того искать. А дурак взял да и сказал:

— Это мой грех, я виновен!

Тут его, конечно, схватили. Жаль братьям Чубучко. Они говорят:

— Не верьте ему, он у нас дурачок! Вы спросите у него, как дело было.

Стали его расспрашивать. Дурак говорит:

— Я продал барана сухому дубу. Тот насыпал мне полные штаны богатства: справа — серебро, слева — золото, а посередине — бриллианты...

Как услышали начальники эти слова — рассмеялись и отпустили дурака. Когда они уехали, братья говорят:

— Не горюй, Чубучко! Мы купим тебе бархатные галифе. Уж тогда твои бриллианты не замерзнут!

Рак, пиявка и лягушка

В одном ручье долгое время жили в мире и согласии рак и пиявка. Они вместе охотились за добычей, делили друг с другом радость и горе.

Однажды лягушка пригласила их вместе провести приятный денек. В назначенное время рак с пиявкой пришли в дом лягушки. Та приготовила для них жаркое из мух, комаров и улиток. Они хорошенько поели, выпили вина и стали рассказывать друг другу про свои приключения и подвиги. Болтают они о том, о сем. Вдруг рак встал и воскликнул:

— Хотите — верьте, хотите — нет, но это правда, что я — самый красивый и умный среди вас. Моих клешней все боятся. И хоть я ни разу не встречался с человеком, но готов поспорить, что он меня испугается.

— Хорошо, — согласилась пиявка, — идет! Только сделаем так: тому из нас, кто испугает человека, будут принадлежать жилища тех, кого человек победит.

Рак, пиявка и лягушка устроили в ручье засаду. Вскоре к воде подошел мальчик, чтобы искупаться. Рак смело подплыл к нему и цапнул за ногу. Мальчик поймал рака, бросил его в корзину и сказал:

— Я его сварю и съем!

Тогда к нему подплыла пиявка и впиалась в ногу. Мальчик подцепил ее, бросил в ту же корзину и сказал:

— Я продам эту пиявку аптекарю.

Тут лягушка выбралась из воды и запрыгнула мальчику на ногу. Тот испугался мерзкого животного, схватил корзину и убежал.

Через некоторое время рак попал в кастрюлю, был сварен и съеден. Пиявка была продана аптекарю, и ей пришлось высасывать кровь у больных людей. А лягушка продолжала весело жить в ручье, став его полновластной хозяйкой.

Как цыган отца хоронил

Говорит цыганка сыну:

— Сыночек мой, отец твой родненький помер, лежит на лавке, как лебедь белый, ладаном от него пахнет. На же тебе, сыночек, три целковых, пойди к попу, пускай он твоего родненького батюшку похоронит.

Пришел цыган к попу.

— Не похоронишь ли ты, поп, моего родненького батюшку? Лежит он на лавке, как лебедь белый, ладаном от него пахнет.

— А ты мне дашь, цыган, три целковых? — спрашивает поп.

— За что три целковых? За такую стерву? За такого подлюку? Разлегся на лавке, как горелая головешка, оскалил зубы, как собака бешеная. Да чтобы я да за него да деньги платил?!

Как цыгане на чертях прокатились

Жила одна цыганская семья — мать и сын. Отца у парня не было, убили его. Подрос он немного — надо что-то делать. А дядя у него был знаменитым вором. Он всегда в одиночку воровал, никого с собой не брал. Но раз такое дело, взял с собой племянника. Когда дядя ходил воровать, ему не раз всякая чертовщина чудилась. Но он не боялся нечистой силы, а опасался только милиции и хозяев лошадей, которых воровал.

Вот, приехали они в одно село, выбрали дом побогаче и ночью забрались на конюшню. Видят цыгане: стоит пара отличных коней. Вывели они их, запрягли в тарантас, а своих позади привязали. Отъехали они недалеко от села, видят: дорога через мост ведет. Только они на мост заехали — коней как не бывало, исчезли, словно сквозь землю провалились. Спрыгнул дядя, за ружье схватился. Побежал он под мост, пойдет: там два черта стоят, смеются и в ладоши хлопают. Это они так с цыганами пошутили. Парень как увидел такое — ему страшно стало: как же, на чертях прокатился! Говорит дядя чертям:

— Все бы вам шутить, проклятые!

А потом подбегает к племяннику и улыбается:

— Чего бояться? — говорит. — Это же черти, а не милиция!

Безрогий черт

Жил один цыган по прозвищу Хрусталё. Был он страшный на вид и к тому же кривой на один глаз. Вот однажды гулял этот Хрусталё на свадьбе, хорошо там поел, попил. И только Бог один знает, как возвратился он к себе в шатер. Посреди

ночи проснулся Хрусталё — все у него внутри горит. В чем был — босой, простоволоосый, в одном исподнем — бросился он к реке напиться холодной водицы. Только стал он пить, как сразу же от воды отпрянул, словно его ошпарили. Пустился Хрусталё бежать. Бежит, а сам кричит, будто его кто-то кнутом стёгает.

Выскочили цыгане из шатров, думая, не свалилась ли какая беда на несчастные цыганские головы. Обступили они Хрусталё, а он им говорит:

— Я самого черта в реке видел! Вот умереть мне! Этот черт кривой на один глаз, а в бороде его куриные косточки висят и трясутся. Страх!

Ну, здесь цыгане вздохнули и стали смеяться над этим Хрусталё — у него кривой глаз огнем горит, а в бороде со вчерашней свадьбы висела куриная косточка.

Ведь этот несчастный Хрусталё за весь свой век ни разу в зеркало не гляделся, потому-то и не узнал своего страшного лица в воде.

Цыганские оправдания

Цыган, проходя мимо огорода, заметил грядку с чесноком. Он не смог одолеть своего сердца, перепрыгнул через забор и принялся рвать чеснок, складывая его в пустую торбу. Хозяин увидел такое, подошел и стал кричать:

— Ты что тут делаешь?

Цыган, держась обеими руками за перья чеснока, посмотрел на хозяина, как хорека на яйцо, и не промолвил ни слова. А тот продолжал:

— Черт бы тебя побрал! Кто затащил тебя на мой чеснок?

— Ветер, кум! — нашелся цыган.

— Ветер? — удивился хозяин. — Хорошо, пусть будет так. Но почему же ты держишься за чеснок?

— А для того, чтобы ветер не унес меня дальше!

— Ладно, и в это поверю. Только скажи, почему же ты кладешь чеснок в торбу?

— Ой, не говори, кум! Сам не знаю, что от страха делаю, — ответил цыган. — Разволновался очень!

Цыган и Божья заповедь

Цыган спрашивает у крестьянина:

— Ну, хорошо. Вот поп говорит, что на праздник нельзя работать. А сам и на праздник, и в воскресенье себе на хлеб зарабатывает. Что ты на это скажешь?

— Его к тому святая должность обязывает, — ответил крестьянин.

— Раз святая должность заставляет его нарушать третью Божью заповедь, так меня моя должность заставляет нарушать седьмую. Почему же никто об этом не думает?

Помощники грома

Цыган лежит на смертном одре и спрашивает у попа:

— Правда ли, что на том свете я не должен буду ничего делать?

— Правда, — отвечает поп, — на том свете тебя ждет не работа, а одна благодать.

Цыган облегченно вздохнул и сказал:

— Ну, слава Богу, хоть немного отдохну. А то я слышал, что мы, цыгане, обязаны и на том свете трудиться — помогать грому лучше греметь.

Цыган и палач

Цыган за свои преступления был осужден на виселицу. Когда палач подошел к нему, цыган стал просить:

— Пожалуйста, мой господин, не репай меня за шею, я страшно боюсь щекотки. Если уж так хочешь — повесь меня за пояс.

Плохой знак

Один цыган, стоя под виселицей, попросил, чтобы ему принесли чашу вина. Его просьбу немедленно исполнили. Когда цыган пил, его руки так тряслись от страха, что чаша выскользнула, упала и разбилась. Цыган посмотрел на разбитую чашу и сказал:

— Это — плохой знак. Наверное, со мной сегодня случится что-то неприятное.

Цыган и дыня

Один человек продавал дыни. Мимо шел цыган, и этот человек решил над ним подшутить.

— Эй, цыган,— говорит,— если ты сейчас же мне соврешь, я дам тебе одну дыню.

Цыган не растерялся и ответил:

— А зачем мне две дыни, мне вполне достаточно и одной.

— Так я и говорю — одну!

— Бог с тобой, душа моя! Я прекрасно слышал, как ты пообещал мне две дыни.

— Врешь, цыган!

— Ну, раз я вру, тогда гони за вранье то, что обещал! — сказал цыган, взял дыню и пошел.

Цыганская загадка

Пришел цыган к богачу и говорит:

— Отгадай загадку! Если отгадаешь, моя кобыла будет твоей, а если нет — дашь мне ягненка.

Богач согласился. Тогда цыган говорит:

— Что такое: ночью работает — днем спит; ест, когда есть; крадет, когда может; найдешь его если не в тюрьме, так в пещере или в чем-нибудь курятнике; не имеет ни хозяйства, ни имущества; ест из ладошки, а ездит на вороном коне.

— Кто бы это мог быть? — задумался богач. — Так это же ты, цыган!

— А вот и не угадал! Это мой брат! Я не краду, а честно зарабатываю. Отдавай мне ягненка!

Последняя просьба

Цыган за свои преступления был осужден на казнь. Когда его подвели к виселице, он попросил судью:

— Раз уж вы хотите меня повесить, так не снимайте шубы с плеч, а то сегодня ночью очень холодно, и я боюсь простудиться.

Пугливый конь

Один цыган купил на базаре коня. Сосед его спрашивает:

— А хорош ли конь? Мне кажется, что он слишком пуглив.

— Что ты, братец, какой же он пугливый, если уже третий день спит в конюшне и ничего не боится?!

Смерть по выбору

Когда судья зачитал цыгану смертный приговор, он сделал для него исключение, сказав:

— Тебе разрешается самому выбрать собственную смерть.

Услышав это, цыган подскочил от радости и воскликнул:

— В таком случае я выбираю смерть от старости!

Судьи засмеялись, но делать нечего — пришлось сохранить цыгану жизнь.

Молился за живот, да позабыл про ноги

Один солдат-цыган в сражении потерял ногу. Сидит и жалуется:

— Всю жизнь я молился «Боже, спаси мой живот», а про ноги позабыл!..

Просьба цыганки

Ведут цыгана на виселицу. Его жена стала просить судей:

— Не делайте этого. Почему вы хотите его повесить, если видите, что у него совершенно нет такого желания?

— Э, моя дорогая! — говорит один из судей. — Всю жизнь твой муж поступал по своей воле: хотел — воровал, хотел — совершал разные преступления. Пусть же хоть раз в жизни произойдет что-то вопреки его желанию.

Розги «по трусам»

Один цыган сбежал с военной службы. Его поймали. Суд присудил цыгану пятьдесят розог, да и то «по исподнему», чтоб не так больно было. Услышав приговор, цыган обрадовался, быстренько разделся, снял с себя трусы и бросил судьям, говоря:

— Вот вам мое исподнее, бейте, сколько вам угодно!

Судьи рассмеялись и простили цыгана.

Одни друзья

Поставили ночью на караул солдата-цыгана. Ну, и как полагается караульно-му, он останавливал любого, кто бы ни приблизился. А в ту ночь паролем была фраза «Добрый приятель». Цыган кричит:

— Стой! Кто идет?

А ему отзываются:

— Добрый приятель!

— Ну, проходи!

И так продолжалось два часа. Наконец надоело это цыгану, прибежал он к начальнику и говорит:

— Господин! Кого ни спрошу — все для меня добрые приятели. Хоть бы один сказал, что неприятель! Так чего же зря стоять?

Подмастерье и цыган

Один портняжка-подмастерье был послан мастером за бутылкой. На обратном пути ему повстречался солдат-цыган, который спросил:

— Мальчик, ты что несешь под полой?

Парнишка быстро сообразил и сказал:

— Да это сабля для моего хозяина!

Но и цыган не сплеховал, отнял у портняжки бутылку, выпил вино, вернул пустую бутылку обратно и сказал:

— Поскольку ты служишь у моего хорошего друга, я возвращаю ему ножны.

Когда ружье было еще пистолетом

Лесник пожаловался судье, что цыган украл у него ружье. Цыган, дабы оправдаться перед судьей, привел в свидетели своего приятеля. Тот стал клясться, говоря:

— Это неправда, что он украл ружье! Мы это ружье давно знаем, еще тогда, когда оно было пистолетом!

Ваша милость

Один цыган прослышал, что для больших господ используется обращение «Ваша милость». Ему это очень понравилось, и он решил воспитать учтивым своего сына.

Как-то раз послал он его к соседке взять мешок жита. Тот пришел, поздоровался, поцеловал хозяйке руку и сказал:

— Госпожа! Мой отец, его милость, послал меня, мою милость, к вашей милости. Да не одолжите ли вы нам мешок жита?

Соседка засмеялась и ответила так:

— Если ты — твоя милость, твой отец — его милость, а я — моя милость, тогда кто же будет мешок держать, кто жито сыпать, и кто этот мешок домой понесет?

Почему держишь пса?

У одного цыгана спросили:

— Слушай, цыган, почему ты держишь пса?

Цыган на это ответил:

— Неужели я должен лаять вместо него?

Что цыган надумал сделать?

Идет цыган за господином и просит подавание. А тот идет и даже не смотрит на него. Наконец цыгану надоело это занятие, и он заорал во все горло:

— Господин! Если не подашь, я сделаю то, чего не любил делать всю жизнь! Господин обернулся, протянул цыгану несколько монет и удивленно спросил:

— А что бы ты сделал, если бы я тебе не поддал?

Цыган ответил:

— Если мне кто-нибудь не подает, я иду и работаю...

Не было бы хуже!

Однажды крестьяне нашли на стог сена цыгана. Он был абсолютно гол и связан по рукам и ногам. Видя его в таком затруднительном положении, крестьяне спросили:

— Слушай, цыган, тебя, поди, комары всего закусали!

— Это что! — отвечает цыган. — Не дай Бог, могло быть и хуже!

Крестьяне засмеялись и спросили:

— Так куда же хуже, чем тебе сейчас?

— А каково было бы мне, если бы какой-нибудь сумасшедший, найдя меня, взял бы да подпалил сено? Ведь я ни рукой, ни ногой пошевелить не могу. Разве это не было бы хуже?

Цыган кучер

Однажды господин спросил у своего кучера цыгана:

— Ты бы поехал со мной на край света?

— Да хотя бы в самое пекло! — воскликнул цыган.

— А ты не бойшься, что там очень жарко?

— Нет, — ответил цыган, — мне не будет жарко. Когда мы подъедем к пеклу, вы пойдете туда, а я стану вас поджидать снаружи. Надо же кому-то охранять телегу! Так что не беспокойтесь.

Больной глаз

У одной старухи заболел глаз, и она пошла за советом к цыганке ворожее. Рассказала о своем недуге, и цыганка ей говорит:

— На днях у меня разболелся зуб. Так мне ничего не оставалось сделать, как его вырвать!

Отпевание покойника

Собрались цыгане покойника отпевать и спрашивают у попа:

— Батюшка, когда несут покойника, где надо быть — впереди или сзади?

Тот отвечает:

— Да где угодно, лишь бы не посередине!

Сколько нам ехать?

Цыганенок спрашивает у отца:

— Папа, сколько еще нам ехать по этой пыльной дороге?

— Сорок дней, сынок.

— А потом?

— А потом поедем дальше.

Был ли напарник?

Судят цыгана за воровство. Судья спрашивает:

— Скажи, цыган, ты один воровал или у тебя был напарник?

Тот отвечает:

— Конечно, один! Где в наше время найдешь такого порядочного человека, которому можно было бы доверять?

Как цыган фонарь чистил

Однажды ночью цыган забрался на столб, чтобы украсть уличный фонарь. А тут, как на грех, полицейский.

— Ты чего там делаешь? — кричит.

— Как что? Фонарь чищу, чтобы ты лучше видел, когда здесь ходишь.

Мужик на цыганской свадьбе

Как-то раз цыгане пригласили мужика на свадьбу. Когда тот вернулся домой, его спрашивают:

— Ну, как там у них?

— Ой, — отвечает мужик, — я и не знал, что цыгане — такой культурный и грамотный народ. Мне даже неудобно было. Только я за рюмку схватился, а они — ну давай кричать: «Писари¹, писари!»

¹ П и с а р и — пей до конца (цыг.).

Чужая бесхозяйственность

В тюремной камере разговор зашел — кто за что сидит. Один — за воровство, другой — за грабеж. Спрашивают у цыгана:

— А ты за что сюда попал?

— За чужую бесхозяйственность.

— Как это так?

— А вот так. Иду я по полю, гляжу: веревка лежит. Взял я ее, за то и попался. Откуда мне было знать, что на другом конце веревки конь привязан?!

Цыганская мова

Сэрв¹ украл в селе поросенка, бежит к себе на огород и кричит жене-украинке:

— Ховай свинью, гаджэ² иде!

— Чого тут ховаты,— отвечает жена,— я усе бачу.

Удивился сэрв:

— А звидки ты знаеш цыганску мову?

Как цыган через реку перебирался

Едет цыган с семьей на лошади. А на дворе весна, все реки разлились, вода кругом. Подъезжает цыган к реке — ни моста нет, ни парома. Думает: «Как на тот берег перебраться?» Стоит цыган на берегу и говорит:

— Эх, Дэвла³, Дэвла! Вот перенес бы ты меня на тот берег, я бы пошел и на сто рублей купил бы свечек и поставил их в церкви.

Сын слышит такие слова, подбегает и говорит:

— Дáдо⁴, ты что? У нас и рубля нет за душой. Где ты найдешь сто рублей, чтобы Богу свечки поставить?

А цыган говорит:

— Замолчи, дурачок! Нам бы только на тот берег перебраться!

Как цыган в карты играл

Дело это было давно, когда цыгане кочевали и жили плохо. Цыганки ходили по деревням гадать и просить. Так что один день бывало густо, а другой — пусто. И вот один цыган пошел в деревню и украл лошадь. Украсть-то украл, но привести ее в табар ему не удалось — поймали цыгана. Ну, судили его и посадили в тюрьму.

У этого цыгана было много детей, так что жена нечасто приходила к нему с передачами. Да и какие они были? — кусочек хлеба да кусочек сала, вот и все. А вместе с цыганом в тюрьме сидели еще несколько человек, и у них бывали богатые передачи — и сало, и колбаса, и мясо. Смотрит цыган на такое богатство, и у него слюнки текут. Думал, думал цыган и говорит:

— Ребята, давайте играть в карты!

Те удивились и спрашивают:

— Ты что придумал, цыган? Какие в тюрьме карты? Откуда мы возьмем эти карты?

— Нет,— говорит цыган,— мы будем играть по-другому.

Подходит к одному и говорит:

— Вот ты ходи хлебом.

Потом подходит к другому:

— А ты бей колбасой.

¹ Сэрв — украинский цыган.

² Гаджэ — нецыган, во фразе — единственное цыганское слово. (цыг.).

³ Дэвла — Боже. (цыг.).

⁴ Дáдо — папа (цыг.).

Подходит к третьему, к четвертому:

— А ты крой ветчиной, А ты — маслом...

Так он всех обошел. Теперь его очередь. Говорит цыган:

— А мне крыть нечем, приходится мне все принимать.

Вот так цыган наелся.

Богатый вор

Пришли цыгане в большой город. Ходят они туда-сюда, глаза у них разбегаются, не знают, на что и посмотреть. Остановились возле большого магазина. А в витрине много серебра да золота — ложки, ножи, кольца. Вот один цыганенок и сказал своему отцу:

— Батюшка! Хозяин магазина, видно, большой вор — так много у него серебра да золота.

Любящая жена

Сидит один цыган в темнице. Приходит к нему жена. Встала под окном и говорит:

— Лебедь мой, не потеряйся тут!

А он ей отвечает:

— Да где, Марфа, тут потеряешься? Тут три раза в день проверку делают!

Не ругай отца!

Жили отец и два сына. Поехали они как-то раз в город, на базар. По дороге остановились в чистом поле передохнуть. Поели, попили и собрались дальше ехать. А у них лошадь отвязалась и в поле побежала. Сидят сыновья и ни один, ни другой не шевелятся. Отец видит такое дело, что сыновья его не собираются коня ловить, вскочил сам и побежал. Младший смотрит, как отец за конем гоняется, и говорит:

— Ну, что это такое? Что он, как дурачок, прыгает по кочкам?

А старший ему:

— Ты что? Разве можно отца дурачком обзывать? Ну, бежит он — и пускай бежит! Да хай его раздергает, да пусть он себе хоть шею сломает! Но ругать отца не смей!

Чьи деньги?

Стояли неподалеку друг от друга два табора — один ловарский¹, а другой — русских цыган. А в каждом таборе жило по одному отчаянному спорщику. Вот встретились эти спорщики и принялись спорить между собой, кто выше другого на дерево заберется. Говорит ловарец:

— Знаешь что? Давай сделаем так: насыпем шапку золота, и кто выше на дерево залезет, тому золото достанется.

Так и договорились. Полезли они наверх. Ловарец быстро на самую верхушку взобрался, а русский цыган до середины долез, а дальше никак не может. Что делать? Проиграл спор. А денег-то жалко! Отломил он здоровенный сук да как стукнет по дереву — тут ловарец с вершины и полетел. Пролетел он мимо русского цыгана, а тот его за рубашку хватя!

— Ты чей будешь? — спрашивает.

— Ловарец я!

— Так это твое золото в шапке лежит?

— Мое, мое!

— Ну, ступай с Богом! Будь счастлив!

С этими словами русский цыган разжал пальцы.

¹ Ловары — венгерские цыгане.

Что легче?

Вышел цыган из шатра и видит такую картину: его детишки, ровно десять душ, мал мала меньше, вывалились в пыли и бегают друг за другом — чумазые да нечесаные. Поскреб цыган затылок. «Что же легче, — думает, — этих отмыть или новых сделать?»

Как цыган мужика рыбой накормил

Рубил мужик дрова возле пруда. Рубил, рубил, уморился. Разжег костер и стал кашу варить. А рядом цыган возле своего шатра сидел. Есть цыгану нечего, вот он и думает: «Как бы мне мужика обмануть и подкормиться немного?» Надумал. Подходит к мужику и говорит:

— Здорово, мужик!

— Здорово!

— Ты что тут варишь?

— Не видишь, что ли? Кашу. Жаль только мяса нет. Так и придется ее постной есть. Ну ладно мясо — рыба хотя б была.

— Ой, мужик, не говори мне про рыбу, — скривился цыган. — Меня от этой рыбы аж тошнит: утром — рыба, на обед — рыба, вечером — тоже рыба. Сколько можно ее есть?!

— Откуда же у тебя столько рыбы? — удивился мужик.

— Это уж моя хитрость, где рыбу доставать. Вот угостишь кашей, тогда я тебе и открою секрет.

Наложил мужик цыгану миску каши, хлеба дал. Тот сидит, за обе щеки уплетает. Наелись они до отвала, вот мужик и говорит:

— Ну что ж, цыган, накормил я тебя кашей, теперь твоя очередь. Иди, научи меня, как рыбу достать.

Повел цыган мужика к пруду, подводит к самому берегу и говорит:

— Пей, мужик, воду!

— Да ты в своем ли уме, цыган?

— Пей, пей, как до дна пруд выпьешь, так вся рыба твоей будет.

Плюнул мужик и ушел восвояси.

Как мужики цыгана били

Раньше, в старину, когда мужики ловили цыган, то они часто устраивали самосуды.

Вот один бедный цыган пошел воровать лошадей. Поймали цыгана мужики и устроили самосуд: завели его во двор, и несколько человек стали его бить. Бывало так, что и до смерти цыган забивали в таких случаях. Вот и на этот раз видит цыган, что приходит ему конец. Он кричит:

— Братцы, бейте меня, сколько хотите, только через тын не бросайте!

Говорят мужики:

— А, вот он чего боится! Сейчас мы ему устроим!

Взяли они цыгана за руки и за ноги, раскачали и перекинули через забор. Тогда он встал на ноги и говорит:

— Спасибо, братцы, а то бы убили!

И — наутек.

Цыган и мужик

Зашел цыган к мужику переночевать. Залез на печку и лежит. В животе у него бурчит: целый день ничего не ел. А мужик как раз накануне свинью зарезал. Наварила его жена суп из потрохов, кашу сварила со свининой. Налил мужик в тарелку супа, потроха наложил и за обе щеки уплетает. Цыган на печке ерзает, думает: «Как бы мне к мужику присоседиться?» Думал, думал — придумал.

— Ай,— кричит,— глухота я, глухота! Уж битый час хозяин меня за стол приглашает, а я лежу и сплю.

Слезает цыган с печки, подсаживается к мужику.

— Спасибо тебе, хозяин, за доброту твою,— говорит цыган и накладывает себе полную тарелку каши со свиной. Положил и — давай уплетать свинину, аж целыми кусками в рот затапливает. Мужику жалко стало, что его добро задаром переводится, вот он и говорит:

— Уж лучше бы ты, цыган, супу себе налил да легкое поел, чем мясо такими кусками наворачивать.

— Легкое, говоришь? — усмеялся цыган. — А мне свинину не тяжело есть.

— Да ты хоть по целому куску в рот не тащи! — совсем уже плачет мужик.

— А я и три куска в рот положу — не подавлюсь,— ответил цыган, съел всю кашу и снова отправился спать.

Про подкову

Как-то раз отправился в город один бедняга цыган. Шел он по дороге — пеший и босой. И вдруг нашел лодкову. Взял ее и радостный пошел дальше. Встречают его цыгане и спрашивают:

— С чего ты так весел, приятель?

— Да вот,— говорит,— скоро у меня конь появится.

— Откуда?

— Как это откуда? Одна подкова у меня уже есть, осталось еще три найти да лошадку...

Непьющий кнут

Жил один цыган — нищий и босой. Никогда у него даже копейки денег в кармане не валялось. А про коней и говорить не надо — позабыл, поди, когда рядом с ним сидел. Однако идет важно и в руках кнут держит — для форсу. Варут видит: мужик на телеге в канаве застрял. Две лошади тянут, а вытянуть не могут. У цыгана при виде лошадей сердце занялось. Взмахнул он кнутом да как хватит лошадок поперек спины! Те рванулись и враз вытащили телегу. Говорит мужик:

— Спасибо тебе, братец, выручил меня!

А цыган в ответ:

— Не мне «спасибо» говори, а моему кнуту...

Достал мужик рублевку, засунул за ремешок кнута и говорит:

— Ну, вот и плата твоему кнуту. А ты иди с Богом так...

Просит цыган:

— Слушай, мужик, ты бы хоть бутылку поставил, ведь я же тебя выручил.

— Так ты же сам говорил, что не тебя, а кнут благодарить надо. А он у тебя вроде бы вина не пьет...

На том и разошлись.

Публикация Е. ДРУЦА и А. ГЕССЛЕРА

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

ЛЕОНИД ГУБАНОВ	Труби, мой непослушный рог... Стихи. Вступительное слово Вл. Залещука	3
ПЕТР АЛЕШКОВСКИЙ	Чайки. Повесть	9
МИХАИЛ ДЖАВАХИШВИЛИ	Похождения авантюриста Квачи Квачантирадзе. Роман. Продолжение. С грузинского. Перевод А. Эбаноидзе	84
ТУРГУНАЛЫ МОЛДОБАЕВ	На древних холмах. Стихи. С киргизского. Перевод С. Белорусца	161
ИСИ МЕЛИКЗАДЕ	Да здравствует демократия! Рассказ. С азербайджанского. Перевод Т. Калякиной	164

ПУБЛИЦИСТИКА

МИХАИЛ С. БЕРНШТАМ	Проклятый вопрос о цене идей	167
АНАТОЛИЙ СТРЕЛЯНЫЙ	Кино про Украину. Ю. Апенченко. Вместо предисловия	186
А. КАЗАНСКАЯ	Наши и мы	220

КРИТИКА

НАТАЛЬЯ ИВАНОВА	Светлый чердак для подвальной литературы	230
НИНА ГАБРИЭЛЯН	Магический кристалл	239

ЭХО

ЛЕВ АННИНСКИЙ	«И литература сделалась мне противна»	245
---------------	---------------------------------------	-----

Проделки цыган.

Вступительное слово и публикация Е. Друца и
А. Гесслера

248

К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ

Редакция не рецензирует рукописи, а только сообщает о своем решении.
Рукописи менее двух печатных листов редакция не возвращает

Во всех случаях полиграфического брака в экземплярах журнала обращаться в
типографии-изготовители, указанные в выходных сведениях журнала.

Сдано в набор 28.12.91. Подписано в печать 09.03.92. Формат бумаги 70×108^{1/8}.
Бумага кн.-журн. Гарнитура «Валтинка». Печать высокая. Усл. печ. л. 23,8.
Усл. кр.-отт. 24,5. Уч. изд. л. 26,68. Тираж 108.650 экз. Зак. 5051. Цена 3 р. по подписке.

Издательство «Известия» 103798, ГСП, Москва, К-6, Пушкинская пл., 5.
Типография «Известий» имени И. И. Скворцова-Степанова.

ННБ — НИЖНЕВАРТОВСКАЯ НЕФТЯНАЯ БИРЖА —

НАШЕ

НАДЕЖНОЕ

БУДУЩЕЕ.

ННБ — ЭТО БИРЖА СОЛИДНЫХ ЛЮДЕЙ.

АО Нижневартовская нефтяная биржа
учреждена двенадцатью крупнейшими нефтегазодобывающими
объединениями, которые ежегодно вносят в энергетический баланс
страны 300 миллионов тонн нефти.

**В 1992 ГОДУ НА НИЖНЕВАРТОВСКОЙ НЕФТЯНОЙ БИРЖЕ БУДЕТ
ПРОДАНО 15—20 млн. ТОНН НЕФТИ.**

Приобретенные здесь нефть и нефтепродукты
будут доставлены в любую точку страны по желанию заказчика.

Во время торгов на ННБ коммерческие банки предлагают:
предоставление коммерческих кредитов под заключенные контракты,
оплату сделок по окончании торгов в течение двух часов,
консультационные услуги по оформлению кредитов.

ТОРГИ НА ННБ ПРОХОДЯТ ЕЖЕНЕДЕЛЬНО
одновременно с Сургутской товарно-сырьевой биржей
и ее московским филиалом.

День биржевых сессий — четверг.

КАЖДЫЙ ЧЕТВЕРГ ВЫ ИМЕЕТЕ РЕАЛЬНЫЙ ШАНС РАЗБОГАТЕТЬСЯ.

Ждем вас, господа предприниматели, по адресу:

Нижневартовск Тюменской области,
улица Таежная, 27.

Телефоны: (34566) 35218; 39972.

Факс: (34566) 35363; 38837.